ВОСПОМИНАНИЯ О БАБЕЛЕ

1938 1939 1940





ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА

ВОСПОМИНАНИЯ О БАБЕЛЕ

ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА



ДНЕВНИКИ
МЕМУАРЫ
СВИДЕТЕЛЬСТВА



*«Работать по методам искусства...—
это одно из немногих утешений, оставшихся мне».*

ВОСПОМИНАНИЯ О БАБЕЛЕ

Лев СЛАВИН
Константин ПАУСТОВСКИЙ
Илья ЭРЕНБУРГ
Семен ГЕХТ
Валентина ХОДАСЕВИЧ
Овадий САВИЧ
Федор ЛЕВИН
Георгий МУНБЛИТ
Сергей БОНДАРИН
Виктор ФИНК
Михаил МАКОТИНСКИЙ
Тамара ИВАНОВА
Лев НИКУЛИН
Амшей НЮРЕНБЕРГ
Кирилл ЛЕВИН
Татьяна СТАХ
Михаил ЗОРИН
Владимир КАНТОРОВИЧ
Леонид УТЕСОВ
Виктор ШКЛОВСКИЙ
Георгий МАРКОВ
Вячеслав ПОЛОНСКИЙ
Лев БОРОВОЙ
Мирон БЕРКОВ
Савва ГОЛОВАНИВСКИЙ
Татьяна ТЭСС
Антонина ПИРОЖКОВА



Москва ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНИЖНАЯ ПАЛАТА» 1989

ББК 83.3Р7
В774

СЕРИЯ «ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА»
ОСНОВАНА В 1987 ГОДУ

Составители
А. Н. Пирожкова, Н. Н. Юргенева

Художник
Д. А. Аникеев

В $\frac{4702010201-049}{008(01)-89}$ Без объявл.

ISBN 5-7000-0109-8

МОГУЧЕЕ ВЕСЕЛЬЕ БАБЕЛЯ

Лет в тридцать, уже будучи членом Союза писателей, я впервые прочел Бабеля. Его только-только издали после реабилитации. Я, конечно, знал, что был такой писатель из Одессы, но ни строчки не читал.

Как сейчас помню, я присел с его книгой на крылечке нашего сухумского дома, открыл ее и был ослеплен ее стилистическим блеском. После этого еще несколько месяцев я не только сам читал и перечитывал его рассказы, но и старался одарить ими всех своих знакомых, при этом чаще всего в собственном исполнении. Некоторых это пугало, иные из моих приятелей, как только я брался за книгу, пытались улизнуть, но я их водворял на место, и потом они мне были благодарны или были вынуждены делать вид, что благодарны, потому что я старался изо всех сил.

Я чувствовал, что это прекрасная литература, но не понимал, почему и как проза становится поэзией высокого класса. Я тогда писал только стихи и советы некоторых моих литературных друзей попробовать себя в прозе воспринимал как тайное оскорбление. Разумеется, умом я понимал, что всякая хорошая литература поэтична. Во всяком случае — должна быть. Но поэтичность Бабеля была очевидна и в более прямом смысле этого слова. В каком? Сжатость — сразу быка за рога. Самодостаточность фразы, невиданное до него многообразие человеческого состояния на единицу литературной площади. Фразы Бабеля можно цитировать бесконечно, как строчки поэта. Сейчас я думаю, что пружина его вдохновенных ритмов затянута слишком туго, он сразу берет слишком высокий тон, что затрудняет эффект нарастания напряжения, но тогда я этого не замечал. Одним словом, меня покорило его полнокровное черноморское веселье в почти неизменном сочетании с библейской печалью.

«Конармия» потрясла меня первозданной подлинностью революционного пафоса в сочетании с невероятной точностью и парадоксальностью мышления каждого красноармейца. Но мышление это, как и в «Тихом Доне», передается только через жест, слово, действие. Кстати, эти вещи близки между собой и какой-то общей эпической напевностью стремительного повествования.

Читая «Конармию», понимаешь, что стихия революции никем не навязана. Она вызрела внутри народа как мечта о возмездии и обновлении всей российской жизни. Но та яростная решительность, с которой герои «Конармии» идут на смерть, но так же, не задумываясь, готовы рубить с плеча каждого, кто враг или в данное мгновенье кажется таковым, вдруг приоткрывает через авторскую иронию и горечь возможности грядущих трагических ошибок.

Способен ли прекрасный, размашистый Дон Кихот революции после ее победы преобразиться в мудрого созидателя, и не покажется ли ему, столь доверчивому и простодушному, в новых условиях, в борьбе с новыми трудностями, гораздо понятнее и ближе знакомый приказ: «Рубить!»?

И эта тревога, как далекая музыкальная тема, нет-нет да и всколыхнется в «Конармии».

Один умный критик как-то в разговоре со мной выразил сомнение по поводу одесских рассказов Бабеля: можно ли воспевать бандитов?

Вопрос, конечно, не простой. Тем не менее литературная победа этих рассказов очевидна. Все дело в условиях игры, которые перед нами ставит художник. В том световом луче, которым Бабель высветил дореволюционную жизнь Одессы, у нас нет выбора: или Беня Крик — или городовой, или богач Тартаковский — или Беня Крик. Тут, мне кажется, тот же принцип, что и в народных песнях, воспевающих разбойников: идеализация орудия возмездия за несправедливость жизни.

В этих рассказах столько юмора, столько тонких и точных наблюдений, что профессия главного героя отступает на второй план, нас подхватывает мощный поток освобождения человека от уродливых комплексов страха, затхлых привычек, убогой и лживой добропорядочности.

Я думаю, что Бабель понимал искусство как праздник жизни, а мудрая печаль, время от времени приоткрывающаяся на этом празднике, не только не портит его, но и придает ему духовную подлинность. Печаль есть неизменный спутник познания жизни. Честно познавший печаль достоин честной радости. И эту радость людям приносит творческий дар нашего замечательного писателя Исаака Эммануиловича Бабеля.

И слава богу, что поклонники этого прекрасного дара могут теперь познакомиться с живыми свидетельствами современников, близко знавших писателя при жизни.

Фазиль Искандер

Лев Славин

ФЕРМЕНТ ДОЛГОВЕЧНОСТИ

Трудно сказать, когда я впервые увидел Бабеля. У меня такое ощущение, что я знал его всегда, как знаешь небо или мать.

По-видимому, все-таки первое знакомство произошло где-то в самом начале двадцатых годов. Именно тогда на оборотной стороне больших листов табачных и чайных бандеролей, оставшихся в огромном количестве от дореволюционных времен, печатались ранние одесские издания. Там-то, на этой прозрачной желтой бумаге, стали появляться рассказы Бабеля, пронзившие нас, молодых литераторов, своим совершенством.

Обаяние писательской силы Бабеля было для нас непреодолимо. Сюда присоединялось личное его обаяние, которому тоже невозможно было противиться, хотя в наружности Бабеля не было ничего внешне эффектного.

Он был невысок, раздался более в ширину. Это была фигура приземистая, приземленная, прозаическая, не вязавшаяся с представлением о кавалеристе, поэте, путешественнике. У него была большая лобастая голова, немного втянутая в плечи, голова кабинетного ученого.

Мы приходили в его небольшую комнатку на Ришельевской улице, набитую книгами и дедовской мебелью. Он читал нам «Одесские рассказы» и открывал нам всю сказочную романтичность города, в котором мы родились и выросли, почти не заметив его.

Стоит сказать несколько слов о манере чтения Бабеля; она была довольно точным отпечатком его натуры. У него был замечательный и редкостный дар личного единения с каждым слушателем в отдельности. Это было даже в больших залах, наполненных сотнями людей. Каждый чувствовал, что Бабель обращается именно к нему. Таким образом, и в многолюдных аудиториях он сохранял тон интимной, камерной беседы.

Чтение его отличала высокая простота, свободная от того наигранного воодушевления, которое неприятно окрашивает иные литературные выступления. Поразителен был контраст между спокойной, мягкой, южной интонацией Бабеля и тем огненным темпераментом, который пылал в его рассказах и о котором Ромен Роллан писал Горькому:

«Существуют ли между Вами и Бабелем какие-нибудь отношения? Я читал его произведения, полные дикой энергии».

Во время чтения с лица Бабеля не сходила улыбка, добро-насмешливая и чуть грустная.

Оговариваюсь тут же, что Бабеля никак нельзя было назвать грустным человеком. Наоборот: он был жизнерадостен! В нем жили жадность к жизни и острый интерес к познанию тех механизмов, которые движут душевной жизнью человека, душевной и социальной. Когда человек его заинтересовывал, он старался постигнуть, в чем его суть и пафос.

Бабеля, по собственному его признанию, интересовало не только и не столько — что, сколько — как и почему.

С годами Бабель, как и Олеша, стал писать проще. И из жизни его стала исчезать та несколько театральная таинственность, которой он любил облекать некоторые стороны своего существования. Он избавлялся от стилистических преувеличений. Это, между прочим, отразилось на его отношении к Мопассану. В ранние одесские годы он говорил:

— Когда-то мне нравился Мопассан. Сейчас я разлюбил его.

Но, как известно, и этот период прошел. Избавляясь от стилистических излишеств, Бабель снова полюбил Мопассана.

Бабель как писатель созрел в Одессе. И Одесса признала его сразу. Но далеко не сразу удалось его рассказам перекочевать с листов табачных бандеролей на страницы литературных журналов. Для всей страны Бабеля открыл Маяковский, когда в 1924 году напечатал в журнале «Леф» «Соль», «Король», «Письмо» и другие рассказы,— по определению одного критика, «сжатые, как алгебраическая формула, но вместе с тем наполненные поэзией».

Сохранилась стенограмма, к сожалению неполная, выступления Маяковского на диспуте в 1927 году, где Маяковский, между прочим, сказал:

— Мы знаем, как Бабеля встретили в штыки товарищи, которым он показал свои литературные работы. Они говорили: «Да если вы видели такие беспорядки в Конармии, почему вы начальству не сообщили, зачем вы все это в рассказах пишете?..»

Одно время Бабель хотел поселиться под Одессой у моря, за Большим Фонтаном, в месте тихом и тогда почти пустынном.

По разным причинам это не удалось, и он поселился под Москвой, в месте далеко не пустынном — в писательском поселке Переделкино.

На вопрос, каково ему там, он ответил:

— Природа замечательная. Но сознание, что справа и слева от тебя сидят и сочиняют еще десятки людей,— в этом есть что-то устрашающее...

Бабель, который для многих служил объектом восхищения и даже обожания, сам имел бога.

Этим богом был Горький.

При Бабеле нельзя было сказать ни одного критического слова



И. Э. Бабель. 1934 год.

о Горьком. Обычно такой терпимый к мнениям других, в этих случаях Бабель свирепел.

Горький привлекал к себе Бабеля не только как писатель, но прежде всего как необычайное явление человеческого духа. Он не уставал говорить о Горьком. Он был до того влюблен в Горького, что все ему казалось в нем прекрасным — не только проявление его духа, но и любые подробности его физического существа. Он так описывал его одежду:

«Костюм сидел на нем мешковато, но изысканно».

Говоря о походке Горького, он прибавлял, что она «была легка, бесшумна и изящна».

Или о жесте Горького:

«Он поднес к моим глазам длинный, сильно и нежно вылепленный палец».

Не однажды Бабель писал о Горьком, а в 1937 году вышел номер журнала «СССР на стройке», целиком посвященный

Горькому. На обложке его значится: «План, передовая и монтаж текста И. Бабеля». Вот несколько строк из этой передовой, которая вся — гимн Горькому, прекрасный своей вдохновенностью:

«Горький, учась всю жизнь, достиг вершины человеческого знания. Образованность его была всеобъемлюща. Она опиралась на память, являвшуюся у Горького одной из самых удивительных способностей, когда-либо виденных у человека. В мозгу его и сердце, всегда творчески возбужденных, впечатались книги, прочитанные им за шестьдесят лет, люди, встреченные им,— встретил он их неисчислимо много,— слова, коснувшиеся его слуха, и звук этих слов, и блеск улыбок, и цвет неба. Все это он взял с жадностью и вернул в живых, как сама жизнь, образах искусства, вернул полностью... Перед нами образ великого человека социалистической эпохи. Он не может не стать для нас примером — настолько мощно соединены в нем опьянение жизни и украшающая ее работа...»

Жизнь Бабеля оборвалась, когда талант его начал приобретать новые, еще более сверкающие грани. В этот последний период жизни он как-то сказал в разговоре:

— Я не жалею об ушедшей молодости. Я доволен своим возрастом.

— Почему? — спросили его.

Он ответил:

— Теперь все стало очень ясно видно.

О двух замечательных советских писателях существовал ходячий обывательский миф, что они мало писали,— о Бабеле и об Олеше.

Но после Олеши осталось одно из его крупнейших и по размерам и по значительности произведений — «Ни дня без строчки».

После Бабеля осталась пьеса, по-видимому, незаконченная, но содержание которой он рассказывал, осталось и несколько папок с рукописями.

Уже много лет Бабеля читают во всем мире. И чем дальше, тем больше. Его рассказы отличаются, если можно так выразиться, своей непреходящей современностью.

Говоря о стиле нашей эпохи, Бабель сказал, что он заключается «в мужестве, в сдержанности, он полон огня, страсти, силы, веселья».

Я думаю, что в этом и заключается фермент долговечности Бабеля.

Константин Паустовский

РАССКАЗЫ О БАБЕЛЕ

«МОПАССАНОВ Я ВАМ ГАРАНТИРУЮ»

В одном из номеров «Моряка» был напечатан рассказ под названием «Король». Под рассказом стояла подпись: «И. Бабель».

Рассказ был о том, как главарь одесских бандитов Бенцион (он же Беня) Крик насильно выдал замуж свою увядшую сестру Двойру за хилого и плаксивого вора. Вор женился на Двойре только из невыносимого страха перед Беней.

То был один из первых так называемых «молдаванских» рассказов Бабеля.

Молдаванкой в Одессе называлась часть города около товарной железнодорожной станции, где жили две тысячи одесских налетчиков и воров.

Чтобы лучше узнать жизнь Молдаванки, Бабель решил поселиться там на некоторое время у старого еврея Циреса, доживавшего свой век под крикливым гнетом жены, тети Хавы.

Вскоре после того, как Бабель снял комнату у этого кроткого старика, похожего на лилипута, произошли стремительные события. Из-за них Бабель был вынужден бежать очертя голову из квартиры Циреса, пропахшей жареным луком и нафталином.

Но об этом я расскажу несколько позже, когда читатель свыкнется с характером тогдашней жизни на Молдаванке.

Рассказ «Король» был написан сжато и точно. Он бил в лицо свежестью, подобно воде, насыщенной углекислотой.

С юношеских лет я воспринимал произведения некоторых писателей как колдовство. После рассказа «Король» я понял, что еще один колдун пришел в нашу литературу и что все написанное этим человеком никогда не будет бесцветным и вялым.

В рассказе «Король» все было непривычно для нас. Не только люди и мотивы их поступков, но и неожиданные положения, неведомый быт, энергичный и живописный диалог. В этом рассказе существовала жизнь, ничем не отличавшаяся от гротеска. В каждой мелочи был заметен пронзительный глаз писателя. И вдруг, как неожиданный удар солнца в окно, в текст вторгался какой-нибудь изысканный отрывок или напев фразы, похожей на перевод с французского,— напев размеренный и пышный.

Это было ново, необыкновенно. В этой прозе звучал голос человека, пропыленного в походах Конной армии и вместе с тем владевшего всеми богатствами прошлой культуры — от Боккаччо до Леконта де Лиля и от Вермеера Дельфтского до Александра Блока.

В редакцию «Моряка» Бабеля привел Изя Лившиц. Я не встречал человека, внешне столь мало похожего на писателя, как Бабель. Сутулый, почти без шеи из-за наследственной одесской астмы, с утиным носом и морщинистым лбом, с маслянистым блеском маленьких глаз, он с первого взгляда не вызывал интереса. Но,

конечно, только до той минуты, пока он не начинал говорить. Его можно было принять за коммивояжера или маклера.

С первыми же словами все менялось. В тонком звучании его голоса слышалась настойчивая ирония.

Многие люди не могли смотреть в прожигающие насквозь глаза Бабеля. По натуре Бабель был разоблачителем. Он любил ставить людей в тупик и потому слыл в Одессе человеком трудным и опасным.

Бабель пришел в редакцию «Моряка» с книгой рассказов Киплинга в руках. Разговаривая с редактором Женей Ивановым, он положил книгу на стол, но все время нетерпеливо и даже как-то плотоядно посматривал на нее. Он вертелся на стуле, вставал, снова садился. Он явно нервничал. Ему хотелось читать, а не вести вынужденную вежливую беседу.

Бабель быстро перевел разговор на Киплинга, сказал, что надо писать такой же железной прозой, как Киплинг, и с полнейшей ясностью представлять себе все, что должно появиться из-под пера. Рассказу надлежит быть точным, как военное донесение или банковский чек. Его следует писать тем же твердым и прямым почерком, каким пишутся приказы и чеки. Такой почерк был, между прочим, у Киплинга.

Разговор о Киплинге Бабель закончил неожиданными словами. Он произнес их, сняв очки, и от этого лицо его сразу сделалось беспомощным и добродушным.

— У нас в Одессе,— сказал он, насмешливо поблескивая глазами,— не будет своих Киплингов. Мы мирные жизнелюбы. Но зато у нас будут свои Мопассаны. Потому что у нас много моря, солнца, красивых женщин и много пищи для размышлений. Мопассанов я вам гарантирую...

Тут же он рассказал, как был в последней парижской квартире Мопассана. Рассказывал о нагретых солнцем розовых кружевных абажурах, похожих на панталоны дорогих куртизанок, о запахе бриллиантина и кофе, о комнатах, где мучился испуганный их обширностью больной писатель, годами приучавший себя к строгим границам замыслов и наикратчайшему их изложению.

Во время этого рассказа Бабель со вкусом упоминал о топографии Парижа. У Бабеля было хорошее французское произношение.

Из нескольких замечаний и вопросов Бабеля я понял, что это человек неслыханно настойчивый, цепкий, желающий все видеть, не брезгующий никакими познаниями, внешне склонный к скепсису, даже к цинизму, а на деле верящий в наивную и добрую человеческую душу. Недаром Бабель любил повторять библейское изречение: «Сила жаждет, и только печаль утоляет сердца».

Я видел из своего окна, как Бабель вышел из редакции и, сутулясь, пошел по теневой стороне Приморского бульвара. Шел он медленно, потому что, как только вышел из редакции, тотчас раскрыл книгу Киплинга и начал читать ее на ходу. По временам он останавливался, чтобы дать встречным обойти себя, но ни разу не поднял головы, чтобы взглянуть на них.

И встречные обходили его, с недоумением оглядываясь, но никто не сказал ему ни слова.

Вскоре он исчез в тени платанов, что трепетали в текучем черноморском воздухе своей бархатистой листвой.

Потом я часто встречал Бабеля в городе. Он никогда не ходил один. Вокруг него висели, как мошкара, так называемые «одесские литературные мальчики». Они ловили на лету его острые слова, тут же разносили их по Одессе и безропотно выполняли его многочисленные поручения.

За нерадивость Бабель взыскивал с этих восторженных юношей очень строго, а наскучив ими, безжалостно их изгонял. Чем более жестоким бывал разгром какого-нибудь юноши, тем сильнее гордился этим разгромленный. «Литературные юноши» просто расцветали от бабелевских разгромов.

Но не только «литературные мальчики» боготворили Бабеля. Старые литераторы — их в то время собралось в Одессе несколько человек,— равно как и молодые одесские писатели и поэты, относились к Бабелю очень почтительно.

Объяснялось это не только тем, что это был исключительно талантливый человек, но еще и тем, что он был признан и любим как писатель Алексеем Максимовичем Горьким, что он только что вернулся из легендарной Конармии Буденного и, наконец, он был в то время для нас первым подлинно советским писателем.

Нельзя забывать, что в то время советская литература только зарождалась и до Одессы еще не дошла ни одна новая книга, кроме «Двенадцати» Блока и перевода книги Анри Барбюса «Огонь».

И Блок и Барбюс произвели на нас потрясающее впечатление: в этих вещах уже явственно сверкали зарницы новой поэзии и прозы, и мы заучивали наизусть и стихи Блока и суровую прозу Барбюса.

Вплотную я столкнулся с Бабелем в конце лета. Он жил тогда на 9-й станции Фонтана. Я был в отпуску и снял вместе с Изей Лившицем полуразрушенную дачу невдалеке от дачи Бабеля.

Одна стена нашей дачи висела над отвесным обрывом. От нее часто откалывались куски яркой розовой штукатурки и весело неслись вприпрыжку к морю. Поэтому мы предпочитали спать на террасе, выходившей в степь. Там было безопаснее.

Сад около дачи зарос по пояс сероватой полынью. Сквозь нее пробивались, как свежие брызги киновари, маленькие, величиной с ноготь, маки.

С Бабелем мы виделись часто. Иногда мы вместе просиживали на берегу почти весь день, таская с Изей на самоловы зеленух и бычков и слушая неторопливые рассказы Бабеля.

Рассказчик он был гениальный. Устные его рассказы были сильнее и совершеннее, чем написанные.

Как описать то веселое и вместе с тем печальное лето 1921 года на Фонтане, когда мы жили вместе? Веселым его делала наша молодость, а печальным оно казалось от постоянной легкой тревоги на сердце. А может быть, отчасти и от непроницаемых южных ночей.

Они опускали свой полог совсем рядом с нами, за первой же каменной ступенькой нашей террасы.

Стоя на террасе, можно было протянуть в эту ночь руку, но тотчас отдернуть ее, почувствовав на кончиках пальцев близкий холод мирового пространства.

Веселье было собрано в пестрый клубок наших разговоров, шуток и мистификаций. Тогда уже в Одессе мистификации называли «розыгрышами». Потом это слово быстро распространилось по всей стране.

А печаль воплощалась для меня почему-то в ясном огне, неизменно блиставшем по ночам на морском горизонте. То была какая-то низкая звезда. Имени ее никто не знал, несмотря на то, что она все ночи напролет дружелюбно и настойчиво следила за нами.

Непонятно почему, но печаль была заключена и в запахе остывающего по ночам кремнистого шоссе, и в голубых зрачках маленькой дикой вербены, поселившейся у нашего порога, и в том, что тогда мы очень ясно чувствовали слишком быстрое движение времени.

Горести пока еще властвовали над миром. Но для нас, молодых, они уже соседствовали со счастьем потому, что время было полно надежд на разумный удел, на избавление от назойливых бед, на непременное цветение после бесконечной зимы.

Я в то лето, пожалуй, хорошо понял, что значит казавшееся мне до тех пор пустым выражение «власть таланта».

Присутствие Бабеля делало это лето захватывающе интересным. Мы все жили в легком отблеске его таланта.

До этого почти все люди, встречавшиеся мне, не оставляли в памяти особенно заметного следа. Я быстро забывал их лица, голоса, слова, их походку, и много-много, если вдруг вспоминал какую-нибудь характерную морщину у них на лице. А сейчас было не так. Я жадно зарисовывал людей в своей памяти, и этому меня научил Бабель.

Бабель часто возвращался к вечеру из Одессы на конке. Она сменила начисто забытый трамвай. Конка ходила только до 8-й станции и издалека уже дребезжала всеми своими развинченными болтами.

С 8-й станции Бабель приходил пешком, пыльный, усталый, но с хитрым блеском в глазах, и говорил:

— Ну и разговорчик же заварился в вагоне у старух! За куриные яички. Слушайте! Вы будете просто рыдать от удовольствия.

Он начинал передавать этот разговор. И мы не только рыдали от хохота. Мы просто падали, сраженные этим рассказом. Тогда Бабель дергал то одного, то другого из нас за рукав и крикливо спрашивал голосом знакомой торговки с 10-й станции Фонтана:

— Вы окончательно сказились, молодой человек? Или что?

Стоило, слушая Бабеля, закрыть глаза, чтобы сразу же очутиться в душном вагоне одесской конки и увидеть всех попутчиков с такой наглядностью, будто вы прожили с ними много лет и съели

вместе добрый пудовик соли. Может быть, их вовсе и не существовало в природе, этих людей, и Бабель их начисто выдумал. Но что за дело нам было до этого, если они жили во всей своей конкретности, хрипящие, кашляющие, вздыхающие и выразительно подмигивающие друг другу на «месье» Бабеля, о котором уже говорили по Одессе, что он такой же умный, как Горький.

Гораздо раньше, чем из его напечатанных рассказов, мы узнали из устных его рассказов о старике Гедали, вздыхавшем «об интернационале добрых людей», о происшествии с солью на «закоренелой» станции Фастов, о бешеных кавалерийских атаках, об ослепительной усмешке Буденного и услышали удивительные казачьи песни. Особенно одна песня поразила Бабеля, и потом, в Одессе, мы ее часто напевали, каждый раз все больше удивляясь ее поэтичности. Сейчас я забыл слова этой песни. В памяти остались только первые две строчки:

Звезда полей над отчим домом,
И матери моей печальная рука...

Особенно томительной и щемящей была эта «звезда полей». Часто по ночам я даже видел ее во сне — единственную тихую звезду в громадной высоте над сумраком родных и нищих полей.

Вообще Бабель рассказывал охотно и много и об Алексее Максимовиче Горьком, о революции и о том, как он, Бабель, поселился явочным порядком в Аничковом дворце в Петербурге, спал на диване в кабинете Александра III и однажды, осторожно заглянув в ящик царского письменного стола, нашел коробку великолепных папирос — подарок царю Александру от турецкого султана Абдул-Гамида.

Толстые эти папиросы были сделаны из розовой бумаги с золотой арабской вязью. Бабель очень таинственно подарил мне и Изе по одной папиросе. Мы выкурили их вечером. Тончайшее благоухание распростерлось над 9-й станцией Фонтана. Но тотчас у нас смертельно разболелась голова, и мы целый час передвигались как пьяные, хватаясь за каменные ограды.

Тогда же я узнал от Бабеля необыкновенную историю о безответном старом еврее Циресе.

Бабель поселился у Циреса и его мрачной, медлительной жены, тети Хавы, в центре Молдаванки. Он решил написать несколько рассказов из жизни этой одесской окраины с ее пряным бытом. Бабеля привлекали своеобразные и безусловно талантливые натуры таких бандитов, как ставший уже легендарным Мишка Япончик (Беня Крик). Бабель хотел получше изучить Молдаванку, и, конечно, удобным местом для этого была скучная квартира Циреса.

Она стояла как надежная скала среди бушующих и громогласных притонов и обманчиво благополучных квартир с вязаными салфеточками и серебряными семисвечниками на комодах, где под родительским кровом скрывались налетчики.

Квартира Циреса была забронирована со всех сторон соседством дерзких и хорошо вооруженных молодых людей.

Бабель посвятил Циреса в цель своего пребывания на Молдаванке. Это не произвело на старика приятного впечатления. Наоборот, Цирес встревожился.

— Ой, месье Бабель! — сказал он, качая головой.— Вы же сын такого известного папаши! Ваша мама была же красавица!! Поговаривают, что к ней сватался племянник самого Бродского. Так чтобы вы знали, что Молдаванка вам совсем не к лицу, какой бы вы ни были писатель. Забудьте думать за Молдаванку. Я вам скажу, что вы не найдете здесь ни на копейку успеха, но зато сможете заработать полный карман неприятностей.

— Каких? — спросил Бабель.

— Я знаю каких! — уклончиво ответил Цирес.— Разве догадаешься, какой кошмар может вбить себе в голову один только Пятирубель. Я не говорю за таких нахалов, как Люська Кур и все остальные. Лучше вам, месье Бабель, не рисковать, а вернуться тихонько в папашин дом на Екатерининской улице. Скажу вам по совести, я сам уже сожалею, что сдал вам комнату. Но как я мог отказать такому приятному молодому человеку!

Бабель иногда ночевал в своей комнате у Циреса и несколько раз слышал, как тетя Хава шепотом ругала старика за то, что он сдал комнату Бабелю и пустил в дом незнакомого человека.

— Что ты с этого будешь иметь, скупец? — говорила она Циресу.— Какие-нибудь сто тысяч в месяц? Так зато ты растеряешь своих лучших клиентов. Лазарь Бройде со Степовой улицы обдурит тебя и будет смеяться над тобой. Они все перекинутся к Бройде, клянусь покойной Идочкой.

— Лягаши только ждут именно твоего Бройде, чтобы его захапать,— неуверенно отбивался Цирес.

— Как бы тебя не захапали раньше. Ты будешь пустой через того жильца. Никто не даст тебе и одного процента. С чего мы тогда будем доживать свою старость?

Цирес сокрушался, ворочался, долго не мог заснуть.

Бабелю не нравились эти непонятные ночные разговоры старухи. Он чувствовал в них какую-то опасную тайну. Он тоже долго не засыпал, стараясь догадаться, о чем шепчет тетя Хава.

Ночи на Молдаванке тянулись долго. Мутный свет дальнего фонаря падал на облезлые обои. Они пахли уксусной эссенцией. Изредка с улицы слышались быстрые, деловые шаги, тонкий свист, а иной раз даже близкий выстрел и женский истерический хохот. Он долетал из-за кирпичных стен. Казалось, что этот рыдающий хохот был глубоко замурован в стенах.

Особенно неприятно было в дождливые ночи. В железном желобе жидко дребезжала вода. Кровать скрипела от малейшего движения, и какой-то зверь всю ночь спокойно жевал за обоями гнилое, трухлявое дерево.

Хотелось встать и уйти к себе, на Екатерининскую улицу. Там, за толстыми стенами, на четвертом этаже, было тихо, темно, безопасно, на столе лежала десятки раз исправленная и переписанная рукопись последнего рассказа.

Подходя к столу, Бабель осторожно поглаживал эту рукопись, как плохо укрощенного зверя. Часто он вставал ночью и при коптилке, заставленной толстым, поставленным на ребро фолиантом энциклопедии, перечитывал три-четыре страницы. Каждый раз он находил несколько лишних слов и со злорадством выбрасывал их. «Ясность и сила языка,— говорил он,— совсем не в том, что к фразе уже нельзя ничего прибавить, а в том, что из нее уже нельзя больше ничего выбросить».

Все, кто видел Бабеля за работой, особенно ночью (а увидеть его в этом состоянии было трудно: он всегда писал, прячась от людей), были поражены печальным его лицом и его особенным выражением доброты и горя.

Бабель много бы дал в эти скудные молдаванские ночи за то, чтобы сейчас же вернуться к своим рукописям. Но в литературе он чувствовал себя как разведчик и солдат и считал, что во имя ее он должен вытерпеть все: и одиночество, и керосиновую вонь погасшей коптилки, вызывавшую тяжелые припадки астмы, и крики изрыдавшихся женщин за стенами домов. Нет, возвращаться было нельзя.

В одну из таких ночей Бабеля вдруг осенило: очевидно, Цирес был обыкновенным наводчиком! Цирес жил этим. Он получал за это свой процент — «карбач», и Бабель был для старика действительно неудобным жильцом.

Он мог отпугнуть от старого наводчика его отчаянных, но вместе с тем и осторожных клиентов. Кому была охота глупо нарезаться на провал из-за скаредности Циреса, польстившегося на лишние сто тысяч рублей и пустившего в самое сердце Молдаванки какого-то фраера.

Да к тому же этот фраер оказался писателем и потому был вдвое опаснее, чем если бы он был простым сутенером или шулером из пивной.

Наконец-то Бабель понял намеки Циреса насчет кармана, полного неприятностей, и решил через несколько дней съехать от Циреса. Но несколько дней ему еще были нужны, чтобы выведать от старого наводчика все, что тот мог рассказать интересного. А Бабель знал за собой это сильное свойство — выпытывать людей до конца, потрошить их жестоко и настойчиво, или, как говорили в Одессе, «с божьей помощью вынимать из них начисто душу».

Но на этот раз Бабелю не удалось вынуть из старого Циреса душу. Бабеля опередил один из налетчиков, кажется, Сенька Вислоухий, и сделал он это не в переносном, а в самом настоящем смысле этого слова.

Как-то днем, после того как Бабель ушел в город, Цирес был убит у себя на квартире ударом финки.

Когда Бабель вернулся на Молдаванку, он застал в квартире милицию, а у себя в комнате начальника угрозыска. Он сидел за столом и писал протокол. Это был вежливый молодой человек в синих галифе из диагонали. Он мечтал тоже стать писателем и потому почтительно обошелся с Бабелем.

— Прошу вас,— сказал он Бабелю,— взять ваши вещи и немедленно покинуть этот дом. Иначе я не могу гарантировать вам личную безопасность даже на ближайшие сутки. Сами понимаете: Молдаванка!

И Бабель бежал, содрогаясь от хриплых воплей тети Хавы. Она призывала проклятия на голову Сеньки и всех, кто, по ее соображениям, был замешан в убийстве Циреса.

Эти проклятия были ужасны. Вежливый начальник угрозыска даже посоветовал Бабелю:

— Не слушайте эти психические крики. Утром она была еще в уме и дала показания. А теперь она бесноватая. Сейчас за ней приедет фургон из сумасшедшего дома на Слободке-Романовке.

А за перегородкой тетя Хава равномерно вырывала седые космы волос из головы, отшвыривала их от себя и кричала, раскачиваясь и рыдая:

— Чтоб ты опился, Симеон (она называла Сеньку его полным именем), водкой с крысиной отравой и сдох бы на блевотине! И чтобы ты пинал ногами собственную мать, старую гадюку Мириам, что породила такое исчадие и такого сатану! Чтобы все мальчики с Молдаванки наточили свои перочинные ножички и резали тебя на части двенадцать дней и двенадцать ночей! Чтоб ты, Сенька, горел огнем и лопнул от своего кипящего сала!

Вскоре Бабель узнал все о смерти Циреса.

Оказалось, что Цирес сам был виноват в своей гибели. Поэтому ни единая живая душа на Молдаванке не пожалела его, кроме тети Хавы. Ни единая живая душа! Потому что Цирес оказался бесчестным стариком и его уже ничто не могло спасти от смерти.

А дело было так.

Накануне дня своей гибели Цирес пошел к Сеньке Вислоухому.

Сенька брился в передней перед роскошным трюмо в черной витиеватой раме. Скосив глаза на Циреса, он сказал:

— Спутались с фраером, мосье Цирес? Поздравляю! Знаете новый, советский закон: если ты пришел к бреющемуся человеку, то скорее кончай свое дело и выматывайся. Даю вам для объяснения десять слов. Как на центральном телеграфе. За каждое излишнее слово я срежу вам ваш процент, так сказать, карбач, на двести тысяч рублей.

— Или вы с детства родились таким неудачным шутником, Сеня? — спросил, сладко улыбаясь, Цирес.— Или сделались им постепенно, по мере течения лет? Как вы думаете?

Цирес был трусоват в жизни и даже в делах, но в разговоре он мог себе позволить нахальство. Недаром он считался старейшим наводчиком в Одессе.

— А ну, рассказывайте, старый паяц,— сказал Сенька и начал водить в воздухе бритвой, как смычком по скрипке.— Рассказывайте, пока у меня не выкипело терпение.

— Завтра,— очень тихо произнес Цирес,— в час дня в артель «Конкордия» привезут четыре миллиарда.

— Хорошо! — так же тихо ответил Сенька.— Вы получите свой карбач. Без вычета.

Цирес поплелся домой. Поведение Сеньки ему не понравилось. Раньше Сенька в серьезных делах не позволял себе шуток.

Цирес поделился своими мыслями с тетей Хавой, и она, конечно, закричала:

— Сколько лет ты топчешься по земле, как последний дурак! Что ты отворачиваешься и смотришь на портрет Идочки? Я тебя спрашиваю, а не ее! Понятно, что Сеня не пойдет на такое дело. Будет он тебе мараться из-за четырех паскудных миллиардов! Ты на этом заработаешь дулю с маком — и все!

— А что же делать? — застонал Цирес.— Они сведут меня с ума, эти налетчики!

— Пойди до Пятирубеля. Может, он польстится на твои липовые миллиарды. Так, по крайности, не останешься в идиотах.

Старый Цирес надел люстриновый картузик и поплелся к Пятирубелю. Тот спал в садочке около дома, в холодке от куста белой акации.

Пятирубель выслушал Циреса и сонно ответил:

— Иди! Можешь рассчитывать на карбач.

Цирес ушел довольный. Он чувствовал себя как человек, застраховавший жизнь на чистое золото.

«Старуха права. Разве можно положиться на Сеню! Он капризный, как мотылек, как женщина в интересном положении. Что ему стоит согласиться, а потом, поигрывая бритвой, отказаться от дела, если оно представляется ему чересчур хлопотливым?»

Но старый, тертый наводчик Цирес ошибся в первый и в последний раз в жизни.

Назавтра в час дня у кассы артели «Конкордия» сошлись Сеня и Пятирубель. Они открыто посмотрели друг другу в глаза, и Сеня спросил:

— Не будешь ли так любезен сказать, кто тебя навел на это дело?

— Старый Цирес. А тебя, Сеня?

— И меня старый Цирес.

— Итак? — спросил Пятирубель.

— Итак, старый Цирес больше не будет жить! — ответил Сеня.

— Аминь! — сказал Пятирубель.

Налетчики мирно разошлись. По правилам, если два налетчика сходятся на одном деле, то дело отменяется.

Через сорок минут старый Цирес был убит у себя на квартире, когда тетя Хава вышла во двор вешать белье. Она не видела убийцы, но знала, что никто, кроме Сени или его людей, не смог бы этого сделать. Сеня никогда не прощал обмана.

На даче у Бабеля жило много народу: сам Бабель, его тихая и строгая мать, рыжеволосая красавица жена Евгения Борисовна, сестра Бабеля Мери и, наконец, теща со своим маленьким внуком. Все это общество Бабель шутливо и непочтительно называл «кодлом».

И вот в один из июльских дней в семье Бабеля произошло удивительное событие.

Для того чтобы понять всю, как говорят, «соль» этого происшествия, нужно сказать несколько слов о женитьбе Бабеля.

Отец Бабеля, суетливый старик, держал в Одессе небольшой склад сельскохозяйственных машин. Старик иногда посылал сына Исаака в Киев для закупки этих машин на заводе у киевского промышленника Гронфайна.

В доме Гронфайна Бабель познакомился с дочерью Гронфайна, гимназисткой последнего класса Женей, и вскоре началась их взаимная любовь.

О женитьбе не могло быть и речи: Бабель, студент, голодранец, сын среднего одесского купца, явно не годился в мужья богатой наследнице Гронфайна.

При первом же упоминании о замужестве Жени Гронфайн расстегнул сюртук, засунул руки за вырезы жилета и, покачиваясь на каблуках, испустил пренебрежительный и всем понятный звук: «П-с-с!» Он даже не дал себе труда выразить свое презрение словами: слишком много чести для этого невзрачного студента!

Влюбленным оставался только один выход — бежать в Одессу. Так они и сделали.

А дальше все разыгралось по ветхозаветному шаблону: старик Гронфайн проклял весь род Бабеля до десятого колена и лишил дочь наследства. Случилось как в знаменитых стихах Саши Черного «Любовь — не картошка». Там при подобных же обстоятельствах папаша Фарфурник с досады раскокал семейный сервиз, рыдающая мадам Фарфурник иссморкала десятый платок, а студент-соблазнитель был изгнан из дома и витиевато назван «провокатором невиннейшей девушки, чистой, как мак».

Но время шло. Свершилась революция. Большевики отобрали у Гронфайна завод. Старый промышленник дошел до того, что позволял себе выходить на улицу небритым и без воротничка, с одной только золотой запонкой на рубахе.

Но вот однажды до дома Гронфайна дошел ошеломляющий слух, что «этот мальчишка» Бабель стал большим писателем, что его высоко ценит (и дружит с ним) сам Максим Горький — «Вы только подумайте, сам Максим Горький!»,— что Бабель получает большие гонорары и что все, кто читал его сочинения, почтительно произносят слова: «Большой талант!» А иные добавляют, что завидуют Женечке, которая сделала такую хорошую партию.

Очевидно, старики просчитались, и настало время мириться. Как ни страдала их гордость, они первые протянули Бабелю, выражаясь фигурально, руки примирения. Это обстоятельство вырази-

лось в том, что в один прекрасный день у нас на 9-й станции неожиданно появилась приехавшая для примирения из Киева преувеличенно любезная теща Бабеля — старуха Гронфайн.

Она была, должно быть, не очень уверена в успехе своей щекотливой задачи и потому захватила с собой из Киева, для разрядки, внука — восьмилетнего мальчика Люсю. Лучше было этого не делать.

В семье Бабеля тещу встретили приветливо. Но, конечно, в глубине души у Бабеля осталась неприязнь к ней и к заносчивому старику Гронфайну. А теща, пытаясь загладить прошлую вину, даже заискивала перед Бабелем и на каждом шагу старалась подчеркнуть свое родственное расположение к нему.

Мы с Изей Лившицем часто завтракали по утрам у Бабеля, и несколько раз при этом повторялась одна и та же сцена.

На стол подавали вареные яйца. Старуха Гронфайн зорко следила за Бабелем и, если он не ел яиц, огорченно спрашивала:

— Бабель (она называла его не по имени, а по фамилии), почему вы не кушаете яички? Они вам не нравятся?

— Благодарю вас, я не хочу.

— Значит, вы не любите свою тещу? — игриво говорила старуха и закатывала глаза.— А я их варила исключительно для вас.

Бабель, давясь, быстро доедал завтрак и выскакивал из-за стола.

Мальчика Люсю Изя Лившиц прозвал «тот» мальчик. Что скрывалось под этим южным термином, объяснить было почти невозможно. Но каждый из нас в первый же день появления Люси испытал на собственной шкуре, что это действительно был «тот» мальчик.

У Люси с утра до вечера нестерпимо горели от любопытства тонкие уши, будто кто-то долго и с наслаждением их драл. Люся хотел знать все, что его не касалось. Он шпионил за Бабелем и нами с дьявольской зоркостью. Скрыться от него было немыслимо. Где бы мы ни были, через минуту мы замечали в листве тамарисков или за береговой скалой насквозь просвеченные солнцем Люсины уши.

Очевидно, от снедавшего его любопытства Люся был невероятно худ и костляв. У него с неестественной быстротой шныряли во все стороны черные, похожие на маслины глаза. При этом Люся задавал до тридцати вопросов в минуту, но никогда не дожидался ответа.

То был чудовищно утомительный мальчик с каким-то скачущим характером. Он успокаивался только во сне. Днем он все время дергался, прыгал, вертелся, гримасничал, ронял и разбивал вещи, носился с хищными воплями по саду, падал, катался на дверях, театрально хохотал, дразнил собаку, мяукал, вырывал себе от злости волосы, обидевшись на кого-нибудь, противно выл всухую, без слез, носил в кармане полудохлых ящериц с оторванными хвостами и крабов и выпускал их во время завтрака на стол, попрошайничал, грубил, таскал у меня лески и крючки и в довершение всех этих качеств говорил сиплым голосом.

— А это что? — спрашивал он.— А это для чего? А из этого одеяла можно сделать динамит? А что будет, если выпить стакан

чаю с морским песком? А кто вам придумал такую фамилию — Паустовский, что моя бабушка может ее правильно выговаривать только после обеда? Вы могли бы схватить конку сзади за крюк, остановить на полном ходу и потащить ее обратно? А что, если из крабов сварить варенье?

Легко представить себе, как мы «любили» этого мальчика. «Исчадие ада!» — говорил о нем Бабель, и в глазах его вспыхивал синий огонь.

Самое присутствие Люси приводило Бабеля в такое нервическое состояние, что он не мог писать. Он отдыхал от Люси у нас на даче и стонал от изнеможения. Он говорил Люсе «деточка» таким голосом, что у этого лопоухого мальчика, если бы он хоть что-нибудь соображал, волосы должны были бы зашевелиться на голове от страха.

Жаркие дни сменяли друг друга, но не было заметно даже отдаленных признаков отъезда тещи.

— Все погибло! — стонал Бабель и хватался за голову.— Все пропало! Череп гудит, как медный котел. Как будто это исчадие ада с утра до вечера лупит по мне палкой!

Все мы ломали голову над тем, как избавить Бабеля от Люси и его медоточивой бабушки. Но, как это часто бывает, Бабеля спас счастливый случай.

Однажды ранним утром я зашел к Бабелю, чтобы, как мы условились с вечера, вместе идти купаться.

Бабель писал за небольшим столом. У него был затравленный вид. Когда я вошел, он вздрогнул и, не оглядываясь, судорожно начал запихивать рукопись в ящик стола и чуть не порвал ее.

— Фу-у! — вздохнул он с облегчением, увидев меня.— А я думал, что это Люська. Я могу работать, только пока это чудовище не проснется.

Бабель писал химическим карандашом. Я никогда не мог понять, как можно писать этим бледным и твердым, как железный гвоздь, карандашом. По-моему, все написанное химическим карандашом получалось много хуже, чем написанное чернилами.

Я сказал об этом Бабелю. Мы заспорили и прозевали те несколько секунд, безусловно спасительных для нас, когда Люся еще не подкрался по коридору. Если бы мы не спорили, то могли бы вовремя скрыться.

Мы поняли, что пропали, когда Люся победоносно ворвался в комнату. Он тут же кинулся к письменному столу Бабеля, чтобы открыть ящик (там, как он предполагал, были спрятаны самые интересные вещи), но Бабель ловко извернулся, успел закрыть ящик на ключ, выхватить ключ из замка и спрятать его в карман.

После этого Люся начал хватать по очереди все вещи со стола и спрашивать, что это такое. Наконец он начал вырывать у Бабеля химический карандаш. После недолгой борьбы это ему удалось.

— А-а! — закричал Люся.— Я знаю, что это такое! «Карандаш-барабаш, все, что хочешь, то и мажь!»

Бабель задрожал от отвращения, а я сказал Люсе:

— Это химический карандаш. Отдай его сейчас же Исааку Эммануиловичу! Слышишь!

— Химический, технический, драматический, кавыческий! — запел Люся и запрыгал на одной ноге, не обратив на меня никакого внимания.

— О боже! — простонал Бабель.— Пойдемте скорее на берег. Я больше не могу.

— И я с вами,— крикнул Люся.— Бабушка мне позволила. Даю слово зверобоя. Хотите, дядя Изя, я приведу ее сюда и она сама вам скажет?

— Нет! — прорыдал Бабель измученным голосом.— Тысячу раз нет! Идемте!

Мы пошли на пляж. Люся нырял у берега, фыркал и пускал пузыри. Бабель пристально следил за ним, потом схватил меня за руку и сказал свистящим шепотом заговорщика:

— Вы знаете, что я заметил еще там, у себя в комнате?

— Что вы заметили?

— Он отломил кончик от химического карандаша и засунул себе в ухо.

— Ну и что же? — спросил я.— Ничего особенного не будет.

— Не будет так не будет! — уныло согласился Бабель.— Черт с ним. Пусть ныряет.

Мы заговорили о Герцене,— Бабель в то лето перечитывал Герцена. Он начал уверять меня, что Герцен писал лучше, чем Лев Толстой.

Когда мы, выкупавшись, шли домой и продолжали вяло спорить о Герцене, Люся забежал вперед, повернулся к нам, начал приплясывать, кривляться и петь:

Герцен-Мерцен сжарен с перцем!
Сжарен с перцем Герцен-Мерцен!

— Я вас умоляю,— сказал мне Бабель измученным голосом,— дайте этому байстрюку по шее. Иначе я за себя не отвечаю.

Но Люся, очевидно, услышал эти слова Бабеля. Он отбежал от нас на безопасное расстояние и снова закричал, паясничая.

— У-у-у, зараза! — стиснув зубы, прошептал Бабель. Никогда до этого я не слышал такой ненависти в его голосе.— Еще один день, и я или сойду с ума, или повешусь.

Но вешаться не пришлось. Когда все сидели за завтраком и старуха Гронфайн готовилась к своему очередному номеру с «яичком» («Бабель, так вы, значит, не любите свою тещу»), Люся сполз со стула, схватился за ухо, начал кататься по полу, испускать душераздирающие вопли и бить ногами обо что попало.

Все вскочили. Из уха у Люси текла мерзкая и темная жижа. Люся кричал без перерыва на одной ужасающей ноте, а около него метались, вскрикивая, женщины.

Паника охватила весь дом. Бабель сидел, как бы оцепенев, и испуганно смотрел на Люсю. А Люся вертелся винтом по полу и кричал:

— Больно, ой, больно, ой, больно!!

Я хотел вмешаться и сказать, что Люся врет, что никакой боли нет и быть не может, потому что Люся нырял, набрал себе в уши воды, а перед этим засунул себе в ухо...

Бабель схватил под столом мою руку и стиснул ее.

— Ни слова! — прошипел он.— Молчите про химический карандаш. Вы погубите всех.

Теща рыдала. Мери вытирала ватой фиолетовую жидкость, сочившуюся из уха. Мать Бабеля требовала, чтобы Люсю тотчас везли в Одессу к профессору по уху, горлу и носу.

Тогда Бабель вскочил, швырнул на стол салфетку, опрокинул чашку с недопитым чаем и закричал, весь красный от возмущения на невежественных и бестолковых женщин:

— Мамаша, вы сошли с ума! Вы же зарежете без ножа этого мальчика. Разве в Одессе врачи? Шарлатаны! Все до одного! Вы же сами прекрасно знаете. Коновалы! Невежды! Они начинают лечить бронхит и делают из него крупозное воспаление легких. Они вынимают из уха какого-нибудь комара и устраивают прободение барабанной перепонки.

— Что же мне делать, о господи! — закричала мадам Гронфайн, упала на колени, подняла руки к небу и зарыдала.— О господи, открой мне глаза, что же мне делать!

Люся бил ногами по полу и выл на разные голоса. Он заметно охрип.

— И вы не знаете, что делать? — гневно спросил Бабель.— Вы? Природная киевлянка? У вас же в Киеве живет мировое светило по уху, горлу и носу. Профессор Гринблат. Только ему можно довериться. Мой совет: везите ребенка в Киев. Немедленно!

Бабель посмотрел на часы.

— Поезд через три часа. Мери, перевяжи Люсе ухо. Потуже. Одевайте его. Я вас провожу на вокзал и посажу в поезд. Не волнуйтесь.

Теща с Люсей и Бабелем уехала стремительно. Тотчас же после их отъезда Евгения Борисовна начала без всякой причины хохотать и дохохоталась до слез. Тогда меня осенило, и я понял, что история с киевским светилом была чистой импровизацией. Бабель разыграл ее, как первоклассный актер.

С тех пор тишина и мир снизошли на 9-ю станцию Фонтана. Все мы снова почувствовали себя разумными существами. И снова вернулось потерянное ощущение крепко настоянного на жаре и запахе водорослей одесского лета.

А через неделю пришло из Киева письмо от тещи.

«Как вы думаете? — писала она возмущенно.— Что установил профессор Гринблат? Профессор Гринблат установил, что этот негодяй засунул себе в ухо кусок химического карандаша. И ничего больше. Ничего больше, ни единой соринки. Как это вам нравится?»

После происшествия с Люсей все ходили умиротворенные, в том настроении внутренней тишины, какое приносит выздоровление от тяжелой болезни. Изя называл это наше состояние «омовением души после трагедии».

Бабель начал много работать. Он теперь выходил из своей комнаты всегда молчаливый и немного грустный.

Я тоже писал, но мало. Мной овладело довольно странное и приятное состояние. Про себя я называл его «жаждой рассматривания». Такое состояние бывало у меня и раньше, но никогда оно не завладевало так сильно почти всем моим временем, как там, на Фонтане.

У Изи отпуск кончился. Он начал работать в «Моряке» и приезжал на дачу только к вечеру. Иногда он ночевал в Одессе. Я был, пожалуй, даже рад этому. Я бы, конечно, стеснялся заниматься при Изе постоянным и медленным разглядыванием того, что окружало меня, и тратить на какой-нибудь пустяк — колючую ветку или створку раковины — целые часы.

Никогда я еще не испытывал такого удовольствия от соприкосновения с мельчайшими частицами внешнего мира, как в то лето.

Чуть желтеющие от засухи июльские дни сливались в один протяжный, успокоительный день. Я часто лежал у себя в саду в скользящей тени акации и рассматривал на земле все то, что попадалось на глаза на расстоянии вытянутой руки.

Но чаще я уходил на берег подальше от жилья, переплывал на большую скалу метрах в сорока от пляжа и лежал на ней до сумерек. В скале была ниша. В ней можно было наполовину спрятаться от солнца, и до нее не доходила волна. С берега меня никто не мог заметить.

Я брал с собой книгу, но за весь день прочитывал только три-четыре страницы. Мне было некогда читать. Интереснее было ловить бычков или смотреть на старого краба.

Он часто выглядывал из-за выступа скалы и играл со мной в прятки. Как только мы встречались глазами, он тотчас же начинал сердито пятиться в шершавые красноватые водоросли, похожие на еловые ветки. Когда же я делал вид, что не замечаю его, он угрожающе подымал растопыренную клешню и осторожно подбирался ко мне, не спуская глаз с морковки, лежавшей рядом со мной (тогда мы питались преимущественно морковью и помидорами).

Однажды, когда я зачитался, он успел схватить морковку, упал с ней в воду и исчез, как камень, на дне. Через минуту морковка вынырнула. Краб всплыл вслед за ней и снова пытался ее схватить, но я щелкнул его бамбуковым удилищем по панцирю и он боком помчался в глубину. Мне даже показалось, что он вскрикнул от испуга. Во всяком случае, он с ужасом оглядывался на меня и вращал глазами.



И. Э. Бабель. Карикатура Б. Ефимова.

Краб исчез, но волна принесла к скале сломанную ветку цветущего дрока. Я опустил руку в воду, чтобы взять эту ветку, и удивился: ладонь моя была под водой, но солнце заметно согрело ее, хотя между ладонью и поверхностью моря был слой воды в несколько сантиметров.

Мне трудно передать удивительное ощущение солнечного жара, смягченного морской водой, прикосновения солнечной радиации к моим пальцам, между которыми переливалась зеленоватая упругая вода.

Это было ощущение, очевидно, близкое к счастью. Я не ждал ничего лучшего. Вряд ли окружающий мир мог мне дать что-либо еще более прекрасное, чем это легкое и дружеское его рукопожатие.

Я вытащил ветку дрока, лег плашмя на нагретый камень и положил ветку у самых своих глаз.

На Фонтанах дрок цвел по обрывистым берегам. Но особенно богато он разрастался около дачных оград, сложенных из ноздреватого песчаника. Дрок дружил с этим камнем. Он, очевидно, любил

жару. Горячие струйки воздуха вылетали из крошечных пор песчаника и создавали около оград уголки теплого, защищенного пространства.

Там дрок укреплялся и выбрасывал в вышину, как большой дикобраз, свои темно-оливковые стрелы-стволы.

Цветы дрока, рождаясь, тотчас же вбирали в себя, как кусочки нежнейшей мелкопористой губки, золотой цвет солнца.

Они хранили этот цвет, не ослабляя его яркости до поздней осени. Тогда его цветы наконец догорали над обрывами, подобно десяткам крошечных приморских маяков с золотым, далеко видным огнем.

Так постепенно я накапливал наблюдения. Все это были факты внешнего мира, но они быстро становились частицами моей собственной внутренней жизни.

Действительно, они ни на секунду не существовали вне моего сознания. Они тут же обрастали образами, густо покрывались каплями выдумки, как растение покрывается мельчайшей росой. За этой росой уже не видно самого растения, но все же ясно угадывается его форма.

Как-то мы разговорились об этом с Бабелем.

Мы сидели вечером на каменной ограде над обрывом. Цвел дрок. Бабель рассеянно бросал вниз камешки. Они неслись огромными скачками к морю и щелкали, как пули, по встречным камням.

— Вот вы и другие писатели,— сказал Бабель, хотя тогда я еще не был писателем,— умеете обволакивать жизнь, как вы выразились, росой воображения. Кстати, какая приторная фраза! Но что делать человеку, лишенному воображения? Например, мне?

Он замолчал. Снизу пришел сонный и медленный вздох моря.

— Бог знает, что вы говорите! — возмущаясь, сказал я.

Бабель как будто не расслышал моих слов. Он бросал камешки и долго молчал.

— У меня нет воображения,— упрямо повторил он.— Я говорю это совершенно серьезно. Я не умею выдумывать. Я должен знать все до последней прожилки, иначе я ничего не смогу написать. На моем щите вырезан девиз: «Подлинность!» Поэтому я так медленно и мало пишу. Мне очень трудно. После каждого рассказа я старею на несколько лет. Какое там к черту моцартианство, веселье над рукописью и легкий бег воображения! Я где-то написал, что быстро старею от астмы, от непонятного недуга, заложенного в мое хилое тело еще в детстве. Все это — вранье! Когда я пишу самый маленький рассказ, то все равно работаю над ним, как землекоп, как грабарь, которому в одиночку нужно срыть до основания Эверест. Начиная работу, я всегда думаю, что она мне не по силам. Бывает даже, что я плачу от усталости. У меня от этой работы болят все кровеносные сосуды. Судорога дергает сердце, если не выходит какая-нибудь фраза. А как часто они не выходят, эти проклятые фразы!

— Но у вас же литая проза,— сказал я.— Как вы добиваетесь этого?

— Только стилем,— ответил Бабель и засмеялся, как старик, явно кого-то имитируя, очевидно Москвина.— Хе-хе-хе-с, молодой человек-с! Стилем-с берем, стилем-с! Я готов написать рассказ о стирке белья, и он, может быть, будет звучать как проза Юлия Цезаря. Все дело в языке и стиле. Это я как будто умею делать. Но вы понимаете, что это же не сущность искусства, а только добротный, может быть, даже драгоценный строительный материал для него. «Подкиньте мне парочку идей,— как говорил один одесский журналист,— а я уж постараюсь сделать из них шедевр». Пойдемте, я покажу вам, как это у меня делается. Я скаред, я скупец, но вам, так и быть, покажу.

На даче было уже совсем темно. За садом рокотало, стихая к ночи, море. Прохладный воздух лился снаружи, вытесняя полынную степную духоту. Бабель зажег маленькую лампочку. Глаза его покраснели за стеклами очков (он вечно мучался глазами).

Он достал из стола толстую рукопись, написанную на машинке. В рукописи было не меньше чем двести страниц.

— Знаете, что это?

Я недоумевал. Неужели Бабель написал наконец большую повесть и уберег эту тайну от всех?

Я не мог в это поверить. Все мы знали почти телеграфную краткость его рассказов, сжатых до последнего предела. Мы знали, что рассказ больше чем в десять страниц он считал раздутым и водянистым.

Неужели в этой повести заключено около двухсот страниц густой бабелевской прозы? Не может этого быть?!

Я посмотрел на первую страницу, увидел название «Любка Казак» и удивился еще больше.

— Позвольте,— сказал я,— я слышал, что «Любка Казак» — это маленький рассказ. Еще не напечатанный. Неужели вы сделали из этого рассказа повесть?

Бабель положил руку на рукопись и смотрел на меня смеющимися глазами. В уголках его глаз собрались тонкие морщинки.

— Да,— ответил он и покраснел от смущения.— Это «Любка Казак». Рассказ. В нем не больше пятнадцати страниц. Но здесь все двадцать два варианта этого рассказа, включая и последний. А в общем в рукописи двести страниц.

— Двадцать два варианта? — пробормотал я, ничего не понимая.

— Слушайте! — сказал Бабель, уже сердясь.— Литература не липа! Вот именно! Несколько вариантов одного и того же рассказа! Какой ужас! Может быть, вы думаете, что это излишество! А вот я еще не уверен, что последний вариант можно печатать. Кажется, его можно еще сжать. Такой отбор, дорогой мой, и вызывает самостоятельную силу языка и стиля. Языка и стиля! — повторил он.— Я беру пустяк — анекдот, базарный рассказ — и делаю из него вещь, от которой сам не могу оторваться. Она играет. Она круглая, как морской голыш. Она держится сцеплением отдельных частиц. И сила этого сцепления такова, что ее не разобьет даже

молния. Его будут читать, этот рассказ. И будут помнить. Над ним будут смеяться вовсе не потому, что он веселый, а потому, что всегда хочется смеяться при человеческой удаче. Я осмеливаюсь говорить об удаче потому, что здесь, кроме нас, никого нет. Пока я жив, вы никому не разболтаете об этом нашем разговоре. Дайте мне слово. Не моя, конечно, заслуга, что неведомо как в меня, сына мелкого маклера, вселился демон или ангел искусства, называйте как хотите. И я подчиняюсь ему, как раб, как вьючный мул. Я продал ему свою душу и должен писать наилучшим образом. В этом мое счастье или мой крест. Кажется, все-таки крест. Но отберите его у меня — и вместе с ним изо всех моих жил, из моего сердца схлынет вся кровь, и я буду стоить не больше, чем изжеванный окурок. Эта работа делает меня человеком, а не одесским уличным философом.

Он помолчал и сказал с новым приступом горечи:

— У меня нет воображения. У меня только жажда обладать им. Помните, у Блока: «Я вижу берег очарованный и очарованную даль». Блок дошел до этого берега, а мне до него не дойти. Я вижу этот берег невыносимо далеко. У меня слишком трезвый ум. Но спасибо хоть за то, что судьба вложила мне в сердце жажду этой очарованной дали. Я работаю из последних сил, делаю все, что могу, потому что хочу присутствовать на празднике богов и боюсь, чтобы меня не выгнали оттуда.

Слеза блестела за выпуклыми стеклами его очков.

Он снял очки и вытер глаза рукавом заштопанного серенького пиджака.

— Я не выбирал себе национальности,— неожиданно сказал он прерывающимся голосом.— Я еврей, жид. Временами мне кажется, что я могу понять все. Но одного я никогда не пойму — причину той черной подлости, которую так скучно зовут антисемитизмом.

Он замолчал. Я тоже молчал и ждал, пока он успокоится и у него перестанут дрожать руки.

— Еще в детстве во время еврейского погрома я уцелел, но моему голубю оторвали голову. Зачем?.. Лишь бы не вошла Евгения Борисовна,— сказал он вполголоса.— Закройте тихонечко дверь на крючок. Она боится таких разговоров и может плакать потом до утра. Ей кажется, что я очень одинокий человек. А может быть, это и действительно так?

Что я мог ответить ему? Я молчал.

— Так вот,— сказал Бабель, близоруко наклонившись над рукописью.— Я работаю как мул. Но я не жалуюсь. Я сам выбрал себе это каторжное дело. Я как галерник, прикованный на всю жизнь к веслу и полюбивший это весло. Со всеми его мелочами, даже с каждым тонким, как нитка, слоем древесины, отполированной его собственными ладонями. От многолетнего соприкосновения с человеческой кожей самое грубое дерево приобретает благородный цвет и делается похожим на слоновую кость. Вот так же и наши слова, так же и русский язык. К нему нужно приложить теплую ладонь, и он превращается в живую драгоценность.

Но давайте говорить по порядку. Когда я в первый раз записываю какой-нибудь рассказ, то рукопись у меня выглядит отвратительно, просто ужасно! Это — собрание нескольких более или менее удачных кусков, связанных между собой скучнейшими служебными связями, так называемыми «мостами», своего рода грязными веревками. Можете прочесть первый вариант «Любки Казак» и убедитесь в том, что это беспомощное и беззубое вяканье, неумелое нагромождение слов.

Но тут-то и начинается работа. Здесь ее исток. Я проверяю фразу за фразой, и не единожды, а по нескольку раз. Прежде всего я выбрасываю из фразы все лишние слова. Нужен острый глаз, потому что язык ловко прячет свой мусор, повторения, синонимы, просто бессмыслицы и все время как будто старается нас перехитрить.

Когда эта работа окончена, я переписываю рукопись на машинке (так виднее текст). Потом я даю ей два-три дня полежать — если у меня хватит на это терпения — и снова проверяю фразу за фразой, слово за словом. И обязательно нахожу еще какое-то количество пропущенной лебеды и крапивы. Так, каждый раз наново переписывая текст, я работаю до тех пор, пока при самой зверской придирчивости не могу уже увидеть в рукописи ни одной крупинки грязи.

Но это еще не все. Погодите! Когда мусор выброшен, я проверяю свежесть и точность всех образов, сравнений, метафор. Если нет точного сравнения, то лучше не брать никакого. Пусть существительное живет само по себе в своей простоте.

Сравнение должно быть точным, как логарифмическая линейка, и естественным, как запах укропа. Да, я забыл, что, прежде чем выбрасывать словесный мусор, я разбиваю текст на легкие фразы. Побольше точек! Это правило я вписал бы в правительственный закон для писателей. Каждая фраза — одна мысль, один образ, не больше. Поэтому не бойтесь точек. Я пишу, может быть, слишком короткой фразой. Отчасти потому, что у меня застарелая астма. Я не могу говорить длинно. У меня на это не хватает дыхания. Чем больше длинных фраз, тем тяжелее одышка.

Я стараюсь изгнать из рукописи почти все причастия и деепричастия и оставляю только самые необходимые. Причастия делают речь угловатой, громоздкой и разрушают мелодию языка. Они скрежещут, как будто танки переваливают на своих гусеницах через каменный завал. Три причастия в одной фразе — это убиение языка. Все эти «преподносящий», «добывающий», «сосредоточивающийся» и так далее и тому подобное. Деепричастие все же легче, чем причастие. Иногда оно сообщает языку даже некоторую крылатость. Но злоупотребление им делает язык бескостным, мяукающим. Я считаю, что существительное требует только одного прилагательного, самого отобранного. Два прилагательных к одному существительному может позволить себе только гений.

Все абзацы и вся пунктуация должны быть сделаны правильно, но с точки зрения наибольшего воздействия текста на читателя,

а не по мертвому катехизису. Особенно великолепен абзац. Он позволяет спокойно менять ритмы и часто, как вспышка молнии, открывает знакомое нам зрелище в совершенно неожиданном виде. Есть хорошие писатели, но они расставляют абзацы и знаки препинания кое-как. Поэтому, несмотря на высокое качество их прозы, на ней лежит муть спешки и небрежности. Такая проза бывала у Андрея Соболя да и у самого Куприна.

Линия в прозе должна быть проведена твердо и чисто, как на гравюре.

Вас запугали варианты «Любки Казак». Все эти варианты — прополка, вытягивание рассказа в одну нитку. И вот получается так, что между первым и последним вариантами такая же разница, как между засаленной оберточной бумагой и «Первой весной» Боттичелли.

— Действительно каторжная работа,— сказал я.— Двадцать раз подумаешь, прежде чем решишься стать писателем.

— А главное,— сказал Бабель,— заключается в том, чтобы во время этой каторжной работы не умертвить текст. Иначе вся работа пойдет насмарку, превратится черт знает во что! Тут нужно ходить как по канату. Да, так вот...— добавил он и помолчал.— Следовало бы со всех нас взять клятву. В том, что никто никогда не замарает свое дело.

Я ушел, но до утра не мог заснуть. Я лежал на террасе и смотрел, как какая-то сиреневая планета, пробив нежнейшим светом неизмеримое пространство неба, пыталась, то разгораясь, то угасая, приблизиться к земле. Но это ей так и не удалось.

Ночь была огромна и неизмерима своим мраком. Я знал, что в такую ночь глухо светились моря и где-то далеко за горизонтом отсвечивали вершины гор. Они остывали. Они напрасно отдали свое дневное тепло мировому пространству. Лучше бы они отдали его цветку вербены. Ведь он закрыл в эту ночь свое лицо лепестками, как ладонями, чтобы спасти его от предрассветного холода.

Утром приехал из Одессы Изя Лившиц. Он приезжал всегда по вечерам, и этот ранний приезд меня удивил.

Не глядя мне в глаза, он сказал, что четыре дня назад, 7 августа, в Петрограде умер Александр Блок.

Изя отвернулся от меня и, поперхнувшись, попросил:

— Пойдите к Исааку Эммануиловичу и скажите ему об этом... я не могу.

Я чувствовал, как сердце колотится и рвется в груди и кровь отливает от головы. Но я все же пошел к Бабелю.

Там на террасе слышался спокойный звон чайных ложечек.

Я постоял у калитки, услышал, как Бабель чему-то засмеялся, и, прячась за оградой, чтобы меня не заметили с террасы, пошел обратно к себе на разрушенную дачу. Я тоже не мог сказать Бабелю о смерти Блока.

Этот первый случай кровной мести, который я видел воочию, вскоре соединился со вторым. В памяти эти два случая сохранились рядом и как бы слились. Поэтому я и пишу о них без временно́го разрыва.

От Сухума до Нового Афона ходили в то время так называемые мальпосты. Это было единственное средство сообщения с Афонским монастырем.

До войны по Кавказскому побережью ходили еще и дилижансы.

Дилижанс представлял собой громоздкую карету (проще говоря — колымагу). В нее запрягали четверку лошадей. Пассажиры тесно сидели внутри колымаги и на ее крыше — империале.

Кроме того, в дилижансе было устроено два сидячих места снаружи, на запятках. Там были приделаны маленькие железные сиденья, но без подпорки для ног. Тут же были привинчены железные ручки, чтобы пассажиры могли держаться за них и не вылететь от толчков на дорогу.

Еще в детстве, в Киеве, я видел такие дилижансы. Они ходили в Житомир, были выкрашены в желтый цвет, и на дверцах у них сияла медная накладная эмблема почтового ведомства — два скрещенных почтовых рожка и две пересекающиеся молнии. Очевидно, изображение молний указывало на участие электричества в деле почтовой связи.

Еще с тех лет, повитых туманом времени, я запомнил несчастные фигуры запяточных пассажиров, трясущихся на жестких сиденьях.

Одной рукой они судорожно держались за железную ручку, а другой придерживали пыльный котелок или картуз. В глазах у них было тупое отчаяние.

От невыносимой тряски по булыжной мостовой в одежде у этих пассажиров все расстегивалось и развязывалось. Ни разу я не видел их без того, чтобы у них не болтались из-под брюк тесемки от кальсон и пиджаки бы не налезали горбом на голову.

Мы, мальчишки, были уверены, что на запятках ездят только шулера и маклаки. Но, несмотря на невообразимые мучения, какие на наших глазах испытывали эти пассажиры, мы им даже завидовали.

Я, например, мечтал, чтобы на пятачки, сбереженные из родительских выдач на завтраки, купить билет в дилижанс до Житомира и тарахтеть среди сосновых лесов, громыхать по шатким мостам через заболоченные речки и отбиваться ногами от осатанелых деревенских собак.

Ноги у запяточных пассажиров висели без всякой опоры, болтались из стороны в сторону и невероятно раздражали собак.

Таков был широкий, уемистый и даже несколько величественный в своей неуклюжести дилижанс.

Рядом с дилижансом мальпост (обыкновенная линейка на шесть человек, где пассажиры сидели спиной друг к другу) казался соору-

жением хлипким, дребезжащим от неуверенности в себе, но с претензией на некоторый шик. Каким бы обшарпанным он ни выглядел, над ним на двух железных шкворнях всегда был натянут полотняный навес от солнца с красными бархатными помпончиками по краям.

На таком мальпосте мы как-то ехали с Бабелем из Сухума в Новый Афон. Бабель к тому времени уже перебрался из Одессы в Батум и жил там, утопая в буйных тропических зарослях Зеленого Мыса.

Как Бабель попал на несколько дней из Батума в Сухум, этого я не помню. Скажу только, что любознательность Бабеля разрушала все преграды.

Итак, мы ехали в Новый Афон с попутчиками. Среди них был толстый курносый человек в маленькой жокейской кепке. Он пробирался в Новый Афон, где надеялся устроиться счетоводом.

Кроме курносого с нами ехала волоокая, тучная девица в тугом черном платье. На каждом ухабе это платье издавало зловещий треск. При этом девица каждый раз испуганно вскрикивала: «Уй-мэ!», «Уй-мэ!» — и натягивала платье на коленные чашки величиной со средние желтые тыквы.

Рядом с ней сидел подслеповатый юноша из интеллигентов, в золотом пенсне. Когда мальпост наклонялся на поворотах, длинные ноги этого юноши соскакивали с подножки и скребли по земле, подымая густую пыль.

Без всякого побуждения с нашей стороны он объяснил нам, что пенсне досталось ему в наследство от деда — единственного дантиста в Сухуме, а он, юноша, едет в монастырь в надежде устроиться там певчим. У него очень высокий тенор, а в монастыре, по его сведениям, здорово кормят, иногда даже дают рыбный холодец.

Последним пассажиром был неопределенного возраста человек с землистым лицом, в выгоревшей солдатской гимнастерке. На наши расспросы человек этот отвечал неохотно и непонятно, и мы решили оставить его в покое.

Я так подробно описываю попутчиков, что читатель может подумать, будто все эти люди сделаются героями дальнейших событий. Ничего подобного. Никто из них не сделается героем. Описываю же я их так обстоятельно только потому, что Бабель несколько раз показывал потом этих людей в лицах. Я смеялся до слез. Поэтому я так хорошо и запомнил этих попутчиков.

Мы ехали не торопясь, наслаждаясь жарой и созревшей шелковицей. Она густо усыпала дорогу.

Изредка мы обгоняли буйволов, волочивших арбы. Каждый раз мне казалось, что буйволы идут не вперед, а назад,— так медленно и неохотно они переставляли ноги.

При каждой встрече с буйволами юноша в пенсне произносил одну и ту же фразу, цитируя не то Фенимора Купера, не то Майн Рида:

— «Когда стадо буйволов машет хвостами, отгоняя мух, дикий ветер бушует над прерией».

А возница — сытый мингрел — только причмокивал от восхищения губами:

— Ай, как ты говоришь красиво, кацо! Прямо как в песне!

Так мы ехали в одури летнего дня, ослепленные белым блеском моря, и не ждали никаких событий. Но они случились, как всегда, внезапно.

Начались они с настигавшего нас дробного стука подков.

Мы оглянулись. Нас догонял молодой всадник неправдоподобной красоты — смуглый, тонкий и томный, как баядерка. Всадник был туго обтянут бордового цвета черкеской и белыми костяными газырями. Маленькая кубанка была надвинута ему на глаза. Кроме кинжала у него на боку висел тяжелый маузер.

Гнедой конь, екая селезенкой, быстро обогнал нас размашистой рысью. Позади всадника скакал запыленный ординарец.

Когда всадник поравнялся с нами, мы увидели его окаменелое лицо и глаза, как у слепого, исступленно смотревшие в одну точку.

— Инал-Ипа! — вполголоса сказал возчик.— Большой начальник! Комиссар!

— Чего комиссар? — спросил Бабель.

— Чрезвычайна комиссия,— таинственно подмигивая нам, проговорил возница.— Комиссия Чрезвычайна!

— Уй-мэ! — с уважением воскликнула девица и обтянула платье на своих могучих коленках.

Все были взволнованы этой встречей, кроме человека в гимнастерке. Он скрутил папиросу, выбил из кремня огонь, затянулся и неохотно заметил:

— Видали мы и не таких фазанов...

Он осекся и замолчал. Мы подъезжали к селению Эшеры. Оно лежало на половине пути между Сухумом и Новым Афоном.

И вот из этого селения донесся короткий треск пистолетных выстрелов. Потом, казалось — прямо в небо, рванулся отчаянный крик многих людей. Вслед за криком захлопали и затрещали торопливые выстрелы, и пуля, ударив в дорогу рядом с нами, метнулась в сторону, взвизгнула, подняла полоску пыли и исчезла.

— Уй-мэ! — закричала девица, подобрала ноги и прижалась к долговязому юноше.

Несколько пуль резво свистнуло над нашими головами, и мы снова услышали топот подков. Теперь он был захлебывающийся, неистовый. Казалось, что подковы отлетают от копыт из-за этой стремительной скачки и несутся, свистя, вдоль дороги.

— Похоже, что пальба,— уныло определил человек в гимнастерке.— Надо бы лечь за камень.

Но он не двинулся с места.

Бабель снял очки и начал смеяться. Лицо его покрылось множеством морщинок, особенно около глаз.

— Вы чего? — спросил я.

— Готовая глава,— ответил он и закашлялся,— из романа Немировича-Данченко «Среди пороховых легенд и седого дыма». Или из его же романа...

Но Бабель не успел досказать, из какого другого романа Немировича-Данченко была эта глава. Очевидно, действие главы еще не окончилось. Бабель замолк потому, что увидел, так же как и все мы, что Инал-Ипа бешено скачет нам навстречу, уже со стороны Эшер и совсем не в таком виде, как пять минут назад.

Он потерял кубанку. Волосы у него спутались и падали на глаза. Он бил своего коня рукояткой пистолета по жилистой мокрой шее. Конь нес его бешеным карьером как-то боком, как бы оглядываясь назад.

Следом за Инал-Ипой скакал тот же запыленный ординарец и на ходу отстреливался.

Всадники промчались с быстротой призраков. Пальба стихла. Возчик встал с земли и перекрестился.

— Похоже, что в Эшерах восстание,— заметил человек в гимнастерке.— Горцам к этому не привыкать.

Никто из нас ничего не понимал. Надо было решать, что делать дальше: ехать ли через Эшеры в Новый Афон или возвращаться в Сухум.

Курносый, не дождавшись общего решения, вылез из кустов и пошел обратно в Сухум.

— Уй-мэ! — гневно крикнула девица и щедро плюнула вслед курносому.

Этот плевок решил дело. Мы постановили ехать дальше. Всем хотелось узнать, что случилось в Эшерах. Возница вздохнул, и мальпост, дребезжа развинченными гайками, двинулся навстречу своей неизвестной судьбе.

За поворотом шоссе мы встретили вооруженных эшерцев. Они не остановили нас и ни о чем не спрашивали. Вряд ли они даже заметили нас — так они были возбуждены.

В Эшерах все население толпилось на улице. Женщины голосили, стоя на порогах домов, царапали себе в кровь лица и рвали волосы. Дети бежали к сельской площади. Посреди площади рос огромный вяз. Туда же, к вязу, торопливо шли мужчины, яростно жестикулируя и разряжая на ходу обрезы и карабины.

Под вязом лежал юноша лет пятнадцати, не больше. Голова его была прислонена к седлу.

Рубаха на груди юноши была разорвана, и в ложбинку над впалым животом натекла лужица крови.

Юноша был мертв. Вокруг него стояли, опираясь на узловатые посохи, сельские старейшины. Они смотрели на мертвого и молчали. Люди, подходя к убитому, тоже замолкали, и лишь время от времени кто-нибудь подымал над головой кулак и кричал что-то гортанное и зловещее,— должно быть, проклятие убийце.

Маленькая девочка в длинной черной юбке сидела рядом и, не спуская глаз с мертвого, сгоняла мух с его лица отломанной веткой.

Возница поговорил с эшерцами. Слушая их ответы, он преувеличенно сокрушался, бил себя руками по пыльным шароварам и ненатурально закатывал глаза. При этом виднелись его коричневые белки.

Тогда в Абхазии еще не всюду существовал советский народный суд. В большинстве селений еще сидели старейшины. Законами были обычаи и собственное разумение.

Суд старейшин всегда собирался под вековым священным деревом — дубом или вязом.

В это утро старейшины сошлись, чтобы судить юношу, укравшего седло. Девочка, как заводная, махала веткой над его головой. Иногда ветка задевала широкое стремя на седле, и тогда возникал тихий звон. Он напоминал долгие, мерные звуки похоронного колокола.

Инал-Ипа узнал о краже седла и прискакал из Сухума в Эшеры, чтобы присутствовать на суде.

Здесь, на суде, он встретился со злейшими своими врагами — князьями Эмухвари.

Что произошло дальше, никто в точности не мог нам объяснить. Между братьями Эмухвари и Инал-Ипой началась перестрелка. В этой перестрелке неизвестно кем был убит юноша, укравший седло.

Эмухвари закричал, что юношу застрелил Инал-Ипа, совершив беззаконие и надругавшись над судом старейшин. Застрелил он юношу якобы потому, что его род был в кровной вражде с родом этого юноши.

Мужчины схватились за оружие. Но Инал-Ипа успел ускакать.

За Эшерами дорога оказалась совершенно разбитой. Мы слезли с мальпоста и пошли дальше пешком.

День будто окунули в безмолвие. Даже цикады молчали, и не звучала жара. Обыкновенно она издает тихий писк, подобно воде, когда та просачивается в узкую щель.

Море тоже молчало, перегретое солнцем. Оно постепенно затягивалось паром.

В монастыре было безлюдно. В саду, в маленьких цементных бассейнах, куда отводили из горного ручья воду для поливки, плавали золотые рыбки. Очевидно, они голодали, потому что тотчас собирались стаями у того края бассейна, где останавливались люди. Вокруг сильно, по-церковному, пахло нагретым кипарисом.

В соборе шли еще службы, но монахов в монастыре осталось всего несколько человек. Ими распоряжался отец келарь — рыжий, конопатый, с брезгливым голосом.

Он отвел нас в пустую и гулкую гостиницу и дал комнату. Тучная девица попрощалась и ушла в какой-то поселок в горах, к своему брату, юноша в пенсне и человек в гимнастерке исчезли.

— Вас, как людей образованных,— сказал отец келарь, посмотрев наши удостоверения,— прошу держаться в рамках. Здесь, в соседнем номере, помещается госпожа Нелидова. Больше в гостинице никого нету. Она прибыла к нам, дабы отдохнуть от мирского безобразия и скверны. Светская, по-монашески настроенная женщина. Пешком пришла из Сухума. По обету. Вся в правилах и очень строга. Ходит в черном. Как инокиня.

— Да-а,— сказал Бабель.— Видно, кремень старушка.

Отец келарь усмехнулся.

— Что вы, гражданин! — сказал он укоризненно.— Ей от силы тридцать лет. Весьма привлекательная дама. Но предупреждаю: строга.

Келарь скосил глаза в сторону и сказал деловым тоном:

— У нас в трапезной, молодые люди, можете приобрести хлеб и холодец, а у меня в кладовой — вино маджарку. Милости просим! Я сам виночерпий и винодел, так что за маджарку ручаюсь. Других вин в соответствии с ходом событий пока что не делаем.

Всякие вина есть на свете. Я перепробовал много вин, но такого бешеного вина, как маджарка, не встречал.

Если на Новом Афоне нам обоим мерещилась всякая чертовщина, то, конечно, только от этого мутноватого вина. А может быть, еще и оттого, что мы уверяли себя, будто никакие земные тревоги не смогут добраться сюда даже на злополучном мальпосте.

В монастырской гостинице мы с Бабелем много говорили и наконец выяснили, что человеку иногда не хватает беспечности. Мы были молоды тогда, шутливы, и нам нравилось так думать.

Когда человек беспечен, то все прекрасное оказывается рядом с ним и часто сливается в один пенистый, сверкающий поток,— все прекрасное: хохот и раздумье, блесткая шутка и нежное слово, от которого вздрагивают женские губы, стихи и бесстрашие, извлечения из любимых книг и песни. И еще многое другое, чего я не успею здесь перечислить.

Нашу молодость и пристрастие к выдумкам мы решили подкрепить молодым вином — маджаркой. Это было вино для бедных, очень дешевое. Маджарка действует беспрерывно, с утра до вечера. А потом, рано утром, стоит только выпить стакан холодной воды (лучше всего из ручья), как опьянение начинается снова и тянется почти весь день. В этом случае оно бывает особенно светлым.

В общем, я сходил к отцу келарю и принес в номер, пропахший кислой капустой, пять бутылок маджарки.

Возвращаясь с бутылками, я встретил в темноватом коридоре молодую монахиню. От неожиданности я уронил одну бутылку.

Молодая монахиня не дрогнула. Она прошла мимо, опустив неестественно длинные ресницы, и черный кашемир ее платья случайно прикоснулся к моей руке. От него пахнуло душистым теплом.

Монахиня чуть покачивалась на высоких бедрах. Я не рассмотрел в полутьме ее лица. Заметил только, что оно было покрыто той матовой бледностью, какая всегда считалась непременным условием женской красоты (для этого, очевидно, и была придумана пудра). Я не заметил и ее волос — они были спрятаны под черной косынкой.

Мне показалось, что, немного отойдя от меня, молодая монахиня издала короткий звук, похожий на сдержанный смех.

Дело в том, что у себя в кладовой отец келарь дал мне попробовать маджарки. Мы выпили с ним по доброму стакану, и потому

свое волнение при встрече с монахиней — это, конечно, была Нелидова — я объяснил быстрым действием этого вина.

На стук упавшей и покатившейся бутылки Бабель открыл дверь из номера и выглянул в коридор.

— Вот! — сказал он с торжеством.— Я так и знал, что вы разобьете...

Но он не окончил, замолчал и уставился в глубину коридора. Туда падал отблеск заката, и в его дымном сиянии шла спиной к нам, колеблясь и удаляясь, молодая женщина.

— Апофеоз женщины! — неожиданно сказал Бабель.— Пошлое слово «апофеоз», но если бы у меня хватило остроты нервов, я написал бы такую вещь для прославления женщины, что Черное море от Нового Афона до самых Очемчир покрылось бы розовой пеной. И из нее вышла бы вторая, русская Афродита. А мы с вами, глупые нищие, пыльные, изъеденные проказой цивилизации, встретили бы ее приход слезами. И испытали бы счастье прикоснуться с благоговением даже к холодному маленькому ногтю на ее ноге. К холодному маленькому ногтю.

— Бред! — сказал я Бабелю.— Вы же еще не пили маджарки?

— Конечно, бред! — ответил он и распахнул окно.— Идите-ка лучше сюда!

С треснувшей рамы посыпались засохшие мухи и ночные бабочки.

И тотчас в окно вошел величавый ропот моря, порожденный тысячами набегающих волн. Они как будто колыхали золотой жар заходящего солнца и несли сохранившиеся среди этих необъятных вод в течение столетий и тысячелетий запахи мрамора и олив, горных склонов с высохшей до пепла травой и островов, где шелестят крупными листьями смоковницы.

«Кого мы должны благодарить за это чудо, которое нам так щедро дано? — подумал я.— За жизнь?»

Не знаю, может быть, я подумал не так гладко, как написано здесь, даже наверное не так гладко, но я мог подумать и так.

Я сидел на подоконнике и смотрел на закат. И мне казалось тогда, что я самый счастливый, даже несправедливо счастливый человек на всем свете.

С Нелидовой мы так и не познакомились: на следующий день шел в Сухум моторный дубок «Лев Толстой», и мы, боясь застрять в Афоне, уехали на нем, не испытывая особого сожаления.

Горы слишком близко прижимали монастырь к морю, теснили его, почти сталкивали в воду. В гостинице пахло прогорклым постным маслом и уборными. Собор был расписан сладенькими картинами из Ветхого и Нового завета. На этих картинках все люди были в голубых и розовых одеждах и возводили очи к куполу. Там парил, сидя на пухлом облаке, седобородый и хмурый бог Саваоф. Из-под подола его хламиды виднелись толстые ноги в обыкновенных кожаных сандалиях. Очевидно, художник не решился изобразить Саваофа босиком.

Нелидову я снова встретил рано утром в день отъезда в унылом

коридоре. Голова ее была в папильотках, от нее пахло паленой бумагой, и я не заметил в этой женщине вчерашней прелести.

Увидев ее припухлое лицо, я почувствовал глухое раздражение, а Бабель, ядовито блеснув глазами, сказал:

— Вот что делает маджарка, молодой человек.

Бабель прожил в Сухуме всего пять дней и уехал к себе в Батум. И снова я остался в томительном одиночестве.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О БАБЕЛЕ

Мы верим в первое впечатление. Принято думать, что оно безошибочное. Мы убеждены, что, сколько бы раз ни меняли свое мнение о человеке, все равно рано или поздно мы возвратимся к первому впечатлению.

Веру в первое впечатление ничем нельзя объяснить, кроме убежденности человека в собственной проницательности. В своей жизни я часто проверял это «первое впечатление», но всегда с переменным успехом.

Часто первое впечатление задает нам хитрые загадки.

В обстановке некоторой загадочности и моего изумления и произошла моя первая встреча с Бабелем. Это было в 1925 году под Одессой, в дачной местности Средний Фонтан.

К западу от Одессы тянется на много километров в сторону открытого моря полоса старых садов и дач. Вся эта местность носит название Фонтанов (Малый, Средний и Большой Фонтаны), хотя никаких фонтанов там нет. Да, кажется, и не было.

Дачи на Фонтанах назывались, конечно, «шикарно», по-одесски — «виллами». Вилла Вальтуха, вилла Гончарюка, вилла Шаи Крапотницкого.

Вся полоса Фонтанов была разбита на станции (по числу остановок трамвая) — от 1-й станции до 16-й.

Станции Фонтанов ничем особенно не отличались друг от друга (сады, дачи, крутые спуски к морю, заросли дрока, разрушенные ограды и снова сады), кроме разного запаха и разной густоты воздуха.

На 1-й станции в окна трамвая влетал сухой дух перестоявшейся лебеды и ботвы помидоров. Объяснялось это тем, что 1-я станция находилась еще на окраине города, в черте его огородов и пустырей. Там в пропыленной траве сверкали, как тысячи игрушечных солнц, бесчисленные осколки стекла. Особенно красивыми, изумрудными искрами вспыхивали битые пивные бутылки.

С каждым километром линия трамвая отходила от городских окраин и приближалась к морю, пока на 9-й станции до нее не начинал уже явственно достигать свежий прибойный гул.

Вскоре этот гул и запах скал, облитых морем и просыхающих на солнце, распространялся далеко вокруг вместе со сладким чадом скумбрии. Ее жарили на железных листах. Листы эти обитатели Фонтанов сдирали с крыш заброшенных дач и сторожек.

А за 16-й станцией воздух внезапно менялся — из бледного и как бы утомленного он превращался в плотную, глухую синеву. Синева эта без устали гнала от самого Анатолийского берега на большефонтанские пески шумящие волны.

На 9-й станции я снял на лето веранду на заколоченной даче. Рядом, через дорогу, жил Бабель с женой — рыжеволосой красавицей Евгенией Борисовной и сестрой Мери. Сестру все ласково звали Мэрочкой.

Мэрочка «до невозможности», как говорят в Одессе, была похожа на брата и безропотно выполняла все его поручения. А у Бабеля их было много, и притом самых разнообразных — от переписки на колченогой машинке его рукописей до схваток с назойливыми и нагловатыми поклонницами и поклонниками. Уже в то время они целыми отрядами приезжали из города «посмотреть на Бабеля» и приводили этим Бабеля в трепет и негодование.

Бабель недавно вернулся из Конармии, где служил простым бойцом под фамилией Лютов. Рассказы Бабеля уже печатались во многих журналах — в горьковской «Летописи», в «Лефе», в «Красной нови» и в одесских газетах. За Бабелем толпами бегали одесские литературные мальчики. Они раздражали его не меньше поклонниц.

Слава шла об руку с ним. В наших глазах он уже стал литературным метром и к тому же непререкаемым и насмешливым мудрецом.

Иногда Бабель звал меня к себе обедать. Общими силами на стол втаскивали («Эх, взяли! Еще раз взяли!») громаднейшую алюминиевую кастрюлю с жидкой кашей. Кастрюлю эту Бабель называл «патриархом», и каждый раз, когда она появлялась, глаза его плотоядно блестели.

Так же они блестели, когда он читал мне вслух на пляже стихи Киплинга, или «Былое и думы» Герцена, или неведомо как попавший к нему в руки рассказ немецкого писателя Эдшмида «Герцогиня». То был рассказ о вздернутом на виселицу за разбой средневековом французском поэте Франсуа Вийоне и о его трагической любви к монахине-герцогине.

Кроме того, Бабель любил читать поэму Артюра Рембо «Пьяный корабль». Он великолепно читал эти стихи по-французски, читал настойчиво, легко, как бы окуная меня в их причудливый слог и столь же причудливо льющийся поток образов и сравнений.

— Кстати,— заметил однажды Бабель,— Рембо был не только поэтом, но и авантюристом. Он торговал в Абиссинии слоновыми бивнями и умер от слоновой болезни. В нем было нечто общее с Киплингом.

— Что? — спросил я.

Бабель сразу не ответил. Сидя на горячем песке, он бросал в воду плоские голыши.

Любимым нашим занятием в то время было бросать голыши — кто дальше? — и слышать, как они со звуком откупориваемой бутылки шампанского врезаются в воду.

— В журнале «Сатирикон»,— сказал Бабель без всякой связи

с предыдущими своими словами,— печатался талантливейший сатирический поэт Саша Черный.

— Я знаю, «Арон Фарфурник застукал наследницу-дочку с голодранцем-студентом Эпштейном».

— Нет! Это не то! У него есть стихи очень печальные и простые. «Если нет, то ведь были же, были на свете и Бетховен, и Гейне, и Пушкин, и Григ». Настоящая его фамилия была Гликберг. Я вспомнил о нем потому, что мы только что бросали голыши в море, а он в одном из стихотворений сказал так: «Есть еще острова одиночества мысли. Смелым будь и не бойся на них отдыхать. Там угрюмые скалы над морем нависли,— можно думать и камешки в воду бросать».

Я посмотрел на Бабеля. Он грустно улыбнулся.

— Он был тихий еврей. Я тоже был таким одно время, пока не начал писать. И не понял, что литературу ни тихостью, ни робостью не сделаешь. Нужны цепкие пальцы и веревочные нервы, чтобы отрывать от своей прозы, с кровью иной раз, самые любимые тобой, но лишние куски. Это похоже на самоистязание. Зачем я полез в это каторжное писательское дело! Не понимаю! Я мог, как мой отец, заняться сельскохозяйственными машинами, разными молотилками и веялками Мак-Кормика. Вы видели их? Красавицы, пахнущие элегантной краской. Так и слышишь, как на их ситах шелком шуршит сухая пшеница. Но вместо этого я поступил в Психоневрологический институт только для того, чтобы жить в Петрограде и кропать рассказики. Писательство! Я тяжелый астматик и не могу даже крикнуть как следует. А писателю надо не бормотать, а говорить во весь голос. Маяковский небось не бормотал, а Лермонтов, так тот просто бил наотмашь по морде своими стихами потомков «известной подлостью прославленных отцов...».

Уже потом я узнал, как умер Саша Черный. Он жил в Провансе, в каком-то маленьком городке у подножья Приморских Альп, вдалеке от моря. Оно только голубело вдали, как мглистая бездна.

Городок вплотную окружали леса из пиний — средиземноморской сосны, пахучей, смолистой и пышущей жаром.

Сотни людей с больными легкими и сердцем приезжали в эти леса, чтобы дышать их целебным бальзамическим воздухом. И те, кому было обещано врачами всего два года жизни, жили после этого иной раз много лет.

Саша Черный жил очень тихо, ковырялся у себя в крошечном саду, радовался горячему шелесту пиний, когда с моря, должно быть из Корсики, налетал ровный ветер.

Однажды кто-то из небрежных, вернее, преступных людей бросил, закурив, непогашенную спичку, и тотчас лес около городка выдохнул дым и пламя.

Саша Черный первым бросился гасить этот пожар. За ним бросилось все население городка.

Пожар остановили, но Саша Черный через несколько часов умер в маленькой больнице этого городка от сердечного потрясения.

...Мне трудно писать о Бабеле.



И. Э. Бабель. 20-е годы.

Прошло много лет со времени моего знакомства с ним на Среднем Фонтане, но до сих пор он мне кажется, как и при первой встрече, человеком слишком сложным, все видящим и все понимающим.

Это обстоятельство всегда стесняло меня при встречах с ним. Я чувствовал себя мальчишкой, побаивался его смеющихся глаз и его убийственных насмешек. Только раз в жизни я решился дать ему «на оценку» свою ненапечатанную вещь — повесть «Пыль земли фарсистанской».

По милости Бабеля мне пришлось писать эту повесть дважды, так как он потерял ее единственный экземпляр. (Еще с тех давних пор у меня осталась привычка, окончив книгу, уничтожать черновики и оставлять себе один экземпляр, переписанный на машинке. Только тогда ко мне приходило чувство, что книга действительно окончена,— блаженное чувство, длившееся, к сожалению, не дольше нескольких часов.)

Я с отчаянием начал писать эту повесть второй раз с самого начала. Когда я ее дописал (это была тяжкая и неблагодарная работа), то почти в тот же день Бабель рукопись нашел.

Он принес ее мне, но держал себя не как обвиняемый, а как

обвинитель. Он сказал, что единственное достоинство этой повести — это то, что написана она со сдержанной страстью. Но тут же он показал мне куски, полные восточных красок, «рахат-лукума», как он выразился. И тут же изругал меня за ошибку в цитате из Есенина.

— От многих слов Есенина болит сердце,— сказал он сердито.— Нельзя так беззаботно относиться к словам поэта, если вы считаете себя прозаиком.

Мне трудно писать о Бабеле еще и потому, что я много писал о нем в своих автобиографических книгах. Мне все кажется, что я исчерпал его, хотя это, конечно, неверно. В разное время я вспоминаю все новые и новые высказывания Бабеля и разные случаи из его жизни.

Впервые рассказы Бабеля я читал в его рукописях. Я был поражен тем обстоятельством, что слова у Бабеля, одинаковые со словами классиков, со словами других писателей, были более плотными, более зрелыми и живописными. Язык Бабеля поражал, или, вернее, завораживал, необыкновенной свежестью и сжатостью. Этот человек видел и слышал жизнь с такой новизной, на какую мы были не способны.

О многословии Бабель говорил с брезгливостью. Каждое лишнее слово в прозе вызывало у него просто физическое отвращение. Он вымарывал из рукописи лишние слова с такой злобой, что карандаш рвал бумагу.

Он почти никогда не говорил о своей работе «пишу». Он говорил «сочиняю». И вместе с тем он несколько раз жаловался на отсутствие у себя сочинительского дара, на отсутствие воображения. А оно, по его же словам, было «богом прозы и поэзии».

Но, как бы ни были реальны, порой натуралистичны герои Бабеля, вся обстановка и все случаи, описанные им, все «бабелевское» происходило в мире несколько смещенном, иной раз почти невероятном, даже анекдотичном. Из анекдота он умел сделать шедевр.

Несколько раз он кричал в раздражении на самого себя: «Чем держатся мои вещи? Каким цементом? Они же должны рассыпаться при первом толчке. Я же сплошь и рядом начинаю с утра описывать пустяк, деталь, частность, а к вечеру это описание превращается в стройное повествование».

Он сам себе отвечал, что его вещи держатся только стилем, но тут же смеялся над собой: «Кто поверит, что рассказ может жить одним стилем, без содержания, без сюжета, без интриги? Дикая чепуха».

Писал он медленно, всегда тянул, опаздывал сдавать рукописи. Поэтому для него обычным состоянием был ужас перед твердыми сроками и желание вырвать хоть несколько дней, даже часов, чтобы посидеть над рукописью и все править и править без понуканий и помех. Ради этого он шел на что угодно — на обман, на сидение в какой-нибудь немыслимой глухой дыре, лишь бы его не могли найти и ему помешать.

Одно время Бабель жил в Загорске, под Москвой. Адрес свой он никому не давал. Увидеть его можно было только после сложных переговоров с Мери. Однажды Бабель все же зазвал меня к себе в Загорск.

Бабель подозревал, что в этот день может нагрянуть какой-то редактор, и тотчас ушел со мной в заброшенный древний скит.

Там мы отсиживались, пока не прошли из Москвы все опасные поезда, с какими мог бы приехать редактор. Бабель все время ругался на жестоких и недогадливых людей, не дававших работать. Потом он послал меня на разведку — прошла ли редакторская опасность, или надо еще отсиживаться. Опасность еще не прошла, и мы сидели в скиту очень долго, до сизых сумерек.

Я всегда считал Бабеля истым южанином, черноморцем и одесситом и втайне удивился, когда он сказал, что сумерки в Средней России — лучший час суток, самый «обворожительный» и прозрачный час, когда ложатся в нежнейшем воздухе едва заметные тени от ветвей и вот-вот над краем леса, неожиданно, как всегда, возникнет серп месяца. И где-то далеко прогремит выстрел охотника.

— Почему-то,— заметил Бабель,— все вечерние выстрелы кажутся нам очень отдаленными.

Мы говорили потом о Лескове. Бабель вспомнил, что невдалеке от Загорска находилось блоковское Шахматово, и назвал Блока «очарованным странником». Я обрадовался. Это прозвище удивительно подходило к Блоку. Он пришел к нам из очарованной дали и увел нас в нее — в соловьиные сады своей гениальной и грустной поэзии.

Тогда уже даже неискушенному в литературе человеку было ясно, что Бабель появился в ней как победитель и новатор, как первоклассный мастер. Если останутся для потомков хотя бы два его рассказа — «Соль» и «Гедали», то даже два этих рассказа свидетельствуют, что движение русской литературы к совершенству столь же устойчиво, как и во времена Толстого, Чехова и Горького.

По всем признакам, даже «по сердцебиению», как говорил Багрицкий, Бабель был писателем огромного и щедрого таланта. В начале этой статьи я говорил о первом впечатлении от человека. По первому впечатлению никак нельзя было сказать, что Бабель — писатель. Он был совершенно лишен шаблонных качеств писателя: не было ни внешней красоты, ни капли позы, ни глубокоумных бесед. Только глаза — острые, прожигающие вас насквозь, смеющиеся, одновременно и застенчивые и насмешливые — выдавали писателя. И беспокойная, молчаливая грусть, в какую он впадал время от времени, тоже изобличала в нем писателя.

Тем, что Бабель стремительно и полноправно вошел в нашу литературу, мы обязаны Горькому. В ответ Бабель относился к Горькому с благоговейной любовью, как может относиться только сын к отцу.

Трудно привыкнуть к тому, что Бабеля нет, что какой-то кусочек свинца разбил ему сердце и навсегда погасил тот удивительный

пир жизненного богатства и поэзии, что жил в этом пристальном человеке.

...Почти каждый из писателей получает путевку в жизнь от старшего товарища. Я считаю — и с некоторым основанием,— что такую путевку в числе прочих дал мне Исаак Эммануилович Бабель, и потому я сохраню до последнего своего часа любовь к нему, восхищение его талантом и дружескую благодарность.

Илья Эренбург

БАБЕЛЬ БЫЛ ПОЭТОМ...

Лето в Москве стояло жаркое; многие из моих друзей жили на дачах или были в отъезде. Я слонялся по раскаленному городу. Один из очень душных, предгрозовых дней принес мне нечаянную радость: я познакомился с человеком, который стал моим самым близким и верным другом, с писателем, на которого я смотрел как подмастерье на мастера,— с Исааком Эммануиловичем Бабелем.

Он пришел ко мне неожиданно, и я запомнил его первые слова: «Вот вы какой...» А я его разглядывал с еще бóльшим любопытством — вот человек, который написал «Конармию», «Одесские рассказы», «Историю моей голубятни»! Несколько раз в жизни меня представляли писателям, к книгам которых я относился с благоговением: Максиму Горькому, Томасу Манну, Бунину, Андрею Белому, Генриху Манну, Мачадо, Джойсу; они были много старше меня, их почитали все, и я глядел на них, как на далекие вершины гор. Но дважды я волновался, как заочно влюбленный, встретивший наконец предмет своей любви,— так было с Бабелем, а десять лет спустя — с Хемингуэем.

Бабель сразу повел меня в пивную. Войдя в темную, набитую людьми комнату, я обомлел. Здесь собирались мелкие спекулянты, воры-рецидивисты, извозчики, подмосковные огородники, опустившиеся представители старой интеллигенции. Кто-то кричал, что изобрели «эликсир вечной жизни», это свинство, потому что он стоит баснословно дорого, значит, всех пересидят подлецы. Сначала на крикуна не обращали внимания, потом сосед ударил его бутылкой по голове. В другом углу началась драка из-за девушки. По лицу кудрявого паренька текла кровь. Девушка орала: «Можешь не стараться, Гарри Пиль — вот кто мне нравится!..» Двух напившихся до бесчувствия выволокли за ноги. К нашему столику подсел старичок, чрезвычайно вежливый; он рассказывал Бабелю, как его зять хотел вчера прирезать жену, «а Верочка, знаете, и не сморгнула, только говорит: «Поворачивай, пожалуйста, оглобли»,— она у меня, знаете, деликатная...» Я не выдержал: «Пойдем?» Бабель удивился: «Но ведь здесь очень интересно...»

Внешне он меньше всего походил на писателя. Он рассказал в очерке «Начало», как, приехав впервые в Петербург (ему тогда было двадцать два года), снял комнату в квартире инженера.

Поглядев внимательно на нового жильца, инженер приказал запереть на ключ дверь из комнаты Бабеля в столовую, а из передней убрать пальто и калоши. Двадцать лет спустя Бабель поселился в квартире старой француженки в парижском предместье Нейи; хозяйка запирала его на ночь — боялась, что он ее зарежет. А ничего страшного в облике Исаака Эммануиловича не было; просто он многих озадачивал: бог его знает, что за человек и чем он занимается...

Майкл Голд, который познакомился с Бабелем в Париже в 1935 году, писал: «Он не похож на литератора или на бывшего кавалериста, а скорее напоминает заведующего сельской школой». Вероятно, главную роль в создании такого образа играли очки, которые в «Конармии» приняли угрожающие размеры («Шлют вас не спросясь, а тут режут за очки», «Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку», «Аннулировал ты коня, четырехглазый»...). Он был невысокого роста, коренастый. В одном из рассказов «Конармии», говоря о галицийских евреях, он противопоставляет им одесситов, «жовиальных, пузатых, пузырящихся, как дешевое вино»,— грузчиков, биндюжников, балагул, налетчиков вроде знаменитого Мишки Япончика — прототипа Бени Крика. (Эпитет «жовиальный» — галлицизм, по-русски говорят: веселый или жизнерадостный.) Исаак Эммануилович, несмотря на очки, напоминал скорее жовиального одессита, хлебнувшего в жизни горя, чем сельского учителя. Очки не могли скрыть его необычайно выразительных глаз, то лукавых, то печальных. Большую роль играл и нос — неутомимо любопытный. Бабелю хотелось все знать: что переживал его однополчанин, кубанский казак, когда пил два дня без просыпу и в тоске сжег свою хату; почему Машенька из издательства «Земля и фабрика», наставив мужу рога, начала заниматься биомеханикой; какие стихи писал убийца французского президента, белогвардеец Горгулов; как умер старик бухгалтер, которого он видел один раз в окошке издательства «Правда»; что в сумочке парижанки, сидящей в кафе за соседним столиком; продолжает ли фанфаронить Муссолини, оставаясь с глазу на глаз с Чиано,— словом, мельчайшие детали жизни.

Все ему было интересно, и он не понимал, как могут быть писатели, лишенные аппетита к жизни. Он говорил мне о романах Пруста: «Большой писатель. А скучно... Может быть, ему самому было скучно все это описывать?..» Отмечая способности начинающего эмигрантского писателя Набокова-Сирина, Бабель говорил: «Писать умеет, только писать ему не о чем».

Он любил поэзию и дружил с поэтами, никак на него не похожими: с Багрицким, Есениным, Маяковским. А литературной среды не выносил: «Когда нужно пойти на собрание писателей, у меня такое чувство, что сейчас предстоит дегустация меда с касторкой...» У него были друзья различных профессий — инженеры, наездники, кавалеристы, архитекторы, пчеловоды, цимбалисты. Он мог часами слушать рассказы о чужой любви, счастливой или несчастной. Он как-то располагал собеседника к исповеди; вероятно, люди

чувствовали, что Бабель не просто слушает, а переживает. Некоторые его вещи — рассказы от первого лица, хотя в них чужие жизни (например, «Мой первый гонорар»), другие, напротив, под маской повествования о вымышленных героях раскрывают страницы биографии автора («Нефть»).

В коротенькой автобиографии Бабель рассказывал, что в 1916 году А. М. Горький «отправил» его «в люди». Исаак Эммануилович продолжал: «И я на семь лет — с 1917 по 1924 — ушел в люди. За это время я был солдатом на румынском фронте, потом служил в Чека, в Наркомпросе, в продовольственных экспедициях 1918 года, в Северной армии против Юденича, в Первой Конной армии, в Одесском губкоме, был выпускающим в 7-й советской типографии в Одессе, был репортером в Петербурге и в Тифлисе и проч.».

Действительно, семь лет, о которых упоминает Бабель, дали ему многое, но он был «в людях» и до 1916 года, оставался «в людях» и после того, как стал известным писателем: вне людей существовать он не мог. «История моей голубятни» была пережита мальчиком и уж много позднее рассказана зрелым мастером. В годы отрочества, ранней юности Бабель встречал героев своих одесских рассказов — налетчиков и барышников, близоруких мечтателей и романтических жуликов.

Куда бы он ни попадал, он сразу чувствовал себя дома, входил в чужую жизнь. Он пробыл недолго в Марселе, но когда он рассказывал о марсельской жизни, это не было впечатлениями туриста,— говорил о гангстерах, о муниципальных выборах, о забастовке в порту, о какой-то стареющей женщине, кажется прачке, которая, получив неожиданно большое наследство, отравилась газом.

Однако даже в любимой им Франции он тосковал о родине. Он писал в октябре 1927 года из Марселя: «Духовная жизнь в России благородней. Я отравлен Россией, скучаю по ней, только о России и думаю». В другом письме, И. Л. Лившицу, старому своему другу, он писал из Парижа: «Жить здесь в смысле индивидуальной свободы превосходно, но мы — из России — тоскуем по ветру больших мыслей и больших страстей».

В двадцатые годы у нас в газетах часто можно было увидеть термин «ножницы»; речь шла не о портновском инструменте, а о растущем расхождении между ценой хлеба и ценой ситца или сапог. Я сейчас думаю о других «ножницах»: о расхождении между жизнью и значением искусства; с этими «ножницами» я прожил жизнь. Мы часто об этом говорили с Бабелем. Любя страстно жизнь, ежеминутно в ней участвуя, Исаак Эммануилович был с детских лет предан искусству.

Бывает так: человек пережил нечто значительное, захотел об этом рассказать, у него оказался талант, и вот рождается новый писатель. Фадеев мне говорил, что в годы гражданской войны он и не думал, что увлечется литературой; «Разгром» был для него самого негаданным результатом пережитого. А Бабель и воюя знал, что должен будет претворить действительность в произведение искусства.

Рукописи неопубликованных произведений Бабеля исчезли. Записки С. Г. Гехта напомнили мне о замечательном рассказе Исаака Эммануиловича «У Троицы». Бабель мне его прочитал весной 1938 года; это история гибели многих иллюзий, история горькая и мудрая. Пропали рукописи рассказов, пропали и главы начатого романа. Тщетно искала их вдова Исаака Эммануиловича, Антонина Николаевна. Чудом сохранился дневник Бабеля, который он вел в 1920 году, находясь в рядах Первой Конной: одна киевлянка сберегла толстую тетрадь с неразборчивыми записями. Дневник очень интересен — он не только показывает, как работал Бабель, но и помогает разобраться в психологии творчества.

Как явствует из дневника, Бабель жил жизнью своих боевых товарищей — победами и поражениями, отношением бойцов к населению и населения к бойцам, его потрясали великодушие, насилие, боевая выручка, погромы, смерти. Однако через весь дневник проходят настойчивые напоминания: «Описать Матяша, Мишу», «Описать людей, воздух», «За этот день — главное описать красноармейцев и воздух», «Запомнить — фигура, лицо, радость Апанасенки, его любовь к лошадям, как проводит лошадей, выбирает для Бахтурова», «Обязательно описать прихрамывающего Губанова, грозу полка, отчаянного рубаку», «Не забыть бы священника в Лошкове, плохо выбритый, добрый, образованный, м. б. корыстолюбивый, какое там корыстолюбие — курица, утка», «Описать воздушную атаку, отдаленный и как будто медленный стук пулемета», «Описать леса — Кривиха, разоренные чехи, сдобная баба...».

Бабель был поэтом; ни натурализм описываемых им бытовых деталей, ни круглые очки на круглом лице не могут скрыть его поэтическую настроенность. Он загорался от стихотворной строки, от холста, от цвета неба, от зрелища человеческой красоты. Его дневник не относится к тем дневникам, которые рассчитаны на опубликование,— Бабель откровенно беседовал с собой. Вот почему, говоря о поэтичности Бабеля, я начну с записей в дневнике.

«Вырубленные опушки, остатки войны, проволока, окопы. Величественные зеленые дубы, грабы, много сосны, верба — величественное и кроткое дерево, дождь в лесу, размытые дороги, ясень».

«Боратин — крепкое солнечное село. Хмель, смеющаяся дочка, молчаливый богатый крестьянин, яичница на масле, молоко, белый хлеб, чревоугодие, солнце, чистота».

«Великолепная итальянская живопись, розовые патеры, качающие младенца Христа, великолепный темный Христос, Рембрандт, Мадонна под Мурильо, а м. б. Мурильо, святые упитанные иезуиты, бородатый еврейчик, лавочка, сломанная рака, фигура св. Валента».

«Вспоминаю разломанные рамы, тысячи пчел, жужжащих и бьющихся у разрушенного улья».

«Графский, старинный польский дом, наверное б. 100 лет, рога, старинная светлая плафонная живопись, маленькие комнаты для дворецких, плиты, переходы, экскременты на полу, еврейские мальчишки, рояль Стейнвей, диваны вскрыты до пружин, припом-

нить белые легкие и дубовые двери, французские письма 1820 г.».

О своем отношении к искусству Бабель рассказал в новелле «Ди Грассо». В Одессу приезжает актер из Сицилии. Он играет условно, может быть чрезмерно, но сила искусства такова, что злые становятся добрыми; жена барышника, выходя из театра, упрекает пристыженного мужа: «Босяк, теперь ты видишь, что такое любовь...»

Я помню появление «Конармии». Все были потрясены силой фантазии; говорили даже о фантастике. А между тем Бабель описал то, что видел. Об этом свидетельствует тетрадка, побывавшая в походе и пережившая автора.

Вот рассказ «Начальник конзапаса»: «На огненном англо-арабе подскакал к крыльцу Дьяков, бывший цирковой атлет, а ныне начальник конского запаса — краснорожий, седоусый, в черном плаще и с серебряными лампасами вдоль красных шаровар». Далее Дьяков говорит крестьянину, что за коня он получит пятнадцать тысяч, а если бы конь был повеселее, то двадцать: «Ежели конь упал и подымается, то это — конь; ежели он, обратно сказать, не подымается, тогда это не конь».

А вот запись в дневнике 13 июля 1920 года: «Начальник конского запаса Дьяков — феерическая картина, кр[асные] штаны с серебр[яными] лампасами, пояс с насечкой, ставрополец, фигура Аполлона, корот[кие] седые усы, сорок пять лет... был атлетом... о лошадях». 16 июля: «Приезжает Дьяков. Разговор короток: за такую-то лошадь можешь получить 15 т., за такую-то — 20 т. Ежели поднимется, значит, это лошадь».

Рассказ «Гедали»; в нем автор встречает старого еврея-старьевщика, который печально излагает свою философию: «Но поляк стрелял, мой ласковый пан, потому, что он — контрреволюция. Вы стреляете потому, что вы — революция. А революция — это же удовольствие. И удовольствие не любит в доме сирот. Хорошие дела делает хороший человек... И я хочу Интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории». Лавка Гедали описана так: «Диккенс, где была в тот вечер твоя тень? Ты увидел бы в этой лавке древностей золоченые туфли и корабельные канаты, старинный компас и чучело орла, охотничий винчестер с выгравированной датой «1810» и сломанную кастрюлю».

Запись в дневнике 3 июля 1920 года: «Маленький еврей-философ. Невообразимая лавка — Диккенс, метлы и золотые туфли. Его философия: все говорят, что они воюют за правду, и все грабят».

В дневнике есть и Прищепа, и городок Берестечко, и найденное там французское письмо, и убийство пленных, и «пешка» в боях за Лешнюв, и речь комдива о Втором конгрессе Коминтерна, и «бешеный холуй Левка», и дом ксендза Тузинкевича, и много других персонажей, эпизодов, картин, перешедших потом в «Конармию». Но рассказы не похожи на дневник. В тетрадке Бабель описывал все, как было. Это опись событий: наступление, отступле-

ние, разоренные, перепуганные жители городов и сел, переходящих из рук в руки, расстрелы, вытоптанные поля, жестокость войны. Бабель в дневнике спрашивал себя: «Почему у меня непроходящая тоска?» И отвечал: «Разлетается жизнь, я на большой непрекращающейся панихиде».

А книга не такова: в ней, несмотря на ужасы войны, на свирепый климат тех лет,— вера в революцию и вера в человека. Правда, некоторые говорили, что Бабель оклеветал красных кавалеристов. Горький заступился за «Конармию» и написал, что Бабель «украсил» казаков Первой Конной «лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев». Слово «украсить», вырванное мною из текста, да и сравнение с «Тарасом Бульбой» могут сбить с толку. Притом язык «Конармии» цветист, гиперболичен. (Еще в 1915 году, едва приступив к работе писателя, Бабель говорил, что ищет в литературе солнца, полных красок, восхищался украинскими рассказами Гоголя и жалел, что «Петербург победил Полтавщину. Акакий Акакиевич скромненько, но с ужасающей властностью затер Грицка...».)

Бабель, однако, не «украсил» героев «Конармии», он раскрыл их внутренний мир. Он оставил в стороне не только будни армии, но и многие поступки, доводившие его в свое время до отчаяния; он как бы осветил прожектором один час, одну минуту, когда человек раскрывается. Именно поэтому я всегда считал Исаака Эммануиловича поэтом.

«Конармия» пришлась по душе самым различным писателям: Горькому и Томасу Манну, Барбюсу и Мартен дю Гару, Маяковскому и Есенину, Андрею Белому и Фурманову, Ромену Роллану и Брехту.

В 1930 году «Новый мир» напечатал ряд писем зарубежных писателей, главным образом немецких,— ответы на анкету о советской литературе. В большинстве писем на первом месте стояло имя Бабеля.

А Исаак Эммануилович критиковал себя со взыскательностью большого художника. Он часто говорил мне, что писал чересчур цветисто, ищет простоты, хочет освободиться от нагромождения образов. Как-то в начале тридцатых годов он признался, что Гоголь «Шинели» теперь ему ближе, чем Гоголь ранних рассказов. Он полюбил Чехова. Это были годы, когда он писал «Гюи де Мопассана», «Суд», «Ди Грассо», «Нефть».

Работал он медленно, мучительно; всегда был недоволен собой. При первом знакомстве он сказал мне: «Человек живет для удовольствия, чтобы спать с женщиной, есть в жаркий день мороженое». Я как-то пришел к нему, он сидел голый: был очень жаркий день. Он не ел мороженого, он писал. Приехав в Париж, он и там работал с утра до ночи: «Я тружусь здесь, как вдохновенный вол, света божьего не вижу (а в свете этом Париж — не Кременчуг)...» Потом он поселился в деревне неподалеку от Москвы, снял комнату в избе, сидел и писал. Повсюду он находил для работы никому не ведомые норы. Этот на редкость «жовиальный» человек трудился, как монах-отшельник.

Когда в конце 1932 — начале 1933 года я писал «День второй», Бабель чуть ли не каждый день приходил ко мне. Я читал ему написанные главы, он одобрял или возражал,— моя книга его заинтересовала, а другом он был верным; иногда говорил: нужно переписать еще раз, есть пустые места, невыписанные углы... Порой, снимая после чтения очки, Исаак Эммануилович лукаво улыбался: «Ну, если напечатают, это будет чудо...»

Дочитав последнюю страницу, Бабель сказал: «Вышло»,— в его устах для меня это было большой похвалой.

Он любил прятаться, не говорил, куда идет; его дни напоминали ходы крота. В 1936 году я писал об Исааке Эммануиловиче: «Его собственная судьба похожа на одну из написанных им книг: он сам не может ее распутать. Как-то он шел ко мне. Его маленькая дочка спросила: «Куда ты идешь?» Ему пришлось ответить; тогда он передумал и не пошел ко мне... Осьминог, спасаясь, выпускает чернила: его все же ловят и едят — любимое блюдо испанцев «осьминог в своих чернилах». (Я написал это в Париже в самом начале 1936 года, и мне страшно переписывать теперь эти строки: мог ли я себе представить, как они будут звучать несколько лет спустя?..)

По совету Горького Бабель не печатал своих произведений в течение семи лет: с 1916-го по 1923-й. Потом одна за другой появились «Конармия», «Одесские рассказы», «История моей голубятни», пьеса «Закат». И снова Бабель почти замолк, редко публикуя маленькие (правда, замечательные) рассказы. Одной из излюбленных тем критиков стало «молчание Бабеля». На Первом съезде советских писателей я выступил против такого рода нападок и сказал, что слониха вынашивает детей дольше, чем крольчиха; с крольчихой я сравнил себя, со слонихой — Бабеля. Писатели смеялись. А Исаак Эммануилович в своей речи, подтрунивая над собой, сказал, что он преуспевает в новом жанре — молчании.

Ему, однако, было невесело. С каждым днем он становился все требовательнее к себе. «В третий раз принялся переписывать сочиненные мною рассказы и с ужасом увидел, что потребуется еще одна переделка — четвертая...» В одном письме он признавался: «Главная беда моей жизни — отвратительная работоспособность...»

Я не кривил душой, говоря о крольчихе и слонихе: я высоко ценил талант Бабеля и знал его взыскательность к себе. Я гордился его дружбой. Хотя он был на три года моложе меня, я часто обращался к нему за советом и шутя называл его «мудрым ребе».

Я всего два раза разговаривал с А. М. Горьким о литературе, и оба раза он с нежностью, с доверием говорил о работе Бабеля; мне это было приятно, как будто он похвалил меня... Я радовался, что Ромен Роллан в письме о «Дне втором» восторженно отозвался о «Конармии». Я любил Исаака Эммануиловича, любил и люблю книги Бабеля...

Еще о человеке. Бабель не только внешностью мало напоминал писателя, он и жил иначе: не было у него ни мебели из красного дерева, ни книжных шкафов, ни секретаря. Он обходился даже без



И. Э. Бабель. Портрет Ю. Анненкова (конец 20-х годов).

письменного стола — писал на кухонном столе, а в Молоденове, где он снимал комнату в домике деревенского сапожника Ивана Карповича,— на верстаке.

Первая жена Бабеля, Евгения Борисовна, выросла в буржуазной семье, ей нелегко было привыкнуть к причудам Исаака Эммануиловича. Он, например, приводил в комнату, где они жили, бывших однополчан и объявлял: «Женя, они будут ночевать у нас...»

Он умел быть естественным с разными людьми, помогали ему в этом и такт художника и культура. Я видел, как он разговаривал с парижскими снобами, ставя их на место, с русскими крестьянами, с Генрихом Манном или с Барбюсом.

В 1935 году в Париже собрался Конгресс писателей в защиту культуры. Приехала советская делегация, среди нее не оказалось Бабеля. Французские писатели, инициаторы конгресса, обратились в наше посольство с просьбой включить автора «Конармии» и Пастернака в состав советской делегации, Бабель приехал с опозданием,— кажется, на второй или на третий день. Он должен был сразу выступить. Усмехаясь, он успокоил меня: «Что-нибудь скажу». Вот как я описал в «Известиях» выступление Исаака Эммануиловича: «Бабель не читал своей речи, он говорил по-французски, весело и

мастерски, в течение пятнадцати минут он веселил аудиторию несколькими ненаписанными рассказами. Люди смеялись, и в то же время они понимали, что под видом веселых историй идет речь о сущности наших людей и нашей культуры: «У этого колхозника уже есть хлеб, у него есть дом, у него есть даже орден. Но ему этого мало. Он хочет теперь, чтобы про него писали стихи...»

Много раз он говорил мне, что главное — это счастье людей. Любил животных, особенно лошадей; писал о своем боевом друге Хлебникове: «Нас потрясали одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони».

Жизнь для него оказалась не майской лужайкой... Однако до конца он сохранил верность идеалам справедливости, интернационализма, человечности. Революцию он понял и принял как залог будущего счастья. Один из лучших рассказов тридцатых годов — «Карл-Янкель» — кончается словами: «Я вырос на этих улицах, теперь наступил черед Карла-Янкеля, но за меня не дрались так, как дерутся за него, мало кому было дело до меня. «Не может быть,— шептал я себе,— чтобы ты не был счастлив, Карл-Янкель... Не может быть, чтобы ты не был счастливее меня...»

А Бабель был одним из тех, кто оплатил своей борьбой, своими мечтами, своими книгами счастье будущих поколений.

В конце 1937 года я приехал из Испании, прямо из-под Теруэля, в Москву. «Мудрого ребе» я нашел печальным, но его не покидали ни мужество, ни юмор, ни дар рассказчика.

Он мне рассказал однажды, как был на фабрике, где изъятые книги шли на изготовление бумаги; это была очень смешная и очень страшная история. В другой раз он рассказал мне о детдомах, куда попадают сироты живых родителей. Невыразимо грустным было наше расставание в мае 1938 года.

Бабель всегда с нежностью говорил о родной Одессе. После смерти Багрицкого, в 1936 году, Исаак Эммануилович писал: «Я вспоминаю последний наш разговор. Пора бросить чужие города, согласились мы с ним, пора вернуться домой, в Одессу, снять домик на Ближних Мельницах, сочинять там истории, стариться... Мы видели себя стариками, лукавыми, жирными стариками, греющимися на одесском солнце, у моря — на бульваре, и провожающими женщин долгим взглядом... Желания наши не осуществились. Багрицкий умер в 38 лет, не сделав и малой части того, что мог. В государстве нашем основан ВИЭМ — Институт экспериментальной медицины. Пусть добьется он того, чтобы эти бессмысленные преступления природы не повторялись больше».

Природу мы порой в сердцах называем слепой. Бывают слепыми и люди...

...Он писал своей приятельнице, которая сняла для него домик в Одессе: «Сей числящийся за мной флигелек очень поднял мой дух. Достоевский говорил когда-то: «Всякий человек должен иметь место, куда бы он мог уйти»,— и от сознания, что такое место у меня появилось, я чувствую себя много увереннее на этой, как известно, вращающейся земле»...

Бабеля арестовали весной 1939 года. Узнал я об этом с опозданием — был во Франции. Шли мобилизованные, дамы гуляли с противогазами, окна оклеивали бумажками. А я думал о том, что потерял человека, который помогал мне шагать не по майскому лугу, а по очень трудной дороге жизни.

...Нас роднило понимание долга писателя, восприятие века: мы хотели, чтобы в новом мире нашлось место и для некоторых очень старых вещей — для любви, для красоты, для искусства...

В конце 1954 года, может быть в тот самый час, когда человек со смешным именем Карла-Янкеля и его сверстники — Иваны, Петры, Николы, Ованесы, Абдуллы — веселой ватагой выходили из университетских аудиторий, прокурор сообщил мне о посмертной реабилитации Исаака Эммануиловича. Вспоминая рассказ Бабеля, я смутно подумал: не может быть, чтобы они не были счастливее нас!..

С. Гехт

У СТЕНЫ СТРАСТНОГО МОНАСТЫРЯ В ЛЕТНИЙ ДЕНЬ 1924 ГОДА

В поисках прохлады присели здесь на скамью под липой Есенин с Бабелем. Сидел с ними и я.

Утром Бабель по телефону предложил мне зайти за ним к концу дня, то есть ровно в пять часов, в редакцию журнала «Красная новь», где печатались тогда из номера в номер его рассказы. Поднимаясь по плохо отмытой мраморной лестнице старомосковского трехэтажного особняка в Успенском переулке, я прошмыгнул мимо закончивших занятия работников журнала. С портфелем в руке спускался А. Воронский, за ним В. Казин и С. Клычков. В опустевшей редакции оставались чего-то не договорившие Бабель с Есениным. Есенин сидел на письменном столе, он болтал ногами, с них спадали ночные туфли. Бабель стоял посредине комнаты, протирал очки. Он вообще часто протирал очки. Есенин уговаривал Бабеля поделить какие-то короны. Вникнув в их разговор, я разобрал:

— Себе, Исаак, возьми корону прозы,— предлагал Есенин,— а корону поэзии — мне.

Ласково поглядывавший на него Бабель шутливо отнекивался от такой чести, выдвигая другие кандидатуры. Представляя меня Есенину, он пошутил:

— Мой сын.

Озадаченный Есенин, всматриваясь в меня, что-то соображал. Выбравшись на улицу, мы завернули в пивную у Мясницких ворот. Сейчас на этом месте павильон станции метро. Пил Есенин мало, и только пиво марки Корнеева и Горшанова, поданное на стол в обрамлении семи розеток с возбуждающими жажду закусками — сушеной воблой, кружочками копченой колбасы, ломтиками сыра, недоваренным горошком, сухариками черными, белыми и мятными.

Не дал Есенин много пить и разыскавшему его пареньку богатырского сложения. Паренька звали Иван Приблудный — человек способный, но уж чересчур непутевый. С добрым сердцем, с лицом и силой донецкого шахтера, он ходил за Есениным, не очень им любимый, но и не отвергаемый.

Покинув пивную, пошли бродить. Шли бульварами, сперва по Сретенскому, затем по Рождественскому, где тогда еще был внизу Птичий рынок, и, потеряв по дороге Приблудного, поднялись к Страстному монастырю. Здесь и присели под липой, у кирпичной стены, за которой после революции поселился самый разнообразный народ. На Есенина оглядывались,— кто узнавал, а кто фыркал: костюм знатный, а на ногах шлепанцы.

Есенин, ездивший год назад в Америку, рассказывал Бабелю о нью-йоркских встречах. Скандаливший на прошлой неделе в ресторане Дома Герцена, он был сейчас задумчив, кроток. Бабеля позабавил «грозный» приговор, вынесенный правлением старого Союза писателей. Оно запретило Есенину посещать в течение месяца ресторан. Зашла речь и об ипподроме. Бабель в те дни изучал родословную Крепыша и рассказывал Есенину об этой знаменитой лошади, что-то еще говорил о призерах бегового сезона. Пролетел со стороны Ходынского поля самолет, и Бабель рассказал про свой недавний полет над Черным морем со старейшим, вроде Уточкина и Российского, авиатором Хиони. Слушая, Есенин раза два с недоумением на меня посмотрел. Наконец проговорил:

— Сын что-то у тебя большой.

За стеклами очков смеялись глаза Бабеля. Засмеялся и Есенин. Детей у Бабеля тогда еще не было, а у Есенина — двое. Есенин сказал, что собирается в гости к матери, спросил про близких Бабеля: жива ли мать, жив ли отец. С разговором об отце вспомнился и старый кот, которого гладил его чудак отец, сидя на стуле посреди тротуара на Почтовой улице. Может, потому еще вспомнился кот, что Есенин недавно опубликовал стихотворение, в котором было чу́дно сказано о животных:

> ...И зверьё, как братьев наших меньших,
> Никогда не бил по голове.

Я знал кота с Почтовой улицы, о которой Бабель говорил, что презирает ее безликость. На этой серой улице помещалась мастерская сепараторов, принадлежавшая неудачливому предпринимателю Эммануилу Бабелю. На Почтовой сомневались в коммерческих талантах человека, усевшегося посреди тротуара со старым котом на коленях. Оба мурлычут — мурлычет кот, и мурлычет-напевает старый отец. Вернувшись домой после меланхолического времяпрепровождения около давно не приносящего доходов предприятия, он приступает к сочинительству сатирических заметок. Отец их никому не показывает. В них высмеивается суетная жизнь соседей по дому, с первого этажа до четвертого. Заносятся эти заметки в конторскую книгу. Не знаю, содержались ли в ней и деловые записи.

Бабель читал стихи голосом твердым, чеканным. Где взял он эти слова: «...звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная рука»? Их поют у него в рассказе. До последних дней жизни Багрицкого он приходил к нему. Тот читал ему и свои и чужие стихи, из новых поэтов и древних. И кому принадлежат эти строки любимого Бабелем гречаниновского романса: «Она не забудет, придет, приголубит, обнимет, навеки полюбит и брачный свой тяжкий наденет венец...»

Есенинские стихи Бабель читал и про себя и вслух. Читал ему свои стихи и Есенин, привязавшийся к Бабелю, полюбивший его. И любил он еще вот это есенинское: «Цвела — забубенная, росла — ножевая, а теперь вдруг свесилась, словно неживая».

На скамье у Страстного монастыря Есенин тоже свесил голову, но очень живую, прекрасно-задумчивую. До того успокоенным и добрым было в тот день его лицо, что показалось просто ерундой, что голову эту называли — пускай даже сам Есенин — забубенной и неживой. На скамье сидели два тридцатилетних мудреца, во многом схожие в этот час — познавшие, но по-прежнему любознательные; не к месту было бы говорить о пресыщении.

Скажут: разные же люди! Еще бы! Из неукротимых неукротимый, временами вспыльчивый и даже буйный Есенин и рядом с ним тихий, обходительный, сам великолепно довершивший свое воспитание Бабель. Эту его сдержанность отмечал позднее в своей шуточной речи Жюль Ромен. Об этом рассказал мне, вернувшись из Парижа, Бабель. В Париж он ездил на антифашистский конгресс.

Французские писатели чествовали Бабеля. На банкете председательствовал Жюль Ромен. Подняв бокал, он сказал, что хочет выпить за здоровье очень хорошего, по-видимому, писателя. Жюль Ромен извинился: «У нас Бабеля, к сожалению, еще не перевели, и я не имел по этой причине возможности прочитать его рассказы. Но я убежден,— сказал Жюль Ромен,— что это хороший писатель. Достаточно посмотреть, как достойно ведет он себя в таком обычно нелепом положении».

Кое-что Бабель прибавил, должно быть, от себя, чтобы сделать рассказ поскромней, посмешней. О Бабеле уже давно писали с большой похвалой и Ромен Роллан и Томас Манн, так что за границей его знали.

Не повлияла ли философическая сдержанность Бабеля на Есенина? Но то, что произошло вскоре, в ночь есенинской свадьбы, показало обратное. По воле Сергея Есенина Бабель сделался вдруг кутилой. Тогда не верили, не поверят и сейчас, а он между тем вернулся домой под утро, без бумажника и паспорта и вообще до того закружившийся в чаду бесшабашного веселья, что совершенно ничего не помнил. Бабель посмеивался:

— В первый и последний раз.

Есенин был единственным человеком, сумевшим подчинить Бабеля своей воле. Не помня ничего о том, что ели, пили и говорили,

куда поехали и с кем спорили, Бабель все же на годы запомнил, как читал, вернее, пел в ту ночь свои стихи Есенин.

Отчего же мне так немного запомнилось из беседы под липой у монастыря, хотя сидели они долго, несколько часов? Ослабела память? Нет, разговор таких людей запомнился бы навсегда. Или я не соображал, какие таланты сошлись за беседой? Соображал! Причина проще — оба подолгу молчали. Подошла девчонка-цыганочка, затрясла плечами. Бабель полез за мелочью в карман, сунул какую-то монету девчонке и Есенин. Оба сделали это поспешно, торопясь поскорей отделаться от не порадовавшей их сценки. Цокали вдали извозчичьи пролетки. Так громко цокали, что заглушали звон проносившейся вдоль бульвара «Аннушки». «И догорал закат улыбкой розовой», как писал, вспоминая с умилением свою юность, профессор Устрялов в журнале «Россия». Журнал читал человек, подсевший на скамью с намерением поговорить с Есениным. Узнав известного поэта, он затеял разговор о поэзии, но Есенин не отвечал, и тот недовольно поднялся. Когда ушел, стали гадать, что за человек.

— Совслуж,— сказал Бабель.

— А не нэпман? — спросил Есенин.— Может, сам Яков Рацер? Тот ведь тоже любит поэзию.

Яков Рацер публиковал в газетах стихотворные объявления, рекламировавшие его «чистый, светлый уголек», который «красотою всех привлек».

Был нэп, так сильно переоцененный сотрудниками сменовеховского журнала «Россия», профессором Устряловым, Ключниковым, Потехиным. Презираемый народом, особенно молодежью, нэпман представлялся сменовеховцам новой, прогрессивной силой России, ее живой кровью. Красный купец, множественный Савва Морозов, подтянет остальных, он-то и двинет с поумневшими большевиками Россию по дороге цивилизации и промышленности, избавит ее от бездельников, людей нерешительных, инертных. Красный купец, а в просторечии нэпач, был, по мнению сменовеховцев, положительным героем утихомирившейся будто бы после революционных событий родины.

Сами же нэпманы — попадались среди них дальновидные, с кругозором — будущее оценивали почти что скептически. Продолжая выпускать на рынок крем «Имша» или шерстяные одеяла, они надеялись на кривую: авось вывезет. Я тогда делал попытки изучать нэп. Поручил мне это дело Михаил Кольцов. Он полагал, что получится занятный репортаж. Я успел узнать, что в годы, представляющие вершину нэпа, в стране было пятнадцать миллионеров, точнее — людей, чей капитал перевалил за миллион. Тысяч по пятьсот, по семьсот имели, подползая к миллиону, девяносто шесть человек. Один из них мне пожаловался:

— Сижу в кафе на углу Столешникова и Петровки. Скромное, в сущности, кафе, доступное и вашему брату с тощим советским кошельком. Однако вы пьете свой кофе по-варшавски беззаботно — и что вам до улицы! А я вижу, как мимо кафе проходит, нарочно

проходит молодежь, комсомольцы в шотландках и ковбойках, комсомолки в кумачовых косынках, и как они нарочно, специально для меня, поют: «Посмотрите, как нелепо расползлася морда нэпа». Нет, не такова обстановка, чтобы перешибить мне ленинский лозунг: «Кто кого?» Я и не сомневаюсь, кто! Вот эти!

— Так что же вас держит? Вернее, чего ради при таком понимании вы нэпманствуете?

— Я сперва поверил в перерождение советской власти, затем довольно быстро разуверился, но — инерция. И это проклятое, неразумное: а вдруг?

Не так уж чадил угар нэпа, как тогда писали некоторые или как это изображалось на сцене. На виду у всех развивалась страна, заводы восстанавливались, пускались в ход электростанции. Заметили вскоре и сменовеховцы, что отступление-то приостановилось и появились признаки наступления. Комиссары гражданской войны взялись за хозяйство. В то время я два раза слышал от Бабеля:

— Я за комиссаров.

Это когда кто-нибудь рядом вдруг заноет, туда ли мы идем, не катимся ли. Отправившись, по совету Горького, «в люди», Бабель ушел в революционный народ, в среду коммунистов, комиссаров. Он сказал о Багрицком, что тому не пришлось с революцией ничего в себе ломать, его поэзия была поэзией революции. Таков был и сам Бабель, всегда стоявший за Ленина.

За Ленина стоял и Есенин, видел его силу глазами деревенской бедноты, своих изрядно переменившихся земляков. Естественные образы тех лет — Ленин фабричного обездоленного люда, мужицкий Ленин, Ленин индусского мальчика Сами. В траурные дни, когда в Доме союзов стоял гроб с телом Ленина, подошла ко мне в Охотном ряду крестьянка в слезах. Оплакивая великого человека, которого старуха считала и своим защитником, она спросила меня, был ли Ленин коммунистом. Вопрос она задала нелепый, а Ленина невежественная старушка понимала верно.

Как же Есенину было не понять защитника бедноты? Ему, который сумел так хорошо пожалеть и жеребенка («Ну куда он, куда он гонится?») и который «зверьё, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове», естественно было отзываться на страдания ближнего и дальнего. Баллада о двадцати шести бакинских комиссарах так же лилась из его сердца, как письмо матери, до сих пор волнующее миллионы русских и нерусских сыновей. Один видный советский работник, подружившийся с Есениным на Кавказе, рассказал ему о своем брате, которому белые выкололи глаза. Никто потом не подтрунил над Есениным и не упрекнул его в неточности, когда он однажды, плача, стал вспоминать *своего* брата, которому белые выкололи глаза. Боль за чужого брата, проникнув в сердце Есенина, уже не оставляла его, сделалась болью за собственного брата. Может быть, натянуто? Но, во-первых, так бывает с людьми, способными страдать чужими страданиями, и, во-вторых, перечитайте стихи Есенина. Не раз вы встретитесь в них с тем, как умела отзываться его душа.

Два тридцатилетних мудреца, написал я, сидели в закатный час на скамье у Страстного монастыря. Умея познавать, они, и не сделавшись еще стариками, много познали — отсюда и мудрость, и горечь, которая вызовет у Есенина жалобу: «Сам не знаю, откуда взялась эта боль» — и побудит Бабеля написать грустный рассказ-исповедь «У Троицы». Как я теперь понимаю, это была драма постарения, сожаление о суетных днях жизни, «змеи сердечной угрызенья». Описывалась пивная на Самотечной площади, вблизи Троицких переулков,— отсюда и название рассказа. И описывалась, кстати, та самая пивнушка, куда в году тридцатом пришел загримированный Горький. Приклеив себе извозчичью бороду, наш великий писатель надеялся скрыть в ней свою популярность. Узнали его и в таком обличье, так что затея остаться незаметным наблюдателем провалилась. Рассказ «У Троицы» Горький читал.

Во время коллективизации Бабель попросил областных работников назначить его секретарем сельсовета в подмосковном селе Молоденове. Он жил в избе над оврагом, в темной комнате, победному. Но у этого странного секретаря сельсовета лежали на столе беговые программы за многие месяцы, и в избушку над оврагом заезжали военные в чине комкоров. Километрах в двух от Молоденова — усадьба, принадлежавшая Морозову. В белом доме с колоннами жил Горький. Бабель ходил к нему в гости, показывал все написанное. Рассказ «У Троицы» из невеселых, и чтобы представить вам его содержание, я посоветую перечесть «Когда для смертного умолкнет шумный день». Стансы «Брожу ли я вдоль улиц шумных» тоже написаны Пушкиным, и о них скажут, что, несмотря на горестные размышления о том, что «мы все сойдем под вечны своды», в стихах этих есть и жизнерадостное или жизнеутверждающее. Но Пушкин написал и «Когда для смертного умолкнет шумный день», оттого написал и то и другое, что был многоветвист, как дерево жизни.

В тот летний вечер, когда Есенин с Бабелем, казалось бы, спокойно подводили итоги прожитой юности, совершенно невозможно было предвидеть, что Есенина одолеет видение Черного человека, заноет растравленной раной та часть его души, которая его самого ужасала. Верилось, что покончено и с оравой оголтелых собутыльников, и с бесшабашностью, грубостью «Москвы кабацкой». А потом узналось, что с поэмой о Черном человеке он дошел до последних своих дней... Он часто водил Бабеля в чайную в Зарядье, недалеко от Красной площади. По рассказам Бабеля, Есенин в Зарядье — это веселый, любознательный человек, с одинаковой охотой выслушивающий любителей соловьиного пения, содержателей бойцовых петухов или покаянные речи охмелевших посетителей чайной. Мысль о самоубийстве не могла зреть в его голове, да и в стихах он задумывался о смерти по-пушкински: «И чей-нибудь уж близок час». У Есенина это сказано так: «Я не знаю: мой конец близок ли, далек ли». Когда Бабель услыхал о самоубийстве Есенина, на лице его сделалось то выражение растерянности, какое бывает у очень близорукого человека, неведомо где позабывшего

свои очки. Таким оно было только в первые минуты, и уже не растерянность отражало оно несколько времени спустя, а возмущенное недоумение теми несправедливостями судьбы и несовершенством законов жизни на земле, которое он по-своему, через тысячелетия после Экклезиаста, ощутил у Троицы на Самотечной. Такими же были глаза Бабеля, когда он узнал о самоубийстве Маяковского...

В одной своей пьесе английский драматург Пристли поставил третий акт впереди второго. Действие еще будет развиваться, а мы уже знаем финал. Знаем, что этот обнищал, а тот умер, но второй акт идет после третьего, и на сцене снова живые, обнадеженные люди. И тревога за них, любовь к ним оттого сильнее... Так вижу и я скамью под липой у Страстного монастыря и на скамье Есенина с Бабелем. Они счастливы — сперва оттого, что нашли прохладу, а потом оттого, что их коснулись лучи заходящего солнца. Бабель — в шерстяной толстовке хорошего покроя, Есенин — в светло-сером костюме и ночных туфлях. Оба молоды и знамениты — круглоголовый, золотистоволосый Есенин и похожий то на Грибоедова, то на Робеспьера, снова вернувшийся «из людей» Бабель. Молодые головы полны мыслей, великолепных словосочетаний, созвучий, так много лет жизни и работы впереди, а мне, как бы все еще продолжающему сидеть на скамье рядом с ними, известно, как в драме Пристли, их будущее. Скамья в памяти осталась — простая, зеленая, на витых чугунных ножках, хотя нет давно ни липы, ни Страстного монастыря, и если попытаться определить место, то скамья окажется посередине асфальтированной площади. Может быть, еще у кого-нибудь после прочтения этих страничек тоже останется в памяти скамья под липой у Страстного монастыря в летний день 1924 года?

В Петрограде, не знаю точно, на какой улице, кажется на Забалканском проспекте, жил в годы первой мировой войны видный специалист нефтяного дела инженер Слоним. В шестнадцатом году у него поселился молодой, но уже замеченный Максимом Горьким литератор Бабель. Инженер переехал потом в Москву, где работал по осуществлению громадных заданий первой пятилетки. Оставшись в начале тридцатых годов по семейным причинам без комнаты, Бабель поселился опять в семье того же инженера — сперва на Варварке, а затем в Доме специалистов в Машковом переулке. Я бывал у него там часто. И нередко мы отправлялись с ним на прогулку по кольцу «В».

— Кольцо «В» я люблю больше других мест Москвы,— сказал раз Бабель, когда заспорили, какое кольцо лучше.

Это кольцо, по которому ходил трамвай «В», не имевшее, в отличие от «А» — «Аннушки» — и «Б» — «Букашки», ласкательного наименования, было на всем своем протяжении рабочим районом. Кольцо «А» называли белой костью Москвы, кольцо «Б» вместило в себя старину барских особняков с кварталами доходных домов

и мещанскими палисадами, а на заставах кольца «В» жили рабочие с Гужона и АМО, железнодорожники с Казанки, ремесленники — миллионная трудовая московская беднота. С простым людом, с давних времен населяющим этот район, Бабель заговаривал охотнее, чем с другими, ему были ближе их заботы и страсти, их язык. Идем, скажем, от заставы к заставе, где-нибудь присядем на скамейку, и только расположились, как Бабель уже внимательнейшим образом,— а людям это всегда по душе,— выслушивает рассказ или жалобу какого-нибудь старичка, обрадованного, что попался ему наконец терпеливый слушатель. Случилось так и на Хавской улице в Замоскворечье. Услыхав, что я иду осматривать дом-коммуну, Бабель сказал, что намерен отправиться туда со мной.

Прораб повел нас по пахнувшим нитрокраской коридорам. Механическая окраска, новинка в те годы, нас тоже удивила. Закрыв лица свиноподобными респираторами, маляры постреливали из больших револьверов. Прораб предложил ознакомиться и с подземным хозяйством. Бабель чуть поотстал. Возвратившись, я нашел его беседующим с бабкой, первой бабкой, въехавшей в еще не совсем отстроенный дом. Старуха рассказывала семилетней давности историю про страшного разбойника Комарова, занимавшегося «для вида» извозным промыслом. За железной конструкцией так называемой Шуховской башни, то есть радиостанции Коминтерна, стоял неподалеку деревянный домик, где жил раньше кровавый Комаров. Заманивая к себе торговавших у него коня людей, разбойник убивал их в сарае и, разрубив труп на части, вывозил на реку. В двадцать третьем году о нем пели в московских трамваях куплеты. На Смоленском рынке, где была десятиминутная остановка, в трамвай пробирались попрошайки и калеки. Пели они так:

Как в Москве, за Калужской заставой,
Жил разбойник и вор Комаров,
Много бедных людей он пограбил,
Много бедных сгубил он голов.

По глазам Бабеля понял я, что бабка хитрит и что хитрость ее он раскусил. Но слушал он старуху внимательно, оттого что любил слушать всякие истории, даже вздорные. За вздорными еще лучше угадывался характер человека. А лукавая бабка толковала, что Комаров от казни сбежал и прокрался в свой дом. Плела она небылицы с целью и, когда увидала, что ее разгадали, мигнула: не выдавай, мол.

По двору оголтело носилась ее внучка, боевая, с мальчишеским норовом, девчонка. И непослушная — убегала против воли бабушки в чужие дворы, а там ямы с известью. Непослушная, но и любопытная — прислушивалась к беседе бабушки с незнакомым дядей. Бабушка и надумала ее напугать.

Вспомнив злодея Комарова, бабка осудила приговор суда:

— Зря расстреляли, не дело.

Это уж совсем удивительно. Как так — зря? Такого изверга, окаяннейшего преступника?!

— Легкую смерть зачем подарили зверюге? — негодовала баб-

ка.— Эдакому мучителю облегчение сделали! Он невинную душу не щадил, а тут — бах-бах, вроде праведник какой...

— В прислугах жила? — спросил Бабель.— Не у адвоката ли?

Старуха и точно прослужила много лет в семье присяжного поверенного. Бабель любил болтливых стариков и старух. Я часто заставал его беседующим с домашней работницей в одном доме. Эту старуху звали Ульяной Ивановной. В семье, где она работала, жил квартирант по имени Джек. Собаке же хозяева дали кличку Блек. Как тут разберешь? Ульяна Ивановна, разумеется, путала, то позовет квартиранта: «Блек, обедать иди»,— то напустится на собаку: «Пошел вон, Джек!» Чудными были ей в этой семье не одни имена и клички, но и заботы и страсти хозяев. Ульяна Ивановна нуждалась в человеке, с которым можно было потолковать о деревне, о покойном муже, зятьях и невестках. Бабель был таким человеком. Старухи не замечали обычно, как он направлял нить беседы так, что в жизнеописания зятьев и невесток широко входила история войн и революций. Так направлял он беседы с Ульяной Ивановной, так делал он и здесь, на Хавской. Рассказ бабки становился описанием картин разрухи и восстановления замоскворецких заводов, начавшейся ломки старого уклада.

Бабель был по-настоящему демократичен. Это не так легко быть простым, демократичным,— даже в наши дни. Люди отрываются нередко от основ жизни, теряют ее голоса. Видали мы таких не только в среде литературной и артистической и вообще гуманитарной. Об одном литераторе, кстати, говорили, что в его семье никогда не произносится такое слово, как «пшено», а все «сублимация», «метод», «реплика». В старину говорили: «Мементо мори» — помни о смерти. Неплохо бы иным повторять время от времени: «Помни о жизни!» Бабель о ней всегда помнил и не был никогда тем «человеком надстройки», какие плодятся в мире интеллигентных профессий. Может быть, оттого, что в ранней юности он переболел этой болезнью отчуждения и «в люди» значило у него «всегда в люди»? Оттого-то он и не жил почти в Москве.

Но и в пору своей московской жизни Бабель устраивал свой быт подальше от литературных собратьев и поближе к населению кольца «В». По той же причине он отправлялся со мной в мои путешествия по Москве, если маршруты их обещали открыть ему что-то новое в заводских, пригородных районах столицы. Я постоянно искал там явления и сценки нового быта, нужные иллюстрированным журналам. Бабель справлялся, куда и зачем я иду, и либо одобрял мои поиски и даже предлагал себя в попутчики, либо признавал их ничтожными. Скажу ему: бригада «ДИП», то есть «Догнать и перегнать», на заводе «Каучук» — одобряет. Или что отправляюсь к бывшей прачке, назначенной на пост директора ткацкой фабрики,— тоже годится, хорошо. Новым содержанием привлекла его и Хавская улица: что за дом-коммуна, какие люди заселяют его? Пошли туда вместе.

Ходили мы с ним и на Усачевку и в Тестовский поселок. С тех пор каждая московская новостройка в числе моих старых знакомых,

и временами мне охота их проведать. Как там мои знакомые углы и пересечения, дома и скверы? Пошел я через много-много лет и на Хавскую. Погляжу, подумал я, на дом-коммуну. Шел, увы, один... Вышел на Хавскую, зашагал к Крымскому мосту, к Каменному, стараясь припомнить, таким ли путем возвращались мы с Бабелем...

С набережной я поднимаюсь на Красную площадь. Внизу, у поворота на Варварку, мы прощались обычно. Дом, в котором квартировал Бабель у старого инженера-нефтяника, стоял рядом с бывшим Домом бояр Романовых. Инженер же, чьи последние пять лет совпали с пятилеткой (так говорит он о себе в рассказе Бабеля), трудился над новым вариантом пятилетки — довести в 1932 году добычу нефти до сорока миллионов тонн. Об этом тоже написано в рассказе Бабеля «Нефть». И Москва тех дней представлена в рассказе: она «вся разрыта, в окопах, завалена трубами, кирпичами, трамвайные линии перепутаны, ворочают хоботом привезенные из-за границы машины, трамбуют, грохочут, пахнет смолой, дым идет, как над пожарищем...».

Валентина Ходасевич

КАКИМ Я ЕГО ВИДЕЛА

Я уверена, что он был украшением жизни для каждого, кто встретил его на своем пути.

Трудно и страшно представить себе те чудовищные и беззаконные обстоятельства и людей, которые изъяли его из жизни в разгаре уже накопленной мудрости и таланта.

Мои глаза, тренированные глаза художника, видели и зорко рассматривали Бабеля во время наших встреч, и это поможет мне, через мелочи, наблюденные мною в его внешности, его поведении, в его манере держаться, в его интонациях, восстановить в памяти и вновь увидеть Бабеля, а увидев, найти нужные слова, чтобы рассказать о моих немногих и как бы ничем особенным не примечательных встречах с ним — с живым, неповторимым Исааком Эммануиловичем Бабелем.

Каждая встреча с ним и с его новым литературным произведением всегда волновала и ум и сердце.

Читая написанное Бабелем, я испытываю то же наслаждение, которое получаю как художник, когда смотрю на дивные произведения могучего, непревзойденного, очень ни на кого не похожего и ни от кого не зависящего гениального испанского художника Франсиско Гойи.

Предельно скупые, но точные мазки его живописи и предельно выразительные штрихи его гравюр отражают только самое главное, что он хочет открыть и поведать людям. Отброшено все малозначащее и в картинах, и в портретах, и в композициях. Тема и цель ничем не засорены и действуют безотказно.

Бабель, работая словом, добивается тех же результатов. Их роднит и цель, и мысли, и манера. Я бы к ним присоединила еще и великого Рембрандта с его знаменитым умением пользоваться светотенью.

И все это, как я думаю, от любви и доброжелательства к человечеству.

Как я понимаю, это и есть настоящий — сверх и вглубь — реализм.

За все это — благодарность ему храню и пронесу, как дар, до конца моих дней!

Низкий поклон его имени, его таланту, ему — Человеку!

* * *

Все в нем было неповторимым при его, на первый взгляд, непримечательной внешности. В ней не было ничего яркого, цветного. И волосы, и цвет глаз, и кожа — все было приглушенных тонов. Никогда не видела в его одежде ни кусочка яркого цвета. Моду он игнорировал,— важно, чтобы было удобно.

Если бы не глаза его... то можно было бы пройти мимо не оглянувшись: ну, просто еще один обычный, не отмеченный красотой человек.

В нем не было даже сразу останавливающего внимание, неповторимого «уродства» Соломона Михайловича Михоэлса, которое я всегда воспринимала как чудо особой человеческой красоты — редко встречающейся.

Бабель — человек невысокого роста. Голова сидит на короткой шее, плечи и грудь широкие. Спину держит прямо — по-балетному, отчего грудь очень вперед. Небольшие, подвижные, все время меняющие выражение глаза. Нижние веки поддернуты кверху, как при улыбке, а у него и без. Рот большой. Уголки приподняты и насмешливо и презрительно. Очень подвижны губы. Верхняя — красивого рисунка, а нижняя слегка выпячивается вперед и пухлая.

Кажется, что ему всегда любопытно жить и поглядывать на окружающее (часто только одним нацеленным глазом — в глазу веселая точечка, а другой прищурен).

Мне не приходилось видеть его глаза злыми. Они бывали веселые, лукавые, хитрые, добрые, насмешливые.

Я не жалею, что не видела его злым. Он был слишком мудр для злости, ну, а гнев — это другое дело... Тоже не жалею, что не видела. Мне всегда жалко людей, охваченных гневом, а его было бы особенно жалко.

Он был величественно мудр,— возможно, потому, что доброе сердце и душа его были вымощены золотыми правилами жизни, которые ему дано было познать, и он их утвердил в себе.

Поэтому не надо было ему тормошиться, размениваться на мелочи. Он был непоколебимо честен в делах и в мыслях. Он знал свою Цель и готов был к любому трудному пути, но прямому, без «деляческих» подходов и обходов, и жизнь его была поэтому — трудная и подвижническая жизнь.

Многое мы узнаем о нем, а многое из того, что знали, чувствовали или предполагали, подтверждается возникающими из долгого небытия документами. И это очень нужно и важно, так как есть сейчас много молодежи, задающей вопрос: «Жизнь сделать с кого?»

Всем, всем очень некогда — некогда самим додумываться, осмысливать и найти ту прямую, которая является кратчайшим и вернейшим путем между тобой и Целью человеческой жизни. А Бабель — это прекрасный пример «жизнь сделать с кого» для молодежи.

Процесс его мышления — восхищал. Было всегда в ходе его мыслей нежданное и необычное, а иногда и эксцентричное. Все было пронизано пронзительным ви́дением, глубокими чувствами, талантливо найденными словами. Все было мудро, всегда интересно и главное — человеколюбиво.

Он излучал огромное обаяние, не поддаться которому было трудно. Он не был скупым на чувства — щедро любил порадовать, развлечь или утешить людей своим разговором, рассказом, размышлениями, а если надо было, то и прямыми, конкретными советами и делами. Он не прятался и не убегал, когда надо было помочь людям, даже если для этого надо было пройти по острию ножа.

Но иногда казался таинственным, загадочным, малопонятным, отсутствующим и «себе на уме».

Был нетороплив и скуп в движениях и жестикуляции. Не суетился. Внимательно умел выслушать людей — не перебивал, вникал. Говорил негромко.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Не в легкое для меня время, в дни растерянности и горя произошло мое знакомство с Исааком Эммануиловичем Бабелем. И в дальнейшем встречи наши бывали прослоены несчастьями, ужасами, страхами, а для Бабеля...— жизнь кончилась трагически: он был лишен свободы и жизни.

Вспоминать жутко! — Но времена были такие.

Нежданно-негаданно был арестован мой муж. Мы жили в Ленинграде. Это был 1926 год. Он сидел в тюрьме на Шпалерной. Я носила ему передачи, простаивая иногда с утра и до вечера в очереди, так как на Шпалерной стояли толпы людей с передачами. Началось время — непонятных массовых арестов. Сведений, свиданий или хоть каких-нибудь разъяснений — не давали.

Я мечтала лишь об одном — о предъявлении любого обвинения мужу, чтобы начать «действовать», то есть опровергать, приводить доказательства неправильности обвинения, и мало ли что еще я тогда, по наивности, думала и по глупости — воображала!

В конце концов я еле держалась на ногах, заразилась в очереди корью и тяжело проболела несколько месяцев. К концу болезни стали до меня доходить слухи о том, что в ленинградском отделении ГПУ выявлены злоупотребления и ждут вскоре, из Москвы, «комиссию по проверке и чистке аппарата ленинградского отделения ГПУ».

В те дни зашел меня навестить режиссер Сергей Эрнестович Радлов, с которым мы очень дружили и часто работали вместе в театрах. Он сказал, что приехал в Ленинград Бабель и будет завтра у него. (Точно не помню, но, по-моему, Бабель и Радлов встретились для разговоров о постановке в Москве в МХАТе 2-м пьесы И. Э. «Закат».) У Бабеля есть друзья в приехавшей комиссии по чистке. Сергей Эрнестович пригласил меня прийти завтра к нему, познакомиться с Бабелем и рассказать ему о моем горе и недоумении — пусть он хоть попросит ускорить рассмотрение дела моего мужа.

Я пришла. Бабель был уже там.

Я дрожала, заикалась, волновалась в начале разговора, но вскоре, увидав полное доброжелательство в глазах Бабеля, устремленных в мои глаза, какую-то его горькую полуулыбку, неторопливые подробные расспросы всех обстоятельств, я обрела покой.

Мне стало легко говорить с ним. Я поверила в его человечность и в то, что он не бежит чужого горя и, вероятно, искренне хочет прийти на помощь. Да ведь все это видно в его произведениях — они написаны мудрецом, добрым, отзывчивым и все понимающим.

Сложны несчастья человеческие, и вольные и невольные. Бабель «копнул» их глубоко, до самых корней, и понял как большой писатель, психолог и философ. Это его «понимание», возможно, и предопределило в дальнейшем его судьбу — его личную трагедию.

У него был свой символ веры, а, как мы знаем, такое роскошество и своеволие многих приводило в те времена к страшным последствиям. Так вот и его привело — в конце концов.

Уже через день после нашего свидания с Исааком Эммануиловичем он сообщил мне, что «дело» моего мужа будет затребовано комиссией и мне надо набраться, ненадолго, терпения: «Посмотрим! Посмотрим!» — сказал он мне и очень ласково улыбнулся.

Конечно, не с сегодня на завтра, но вскоре муж мой был освобожден без предъявления какого-либо обвинения, так как «дела» — вообще не было.

Мы с мужем написали Исааку Эммануиловичу письмо в Москву и благодарили за вмешательство. Это первое знакомство, естественно, наложило отпечаток на все последующие наши встречи и сделало Бабеля для меня — не чужим человеком.

ВСТРЕЧИ В ГОРКАХ У АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГО И ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ

Вернувшись из Италии, Алексей Максимович Горький жил в основном на даче под Москвой, в Горках X. Это в сорока восьми километрах от Москвы и находится совершенно в противолежащем Горкам Ленинским районе.

Алексей Максимович вел в Горках жизнь довольно уединенную и был углублен в работу. Если его хотели навестить друзья или по делам нужные люди, таким свиданиям отводилось время или к

чаю — в пять часов дня — или к ужину — в восемь вечера. Алексей Максимович всегда был рад приезжавшим, ибо они связывали его с тем, в чем участвовать самому по состоянию здоровья было ему уже не под силу. Желающих побывать у Алексея Максимовича было слишком много, и очередность посещений устанавливал строгий его секретарь. Но была категория людей, которые, по договоренности с Алексеем Максимовичем, «обходили» секретаря и пробирались «нелегально», что очень веселило Алексея Максимовича.

В «нелегальные» попали и Исаак Эммануилович Бабель, и Соломон Михайлович Михоэлс, и Самуил Яковлевич Маршак, и Михаил Кольцов.

Бабелю, когда он поселился недалеко от Горок, в деревне Молоденово, Алексей Максимович сказал: «Приходите в любой день к обеду — это в два часа. Всегда буду рад».

К дому в Горках примыкал очень хороший и живописный парк, тянущийся по высокому, крутому берегу Москвы-реки. Все это окружено было забором, одна сторона которого граничила с Конным заводом, принадлежавшим когда-то одному из московских богачей Морозовых.

Когда в Горках X поселился Алексей Максимович, это был еще очень глухой район. Совхоз «Успенское» только зачинался. Ближайшими железнодорожными станциями были Перхушково и Жаворонки, находящиеся километрах в шести-восьми от Горок. Живущие в Горках сообщались с городом на автомобиле. Никаких автобусов не было, да и асфальтированные дороги не сразу появились.

Если ехать из Москвы, то примерно за километр от Горок по левую сторону возвышался загадочный курган, а за ним, на холме, располагалась уютная деревня Молоденово. Там, как нам стало известно, и поселился Исаак Эммануилович Бабель еще в 1930 году. Он жил то там, то в Москве.

Он рассказывал, что его интересуют лошади и весь их быт, он все это изучал на Конном заводе — у него там друзья и среди людей, обслуживающих завод, и среди лошадей. Собирается он написать «Лошадиный роман».

Приходил Бабель в Горки то часто, то пропадал. Помню, как, бывало, садились мы обедать, а Алексей Максимович говорил: «Не подождать ли нам все же Бабеля,— может, немного опаздывает...»

Из столовой, через переднюю, в застекленную входную дверь, наружную дверь дома, видна была прямая дорога, ведущая к въездным воротам. И вот мы, обедающие, часто поглядывали и следили, не идет ли Исаак Эммануилович...

Как-то особенно уютно бывало зимой, когда на фоне белого снега в маленькую калитку в заборе, около ворот, входил в шапке-ушанке, в куртке, с палкой, неторопливо, слегка вразвалку, Бабель. «Ну, сейчас много примечательного нам расскажет и про лошадей, и про многое другое»,— говорил Алексей Максимович. Соскучиться с Бабелем бывало невозможно. Он как-то очень чувствовал слушателей и умел незаметно перевести разговор с одного на другое, еще

более интересное. Уютней всего бывало именно зимой в тишине большого пустынного дома, когда после поездок в Москву Бабель приходил начиненный всяческими литературными и другими новостями.

У него с Алексеем Максимовичем часто бывали и специальные дружеские, профессиональные разговоры, в которых очень нуждался и которыми не был избалован Алексей Максимович.

Пролагая путь и продвигая вперед тяжелый корабль советской литературы, Алексею Максимовичу нужно бывало и самому посоветоваться с профессионалом о своих личных литературных сомнениях.

Вот Бабелю и Маршаку он очень доверял и как-то (пусть это не покажется странным в применении к Горькому) не стеснялся их. Бабель, конечно, часто вспоминал и рассказывал Горькому об Одессе. Это бывали или лирические, или смешные истории из жизни Одессы и одесситов. Но всегда чувствовалось, как он любит Одессу и «на всякий случай» каждого одессита.

Бабелю случалось быть и озорным, и тогда ему приходили в голову какие-то эксцентричные соображения. К сожалению, не помню подробно, но, встречаясь в Горках с Михоэлсом, они начинали вспоминать свои годы «доблестей и забав».

Это были рассказы о каких-то бесконечных розыгрышах друг друга, или они вдвоем «брались» за кого-нибудь и долго морочили голову продавцу газированных вод, или еще выбирали какой-нибудь ни в чем не повинный объект для своих игр. Полем их действий бывала не только Одесса. Иногда они случайно встречались где-нибудь в маленьком городке, где гастролировал Московский еврейский театр, возглавляемый Михоэлсом, и тогда жизнь такого городка бывала целиком во власти и под обаянием этих двух сказочных выдумщиков. Встречаясь у Алексея Максимовича, они разыгрывали невероятные дуэты. Много раз мне довелось присутствовать на этих «концертах» за обедом или за ужином. Начинался какой-нибудь разговор, и Бабель с Михоэлсом, перемигнувшись, находили зацепку, включались, и тут уж не только говорить, но страшно было нарушить их рассказы и диалоги или пропустить хоть слово или жест. Алексей Максимович отставлял тарелку и, вооружившись папиросой и носовым платком (вытирать слезы, появлявшиеся у него от смеха), был весь внимание.

После их отъезда мы всегда еще долго обсуждали с Алексеем Максимовичем «спектакль» и талантливых исполнителей. Алексей Максимович говорил: «А вот когда встречаются у меня двое таких разных и в чем-то одинаковых, неповторимых людей, как Бабель и Маршак,— тоже замечательно получается, только с Михоэлсом — «дуэт», а когда с Маршаком — каждый хочет изобразить «соло» и слегка сердится на другого, если тот перебивает или выпячивается». Алексей Максимович очень любил и ценил всех троих — и Бабеля, и Михоэлса, и Маршака.

Лето. Теплый лунный вечер. В парке Горок разведен большущий костер. Помню Бабеля у костра вместе с Алексеем Максимовичем —

они перебрасываются редкими словами и, зачарованные, не отрывают глаз от огромного пламени. Кругом много гостей, шум, веселье, а Алексей Максимович умел как-то уединиться и на людях, и костер помогал ему в этом. А то, бывало, стоит Бабель где-нибудь в сторонке, опершись на палку или прислонившись к стволу дерева,— наблюдает за всеми вокруг и надолго останавливает любовный и серьезный взгляд на Алексее Максимовиче.

Уже после смерти Алексея Максимовича, когда семья его еще жила (а я в то время жила с ними) в осиротевшем, почти омертвевшем доме в Горках, нет-нет да захаживал туда Бабель из Молоденова и отвлекал нас, как мог, от горестного состояния.

Однажды он рассказал с какой-то стеснительной усмешкой, что женился на дивной женщине, с изумительной анкетой — мать неграмотная, а сама инженер на Метрострое, и фамилию ее вывешивают на Доску почета. Фамилия ее Пирожкова. К концу рабочего дня он прибегает в Метрострой за Пирожковой и в ожидании ее прихода волнуется — есть ли ее фамилия сегодня на Доске почета?

Однажды он пришел в Горки из Молоденова с прелестной, очень красивой молодой женщиной, необычайно женственной, но отнюдь не лишенной затушеванных властности, воли и энергии.

Нам он сказал: «Вот Пирожкова Антонина Николаевна, знакомьтесь»,— и тут же что-то со смешком упомянул об анкетных данных. Антонина Николаевна взметнула на него свои светлые, какие-то по всему лицу раскинувшиеся глаза и строго на него посмотрела. Бабель не то чтобы смутился, но осекся как-то. Но все равно у него было очень счастливое лицо.

ВСТРЕЧИ В ОДЕССЕ В АВГУСТЕ 1936 ГОДА

«Одесская мудрость гласит: если с тобой знакомая дама, ты обязан угощать ее гренадином»,— сказал мне Бабель, почти насильно усаживая за столик в кафе гостиницы «Красная» в Одессе и ставя передо мной бокал гренадина. Затем, исчезнув на секунду, он вернулся и галантно вручил мне соломинку, упакованную в папиросную бумагу. Он сказал: «Вообще это невкусно, но через соломинку все же легче...»

Мы неожиданно встретились в вестибюле гостиницы. В тот день я должна была уезжать в Москву, мои вещи с утра вынесли из занимаемой мной комнаты в вестибюль, хотя поезд уходил вечером, чтобы сразу же вселить кого-либо из давно ждущих комнату.

Оставалось уже не много времени до отхода поезда, и я ждала человека, обещавшего достать мне билет в Москву и транспорт от гостиницы до вокзала.

В Одессу я попала впервые, провела там дня четыре, полных необычайных приключений и неожиданностей, включая и встречу с Бабелем, которая, к большому сожалению, произошла только за несколько часов до моего отъезда. Но и то хорошо! Я и так была очарована Одессой, а тут еще и Бабель! И как ни было коротко наше свидание, оно очень много мне раскрыло и в Бабеле и в Одессе. Одним словом, мне повезло!

Бабель в Одессе чем-то отличался от московского Бабеля. У него была и другая манера держаться, и не насмешливые, а просто очень веселые глаза, и какие-то быстрые, танцующие движения. Его «величие» все равно наличествовало, даже усугубилось,— просто сбежавший с Олимпа небожитель, которому захотелось поерундить среди людей.

Бабель сказал мне, когда я его спросила, что за таинственные, странные, а пожалуй, малопочтенные люди окружали его за столиком, когда я вошла в кафе гостиницы: «Я покупаю дачу и все капризничаю, а эти люди ищут дачу и волнуются, а я в это время их изучаю. Я уже осмотрел кучу домов, которые вскоре сползут в море, и другие, которые временно не сползают... Пейте гренадин! Иначе вы меня скомпрометируете в глазах одесситов».

МОСКВА, ЗИМА 1936 — ВЕСНА 1937 ГОДОВ. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

В апреле 1937 года вышел № 4 журнала «СССР на стройке», когда-то организованного А. М. Горьким. Большинство номеров этого журнала бывало посвящено какой-нибудь одной теме. Этот номер был посвящен Горькому — всей его жизни, вплоть до смерти,— и задуман был вскоре после того, как Алексея Максимовича не стало 18 июня 1936 года. Но понадобилось несколько месяцев, чтоб создать этот номер.

Для разработки темы и написания текста редакция обычно приглашала кого-нибудь из значительных писателей. В данном случае приглашен был Исаак Эммануилович Бабель — человек острой выдумки, хорошо знавший и любивший Алексея Максимовича. Художником выбрана была я. Конечно, я была очень обрадована этим, но боялась, что впервые буду работать в журнале, имевшем особую специфику, и впервые с Бабелем. Да еще и номер такой ответственный.

Впоследствии, постигнув специфику работы художника в этом журнале, я так пристрастилась к этой работе, что оформила несколько номеров на разные интересные темы, и работа моя прекратилась только в связи с закрытием журнала.

Принцип журнала был таков: максимум фотоматериалов и минимум текста. Тем труднее было писателям. Писатель должен был сочинить на заданую тему подобие фотосценария. Композицию и формат кадров на страницах разрабатывал художник к еще не существовавшим фото и заказывал их фотографам.

Бабель решил, что лучше всего будет, если в этом номере в основном будет говорить о себе сам Горький, а Бабель будет режиссером — составит драматургический план и подыщет цитаты из высказываний Алексея Максимовича в разные периоды его жизни.

Это была очень интересная и правильная выдумка.

Человек пять лучших фотокорреспондентов Москвы были постоянными сотрудниками журнала «СССР на стройке». Журнал в



И. Э. Бабель. 1938 год.

основном строился на фотоматериале, который должен был быть очень выразительным и подан так, чтобы и без текста было все понятно. Все же для каждого номера приглашался специальный писатель, который вместе с художником, как в театре, режиссировал номер. Надо было провести через отобранные фотографии основную тему и разворачивать ее по законам драматургии. Авторы и художник договаривались, после чего художник делал макет номера журнала, то есть композицию каждой страницы, предусмотрев размер фотографии. Надо было оставить место и для текста, которого пока еще не было, но в том-то и дело, что у автора и художника должна была быть договоренность о почти точных размерах оставляемого для текста места.

Макет такой представлялся редакции, и уже после утверждения художник делал заказ фотокорреспондентам. Это была очень трудная работа, но очень увлекательная. Если же использовалось что-либо из уже существующего материала, то он переснимался в нужном размере в фотолаборатории редакции, где были опытнейшие мастера своего дела. Художнику было истинным удовольствием работать с ними.

И вот задания фотокорреспондентам даны. Договорились. Они бросаются, как тигры, на работу. Иногда тема номера требовала

далеких поездок по всему Союзу. Конечно, материал привозился в избытке, с учетом возможности выбора. Редакция не скупилась, и журнал получался обычно очень хорошим. Он завоевал большую популярность. Печатался он на четырех языках.

Надо сказать, что если вначале Бабель относился к работе как к моральному обязательству по отношению к покойному Горькому, то в конце концов он увлекся, вложил в работу много выдумки, и номер, посвященный Горькому, получился очень насыщенным, интересным и ценным по материалу.

Вспоминаю, что кроме встреч и разговоров в редакции Бабель просил меня однажды приехать к нему домой, чтобы спокойно, не в обстановке шумной редакции, поговорить о порученной нам работе.

Приехала я к нему в Большой Николо-Воробинский переулок — это близко от Покровских ворот.

Дальнейшее вспоминается импрессионистически, но встающие в памяти детали характерны для Бабеля, и поэтому я их записываю.

Дом двухэтажный, деревянный. Звоню. Мне открывает дверь старушка, повязанная платком. Попадаю в переднюю. Из передней ведет деревянная, ступенек на двадцать, неширокая внутриквартирная лестница.

Слышу голос сверху, поднимаю голову — вижу Бабеля, стоящего во втором этаже. Предлагает подняться наверх, к нему. Поднялась. Не совсем поняла, что это за помещение, да и не очень светло, хотя день. Одно окно в узкой стене длинного помещения дает мало света. Вдоль перил, огораживающих лестничный проем, стоят сундуки. Один — с горбатой крышкой, другой — с плоской. И корзина. Один из сундуков обит медью,— вероятно, старинный. У противоположной стены шкаф. Неуютно. Тут же, между шкафами и сундуками,— небольшой стол, не больше разложенного ломберного. Стол покрыт скатертью или клеенкой. На нем металлическая высокая квадратная коробка,— в таких держали в старину чай. Бабель предлагает сесть за стол, говорит, что будет угощать чаем, а потом поговорим о деле. Я села. Бабель кричит вниз: «Ну, что же кипяток!» Внизу слышны шаги. Бабель спускается по лестнице и возникает с подносом, на котором стоит все еще плюющийся паром большой чайник с кипятком и другой, тоже не маленький, фарфоровый — для заварки чая, чашка, стакан с подстаканником, полоскательница, сахарница. Начинается очень деловой, серьезный и неторопливый ритуал заварки и приготовления чая. Я думаю: «Игра это или всерьез? Или оттяжка времени, чтобы переключиться на будущий разговор о журнале?»

Не буду описывать подробно, как заваривался и настаивался чай,— очень сложно! Одно хорошо запомнила — это поразившее меня количество чая на одну чашку: три или четыре ложки с верхом. А пить надо, чуть не обжигаясь,— иначе аромат улетучится. Чтобы приготовить чай себе, Бабель проделал все сначала, начиная с того, что снизу по его зову был принесен старушкой новый кипящий чайник. Когда процедура была закончена, он очень серьезно сказал: «Только так есть смысл пить чай! Не хотите ли повторить?» Нет,

я не хотела, я мечтала поскорее начать разговор, связанный с работой, и надо было уже торопиться в редакцию.

У меня осталось впечатление чего-то чудаковатого от ритуального чая, от странного обиталища и по старинке и уютного и неуютного быта.

Но Бабель все равно был хорош и абсолютно «на месте» и в этой обстановке. Да как и везде, я думаю.

О. Савич

ДВА УСТНЫХ РАССКАЗА БАБЕЛЯ

Когда Исаак Эммануилович что-нибудь рассказывал, каждое слово получалось у него удивительно вкусным. Казалось, как дегустатор, он перекатывает его во рту, пробует со всех сторон и только потом выпускает на свободу. Передать выпуклость и выразительность, которые он придавал таким образом своему рассказу, разумеется, невозможно. С такой же влюбленностью в слово, в его звучание и убедительность, он говорил по-французски. Правда, французский язык он знал с детства. На Конгрессе в защиту культуры в Париже, сидя за столом на эстраде, а не стоя, как другие, он на безукоризненном французском языке вел непринужденную беседу со слушателями. Он как будто говорил с одним-единственным человеком, рассказывая ему разные случаи из советской жизни и поверяя ему свои наблюдения. Это было то, что французы издавна называют causerie и чем они блистали на протяжении веков. Но ни один оратор не сумел за легким разговорным тоном, за блестящими афоризмами и шутками, незаметно вкрапленными в речь, достичь такой увлекательности и глубины. Я помню взрыв аплодисментов, когда Исаак Эммануилович рассказал, как он подошел к группе людей, взволнованно обсуждавших какое-то происшествие. Оказалось, что муж избил жену. «Вот оно, пьянство»,— сказал один. «Из ревности, наверно»,— сказала женщина. «Темнота»,— возразил третий. И спор заключил четвертый, авторитетно заявив: «Товарищи, это контрреволюция».

Я встречался с Бабелем только в Париже. Этот период описан И. Г. Эренбургом в его воспоминаниях «Люди, годы, жизнь», и мне тут прибавить нечего. Но память сохранила мне два устных рассказа Исаака Эммануиловича, при которых другие не присутствовали. Не сомневаюсь, что он рассказывал это не мне одному, но, насколько мне известно, никто этого не записал.

1

В Париже гастролировал Цаккони, «последний», как его называли, итальянский трагик. Ему было за шестьдесят.

После долгого отсутствия (оно означало, что Бабель работал, не выходя из дому; это единственная тайна в его жизни, которую мы разгадали) Исаак Эммануилович пришел в кафе на Монпарнасе,

где мы встречались, и стал всех по очереди уговаривать пойти с ним в театр. Никто не соглашался, уговорил он только нас с женой.

Мы пошли на «Короля Лира». Денег было мало, мы сидели на ярусе, сбоку. Впрочем, видно и слышно было хорошо.

Труппа, с которой приехал итальянский Несчастливцев, была чудовищна: фальшивые интонации, неестественные жесты любителей, даже не принимавших свое дело всерьез. Правда, трагедия была сокращена до такой степени, что превратилась в монолог Лира, изредка прерываемый то необходимой репликой, то сценой, во время которой Цаккони мог отдохнуть. К этому надо прибавить размалеванные, но выцветшие декорации, качающиеся задники, пустоту на сцене: дворцы отличались от полей только стенами.

Старик гастролер играл на технике, натуралистично. Он не «рвал страсть в клочья», но берег силы и голос и скупился даже на жесты. Как когда-то оперные певцы, он «выложил» себя полностью в одной лишь сцене, в последнем акте. Опустив мертвую Корделию на землю, он раз сорок, не меньше, назвал ее по имени; каждый раз интонация была другой, но ни одна не была фальшивой; затем имя Корделии перешло в предсмертную икоту, с которой Лир умирал. Но в почти клиническом воспроизведении смерти не было ничего оскорбительного, напротив, оно было убедительно и волновало.

Мы возвращались домой и разочарованные, и все же довольные, что видели «последнего трагика».

— А знаете, какой самый потрясающий спектакль я в своей жизни видел? — сказал Исаак Эммануилович.— Он разыгрывался одновременно на сцене и в зрительном зале, и участвовали в нем все, кто пришел в театр. В Одессе был замечательный молодой актер, необыкновенно талантливый и темпераментный, и притом редкий красавец — Горелов. Его обожала вся Одесса. А вы знаете, что такое, когда вся Одесса обожает актера? Это значит, что он ходит по городу, как библейский царь: все на него оборачиваются, и у всех в глазах сияют восторг и преданность. У него не может быть врагов: их сейчас же сживут со света. Если в театре вы ему не аплодируете, сосед вас непременно спросит: «Я извиняюсь, вы что, глухой, или слепой, или, не дай бог, то и другое?»

Так вот, Горелов заболел, и заболел смертельно. Он сам этого не знал, но Одесса это знала. Вероятно, никогда в Одессе не было пролито столько слез.

Узнал это и отец Горелова, знаменитый петербургский артист Давыдов. И он приехал посмотреть на своего сына в спектакле, который мог стать последним в жизни молодого актера. Давали «Лорензаччо», Горелов играл заглавную роль.

В Одессе знали, что Давыдов приехал и будет на спектакле. В Одессе все известно. И все пришли в театр. А знаете, что такое, когда вся Одесса приходит в театр? По сравнению с этим в бочке с селедками просторно.

Давыдов сидел в первом ряду. В пьесе пять актов. И все пять актов Давыдов плакал, он смотрел на сцену и плакал. Может быть, он даже ничего не видел из-за слез. Он и в антрактах не вставал с места и плакал. И с ним плакала вся Одесса.

Горелов играл замечательно. Он как будто пел свою лебединую песнь, но люди смотрели не на сына, а на отца. И горько рыдали.

А вы говорите — Цаккони. Хотя Цаккони — очень хороший актер. Итальянцы вообще замечательные артисты.

2

Мы шли по бульвару Монпарнас и говорили о лошадях,— Исаак Эммануилович мог говорить о них часами. Он и в Париже любил ходить в места, где встречались жокеи.

— Большинство ходят на бега и скачки, чтобы играть. Никто не играет, чтобы проиграть. Но выигрывают только две категории — жучки и дамы. Для жучка семья, работа — между прочим, а бега — это жизнь, причем он убежден, что без жульничества прожить нельзя. А дама видит лошадей в первый раз на ипподроме. Ей нравится имя лошади, положим, Ночная красавица. Кавалер говорит ей, что это кляча без всяких шансов. Но дама стоит на своем. И Ночная красавица приходит, после чего дама убеждена, что она поняла всю механику дела. Она ставит только на красивые имена, но они ее неизменно подводят. Если бы она ушла после единственного выигрыша! Но она уже не может уйти.

Ипподром — это театр, где всегда премьера. Но творцы спектаклей не жокеи и не лошади. Режиссер на бегах — это тренер. Сейчас осень, а тренер записывает лошадь на бега, которые состоятся, скажем, 7 апреля в 4 часа дня. И он готовит ее так, что именно 7 апреля, и не в $3^3/_4$ и не в $4^1/_4$, а именно ровно в 4, она оказалась в своей лучшей форме. Может быть, за всю свою жизнь она будет в такой форме только один раз.

Мы почему-то остановились у длинной грязной стены Монпарнасского вокзала. Неподалеку стояли бедные проститутки. Мимо шли разные люди. Никто на нас не смотрел: в Париже не удивляются тому, что люди выбрали странное место для беседы. Здесь Исаак Эммануилович рассказал мне еще одну историю:

— В Москве до революции на бегах работали американцы, братья Винкфильд. Старший был трезвенник, скопидом, домосед. А младший был кутила, транжира и в общем прохвост. Но зато к лошадям у него было шестое чувство.

Революция. Хозяева конюшен исчезли, бега кончились, лошади реквизированы. Братья уехали за границу. Старший вернулся прямо в Соединенные Штаты и сейчас же получил хорошее место. А младший поехал в Париж и с таким треском прокутил здесь свои деньги, что остался без гроша. В это время в Америке случился очередной приступ ханжества и лицемерия, а так как похождения Винкфильда-младшего были действительно скандальны, то американский консул сообщил о них на родину, и, вернувшись туда, он нигде не мог устроиться. А другие тренеры раздували эту историю, побаиваясь талантливости Винкфильда-младшего. Его, голодного, подобрал какой-то фермер, у которого была крошечная провинциальная конюшня с десятком лошадей. Винкфильд-младший чувствовал себя так, как царский гвардейский офицер, разжалованный в солдаты,

но не на Кавказ, а в какой-нибудь Царевококшайск. Владельцы конюшен, тренеры и жокеи с ним не встречались, не разговаривали и не кланялись.

Так прошло года два. Фермер как-то сказал свому тренеру, что хотел бы продать кобылку, что о втором годе, так как убежден, что толку от нее не будет. Винкфильд-младший ответил, что если фермер не будет дорожиться, то он, пожалуй, купит ее сам.

Он начал готовить свою кобылку и тайком записал ее на целый ряд бегов. И когда ей исполнилось два года, она стала выигрывать один приз за другим. Словом, к концу сезона она сделалась лучшей двухлеткой в Соединенных Штатах.

Фермер сказал Винкфильду: «У меня есть жеребчик, брат этой кобылки, он на год старше. Я уже махнул на него рукой. Но, может быть...» — «Хорошо,— ответил Винкфильд,— но призы пополам». Это были неслыханные условия, но фермер сообразил, что они для него все-таки выгодны, и жеребец-трехлетка повторил карьеру своей сестры.

С Винкфильдом-младшим стали раскланиваться, разговаривать и встречаться. На него посыпались лестные предложения. Но прежде, чем принять одно из них, он на все накопленные деньги заказал в «Вальдорф-Астории», самой большой гостинице в мире, роскошный банкет, с русской икрой и французским шампанским. Он пригласил владельцев конюшен, тренеров и жокеев. И они пришли, набился полный зал, потому что удача — это удача, а шампанское — это шампанское.

— Ну что, сукины дети, можно зарыть чужой талант в землю?

— Смотрите,— сказал вдруг Исаак Эммануилович,— а проститутки все стоят. Ни одна не нашла клиента.

Ф. Левин

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Говорят, что первое впечатление самое верное. Так бывает не всегда. Но бывает. По крайней мере, у меня.

Есть в Москве широкий и короткий Копьевский переулок. На одном конце его здание, в котором ныне Театр оперетты. Другим концом переулок выходит к Большому театру. Здесь в угловом доме на первом этаже в начале тридцатых годов занимало две или три комнаты издательство «Федерация». Проходя теперь мимо, я вижу мутные окна, заколоченную дверь и вспоминаю, с какой робостью и с каким уважением входил я некогда сюда. Здесь перебывали многие и многие ныне живущие и уже умершие знаменитые писатели. Сюда я приходил в 1932 году: мне поручали рецензировать рукописи.

Однажды летом я сидел здесь у окна, перелистывая какую-то рукопись. За столом просматривал деловые бумаги прелестный и

обаятельный человек, журналист и писатель Александр Никанорович Зуев. Мы молчали. Было тихо. Но вот хлопнула дверь, вошел неизвестный мне человек. Зуев поднялся ему навстречу со своей неизменной приветливой улыбкой, пожалуй более обычного радушной. Я мельком взглянул на незнакомца, крепко пожимавшего руку Александра Никаноровича. Коренастая, широкая и плотная фигура, крупный нос, толстые, негритянские губы в веселой и лукавой улыбке, сверкающие стекла очков, за которыми лучились умные, быстрые глаза,— вот все, что я успел заметить.

Зуев, как всегда, говорил неторопливо, тихим, мягким, немного глуховатым голосом, гость улыбался, посмеивался, похохатывал. Последовали взаимные вопросы о здоровье.

— Что давно вас не видно? Где проводите лето? — спросил Зуев.

— В Молоденове,— отвечал гость.

— Что там делаете?

— Работаю.

— А живете где?

— У старушки одной. Древняя уже старушенция. С ней у меня забавный случай произошел.

И гость стал рассказывать, улыбаясь, посмеиваясь, хитро и лукаво взглядывая то на Зуева, то на меня:

— Собрался я как-то в Москву. Старуха говорит:

«Исак, купи мне на саван».

«На саван?»

«На саван, батюшка. Было у меня тут приготовлено, да невестка на рубахи пустила. Помру, дак и завернуть не во что».

«Да что ты, бабушка! — говорю.— Ты здорова, помирать не торопись. Зачем тебе саван?»

«Человек своего часу не знает, саван надобно загодя припасти».

«Чего ж тебе купить?» — спрашиваю.

«Да ты что, Исак, не знаешь, из чего саван шьют? Белого материалу купи али сурового».

Я пообещал и поехал.

Закончил свои дела, пошел по магазинам, посмотрел. Все что-то не то. Бязь какая-то. В общем, купил несколько метров шелкового полотна. Приехал, отдаю, смотрю, что будет. Старуха древняя, подслеповатая. Долго она разглядывала, щупала, качала головой.

«Сколько же оно стоит? Дорогое, поди?»

Я смеюсь:

«Сколько бы ни стоило, денег с тебя не возьму».

«Как не возьмешь?»

«Так, не возьму. Это ж на такое дело, что брать нельзя».

Она долго жевала губами, опять щупала и мяла ткань, потом спросила:

«Это что ж за материя такая?»

«Полотно»,— отвечаю.

«Не видала допрежь такого. Хорошее полотно. В жисть такого не нашивала, хоть после смерти в ём полежу».



И. Э. Бабель. Рисунок художника В. Милашевского. 1933 год.

И спрятала полотно в сундук.

...Гость посмеивался, но чувствовалось, что смехом он скрывал свою растроганность.

— ...Да-а... вот, значит, какая бабуся!

— Может быть, вы что-нибудь новое написали? — спросил Зуев, меняя разговор.— Давайте нам.

— Нет, ничего не написал.

— А все-таки! Может, есть хоть один новый рассказ? Возьмем несколько прежних, прибавим новый и издадим книжку. А? — с надеждой говорил Александр Никанорович.

Гость задумался.

— Есть у меня один рассказ,— нерешительно начал он.— Но, понимаете, в нем нет конца. А у меня, вы знаете,— он развел руками,— это может быть и полгода.

И он опять засмеялся, но на этот раз как-то неловко, будто извиняясь.

— Ну что ж, Исаак Эммануилович, будем ждать,— сказал Зуев.— Только уж вы никуда.

— Конечно, конечно.

Исаак Эммануилович простился. Еще раз блеснули стекла его очков, просияла широкая, добродушно-лукавая улыбка, и он ушел.

— Кто это был? — крайне заинтересованный, спросил я Зуева.

— Бабель,— ответил Александр Никанорович, снова садясь за свой стол.

Должно быть, у меня был очень глупый вид в эту минуту: так поразила меня эта внезапно прозвучавшая фамилия. Я ли не знал «Конармии», «Одесских рассказов»! У читателей моего поколения многие чеканные реплики героев бабелевских рассказов были на слуху, вошли в речевой обиход как афоризмы, как крылатые слова. «И прошу вас, товарищ из резерва, смотреть на меня официальным глазом». «И, сняв со стенки верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и республики». «Коммунистическая наша партия есть, товарищ Хлебников, железная шеренга бойцов, отдающих кровь в первом ряду, и когда из железа вытекает кровь, то это вам, товарищ, не шутки, а победа или смерть».

Я долго не мог опомниться: я видел Бабеля.

Много раз после того я встречал Исаака Эммануиловича — в издательствах, в писательском клубе, слышал его с трибуны Первого съезда советских писателей. Но первая встреча резче всего запечатлелась в моей памяти. Почему? Может быть, потому, что тогда я как-то всей кожей ощутил и его жизнерадостность, и веселость, и чувство юмора, и сердечную теплоту к дряхлой бабке и ко всем людям, и великую требовательность к своему искусству художника, который мог месяцами искать единственно необходимые, неожиданные, немыслимые и неповторимые слова, который знал, что тайна фразы «заключается в повороте, едва ощутимом», что «никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя».

Г. Мунблит

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Нет на свете более трудной задачи, чем описать наружность человека так, чтобы читатель увидел его воочию. Что же до Бабеля, то его наружность описать особенно трудно.

Все в нем казалось обыкновенным — и коренастая фигура с короткой шеей, и широкое доброе лицо, и часто собирающийся в морщины высокий лоб. А все вместе было необыкновенным. И это чувствовал всякий сколько-нибудь близко соприкасавшийся с ним.

Прищуренные глаза и насмешливая улыбка были только внешними проявлениями его отношения к тому, что его окружало.

Самое же отношение это было неизменно проникнуто жадным и доброжелательным любопытством. Он был, как мне всегда казалось, необыкновенно проницателен и все видел насквозь, но, в отличие от множества прозорливцев, проницательность порождала в нем не скептицизм, а веселое удивление. Видимо, поводы для этого открывались ему не на поверхности вещей, а в их глубине, где таятся невидимые для невнимательных людей радостные неожиданности.

И еще. Существует такая манера вести себя, которая называется важность. Глядя на Бабеля, даже и представить себе нельзя было, что эта самая важность бывает на свете. И это тоже очень существенная черта его облика.

Наша первая встреча была поначалу вполне деловой. Произошло это году в тридцать шестом, а может быть, немного позже.

В редакции «Знамени», где я тогда работал, редакции предприимчивой, удачливой и честолюбивой, стало известно, что Бабель написал киносценарий. Он давно уже ничего не печатал, и заполучить для журнала новое его сочинение, пусть даже предназначенное для кино, было очень заманчиво.

Долго спорили, кому поручить переговоры с Исааком Эммануиловичем, и наконец выбор пал на меня. Причина была в том, что незадолго перед тем я напечатал в «Литературной газете» статью о бабелевских рассказах, и предполагалось, что мне с ним удастся быстрее поладить.

Переговоры наши начались по телефону, и мне пришлось долго объяснять моему собеседнику, откуда и по какому делу ему звонят. Уразумев наконец, о чем идет речь, Бабель сразу же заявил, что печатать свой сценарий не собирается.

Тогда я принялся исчислять все выгоды и радости, какие сулило бы ему это предприятие, ежели бы он на него решился. Мой собеседник не прерывал меня, и, неведомо почему, я вдруг почувствовал, что он размышляет не о том, что я говорю, а о чем-то другом. Исчерпав свои доводы, я замолчал и стал слушать потрескивание и шорох, хорошо известные всем, кому случалось вести тягостные переговоры по телефону. На мгновение мне показалось даже, что Бабель повесил трубку. Но тут я услышал его мягкий, слегка пришепетывающий голос.

— Приходите, побеседуем,— проговорил он медленно, видимо еще раздумывая, и стал диктовать мне адрес.

На другой день утром я позвонил у дверей крохотного двухэтажного особняка в переулке у Покровских ворот. Бабель сам открыл мне, и мы прошли в большую комнату первого этажа, судя по всему — столовую. Здесь хозяин указал мне на стул, а сам устроился на большом, стоявшем в углу сундуке.

Об этом сундуке я уже слышал прежде. Утверждали, что Бабель хранит в нем рукописи, тщательнейшим образом скрывая их от чужих взоров и извлекая на свет только для того, чтобы поправить какую-нибудь строку или слово, после чего снова укладывает назад пожелтевшие от времени листки, обреченные на то,

чтобы пролежать без движения еще долгие месяцы, а быть может даже и годы.

Теперь, увидев сундук своими глазами, я окончательно уверовал в правдивость этой легенды.

Беседа наша поначалу оказалась гораздо короче, чем мне бы хотелось. Видимо, Бабель все обдумал еще до моего прихода и изложил свое решение кратко и ясно. Сценарий он согласен дать в «Знамя» только для ознакомления. Печатать его в нынешнем виде, по его мнению, нельзя. Это не принесет лавров ни журналу, ни автору. Что же касается договора, то, если редакции сценарий понравится и она поверит в его счастливое завершение, он согласен договор подписать, так как, получив аванс, сможет быстрее закончить работу, не отвлекаясь ничем другим. За рукописью можно прислать дня через два — к этому времени он приготовит для нас экземпляр.

Таким образом, дело, из-за которого я пришел, было улажено быстро и, как говорится, к взаимному удовлетворению.

Минуту мы помолчали. Я встал.

Бабель посмотрел на меня поверх очков и, увидев, что я оглядываю комнату, заметил:

— Это столовая. Она у нас общая с соседом.

И, прочтя в моих глазах безмолвный вопрос, добавил:

— А сосед у меня такой, что о нем можно долго рассказывать... Нет, он не писатель. Он инженер, и не простой, а в высшем смысле этого слова. Вы сядьте, я вам про него расскажу.

Я сел. Нужно ли говорить, как мне была по душе внезапная разговорчивость моего хозяина!

— Я сказал — инженер в высшем смысле,— продолжал Бабель,— но это неточно. Штайнер — инженер до мозга костей, так было бы правильнее о нем сказать. Он на все смотрит инженерским глазом и все вокруг себя стремится упорядочить и усовершенствовать. Инженерская сторона есть ведь во всем, а он только ее и замечает. И все может сделать своими руками. Как бы вам это объяснить... Ну вот, несколько дней назад утром, уходя из дому, я увидел, что Штайнер возится с дверным замком, который, по-моему, отлично работал, а по его мнению, требовал немедленного ремонта. Вернулся я домой в середине дня. Штайнер лежал на полу, держа замок над головой, и сердито разговаривал с ним. На меня он даже и не взглянул, хотя мне пришлось перешагнуть через него, чтобы пройти в комнату. Через некоторое время я услышал оттуда его голос.

«Тебя сделал плохой мастер,— говорил Штайнер замку,— но я тебя переделаю. Слышишь? Я тебя переделаю, и ты будешь работать как следует, а не только тогда, когда привернут неровно. Что это за мода такая — работать только в неправильном положении?»

Он спрашивал так, что мне почудилось, будто разговор ведется с живым существом, и если бы я вдруг услышал, как замок тоненьким металлическим голосом оправдывается или спорит, я ничуть

бы не удивился. Но замку, видимо, нечего было ответить, и он молчал. А часом позднее Штайнер постучался ко мне, сел, вытер платком лоб и сообщил, словно продолжая начатый разговор:

«Все в порядке. Теперь он работает как следует. Но я вам должен сказать, что человек, который стоит на сборке этих замков, негодяй».

И он изложил мне свою теорию происхождения скверно сделанных вещей, которая многое в жизни объясняет. Теория эта состоит в следующем: на свете нет людей, которые брались бы за работу с намерением сделать ее заведомо скверно, с мыслью: «Сделаю-ка я плохой замок», например. Но горе в том, что, принимаясь за работу с самыми лучшими намерениями, человек слабый и лишенный чувства ответственности на каком-то этапе вдруг обмякает и, вместо того чтобы преодолеть очередную трудность (а ведь всякая работа состоит из больших и малых преодолений), решает, что «сойдет и так». И вот тогда на свет рождаются нелепые, уродливые, глупые вещи, которые портят нам жизнь. Похоже на правду, как вы считаете?

Бабель смотрел на меня искоса и ждал ответа. Мне понравилась теория инженера Штайнера, и я об этом сказал.

Нравится она мне и сейчас. И, вспоминая тот разговор, я подумал, что люди, работающие по принципу «сойдет и так», по всей вероятности, руководствуются этим принципом не только в своей работе, но и в манере жить, и в отношениях с окружающими, и в воспитании детей, да мало ли в чем еще. И не будь у этих людей могущественных противников, вроде бабелевского соседа, в мире воцарился бы хаос и человечество погибло бы в необъятной, бездонной трясине небрежно сработанных вещей, непродуманных дел и опрометчивых слов. Но это, разумеется, шутка. Если же говорить серьезно, то именно Бабель, может быть даже в большей степени, чем его сосед, представляется мне олицетворением высокого чувства долга во всем, что он говорил и думал, а главное — во всем, что писал.

И даже окончание истории со сценарием для «Знамени», которое, на первый взгляд, противоречит этому моему представлению, на самом деле может служить отличным доводом в его защиту.

Окончилась же эта история так.

В назначенный день рукопись сценария была получена в редакции, и мы сразу принялись читать ее, передавая по листкам из рук в руки. Происходило это в одной из двух комнат Дома Герцена на Тверском бульваре, где помещалось тогда «Знамя», и участвовали в «читке» молодые литераторы, фактически делавшие журнал.

Прочтя сценарий, мы смущенно переглянулись. Был он не то чтобы плох или по каким-либо причинам неудобопечатаем,— вовсе нет. С этой стороны все в нем было совершенно благополучно. Но это был «не Бабель» в том смысле, в каком это говорится о произведениях художников, копирующих картины или рисунки прославленных мастеров, хотя каждая строка в рукописи, лежав-

шей перед нами, без всякого сомнения, была написана собственной бабелевской рукой.

В живописи самый небрежный набросок, несколько торопливых штрихов, сделанных большим художником на обрывке бумаги, не оставляют сомнений в их принадлежности именно данному автору, носят на себе неповторимый отпечаток его творческой личности, а главное — в какой-то мере выражают его талант.

В литературе — не то. Здесь индивидуальная писательская манера становится явственно ощутимой только после того, как первоначальный набросок будет много раз перечеркнут, выправлен и заново переписан.

В живописи индивидуальность художника ощутима, как почерк, как тембр голоса, как походка. В литературе она становится видна простым глазом лишь после того, как писатель, основательно потрудившись, найдет для своей мысли то единственное выражение, которое характерно для него одного и которое почти никогда не является ему сразу. Даже и самый талант писателя чаще всего сказывается не в случайно оброненной фразе, а в способах ее обработки, не в словах, какие первоначально вылились на бумагу, а в тех, что в дальнейшем были выбраны автором как «кратчайшее» и наиболее точное выражение его замысла.

Так вот, рукопись, только что прочитанная нами и, вне всякого сомнения, принадлежавшая перу Бабеля, была наброском, еще не отмеченным его манерой, талантом и мастерством. В качестве материала для работы кинорежиссера сценарий был совершенно готов, но украшением для журнала, каким мы представляли себе сочинение Бабеля, он, разумеется, оказаться не мог.

Установив это, мы до крайности огорчились. И только один из нас, самый старший и поэтому больше всех других умудренный опытом и, разумеется, именно поэтому занимающий должность ответственного секретаря редакции, снисходительно улыбнулся и поспешил нас всех успокоить.

— Не горюйте,— сказал он.— Зло еще не так большой руки! — Секретарь знал классиков и любил при случае об этом напомнить.— Договор с Бабелем мы заключим, а ежели он, как это в последнее время с ним частенько случается, не выполнит взятых на себя обязательств, мы эту самую рукопись возьмем и тиснем в нынешнем ее виде и ничего при этом не потеряем. Понятно?

Нам было понятно. Потому что, касаемо лавров автору, Бабель был прав и ждать радостей от этого своего сочинения ему не приходилось. Но с журналом дело обстояло иначе. Появление в «Знамени» любого сочинения прославленного молчальника при всех обстоятельствах было бы воспринято как подлинная сенсация.

Итак, договор был подписан, аванс автору выплачен, и мы стали терпеливо ждать его сообщения о том, что работа закончена.

Прошел месяц, за ним другой. Бабель молчал. И тогда мне было поручено осведомиться у него, как идут дела, и выяснить, к какому номеру журнала он даст нам сценарий.

Помаявшись и выслушав несколько раздраженных напоминаний от непреклонного секретаря, я наконец нашел в себе силы позвонить Исааку Эммануиловичу и получил приглашение посетить особнячок у Покровских ворот.

И вот я снова сижу в большой, сумрачной в этот осенний день комнате, и снова напротив меня сидит этот загадочный человек, что-то рассказывает, лукаво и победительно улыбаясь, и так же, как в первую нашу встречу, я пытаюсь разобраться в тайне его бесовской власти, заставляющей меня глядеть на все его глазами, и так же, как в прошлый раз, ничего не могу понять.

Может быть, тайна его очарования в этой улыбке? В глазах, весело и внимательно поблескивающих из-за круглых очков? В чуть заметном еврейском акценте, придающем оттенок язвительного и вместе с тем беззлобного юмора всему, что он говорит? Нет, пожалуй, все-таки дело не в этом. Пожалуй, секрет здесь в удивительном даре видеть вещи по-своему и говорить о них так, что они и перед собеседником предстают в неожиданных ракурсах, обретая при этом неожиданный смысл, цвет и значение.

Ведь вот — холодная, не очень уютная комната, мокрое, полуголое дерево за окном, тягостная миссия, с которой я сегодня сюда пришел, а сижу я в этой комнате с ощущением праздника, и век бы не уходил и слушал этот высокий голос, век бы провел в стране чудес, где обитает и куда приоткрыл мне дверь этот человек, которому все на свете интересно, мило и весело и который глядит на все словно сквозь цветные стекла, придающие самым будничным вещам видимость праздничного великолепия.

Я принуждаю себя вспомнить, что пришел сюда с прозаическим и суровым служебным заданием, и, хоть это очень трудно дается мне, произношу наконец слова, которые мне было поручено произнести, которые я обязан был произнести, чтобы добыть для «Знамени» сочинение Бабеля, необходимое нам для вящей славы нашего детища. Так же, как и мои товарищи из редакции, я люблю наш журнал и пекусь о его успехе, и это помогает мне найти силы сказать Бабелю о намерении нашего секретаря напечатать сценарий в нынешнем виде, если в ближайшее время мы не получим новый его вариант.

Надо было видеть, как испугали мои слова Исаака Эммануиловича. Как мгновенно исчезла улыбка с его лица, каким озабоченным оно стало при одной мысли о том, что эта угроза может осуществиться.

— Вы еще очень молодой человек,— произнес он грустно и укоризненно,— такой молодой, что, вероятно, никогда не задумывались о том, какая странная у нас с вами профессия. Корпим в полном одиночестве у себя за столом, во время работы боимся каждого нескромного взгляда, а потом все свои мысли, все тайны выбалтываем читателю. Ведь вот, казалось бы,— чего проще? Напечатать этот самый сценарий, как предлагает ваш секретарь редакции... О нем напишут, что он не поднимается до уровня прежних моих вещей, или, наоборот, что знаменует собой новый этап



И. Э. Бабель на похоронах И. Ильфа.
Апрель 1937 года.

в моем творчестве... Бр-р, терпеть не могу этих слов — творчество... знаменует... А потом напечатают рассказ, который я сейчас пишу, и все опять станет на место... Ничего страшного. Да? Немного заголиться, а потом прикрыть стыд. Как вы считаете?

— Разве вы еще не начали работать над новой редакцией? — спросил я с некоторым даже ужасом в голосе.

— Над какой новой редакцией? О чем вы говорите?

— Над новой редакцией сценария.

— Нет, не начал. И не начну. Он мне не нравится. Я его написал не для чтения, а для кино.

— Разве вы... Зачем же вы нам его дали?

— Чтобы иметь возможность кончить рассказ. Понимаете?

— Нет, не понимаю. Любой журнал заключил бы с вами договор на этот рассказ. Почему же...

— Почему? Потому, что, когда я его кончу, в нем будет самое большее четыре страницы.

— На машинке! — зачем-то полюбопытствовал я.

— Да. На машинке,— с вежливой язвительностью ответил Бабель.

Мы замолчали. Голое дерево за окном было теперь именно таким, каким ему надлежало быть,— мокрым, уродливым и печальным, да и в комнате стало как-то сумрачно, еще более сумрачно, чем на улице.

— Что же делать?

Я задал этот вопрос, вдруг почувствовав настоятельную потребность найти выход не столько для «Знамени», сколько для Бабеля, интересы которого стали мне почему-то очень близки.

— А черт его знает, что делать! Вероятно, не писать рассказы по четыре странички, да еще тратя на них по нескольку месяцев. Романы нужно писать, молодой человек, длинные романы с продолжением, и писать быстро, легко, удачливо.

Он замолчал и, опершись руками о край сундука, на котором сидел, забарабанил пальцами по его крышке.

— Вы меня не поняли,— сказал я, прижав руку к груди,— я говорю не вообще, а о том, как быть сейчас. Как быть со «Знаменем», со сценарием? Ведь если вы не дадите ничего другого, он его напечатает.

— Нет у меня сейчас ничего другого... Слушайте, а что, если я попрошу вашего секретаря вернуть мне рукопись? Могло же быть так, что у меня не осталось для работы ни одного экземпляра?

Я ответил не сразу. Но через мгновение тишина, воцарившаяся в комнате, показалась мне невыносимой, и я прервал ее с тем чувством, с каким делаешь глоток воздуха, долго пробыв под водой.

— Что вы имеете в виду? — спросил я, отведя глаза.

— Ничего я не имею в виду,— ответил Бабель и встал.

Я продолжал сидеть. И вдруг, решившись и все еще глядя в сторону, предложил:

— Лучше я с ним поговорю. Вам он рукопись не отдаст.

Бабель посмотрел на меня с удивлением и пожал плечами.

— Пусть будет так,— согласился он. И, помолчав, спросил: — Это вы написали статью о моих рассказах в «Литературной газете»?

Я кивнул. Говорить мне было трудно.

— Я уже не помню, там тоже были эти самые слова — «творчество», «знаменует», «шаг вперед»? — улыбнувшись, спросил Исаак Эммануилович.

— Кажется, были. Во всяком случае, могли быть,— проворчал я.

Хоть я и чувствовал, что в моем решении помочь Бабелю получить назад рукопись не было ничего дурного, мне было до смерти стыдно.

Позднее я понял, что стыдиться здесь было совершенно нечего и удивительный, чуть ли не лучший бабелевский рассказ, над

которым он тогда работал (это был рассказ об итальянском трагике ди Грассо), может оправдать любые уловки, необходимые для того, чтобы довести его до конца. Но в тот день, когда, простившись с Исааком Эммануиловичем, я брел по мокрым переулкам и скользким бульварам, и на следующее утро, когда повел с секретарем редакции хитроумные переговоры, неожиданно увенчавшиеся успехом, это чувство стыда не покидало меня ни на минуту.

Разумеется, я понимал, что интересы «Знамени» и редакционный патриотизм не должны заслонять от меня целей гораздо более высоких и значительных. Не мог я не понимать и того, что, дождавшись, когда Бабель даст нам рассказ вместо сценария, мы поступим умнее и дальновиднее, но, понимая все это, собственную мою роль во всей этой истории я продолжал считать недостойной, а о вероломстве Бабеля старался не вспоминать.

Теперь я думаю обо всем этом совершенно иначе. Теперь, множество раз перечитав его сочинения, перелистав пожелтевшие странички его писем, записок и заявлений, установив, что рассказ «Любка Казак» был переписан множество раз, вспомнив то, чему сам был свидетелем, я с полной уверенностью могу утверждать, что Бабель, преследуемый кредиторами самых разных профессий и рангов, редакторами толстых и тонких журналов, имевших неосторожность заключить с ним договоры, юрисконсультами издательств, пытавшимися поправить последствия легкомысленной тороватости своих шефов, Бабель, о затянувшемся молчании которого в тридцатые годы писались статьи и фельетоны, произносились речи на писательских пленумах, даже, кажется, пелись куплеты с эстрады,— что этот лукавый, неверный, вечно от всех ускользающий, загадочный Бабель был человеком с почти болезненным чувством ответственности и героической добросовестностью, человеком, готовым вытерпеть любые лишения, лишь бы не напечатать вещь, которую он считал не вполне законченной, человеком, для которого служение жестокому богу, выдумавшему муки слова, было делом неизмеримо более важным, чем забота о собственном благополучии и даже о своей писательской репутации.

А теперь я расскажу о маленьком чуде (мне вдруг подумалось, что оно, может быть, было и не таким уже маленьким, но пусть судит об этом читатель), которое Бабель совершил на моих глазах вскоре после происшествия со сценарием.

Эта история началась с того, что Исаак Эммануилович позвонил мне по телефону и, сообщив, что собирается прислать к нам в редакцию одного начинающего писателя, просил повнимательнее к нему отнестись. Разумеется, я обещал ему это со всеми радушием и обязательностью, на какие был способен в те далекие времена, когда все подобные формы человеческого общения считались предосудительно старомодными.

На другой день посланец Бабеля явился в редакцию.

Это был очень странный начинающий писатель. Маленький, кривоногий, одновременно тщедушный и жилистый, с пергамент-

ным лицом, по которому решительно нельзя было определить его возраст, он бочком протиснулся в дверь и, пожав мне руку своей маленькой, похожей на птичью лапу, рукой, оказавшейся на ощупь твердой, как камень, положил передо мной на стол тощую папочку.

Любопытство разбирало меня, и не успел посетитель уйти, как я развязал на папке тесемки и принялся за чтение.

Рукопись представляла собой несколько рассказов, о которых у меня сейчас сохранились самые смутные воспоминания. Помню только, что речь в них шла о лошадях, что рассказы показались мне ничем не примечательными и что о печатании их не могло быть и речи. Почему они могли понравиться Бабелю, было мне совершенно неясно.

Не откладывая дела в долгий ящик, я тут же позвонил Исааку Эммануиловичу и рассказал ему о моем впечатлении. Мне показалось, что он немного смутился.

— Ладно, если у вас есть возможность, пришлите мне рукопись, я в ней поковыряюсь,— сказал он и повесил трубку.

У меня такая возможность была, и назавтра наша редакционная курьерша Шурочка, худенькая молодая женщина, знавшая почти всех московских писателей и очень здраво и осмотрительно распределявшая между ними свои симпатии и антипатии, отнесла Бабелю злополучную папку. Кстати, Шурочка утверждала потом, что в жизни не видывала таких вежливых и стеснительных чудаков.

Прошло несколько дней. И однажды, не позвонив предварительно, начинающий писатель с кривыми ногами снова явился в редакцию и, ни слова не говоря, снова положил передо мной свою рукопись.

Теперь я не испытывал к ней никакого интереса и удосужился взяться за нее далеко не так скоро, как в прошлый раз. К моему удивлению, в папке было всего только два рассказа. Но, прочтя их, я почувствовал страстное желание немедленно выбежать на улицу, чтобы рассказать их историю всем без исключения друзьям и знакомым. Редакционные мои товарищи, ставшие первыми жертвами моего энтузиазма и разделившие его полностью, показались мне для этого недостаточно широкой аудиторией.

Надо сказать, что удивляться и восхищаться здесь действительно было чему. Рассказы стали попросту превосходными!

Те самые рассказы, которые две недели назад были вполне посредственными, теперь светились и искрились так, что читать их было истинным удовольствием. И самое удивительное заключалось в том, что достигнуто это было совершенно чудесным способом.

Однажды Бабель сам рассказал о том, как некий молодой литератор, очутившийся в Петербурге с фальшивым паспортом и без гроша денег, помогает богатой и неумелой почитательнице Мопассана переводить «Мисс Гарриэт». В переводе, сделанном этой дамой «не осталось и следа от фразы Мопассана, свободной, текучей, с длинным дыханием страсти», и герой «всю ночь прорубает просеки в чужом переводе».

«Работа эта не так дурна, как кажется,— пишет Бабель.—

Фраза рождается на свет хорошей и дурной в одно и то же время. Тайна заключается в повороте, едва ощутимом. Рычаг должен лежать в руке и обогреваться. Повернуть его надо один раз, а не два».

Это место из бабелевского рассказа множество раз цитировалось, но я не могу удержаться, чтобы не привести его вновь, потому что написать об этой тайне превращения посредственной фразы в хорошую никто до сих пор не сумел лучше, чем Бабель.

Есть такая манера исправления чужих сочинений, когда поверх зачеркнутых строк правщик лепит новые строки, которые, в лучшем случае, сохраняют всего лишь смысл того, что было написано автором.

Здесь было совсем другое. Пять-шесть поправок (и притом незначительных) на страницу — вот все, что сделал Бабель с сочинениями своего питомца. Пять-шесть поправок! И страница, перед тем ни единой своей строкой не останавливающая внимания, словно равнина, по которой бредешь, думая только о том, как бы поскорее дойти до ее конца, стала живописной, как лесная тропа, то и дело дарящая путнику новые впечатления. Я бы не поверил, что такое возможно, если бы не убедился в этом своими глазами. Но я это видел и считаю своим долгом засвидетельствовать истинность всего здесь рассказанного.

К тому же в происшествии этом была еще одна сторона.

Однажды мы рассказали о чуде, сотворенном Бабелем, нашему постоянному автору и другу журнала, биографу Свифта и поклоннику Бернарда Шоу, Михаилу Юльевичу Левидову, печатавшему в «Знамени» язвительные критические статьи о литературе и публицистические заметки на международные темы.

Выслушав эту историю и пробежав в гранках рассказ, о котором шла речь, Михаил Юльевич весело расхохотался.

— А вы не догадываетесь, в чем здесь дело,— я имею в виду, конечно, не правку, а причину, из-за которой Бабель заинтересовался этим начинающим писателем, как вы его называете? — спросил он, похохотав.

Мы недоуменно переглянулись.

— Не все ли равно, почему он заинтересовался? — заметил кто-то из нас.

— Разумеется, все равно,— согласился Левидов.— Я понимаю, что самое интересное здесь именно чудо, сотворенное Бабелем. Но вам все же следовало бы знать, что он давний и пламенный ценитель и завсегдатай бегов, а автор этих рассказов, судя по вашим описаниям да и по его собственным сочинениям, не кто иной, как наездник. Вот и пораскиньте мозгами и попытайтесь понять, откуда это знакомство и почему Бабель подарил этому человеку свое высокое покровительство.

Дальновидный наш секретарь вперил в меня свои устроенные в форме буравчиков глазки, острый блеск которых с трудом умеряли роговые очки, и спросил, прищурившись:

— И после этого вы все еще будете утверждать, что мы полу-

чим обещанный сценарий или рассказ у вашего Бабеля, который играет на скачках и водится с наездниками и лошадьми? Помните, как у него у самого сказано в «Закате»? «Еврей, который уважает раков, может себе позволить с женским полом больше, чем себе надо позволять, и если у него бывают дети, так на сто процентов выродки и биллиардисты»!

Секретарь процитировал Бабеля почти точно, лишний раз оправдывая свою репутацию литературного начетчика, на меня же и самая эта цитата, и то, как к месту она была приведена, произвело очень тягостное впечатление. Здесь и впрямь было отчего загрустить.

И все же финал этой сцены, несмотря ни на что, оказался мажорным.

— Прежде всего,— заметил Левидов, обращаясь к редакционному секретарю,— не следует путать скачки с бегами. Мне, как лошаднику, тяжело это слышать. А потом разрешите сказать вам, что вы не знаете Бабеля. Он настоящий чудак, а настоящие чудаки никогда не действуют в зависимости от выгоды или исходя из чего-нибудь такого, чем руководствуются другие люди.

Упомянув о «других людях», Левидов принялся разглядывать секретаря безо всякой нежности, и можно было предположить, что в споре между «другими людьми» и чудаками он сочувствует чудакам. А покончив с разглядыванием и повернувшись к нам всем своим маленьким, костлявым, стариковским корпусом, он закончил свою речь так:

— Самое же смешное во всей этой истории то, что Бабель никогда не играл на бегах. Слышите? Никогда не играл и не играет. Просто он без памяти влюблен в лошадей, и на ипподроме, в этом богом проклятом месте, где люди сходят с ума от азарта и жадности, он смотрит только на них. Понимаете? Только на лошадей, и ни на что другое. А вы говорите — раки!

...Было время, когда деятели РАПП сочинили и принялись прилежно распространять легенду о Бабеле как об отшельнике, как о человеке, далеком от современности, как о таком, что ли, буржуазном специалисте, который мастерски делает свое дело, не задумываясь о том, чему он служит и чему служат плоды его трудов. Рассказывали, что редактор одного из наших толстых журналов пригласил Бабеля к себе и, усадив в мягкое, глубокое кресло, такое глубокое, что сидящий в нем человек начисто терял чувство собственного достоинства, стал убеждать его познакомиться с жизнью, написав для начала «что-нибудь о тружениках метро». Рассказывали, что редактор этот, впервые в тот день познакомился с Бабелем, сразу же стал говорить ему «ты» и называть его просто Исааком.

Выслушав наставления своего нежданного литературного покровителя, Исаак Эммануилович встал с кресла и благодушно заметил:

— Слушай, дружок, а не поговорить ли нам о чем-нибудь другом? О литературе у тебя как-то не получается.

Покровитель не сразу понял, чтó ему было сказано. Он привык фамильярничать сам, но никогда и не предполагал, что ему могут ответить тем же. А пока он собирался с мыслями, Бабель вежливейшим образом откланялся и ушел.

Говорят, беднягу долго потом отпаивали валерьянкой, утешая рассказами о том, как упорен Бабель в своих заблуждениях и как с ним и прежде ничего не могли поделать все пытавшиеся обратить его на путь истины.

Что же до виновника всех этих треволнений, то он и после описанного здесь разговора продолжал проводить жизнь в разъездах по колхозам и городкам, не всегда отмеченным на карте кружками, продолжал завязывать знакомства и дружбы с людьми самых разнообразных профессий, продолжал жадно всматриваться в приметы нового в душевном обиходе советских людей, приметы, о которых он и прежде так великолепно писал в «Карле-Янкеле», в «Нефти», в «Марии».

Однажды мне посчастливилось присутствовать при беседе Исаака Эммануиловича с молодыми писателями. Он говорил в этот вечер о разном, и в частности — о столь необходимом писателю любопытстве и способности удивляться. Но самым важным мне показались его высказывания о Толстом. Я записал их и перескажу сейчас с почти стенографической точностью.

— Я очень удивился,— сказал тогда Бабель,— узнав, что Лев Николаевич весил всего три с половиной пуда. Но потом я понял, что это были три с половиной пуда чистой литературы.

— Что это значит? — спросил кто-то из сидевших за большим столом, за которым велась беседа.

Мне показалось, что Бабель не расслышал вопроса. Во всяком случае, начало его следующей фразы было не похоже на ответ человеку из-за стола.

— У меня всегда, когда я читал Толстого, было такое чувство, словно мир пишет им,— произнес он медленно и задумчиво.— Понимаете? Его книги выглядят так, будто существование великого множества самых разных людей, животных, растений, облаков, гор, созвездий пролилось сквозь писателя на бумагу. Как бы это сказать поточнее?.. Вам известно, что в учебниках физики называют «проводниками» и что имеют в виду, когда говорят о сопротивлении, которое оказывает проводник электрическому току, текущему в нем? Так вот, совершенно так же, как и в случае с электрическим током, среди писателей есть проводники, более или менее близкие к идеальным. Толстой был идеальным проводником именно потому, что он был весь из чистой литературы.

Не надо думать, что писательский талант состоит в умении рифмовать или сочинять замысловатые, неожиданные эпитеты и метафоры. Я сам этим когда-то болел и до сих пор давлю на себе эти самые метафоры, как некоторые не очень чистоплотные люди давят на себе насекомых.

И именно поэтому я говорю вам! Как можно меньше опосредствований, преломлений, стараний щегольнуть способом выраже-

ния! Высокое мастерство состоит в том, чтобы сделать ваш способ писать как можно менее заметным. Когда Толстой пишет: «во время пирожного доложили, что лошади поданы»,— он не заботится о строении фразы, или, вернее, заботится, чтобы строение ее было нечувствительно для читателя. Представьте себе человека, выбежавшего на улицу с криком: «Пожар!». Разве он думает о том, как ему следует произнести это слово? Ему это не нужно. Самый смысл его сообщения таков, что дойдет до всякого в любом виде. Пусть же то, что вы имеете сообщить читателю, будет для вас столь же важным, пусть в поисках выражения ваших замыслов перед вами всегда сияют золотые пушкинские слова: «Точность и краткость — вот первые достоинства прозы».

Бабель помолчал и вдруг, улыбнувшись,— он иногда улыбался так, что, глядя на него, казалось, будто греешься у огня,— предложил:

— Хотите, я вам расскажу про старого-старого еврея, который разговаривал с богом?

И принялся рассказывать байки про старика, так твердо верившего в существование вседержителя, что это следовало называть уже не верой, а уверенностью. Байки были явно рассчитаны на то, чтобы дать аудитории отдохнуть от непривычных для нее, да и для самого Бабеля, отвлеченных рассуждений.

Как жаль, что их не слышал редактор, призывавший Бабеля изучать жизнь. Он бы, разумеется, тоже устал от них, но это, по крайней мере, пошло бы ему на пользу.

С тех пор утекло много воды. Так много, что Бабель, доживи он до наших дней, был бы совсем стариком. И только книги, которые он написал, остались навсегда молодыми.

Молодым осталось и стремление Лютова, робкого очкастого юноши, попавшего в Конную армию, заслужить уважение товарищей по оружию, и горячая, безрассудная удаль окружающих его конармейцев, и горести еврейского мальчика, рвущегося из подвального мещанского захолустья в широкий мир, полный солнца, мужества и поэзии, и благородство, которое пробуждает своим искусством в душах провинциальных негоциантов и театральных барышников итальянский трагик ди Грассо, и, разумеется, непобедимое, непоколебимое убеждение создателя всей этой пестрой, многоликой и разноголосой толпы, что все идет к лучшему в этом лучшем из миров, какими бы тяжелыми ни были испытания, выпадающие на долю его обитателей.

Убеждение это следует ценить особенно высоко: ведь Бабель на собственном опыте убедился, как нелегко завоевывать власть над сердцами читателей и каким нескончаемо длинным и каменистым бывает писательский путь, если писатель единственным своим героем делает правду. Он прошел этот путь, ни разу с него не свернув, он научился писать о торжестве добра, благородства и мужества, не скрывая от читателя, что на свете существуют зло, измена и трусость. Повидав на своем веку немало смертей,

он писал в своих книгах не о них, а о жизни. Ведь его вера в лучшее будущее не была мечтой о собственном счастье, да и самое счастье он, истинный сын своего времени, всегда представлял себе добытым в бою и пахнущим порохом.

Сергей Бондарин

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ

В доме номер 19 по Ришельевской улице, на углу Жуковского (а в прежние времена Почтовой), на третьем этаже, с улицы, жил мой приятель гимназист Доля, сын популярного зубного врача, а над ними, этажом выше, жила семья Бабель.

Они жили дружно.

Для одной стороны было лестно и выгодно дружелюбное соседство первоклассного дантиста, другая сторона ценила верхних жильцов именно за их высокую нравственную репутацию, за то, что глава семьи, старый Эммануил Бабель, достойно нес свои обязанности коммерческого агента заморской фирмы сепараторов до самых последних дней.

В наших с Долей глазах сепараторы — это было что-то вроде велосипедов, тоже поставляемых в Одессу... заграничными фирмами, они имели неплохой спрос среди хуторян плодоносной Одесской губернии.

Но главное заключалось не в этом.

Не это составляло привлекательность близкого соседства. Долина семья была семьей литературной, то есть здесь выписывали модные журналы с приложением, ходили в литературно-художественный кружок. Кажется, среди пациентов Долиного папы были Бунин и Алексей Толстой, в приемной за журналами я не раз видел Утесова и Клару Юнг.

Разумеется, Доля писал стихи и рассказы и, вопреки обычному, не делал из этого секрета,— наоборот, за семейным столом частенько слушали произведения Доли и одобряли их. Вероятно, догадывались, что и моя дружба с Долей — я, правда, был мальчик незаметный, демократический — тоже основана на общности литературных интересов. Иногда вежливо намекали, что не прочь были бы послушать и мои произведения, но я отмалчивался.

А между тем, конечно, я тоже писал. Помню и теперь тетрадки, в которые тщательно записывались эти сочинения. Как правило, сочинения отличались величавостью. Во вкусах мы резко расходились с Долей, у которого сказывалась наблюдательность, интерес к житейскому и даже смешному: он мог карикатурно описать пациентов отца, дожидающихся приема, или ухватки размашистой горничной Веры, или гимназического преподавателя, или какую-нибудь уличную, а то дворовую сценку. Нет, меня влекли образы вечные. Мои произведения назывались: «О том, как это было, или Изгнание из рая», «Огненные языки Апокалипсиса» — и все в

таком роде. Я подробно описывал, чего следует ждать грешным людям, и, признаюсь, кроме других причин, это тоже была причина, мешавшая мне спать по ночам. Соблазны дня и вечерних улиц мешались в моем воображении с ужасом возмездия. Разверзается земной шар, как расколовшееся яйцо, и выливается из недр пламя, карающее порок... А в картинах грехопадения праотцев я очень сострадал мною заботливо описанной, нежной, кроткой, беспомощной, золотистой, как у Луки Кранаха, Еве, поддавшейся соблазну и вдруг почувствовавшей свою наготу. Девушка рысцой убегает от преследующего ее свирепого архангела, а вдогонку за ними мужественно шагает Адам, весь в шкурах. Прелестная,— не знает, куда девать девичьи руки, двух не хватает, чтобы прикрыть стыд. По всему саду с укором падают яблоки и груши...

Надо еще сказать, что в Одессе только-только кончилась война. Был первый год утверждения советской власти, война на улицах кончилась, продолжалась война на западной границе страны, с белополяками. Мы уже знали о Конной армии Буденного и Ворошилова, о ее победах, и это становилось одной из преобладающих тем в семейных разговорах.

Я не совсем понимал, в чем дело, но, по-видимому, о доблестях Красной Армии и конницы Буденного Доля наслушался именно от Бабеля-младшего, сына Эммануила Исааковича, Исаака Эммануиловича, который сравнительно недавно приехал из Петрограда и теперь служил в ГИУ — Государственном издательстве Украины.

Говорили о том, что, вопреки желанию отца видеть сына хорошим коммерсантом, известным юристом или знаменитым скрипачом, сын Исаак стал писателем, его хвалил Максим Горький и он уже печатал свои произведения в Петрограде.

Как-то я застал Бабеля-старшего у Доли, он беседовал с Долиным папой, он говорил:

— У вас высокая клиентура, у вас замечательно талантливая дочь (у Доли была сестра), я понимаю, что девочка должна трудиться,— это очень хорошо, что она так долго, усердно играет гаммы. Но, знаете, Исаак... мой Исаак... он, бедный, тоже с утра трудится над чистым листом бумаги. Что поделаешь! Вы извините меня, пожалуйста, я передаю просьбу Исаака, он так хорошо относится к вашему Доле, всегда находит для него время... Исаак говорит, что утром правда яснее.

Просьба Бабеля была уважена беспрекословно. Впрочем, кажется, через некоторое время Бабель-старший опять приходил с просьбой обратной: нельзя ли музыкальные упражнения — гаммы и ганоны Долиной сестры — перенести с вечернего на утреннее время?

Все это присказка. Рассказ идет к тому, что в один прекрасный день Доля решил раскрыться перед Исааком Эммануиловичем и показать ему свой, на его взгляд, самый лучший рассказ.

Этот рассказ я знал. Как всё у Доли, и он был основан на действительности,— описывался один из эпизодов недавней граждан-

ской войны. Возвращаясь из гимназии, Доля все это видел своими глазами.

По длинной безлюдной улице, ведущей к Карантинному спуску в порт, где отступающая белогвардейщина грузилась на пароходы, грохоча и подпрыгивая на булыжниках мостовой, бешено мчались извозчичьи дрожки. Извозчик нещадно хлестал лошаденку, за его спиной, лицом к задку, с револьвером в руке, во весь рост стоял красивый молодой офицер, другой рукой придерживая прильнувшую к нему даму. Время от времени, подбадривая извозчика, офицер стрелял у него над ухом, но не отводил глаз от перспективы улицы — вдали, наверху, уже показалась тачанка, по-видимому преследующая беглецов. Дрожки промчались, скрылись, промчалась тачанка. Все затихло.

Вот эта эффектная картина жизни и вдохновила Долю. Его можно понять — это действительно было интересно! И мы с Долей не сомневались, что на любого читателя рассказ произведет такое же потрясающее впечатление, какое он произвел в кругу семьи (Долина мама все вскрикивала: «И это ты видел своими глазами!»), а Бабель-младший, писатель из Петрограда, несомненно, признает в Доле своего собрата.

Несколько дней ожидания были мучительны. Милый мой дружок Доля, хорошенький, благовоспитанный мальчик, весь в маму, за эти дни подурнел. Мне он сказал:

— Теперь на очереди ты. Не дури — приготовь собрание сочинений.

И я, поддавшись, как первобытный Адам, искушению, проводил ночи за каллиграфической перепиской самых ценных своих произведений.

Бабеля-младшего я видел раз или два на полутемной лестнице, запомнил живой, любопытный взгляд из-под круглых очков, нетопливость этого человека. В ожидании мы сдали, не выдержали, решили подтолкнуть дело, приискали какой-то повод и постучались к Бабелям — тока не было, и звонки не действовали.

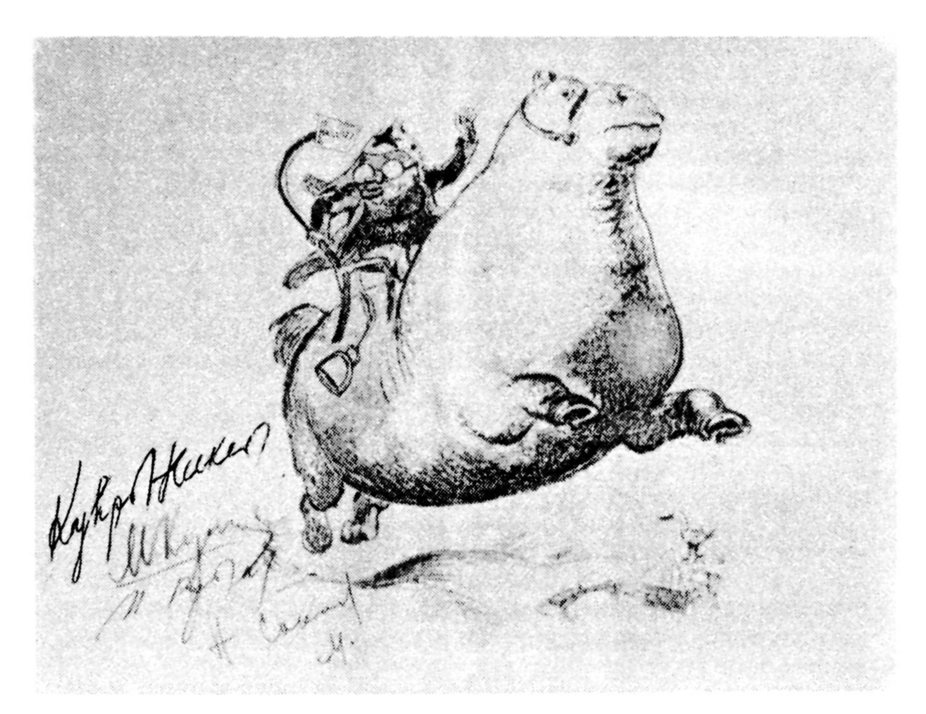
Нас впустили. В темной передней пахло, как во всех передних приличных квартир того времени,— обоями, калошами, шубами,— но тут пахло еще английским мылом и чуть-чуть — самоварным дымком: неподалеку посвистывал самовар, и загадочно светились его темно-красные огоньки.

Эти две особенности бабелевского быта — любовь к хорошему мылу и к чаю из самовара — я встречал не раз и позже. Исаака Эммануиловича, кажется, дома в тот час не было. Долю пригласили за делом в комнату, я подождал его, и ушли мы ни с чем.

Но уже следующий мой визит к Доле был счастливее.

Я застал в семье легкий переполох. «Исаак Эммануилович сказал,— сообщил мне Доля,— что сегодня он придет сам, ты явился кстати».— «Как же так,— удивился я,— ни с того ни с сего?» — «Почему ни с того ни с сего? А рассказ? Он встретил Веру и сказал: «Передай, что сегодня я приду к ним пить чай».

С особенной тщательностью готовились к вечернему чаю.



И. Э. Бабель. Дружеский шарж Кукрыниксов.

И вот Исаак Эммануилович пришел. С замиранием сердца я услышал его голос в передней. Сели за стол. Конечно, у соседей было о чем поговорить еще, кроме как о литературе: гость спросил об успехах юной пианистки, о том, как обстоит теперь с золотом, необходимым в зубоврачебной практике, о том, как теперь думают преподавать латынь в гимназии у Доли,— и тут, естественно, разговор соскользнул на темы литературные. Поговорили о Леониде Андрееве, о Федоре Сологубе, о Кнуте Гамсуне. Особенно приятно было вспомнить личное закомство с Буниным, кажется, даже с Куприным.

Я косился на Долю, переживал за него и был счастлив, что я сам малоприметен за столом. И в самом деле, я так пригнулся, что мой подбородок и блюдечко со свежим абрикосовым вареньем едва возвышались над столом, Доля же, наоборот, держался молодцом, смотрел опасности прямо в глаза, как, вероятно, тот самый офицер-герой, которого он описал в рассказе.

Ну вот, Исаак Эммануилович повел бровями, слегка морща лоб, оглядел Долю из-под очков и вынул из внутреннего кармана пиджака тетрадку производства одесской писчебумажной фабрики Франца Маха, то есть ученическую тетрадь высшего сорта. Таких не было и у меня.

Примолкли и взрослые.

Доля сидел рядом со мной, и я слышал, как стучит его сердце.

— Доля,— сказал гость и помолчал.— Доля, ко мне пришел сапожник (я ужаснулся и не в силах был поднять глаза) и принес заказанную работу. На кого я буду смотреть сначала? На сапожника или на башмаки? Я буду смотреть, конечно, на башмаки, а потом, если останусь доволен работой, я ласково посмотрю на сапожника. Сапожник хорошо выполнил заказ. (Глаза Доли блеснули, но мне все это вступление казалось подозрительным.) Сапожник выполнил работу с шиком. Давайте, однако, подумаем: ведь он долго этому учился! Сначала он был мальчиком у другого сапожника, потом возвысился до подмастерья и мастером стал далеко не сразу. Нет разницы в учении, чему бы ты ни учился. А зачем же думать, что можно сразу научиться хорошо писать? Быть мальчиком на побегушках — горько, в чужой сапожной мастерской неуютно. Ах, Доля, этим мальчикам было гораздо хуже, чем нам с тобою! Мы всегда пили чай с вареньем. Ты учишься в гимназии седьмой год и будешь еще учиться, ты мальчик неглупый, теперь все ясно, и теперь можно смелее сказать несколько слов об этом.— Исаак Эммануилович положил Долину тетрадь на стол, осторожно разгладил ее тыльной стороной ладони, снял и протер очки, закончил: — О том, что ты сочинил. Интересно! Интересный случай из жизни! Офицер, дама, извозчик. Бегут. В порту эвакуация. Да какая эвакуация! Беглецов настигает большевистская тачанка. Интересно, ничего не скажешь!

— Григорьевская,— робко уточнил Доля,— григорьевская тачанка. Атаман Григорьев.

— Ну, может быть, это неясно. Но как ты можешь знать, ты, Доля, о чем так много — по твоим словам — в момент погони думал офицер и о чем думала дама? Кто она? Невеста? Похищенная жена? Как ты можешь знать это? А офицер, наверно, думал только об одном: уйти!

— А вот же Толстой пишет, о чем думают и в битве,— опять попробовал защищаться Доля.

Взрослые следили за разговором, затаив дыхание.

— Толстой! — строго воскликнул Бабель.— То, что знает Толстой и что ему можно,— разве нам можно? Толстого читаешь — и кажется: вот еще только одна страничка — и ты наконец поймешь тайну жизни. Это дано только ему. И Толстой, и Бетховен,— при этом Бабель посмотрел в сторону юной пианистки,— и Федор Сологуб пишут и о жизни и о смерти, но после того, как ты знаешь, что думает о смерти Толстой, незачем знать, что думает по этому поводу Сологуб...

— Исаак Эммануилович,— решился осторожно вступить в разговор Долин папа,— вам и карты в руки... Но извините, пожалуйста, может, не нужно так ошарашивать Долю? Мне кажется — это ему говорил и учитель в гимназии,— у него есть способности. И Федор Сологуб, знаете, все-таки очень оригинальный писатель!..

— Федор Сологуб оригинальнейший писатель,— быстро заговорила Долина мама,— но, конечно, Толстой, конечно, Толстой...

Исаак Эммануилович прав, и пускаи мальчик тоже думает об этом. Судить надо по лучшим образцам.

— Всех нас будут судить последним Страшным судом,— заметил Бабель и попросил налить ему еще стакан чаю,— а Долю судить еще не за что. Слушайте! Расскажу вам смешную историю. Вы знаете, что я служу в ГИУ. На днях нам выдавали там паек, все ждали, что будут рубашки, но вместо рубашек выдали манишки, и на другой день многие сидели за столами, несмотря на жару, в накрахмаленных манишках... Доля...

И вдруг на полуслове Бабель обратился ко мне:

— А что же это вы все молчите? Вы мороженое любите? Хотите, заключим с вами конвенцию: я буду водить вас с Долей к Печескому и угощать мороженым, а вы будете мне рассказывать разные случаи из жизни и на Страшном суде.

Не мог Бабель знать мое сочинение о Страшном суде, но я на минутку готов был заподозрить своего друга в предательстве: в сочинении о конце мира и о Страшном суде я, кстати сказать, вывел и себя со свитком своих грехов, простертым к Престолу.

Между тем гость, изящно отодвинув стул, встал, прошелся по комнате. В лице этого человека, вдруг обращенном ко мне, я почувствовал веселость и непреклонность, то, что взрослыми словами можно назвать духовным здоровьем, что-то чарующее было в безусловной чистоте и доброжелательстве его мыслей. Он говорил уже примиренно, спокойно о том, что на месте Доли он лично больше внимания уделил бы не тому, что думают в момент опасности офицер и таинственная дама, а состоянию бедного извозчика, у которого над ухом стрелял офицер. Бедняк вынужденно загонял свою лошаденку. А что его ждало дальше? Вот уж действительно есть над чем подумать.

— Стар он был? — спросил Бабель у Доли.

Но Доля на этот вопрос ответить не мог.

— Вы убили меня, Исаак Эммануилович! — твердил Доля.

И Бабель на это в свою очередь ответил ему теми словами, которые я запомнил навсегда и справедливость которых впоследствии подтвердил весь опыт моей жизни. Именно это последнее заключение Бабеля-младшего, Долиного соседа из верхней квартиры, эти его слова, порожденный ими образ остались тогда в моем юном представлении как образ человека, к кому и мне суждено было сначала только прикоснуться, а потом узнать больше.

— Так что же,— горько сетовал мой Доля,— значит, мне совсем не писать? Вы убили меня, Исаак Эммануилович.

И Бабель ему на это сказал:

— Доля! Мы на войне. Все мы в эти дни можем оказаться либо на дрожках, либо в тачанке. И вот что скажу я тебе сейчас, а кстати, пусть намотает это на ус и твой молчаливый товарищ: на войне лучше быть убитым, чем числиться без вести пропавшим.

Вскоре — к осени, в ненастный день,— я узнал от Доли, решившего стать врачом, что накануне, в такую же пасмурную, дождливую ночь, Бабель-младший тоже перестал трудиться над чистым

листом бумаги и, собственно говоря, сбежал из дома на польский фронт, как потом выяснилось, хитро заручившись мандатами.

В семье Бабеля, говорил Доля, считают, что Исаак Эммануилович — самоубийца. Его коммунистические дружки из губкома и ГИУ, где Бабель служил главным редактором, эти дружки-приятели подговорили его на этот безумный шаг. Так думают в семье наверху. В семье — отчаянье, а в душе беглеца... Что должно было быть на душе у Исаака Бабеля, кому было суждено через два года вернуться с записками о Конной армии?

Но вот еще одна из последних встреч, когда невольно Исаак Эммануилович как бы вынес и на мой суд (а точнее сказать, на суд всех его литературных друзей) свои новые рассказы, о существовании которых все мы уже не раз давно слышали и с нетерпением ждали. Расскажу об этом эпизоде.

Не скажу с уверенностью, где, в чьем доме, было это. Почему-то кажется мне, что чтение было назначено в служебных комнатах Театра Вахтангова. В этот вечер, впервые после долгого молчания, Бабель обещал новые рассказы. Театру же он обещал пьесу, и этим, должно быть, объясняется особенная заинтересованность и гостеприимство театра.

Охотников послушать прославленного новеллиста собралось много. Здесь же я встретился с Ильфом, и мы вместе ждали появления земляка.

Бабель поднимался по лестнице, окруженный друзьями. Мы увидели в толпе покатые плечи и лохматую, начинающую седеть голову Багрицкого.

Бабель поднимался не торопясь, от ступеньки к ступеньке, переводя дух. Озираясь через круглые очки, закидывал голову; при этом его румяное лицо, как всегда, казалось веселым, взгляд любопытным. С толпой вошел оживленный говор. Но веселость Исаака Эммануиловича была обманчивой. Предстоящее дело чтеца, очевидно, заботило его.

Начали без запоздания.

Создатель трагических рассказов всегда любил шутку и шутить умел. Помнится, и тут тоже, проверяя нашу готовность слушать его, он начал шуткой. Но конечно же на этот раз за шуткой он не чувствовал пророческого смысла случайных слов, сказанных из-за столика:

— Предвижу, что именно меня погубит. Мой скверный характер. Это он нанесет меня на риф... Ну, скажите, зачем я опять согласился испытывать себя и ваше терпенье?

Затем, сразу став серьезным, Бабель поправил очки и, заново наливаясь румянцем, приступил к чтению. Он сказал:

— «Гюи де Мопассан».

...Бабель читал в манере, знакомой нам еще по встречам в его квартире на Ришельевской улице,— неторопливо, внятно, хорошо выражая ощущение каждого слова.

Вторым был прочитан рассказ «Улица Данте». Не замечая легкого шороха внимания, возникающего то здесь, то там, я вслушивался в звуки чтения, следил за развитием сюжета, ожидая разгадки: «К чему бы все это?» — и чувствовал недоумение. Больше! Я был озадачен: то, о чем повествовал Бабель, казалось мне не заслуживающим серьезного рассказа. Я не узнавал автора «Смерти Долгушова» или «Заката». Особенно озадачил меня рассказ о том, как бедствующий, нищий автор заодно с богатой петроградской дамой переводили «Признание» Гюи де Мопассана.

Выразительность эротической сцены обожгла воображение, но как и чем это достигалось? Я не задумался над этим, не оценил ни тонкого заимствования из мопассановской новеллы, ни всего чудно-музыкального строения рассказа Бабеля.

Чтение кончилось. Чувство недоумения не оставляло меня, но вместе с тем не оставляло меня и то мне непонятное, что слово за словом, как ступенька за ступенькой, откладывалось и накапливалось во мне во время чтения.

Публика расходилась. Разрумянившийся Ильф, счастливо блестя улыбкой и крылышками пенсне на глазах, поставленных слегка вкось, вздохнул, сказал застенчиво:

— Вот как! Хорошо темперированная проза. Действует как музыка, а как просто! Вот вам еще одно свидетельство, что дело не в эпитетах. С этим нужно обращаться экономно и осторожно — два-три хороших эпитета на страницу,— не больше, это не главное, главное — жизнь в слове.

Помнится, как раз в этот период — «Двенадцать стульев» уже имели широкое признание — у нас не раз возникали дебаты о значении эпитета в художественном произведении.

На этот раз я промолчал.

Повторяю признание: в этот вечер я не понял рассказов Бабеля, как не понимал я в ту пору духовного мученичества долгих, многолетних или недолгих, но всегда честных молчальников искусства, ищущих истины, как не понял важного значения слов, сказанных однажды Бабелем об одном из нас: «Едва ли ему что-нибудь удастся в нашем деле — у него небрежная и ленивая душа».

Как всегда, казалось бы, в непоправимо грубых ошибках молодости, она же, наша молодость, служит нам единственным, но счастливо убедительным оправданием. Видимо, и на сей раз молодость еще не умела в негромком услышать важное, в малозаметном — увидеть истину. Ильф был старше меня на шесть лет, он был уже зрелым, его душа уже была в движении...

Прошли, однако, и мои дополнительные пять-шесть лет, может быть даже меньший срок, и вот — дивное дело,— отыскивая и сочетая слова, фразы и строчки, прислушиваясь к их звукам и смыслу, к ритмам пауз, означенных запятой или точкой, я то и дело слышал среди интонаций, идущих из каких-то светлых запасов памяти, музыку речи, радостно узнавал знакомые созвучия — и я сразу же поверил им и подчинился.

Вероятно, это справедливо. Вероятно, так и должны говорить друг с другом поэты... Но не довольно ли признаний? «Никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя».

В. Финк

Я МНОГИМ ЕМУ ОБЯЗАН

Бабель рассказал мне однажды, как в Петрограде,— еще в ту пору, когда этот город назывался именно так,— он встретил у своих друзей очень молодого человека, почти мальчика, и сразу, с первого же взгляда, почувствовал в нем личность необыкновенную, чем-то отмеченную, наделенную особым, возвышенным даром. Фамилия юноши не говорила Бабелю ничего: Шостакович.

Исаак Эммануилович сказал мне, что всегда вспоминает об этой встрече с волнением: она лишний раз убедила его, что есть на свете люди, наделенные каким-то непонятным, неуловимым, но вполне реальным свойством эманации.

— Вы этого не думаете? — спросил он меня.

Я сказал, что твердо в этом уверен.

Он обрадовался.

— А вам случалось этак вот узнать, почувствовать, так сказать, раскрыть для себя человека, которого видите впервые?

— Случалось,— ответил я.

— Да? Интересно! Кого?

— Вас! — ответил я.

Он расхохотался. Между тем в моих словах не было шутки.

Впервые я встретил Бабеля в Петрограде, и, если не ошибаюсь, это было в 1917 году. Ему было двадцать три года по бумагам и лет семнадцать-восемнадцать на вид. У него были веселые и озорные глаза, острый язык.

Но не одни эти качества, довольно широко распространенные среди людей молодых, определяли Бабеля. Было у него и еще кое-что. В его веселых и озорных глазах почему-то проглядывала по временам искорка грусти, и меня это всегда озадачивало и заставляло настораживаться. И что-то совсем-совсем не веселое прорывалось в его голосе. И еще были неуловимые мелочи, для которых и названия не подберешь. Все они напоминали, что этот человек — не как все, что природа — или судьба — избрала его и отметила.

Мы встречались во встревоженных муравейниках редакций и в прославленной кофейне Иванова и Шмарова на Невском, которая была в те годы прибежищем голодных искателей славы.

Внезапно Бабель исчез, никто не знал куда. Прошло время, и немалое. И вот прибегает ко мне весьма тогда известный литератор Василевский (Не-Буква), положительно задыхаясь от волнения, вытаскивает из кармана газету и тычет мне в руки:

— Читайте! Парнишку этого помните? Бабеля? Бабеля помните? Читайте!

Это было «Жизнеописание Павличенки». Оба мы с Василевским поняли, что взошло новое светило, и поклонились ему.

Бабель часто бывал у меня на Кудринской.

Однажды он пришел после необычно долгого перерыва, рассказывал всякие истории, пил чай и просил мою жену как можно скорей позвать его на фаршированную рыбу с хреном, потому что его снедает тоска по хорошей еврейской кухне: он провел все последнее время где-то в Воронежской области, на конном заводе, а там никто понятия не имеет, что такое фаршированная рыба.

У Бабеля всюду были «корешки» по Первой Конной. Один командовал кавалерийским полком, другой был директором конзавода, третий объезжал лошадей в Средней Азии. Исаак Эммануилович часто навещал их. Он был отчаянный лошадник. В Москве он по целым дням пропадал на конюшнях ипподрома, не на самом ипподроме, а именно на конюшнях. Он был дружен с наездниками и конюхами, он знал родословную каждой лошади и водил меня на конюшни, как водят доброго знакомого в дом друзей.

Итак, он рассказывал обо всем, что видел на конном заводе, потом,— я даже не заметил, в какой связи,— разговор перешел на литературу, и тут Бабель сказал, что у каждого писателя есть своя заветная тема, о которой он мечтает всю жизнь, а добраться до нее не может.

Не знаю, кого он имел в виду. Возможно, что самого себя. Некоторые мелкие детали заставляют меня так думать. Чего-то он не написал и мучился. Это было мне известно.

Но замечание было верным и по отношению ко мне. Давно и очень сильно хотелось мне написать об Иностранном легионе, о войне. У меня всегда был перед глазами один пригорок в Шампани, где я проклял войну и обманчивость ее романтизма и поклялся самому себе написать об этом. Но у меня ничего не получалось.

Я сказал Бабелю, что делал попытки, но выходила такая чепуха, что и вспомнить не хочется.

— Как только возьмусь за эту тему, перо начинает весить пуд, невозможно водить им по бумаге, — сказал я.

На это Бабель возразил, что перо, «если только оно настоящее», всегда весит пуд и водить им по бумаге всегда трудно.

— Однако,— прибавил он,— этого не надо бояться, потому что бывает и так: помучаешься над страничкой месяц-другой и вдруг найдешь какое-то такое слово, что даже самому страшно делается, так здорово получилось! В таких случаях я удираю из дому и бегаю по улицам, как городской сумасшедший.

Бабель ушел в этот вечер очень поздно.

Признаюсь, я не испытывал к нему благодарности. Он разворотил мне душу. Мою неспособность написать задуманную книгу можно было сравнить с неразделенной, несчастливой и потому несчастной любовью. Я носил ее всегда при себе, в закрытом и никому не известном уголке души. Я навещал ее каждый день и каждый день уходил от нее взволнованный и несчастный.



И. Э. Бабель в 1930 году.

Прошло некоторое время, и Бабель явился снова. Он пил чай, шутил, рассказывал всякие истории и вдруг, точно вспомнив что-то такое, что чуть было не ускользнуло из памяти, сказал, что прожил последние две недели на даче у Горького, что Горький затевает альманах и спрашивал его, Бабеля, не знает ли он, что люди пишут сейчас и что можно было бы пустить в ближайших номерах.

— Я сказал Горькому, что вы пишете об Иностранном легионе,— выпалил Бабель.

Я пришел в ужас.

— Вы с ума сошли! — закричал я.— Зачем вы его обманули? Я ведь ни строчки показать не могу!

— Какое это имеет значение? — невозмутимо ответил Бабель.— Я сказал, что вы уже давно пишете и много написали, и старик сразу внес вас в список: «Финк об Иностранном легионе». Он даже буркнул: «Хорошо»,— по три «о» в каждом «хорошо».

Я был ошеломлен. И хотите — верьте, хотите — не верьте, но вскоре началось нечто странное: расстояние между моей мечтой написать книгу и верой в то, что я могу написать ее, стало как-то само собой сокращаться. Некоторое время я ходил как одурелый,

несколько ночей я не спал, но в конце концов сел за работу и работал как одержимый. Я уже не мог бы променять эту работу ни на какую другую. Это был период самого большого подъема, какой я знал в жизни,— я осуществлял свою мечту. Я берег себя, дрожал за свое здоровье: боялся, как бы случайная болезнь не помешала мне довести работу над книгой до конца. Я осторожно переходил улицу, чтобы не погибнуть под трамваем, не закончив книгу. Вероятно, то же самое испытывает женщина, готовящаяся стать матерью.

Конечно, дело было прежде всего в самом материале книги, в том месте, какое описываемые события занимали в моей собственной жизни. Все это так. Однако все сии важные обстоятельства неподвижно пролежали у меня на дне души почти двадцать лет. Они пришли в движение только тогда, когда я почувствовал интерес Бабеля и Горького, их доверие ко мне, их веру в мои возможности.

Вот так я и написал «Легион».

Читатель видит, сколь многим я обязан Бабелю.

Но если во всем этом разобраться поближе, можно понять и еще кое-что. Вызвать у Горького интерес к моей необычной и даже довольно-таки экзотической теме было, конечно, не трудно. Однако это было полдела. Приди ко мне Бабель с предложением показать Горькому забракованные мною листки рукописи, я бы ни за что не согласился, и дело на этом и кончилось бы.

Если бы Бабель посоветовал мне сделать еще одну попытку и даже обещал бы помощь и содействие, я бы тоже не согласился.

Чтобы заставить меня взяться за работу, надо было меня растормошить, заставить меня преодолеть стыд, который я испытывал перед своей темой после стольких неудач. Мог же Бабель, приехав с поручением от Горького, начать в торжественном и поздравительном тоне. Но и это было бы неосторожно. Вот он и потратил всю свою обычную шутливость на то, чтобы рассказать мне, какие трудные роды были у кобылицы Рогнеды на воронежском конзаводе. И только когда мозги мои достаточно, по его мнению, набухли от массы сделанных им сообщений, он изобразил страшную рассеянность, из-за которой чуть было не забыл, что Горький включил мою еще не родившуюся книгу в план альманаха.

Он рассказал мне это равнодушным голосом, как нечто обыденное, будничное и не идущее ни в какое сравнение с сообщением о трудных родах Рогнеды.

Я не сразу понял, что тут был некоторый с его стороны психологический ход. Но когда понял, то еще более высоко оценил его как умницу и друга.

Пока я писал первые листы, я ему ничего не показывал и ни разу не спросил совета: я боялся, что, познакомившись с моей рукописью, он посоветует мне бросить работу.

Но когда первые листы были готовы, я отвез их Бабелю, а он обещал передать Горькому. Разумеется, предварительно он их

прочитал. И вот через несколько дней он позвонил мне по телефону и сказал, что Старик доволен и велел продолжать.

На радостях Бабель пригласил меня на ипподром, точней говоря — на конюшни, где обещал представить меня одной неслыханной красавице — серой в яблоках кобылице.

М. Макотинский

УМЕНИЕ СЛУШАТЬ

Осенью 1928 года в Киеве, в сценарном отделе ВУФКУ (Всеукраинского фотокиноуправления), где я работал редактором, поэт Микола Бажан познакомил меня с Бабелем, недавно возвратившимся из-за границы. Я тогда уже знал все напечатанные сочинения Исаака Эммануиловича и был большим его поклонником.

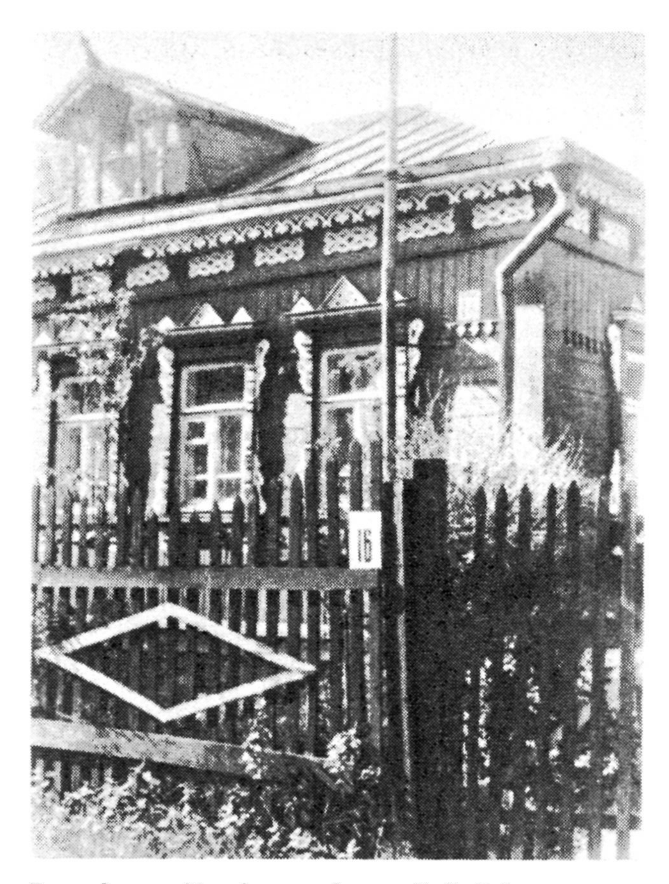
В Киеве в ту пору было трудно найти комнату для жилья, и я предложил Бабелю поселиться у меня. Он согласился, но смущенно признался: «Я, знаете ли, плохо сплю. Если в квартире есть клопы или кто-нибудь по соседству храпит, мне заснуть не удастся». К счастью, у нас никто не храпел, клопов не было, и мои условия ему подошли.

В отведенной ему комнате, где, правда, не было письменного стола, Исаака Эммануиловича никто никогда не видел пишущим. Обычно он шагал из угла в угол, на ходу сплетая и расплетая, завязывая и развязывая кусок бечевки и, судя по всему, сосредоточенно думая. Иногда он останавливался у подоконника, на котором лежала рукопись, вписывал в нее фразу или слово и снова начинал «вышагивать» и «вывязывать». Прожил он тогда у меня в Киеве несколько месяцев.

Следующая наша встреча произошла уже зимой 1930 года. Получив от Киевской кинофабрики аванс по договору на сценарий «Пышка», Бабель внезапно увлекся событиями сплошной коллективизации и, даже не помышляя об экранизации мопассановского рассказа, отправился в большое село на Киевщине. Прошло около месяца. И вдруг однажды около двух часов ночи в моей квартире раздался звонок. Открыв дверь, я увидел в полутьме силуэт заснеженного, окоченевшего человека в треухе, с большим портфелем под мышкой и с примусом в руках. Это был Бабель. Он простудился, и это заставило его вернуться в Киев.

Однако улечься в постель он явно не торопился, так как был чем-то чрезвычайно возбужден. Отогреваясь горячим чаем и нервно шагая по комнате, он восклицал: «Вы себе представить не можете! Это непередаваемо — то, что я наблюдал на селе! И не в одном селе! Это и описать невозможно! Я ни-че-го не по-ни-маю!»

Оказывается, Бабель столкнулся с перегибами в коллективизации, которые позже получили наименование «головокружения от успехов». Причем в дальнейшем оказалось, что понять и описать он все-таки кое-что сумел.



Дом в деревне Молоденово, где жил И. Э. Бабель.

В 1931 году я переехал из Киева в Москву и снова встретился с Бабелем. Он ютился у друзей,— собственного жилья у него и теперь не было. И только несколько месяцев спустя однажды он привел меня в совершенно пустую комнату площадью в семь квадратных метров на втором этаже ветхого дома и радостно заявил:

— Вот. Наконец-то и я получил!

И вскоре за тем исчез, как в воду канул, да так, что никто из наших общих знакомых не знал, куда он девался. А весной 1932 года, как всегда неожиданно, пришел ко мне, очень расстроенный, и срывающимся от волнения голосом произнес:

— У меня несчастье. Я потерял большую рукопись. Хватился сегодня утром и нигде не могу найти. Единственная надежда на то, что я ее не взял с собой, а оставил дома. Но один я домой ехать боюсь: вдруг и там ее нет... Едемте со мной. Без вас я не поеду.

Когда мы вышли, оказалось, что у подъезда нас ждет машина. Я недоуменно осведомился: зачем, мол, машина, когда можно поехать трамваем?

Но оказалось, что живет теперь Бабель не в Москве, а в сорока километрах от города, в деревне Звенигородского района, у крестьянина, в бывшем коровьем хлеву с земляным полом, превращенном в комнату.

— Не могу я работать в Москве,— сказал Исаак Эммануилович.— Тянет в глушь, там лучше пишется. Когда мне нужно в город, я еду поездом, а из Москвы меня часто возят на машине. Кто? Друзья. Вот и теперь мне предложил свою машину...— И Бабель назвал фамилию директора крупнейшего строительного института.

Нужно сказать, что Бабель был поистине счастлив в друзьях. Я убедился в этом еще раз во время описываемой поездки в деревню.

Очевидно побуждаемый желанием отвлечься от мучившей его мысли об исчезнувшей рукописи, Исаак Эммануилович всю дорогу рассказывал, описывая, а лучше сказать — живописуя крестьян той деревни, где жил.

— Однажды,— рассказывал он,— вернулся я из Москвы чем-то расстроенный. Почти всю ночь не спал. Наутро заявляется ко мне хозяин: «Можно тебе, Мануйлыч, пару слов сказать?» — «Можно»,— отвечаю. «Вот что, Мануйлыч, хочу тебе сказать. Мы с женой слышали, как ты усю ночь не спамши ходил. Мы и так и этак думали да прикидывали: об чем это Мануйлыч беспокоится? Ну, и порешили, значит, что ты из города пустой приехал. Денег за сочинение не дали или сочинение не берут. Вот мы и порешили: дело, мол, к зиме идет, что нам корову всю зиму держать? Корову продадим, сдадим до весны деньги Мануйлычу, а он нам по весне вернет. Вот такое дело. А ты не сумлевайся, бери! Мы тебе с дорогой душой, безо всякой расписки сколько хошь дали бы, коли было бы. Так мы промеж себя порешили».

Конечно, Исаак Эммануилович деньги не взял, да и не в них было дело.

Друзей у него в деревне оказалось множество. Не было там ни ребятенка, ни глубокого старика, который не знал бы «Мануйлыча». То и дело встречавшиеся на улице люди с явным уважением здоровались с ним.

К счастью, рукопись лежала на столе. Бабель приготовил ее и позабыл взять.

Под вечер он предложил мне пройтись по деревне и познакомиться с его друзьями. И какими все они оказались любопытнейшими людьми! У Бабеля был инстинкт подлинного художника — способность учуять даже в случайно встреченном человеке нечто самобытное, яркое. И вдруг оказывалось, что дед Пантелей был извозчиком в Хамовниках, возле дома Льва Толстого, и не раз говаривал с графом, что стодесятилетний бывший жокей и наездник, будучи крепостным, ездил со своим барином в Париж и у этого барина собирались Тургенев, Гюго, Флобер и Золя, да мало ли что оказывалось еще...

Люди удивительно доверчиво раскрывались перед ним. Может быть, потому, что не было человека, который умел бы так слушать собеседника, как Бабель. Помню, однажды мы разговорились с ним

по поводу событий начала тридцатых годов, я увлекся, и когда перевел дух, Бабель, ни разу не прерывавший меня, посмотрел на часы и заметил:

— А вы знаете, сколько времени длилась ваша речь? Два часа.

Ну можно ли было не раскрыть такому собеседнику всю свою душу?!

Тамара Иванова

РАБОТАТЬ «ПО ПРАВИЛАМ ИСКУССТВА»

С Исааком Эммануиловичем Бабелем познакомилась я в период моей работы в режиссерских мастерских и Театре имени Мейерхольда.

Остроумный, склонный к розыгрышам и мистификациям, Бабель пришелся, что называется, не по зубам той девчонке, какой я тогда была.

При свойственной моей натуре прямолинейности я, актриса, совершенно не понимала «игры» в жизни, поэтому принимала, не будучи дурой, совершенно всерьез все слова и поступки Исаака Эммануиловича даже тогда, когда относиться к ним следовало как к жизненному спектаклю.

Бабель непрестанно выдумывал и себя (не только для окружающих, но и самому себе), и разнообразные фантастические ситуации, а я все принимала всерьез.

И тем не менее дружба наша какое-то время продержалась, хотя и прерывалась постоянно взаимным непониманием. Чересчур уж разными человеческими индивидуальностями мы были.

Однако в периоды дружбы он допускал меня в свое «святая святых», то есть работал иногда при мне.

Правда, очень недолгий срок.

Бабель уверял меня, что такого с ним никогда не бывало, а именно: работать он всегда мог только «в тишине и тайне», и ни в коем случае не на чьих-либо глазах.

Однако на моих глазах работал, и поэтому я имею полное право достоверно рассказать, как именно он работал.

С легкой руки Константина Георгиевича Паустовского, прелестнейшего, очаровательного человека, но невероятного выдумщика, написавшего в своих воспоминаниях о Бабеле, что он — Паустовский — видел множество вариантов одного из ранних рассказов Бабеля (1921 год), все хором утверждают: Бабель писал множество вариантов.

Как известно, архив Бабеля пропал, поэтому все ссылаются на К. Г. Паустовского.

А я утверждаю противоположное: Бабель вовсе не писал вариантов.

Все, что писал, Бабель складывал первоначально в уме, как многие поэты (потому-то его проза так близка к vers libre).

Лишь все придумав наизусть, Бабель принимался записывать.

У меня сохранился рукописный экземпляр «Заката», который является одновременно и черновиком, и беловиком окончательной редакции, той, которая поступила в набор.

Писал Исаак Эммануилович на узких длинных полосках бумаги, с одной стороны листа, оборотная сторона которого служила полями для следующей страницы.

В хранящемся у меня рукописном оригинале отчетливо запечатлен процесс работы.

Бабель вышагивал по комнате часами и днями, вертел в руках четки, веревочку (что придется), выискивая не дававшее ему покоя слово, вместо того, которое требовалось, по его мнению, заменить в наизусть сложенном, уже записанном, но мысленно все еще проверяемом тексте.

Отыскав наконец нужное слово, он аккуратно зачеркивал то, которое требовало замены, и вписывал над ним вновь найденное.

Если требовалось заменить целый абзац, он выносил его на поля, то есть на оборот предшествующей страницы.

Работа кропотливая, ювелирная, для самого творца мучительная.

Но никаких вариантов.

Вариант один-единственный, уже сложившийся, затверженный наизусть и подлежащий исправлению на бумаге только тогда, когда работа мысли в бесконечных повторениях уже найденного отыскивала изъян. Выхаживая километры, писатель обретал замену не удовлетворяющего его слова, и новое, ложившееся наконец в ритм, переставало коробить своего создателя. Но не всегда. Иногда он мысленно, опять возвращаясь к тому же слову, еще и еще раз менял его.

Поскольку мне привелось наблюдать совершенно обратный творческий метод (со множеством вариантов) у Всеволода Иванова, я с уверенностью опровергаю утверждение о бесчисленных вариантах и черновиках Бабеля.

Во всяком случае, в начальный период его литературной работы и вплоть до 1927 года не было у него никаких вариантов.

Он все вынашивал в голове и, лишь мысленно выносив, мысленно же продолжал отыскивать и вносить исправления.

Мысль и память (без участия записывающей руки) были его творческой лабораторией.

На моих глазах к пишущей машинке (да ее у него тогда попросту и не было) он вовсе не прикасался.

По окончании придумывания Бабель записывал всегда от руки. А дальше выверял опять же мысленно, редко-редко заглядывая в рукопись. К рукописи он прикасался лишь тогда, когда искомое бывало им уже найдено.

Каждого вспоминающего может подвести память. Но существуют государственные архивы и библиографические справочники.

Что же касается творческой манеры Бабеля, он ведь рассказал о ней сам 28 сентября 1937 года на своем творческом вечере в

Союзе писателей (стенограмма опубликована в «Нашем современнике», № 4 за 1964 г.).

Бабель тогда сказал:

«Вначале, когда я писал рассказы, то у меня была такая «техника»: я очень долго соображал про себя, и когда садился за стол, то почти знал рассказ наизусть. Он у меня был выношен настолько, что сразу выливался. Я мог ходить три месяца и написать потом пол-листа в три-четыре часа, почти без всяких помарок.

Теперь я в этом методе разочаровался ⟨...⟩ пишу как бог на душу положит, после чего откладываю на несколько месяцев, потом просматриваю и переписываю. Я могу переписывать (терпение у меня в этом отношении большое) несчетное число раз. Я считаю, что эта система — *это можно посмотреть в тех рассказах, которые будут напечатаны* (подчеркнуто мною.— *Т. И.*),— даст бóльшую плавность повествования и бóльшую непосредственность».

Но беда ведь состоит как раз в том, что рассказы, о которых говорил Бабель, не успели быть напечатанными или хотя бы сданными в редакцию, и никому не известно, куда девался его архив.

Вероятно, Константин Георгиевич Паустовский запомнил уверения Исаака Эммануиловича о его способности переписывать «несчетное число раз». Но, вспоминая, Константин Георгиевич упустил из виду, что Бабель, высказывая это утверждение, раскрывал «тайну» нового, еще не обнародованного им «метода», а до тех пор всю свою творческую жизнь (по его собственному утверждению, высказанному на упомянутом выше творческом вечере) применял совсем иную «технику».

Но это не означает, что Бабель мысленно мог творить в любую минуту и в любой обстановке.

Напротив, чтобы его творческий, мыслительный аппарат заработал, ему нужна была всегда какая-то особая среда, особая обстановка, которую он мучительно искал.

Исаак Эммануилович мог показаться причудливым и капризным человеком, который и сам не знает, что же ему в конце концов нужно: то ли полной тишины и уединения — с разрядкой, создаваемой общением с любимыми им лошадьми; то ли шумное окружение и причастность к обществу руководителей государственных учреждений.

Теперь, когда я разматываю обратно киноленту жизни, мне кажется, что в последнем случае — в стремлении приблизиться к людям, вершащим крупные дела,— Бабелем владело почти детское любопытство, подобное страстному желанию мальчугана разобрать по винтикам и колесикам подаренную ему заводную игрушку, чтобы посмотреть, что окажется там внутри, как это все сделано и слажено в единое целое.

Исаак Эммануилович считал литературу не только делом, но и обязанностью, непреложным долгом своей жизни.

В уже процитированном интервью, отвечая на вопрос: «Будет ли (замолчавший на время) Ю. К. Олеша еще писать?» — Бабель

сказал: «Он ничего, кроме этого, не может делать. Если он будет еще жить, то он будет писать».

Писал Исаак Эммануилович трудно, я бы даже сказала — страдальчески. Был совершенно беспощаден к самому себе. Его никак не могло удовлетворить что-либо приблизительное. Он упорно искал нужное ему слово. Именно оно, это слово, наконец-то выстраданное, наконец-то найденное, а не какое-то другое должно было занять свое место в ряду других.

Смысл, ритм, размер. Все эти компоненты были неразрывно для него связаны.

Тем, кто понимает литературу всего-навсего как изложение ряда мыслей, описание определенных событий, людских судеб и характеров, мучительные поиски Бабеля не могут быть понятными.

Для него литература — это не только содержание, но и форма, требующая стопроцентной точности отливки.

Возвращаюсь к цитированию все той же стенограммы. Объясняя причины своей медлительности в работе, Исаак Эммануилович сказал: «По характеру меня интересует всегда «как» и «почему». Над этими вопросами надо много думать и много изучать и относиться к литературе с большой честностью, чтобы на это ответить в художественной форме».

Проза Бабеля близка поэзии, по существу, и является поэзией в самом прямом выражении этого понятия.

Трудность поисков формы при создании произведений влекла за собой постоянный вопрос — где, в какой среде и обстановке лучше всего работать?

Исаак Эммануилович считал, что ему лучше всего писать, живя в среде, близкой к описываемой. А необходимую разрядку находить тоже в обществе людей, похожих на описываемых.

Ему не сиделось на месте, но в своих разъездах он постоянно стремился выбрать необходимую для его творчества обстановку.

Привожу отрывки из писем ко мне, об этом свидетельствующие:

Из Киева в Москву. 23.IV.25 г.

«...Уехал на пароходике вниз по Днепру верст за двадцать. Там в деревне я переночевал, выпил пива с предсельсовета и еще двумя мужиками и на рассвете вернулся в Киев. Здесь с еще одним военным человеком (Охотников, друг Мити Шмидта и мой) мы с утра наняли моторную лодку, катались полдня, пили, пели, гнались за розовыми днепровскими пароходами, чтобы покачаться в их безобидной волне: я ужасно хотел рассказать Охотникову чего-нибудь про вас, сунуть контрабандой рассказ о давнишних моих знакомых, но, к чести моей, ничего не сказал, вернулся домой в гостиницу и нашел здесь письмо от вас, милый друг мой. События, заслуживающие внимания, были вот еще какие: позавчерашний день я провел в Лукьяновской тюрьме с прокурором и следователем, они допрашивали двух мужиков, убивших какого-то Клименку,

селькора здешней украинской газеты. Это было очень грустно и несправедливо, как всякий человеческий суд, но лучше и достойнее было мне сидеть с этими жалкими убившими мужиками, чем болтать позорный вздор где-нибудь в городе, в редакции,— потом позавчера же у меня была счастливая встреча с давним моим товарищем Шишковским. Он авиатор и командует здесь, в Киеве, эскадрильей истребителей. Сейчас солнце, три часа дня, я напишу вам, душа моя, письмо, и поеду за город к Ш., и буду летать с ним сегодня и, вероятно, каждый день. Я, кажется, говорил вам, что бываю очень счастлив во время полета...»

Из Киева в Москву. 24.IV.25 г.

«...Позавчера летал на аэроплане, но недолго, 25 минут, п. ч. в авиаторной школе происходили занятия в это время. Я с товарищем моим собираемся лететь верст за двести от Киева, если не удастся, поеду на пароходе в Черкассы и пробуду там два дня. Это получше будет, чем влачиться здесь в пыли канцелярий...»

Из Киева в Москву. 25.IV.25 г.

«...Погода здесь дурная. Тепло-то оно тепло, но дует ветер, мелкий злой ветер с песком, такие ветры бывают в нищих пыльных южных городах. Я много ходил сегодня по окраине Киева, есть такая Татарка, что у черта на куличках, там один безногий парень, страстный любитель голубей, убил из-за голубиной охоты своего соседа, убил из обреза. Мне это показалось близким, я пошел на Татарку, там, по-моему, очень хорошо живут люди, т. е. грубо и страстно, простые люди...»

Что привлекало к себе в ту пору писательское внимание Бабеля? Все то, что превышает норму. Все то, что принято называть гиперболичным. Жизнь у ее истоков, не украшенная, не прикрашенная. Первобытность необузданных чувств, первозданность страстей.

Опять цитирую по стенограмме: «В письме Гете к Эккерману я прочитал определение новеллы — небольшого рассказа, того жанра, в котором я себя чувствую более удобно, чем в другом. Его определение новеллы очень просто: это есть рассказ о необыкновенном происшествии. Может быть, это неверно, я не знаю, Гете так думал».

И дальше Бабель говорит: «У Льва Николаевича Толстого хватало темперамента на то, чтобы описать все, что с ним произошло, а у меня, очевидно, хватает темперамента только на то, чтобы описать самые интересные пять минут, которые я испытал... Самоуничижение совершенно не в моем характере ⟨...⟩ чтобы снять с себя упрек в самоуничижении, я могу сказать, что множество моих товарищей, хотя располагают не бо́льшим количеством интересных фактов и наблюдений, чем я, между прочим, пишут об этом «толстовским» способом. Что из этого получается — всем пострадавшим известно».

Само собой разумеется, последнее утверждение — юмор, и «пострадавшими» Бабель именует читателей.

За тот период жизни Исаака Эммануиловича, который проходил у меня на глазах и нашел отражение в письмах ко мне, он создал сценарии «Беня Крик» и «Блуждающие звезды» (по мотивам романа Шолом-Алейхема), а также пьесу «Закат».

Хотя в основу сценария «Беня Крик» и легли одесские рассказы, сценарий этот является вполне оригинальным литературным произведением, в котором писатель переосмыслил как ситуацию, так и характеры выведенных им персонажей.

Сценарии — новая для Бабеля работа — освоение кинематографического мышления, кинематографического языка. Вот что он писал мне тогда:

Из Киева в Москву. 27.IV.25 г.

«...Вчера я лег спать рано, в одиннадцатом часу, но, на беду мою или на счастье, разразилась гроза удивительной силы, молнии стояли от земли до неба минуты по две, дождь гремел, гнулся, чернел, как море, я вылез на подоконник, похерил сон и произнес длинную речь, обращенную к вам ⟨...⟩ Завтра занятия в государственных учреждениях прерываются на три дня. Я уеду на это время в Богуслав, это замечательное еврейское местечко верстах в полутораста от Киева, там, говорят, есть река необыкновенной красоты и водопады, а в десяти верстах от Богуслава деревня Медвин, достойная изучения. Я думаю так — по возвращении из Богуслава можно будет определить приблизительно день отъезда моего в Харьков и Москву. Если между Харьковом и Москвой установлено уже летнее аэропланное сообщение — я полечу на аэроплане. Боги, м. б. воззрят на мои тяготы, и числа 7—8 мая я смогу вернуться в Москву...»

Из Киева в Москву. 30.IV.25 г.

«...Я отменил поездку в Богуслав, я принес в жертву все водопады, потому что понял, что в Богуславе работать невозможно. Три-четыре дня пребывания в Богуславе значительно отодвинули бы отъезд в Москву. Человек по фамилии Морква, председатель Богуславского райисполкома, один из мириада моих приятелей, человек хороший, передовой, но пьющий и общительный до крайности, изготовился везти в Богуслав вместе со мной горячительные напитки в необъяснимом количестве и еще сумрачных хохлов, перепить которых, я понял, невозможно. Хохлы победили бы меня, я не сочинил бы ни одной строки для сценария ⟨...⟩ и я уехал в поселок Ворзель под Киевом, где и сижу сейчас над кипой скучных бумаг».

Дальнейшие письма, отражающие работу над сценарием «Беня Крик», шли уже не из Киева в Москву, а из Сергиева Посада (Загорска) в Сочи (где я проводила лето).

Из Сергиева в Сочи. 14.VI.25 г.

«...В пятницу, т. е. на следующий после вашего отъезда день, я встретил Сережу Есенина, мы провели с ним весь день. Я вспоминаю эту встречу с умилением. Он вправду очень болен, но о болезни не хочет говорить, пьет горькую, пьет с необыкновенной

жадностью, он совсем обезумел. Я не знаю — его конец близок ли, далек ли, но стихи он пишет теперь величественные, трогательные, гениальные! Одно из этих стихотворений я переписал и пересылаю вам. Не смейтесь надо мной за этот гимназический поступок; может быть, прощальная эта Сережина песня ударит вас в сердце так же, как и меня. Я все хожу здесь по роще и шепчу ее. «Ах любовь — калинушка...» Нынче весь день работал с остервенением; теперь, когда я пишу Вам, идет второй час ночи, и так как я спал сегодня два часа после обеда, то можно посидеть до света. Сценарий, я почувствовал сегодня, поездку мою на Кавказ не задержит, в эту неделю я рассчитываю сочинить две трети, с третьей придется повозиться, п. ч. нужно добыть документы о гражданской войне этого периода, но и это не особенно трудно ⟨...⟩ На кинофабрику я не хожу и не пойду до того времени, пока не буду иметь на руках какого-нибудь товара. Оттуда несутся вопли и проклятия по моему адресу...»

Из Сергиева в Сочи. 16.VI.25 г.

«...Понравилась ли Вам книга Алексея Толстого? Какая погода в Сочи? У нас беда. Дождь, холод, ветер, деревья шумят яростно. Иногда показывается плюгавое солнце и сейчас же застилается ливнем, мглою, как на сцене. Один только раз было солнце и дождь, летний, щедрый, горячий дождь, очень красиво ⟨...⟩ Мы с Воронским живем дружно! Он все пишет про литературу ⟨...⟩ Еще новости. Иван Иванович был вчера именинник. Шик, еврей-выкрест, живущий насупротив, рукоположен во священники, он сменил полукафтан на рясу и ходит во всамделишной рясе с клюкою: коз согнали с Козьей горки (Вы на этой горке были), бабы устроили бунт, и вчера к ним приходил представитель исполкома. Кто победит — еще неизвестно.

Больше новостей нет. Я занят скучной работой ⟨...⟩»

Из Сергиева в Сочи. 20.VI.25 г.

«...Известие Ваше о дурной погоде не застало меня врасплох. У нас пятый день льет дождь, сыплет град, валит снег, изморозь покрывает землю по утрам, и глыбы льда выезжают из водосточных труб ⟨...⟩. И только Воронский доволен. В Сергиеве никто не нарушает его права писать критические статьи. Но, по-моему, он простудился, чувствую себя плохо, ропщу, но сценарий все же пишу. Завтра, в субботу, из шести частей будут готовы четыре, а в воскресенье я поеду получать от вас письма и читать сценарий Эйзенштейну. Если я написал чепуху — вот будет оказия!..»

Из Сергиева в Сочи. 25.VI.25 г.

«...У нас тоже наступила хорошая погода. Я три дня провел в Москве в большой суете. Был у Эйзенштейна на даче, ночевал у него. Сценарий мой как будто выходит. Из шести частей я написал четыре, сегодня приступаю к пятой. Когда управлюсь с этим делом, тогда только для меня прояснятся дальнейшие перспективы ⟨...⟩.

Я получил чудное душевное письмо от Горького. Надо ответить

на него целым трактатом и поспеть до закрытия почты. Поэтому я прерываю до завтра свои излияния...»

Из Сергиева в Сочи. 29.VI.25 г.

«...И это в то время, когда работать надо с возможной поспешностью. Я уже писал Вам, кажется, что три четверти сценария написал, а вот последняя четверть не клеится... Не клеится же окончание, потому что меня заставляют работать фальшиво 〈...〉 но я нынче утром напал, кажется, на счастливую мысль и, может быть, выйду из тягостного этого положения без морального урона... Спасаюсь только тем, что в мыслях стараюсь очищаться от суеты и скверны, ну да это занятие для философа, а философы дураки, вот тут и вертись. Пишу на почте, очень жарко, мухи и толчея; у почтовой барышни в окошечке завиты такие жалкие кудельки и на цыплячью грудку насыпано столько мела или пудры, что с этой барышней в самую бы пору поговорить о жизни, о ее и моей жизни, ну да она отвергнет, ей некогда...»

Из Сергиева в Сочи. 3.VII.25 г.

«...К стыду моему, я все еще бьюсь над сценарием, над его окончанием. Гонорар мне положили порядочный, надо постараться сделать получше. 〈...〉 я веду жизнь духовную (от чего Вас предостерегаю), я ем, как соловей, и скоро двух мертвых муравьев будет достаточно, чтобы насытить меня.

Больше происшествий никаких. Вчера я ехал на Ярославский вокзал в самом ординарнейшем из ординарных трамвайных вагонов, мне было грустно, и я раздумывал — что это такое? Потом впервые в жизни я испытал душевную усталость. Это началась старость? 〈...〉 И если это началась старость, то вот Вам и происшествие?.. 〈...〉»

Из Сергиева в Сочи. 10.VII.25 г.

«...Пишу на почте, п. ч. теперь 6 часов, а в $6^1/_2$ ч. почта закрывается, и я не смогу отправить Вам письма. Вокруг толчея, толкают под руку, и я не могу сказать, то, что хочу. Вчера читал целиком сценарий Эйзенштейну; он в притворном или искреннем восхищении — не знаю, но, во всяком случае, все идет благополучно. Завтра буду сдавать работу дирекции, думаю, что в ближайшие дни (два-три дня) все закончу. Кроме этого на той же кинофабрике предвидится для меня захватывающего интереса работа — можете себе представить фильм о лошадях по заказу Наркомзема. Я буду счастлив, если меня привлекут к этой работе. Я рассчитываю дня через четыре вылететь в Ростов, оттуда приеду в Сочи 〈...〉. Два дня, проведенные в Москве, растрепали меня маленько. Ложусь я на рассвете, делов множество, все издательства как с цепи сорвались, да и мысли, к счастью, одолевают,— а спать невозможно из-за духоты, очень я в Сергиеве привык к легкому воздуху, а здесь увядаю...»

Из Сергиева в Сочи. 12.VII.25 г.

«...Только что (теперь третий час утра) дописал проклятущий мой сценарий. Представьте — первые четыре части я обдумал и написал в семь дней; окрыленный этим успехом, я думал, что с

последней третью справлюсь еще легче, но не тут-то было, только позавчера мне пришли на ум подходящие (подходящие ли?) мысли, и я за полтора дня откатал великое множество сцен. Я очень устал 〈...〉 мысли путаются, надо поспать маленько 〈...〉. Переписка оконченной работы, чтение в разных инстанциях, проведение через репертуарный и всяческие другие комитеты возьмет, я думаю, несколько дней. После этого срока я смогу телеграфировать Вам точно — куда я выезжаю, в Одессу или в Сочи. Если в Сочи прямо — то до Ростова буду лететь на аэроплане...»

Из Сергиева в Сочи. 16.VII.25 г.

«...Мне обязательно нужно отправиться в Воронежскую губернию на Хреновской конный завод. Он расположен у ст. Хреновой, 70 верст от ст. Лиски. Ст. Лиски находится на большой дороге между Ростовом и Воронежем, от Ростова по направлению к Москве 〈...〉. В понедельник, т. е. на три дня позже меня, выезжает в Тамбовскую и Воронежскую губернию Эйзенштейн с техническим персоналом — для съемки натурных кадров 1905 года...»

Эйзенштейн должен был ставить фильм «Беня Крик», по сценарию Бабеля, на 1-й фабрике Совкино, но на фабрике произошли всяческие осложнения, и Исаак Эммануилович решил отдать свой сценарий Одесской киностудии ВУФКУ. Впоследствии туда же передал он и другой свой сценарий — «Блуждающие звезды».

Из Москвы в Ленинград. 15.IV.26 г.

«...Ночью с ужасной тоской в душе «гулял» у Регининых на именинах, ночью не спал, и теперь я качаюсь от слабости. Состояние моих мозгов, состояние здоровья стали так плачевны, что надо серьезно подумать об отдыхе в соответствующей обстановке, иначе будет мне худо. По совести говоря, мне трудно писать письма, п. ч. нет сил собрать мозги к «одному знаменателю». Довольно хныкать. Авось поправимся...

〈...〉 С Вуфку о «Блуждающих звездах» продолжаются интенсивные телеграфные «переговоры». В режиссеры они прочат Грановского — другого у них нет — вот какой получается заколдованный круг. Грановский со своим театром уезжает сегодня в Киев на гастроли, не исключена возможность, что и меня вызовут для окончательных переговоров на Украину...»

Из Москвы в Ленинград. 23.V.26 г.

«...Только что в 7 ч. утра получил телеграмму от Одесской фабрики Вуфку. Они предлагают мне немедленно приехать в Одессу. Вуфку предполагает отобрать постановку у Грановского, который выставляет идиотические требования, и передать ее Гричеру, бывшему помощнику Грановского, человеку мной рекомендованному и неизмеримо, в кинематографическом отношении, более талантливому. Обстоятельству этому я очень рад...»

Из Одессы в Ленинград. 28.V.26 г.

«...Веду переговоры с Вуфку о постановке «Блуждающих звезд» на Одесской кинофабрике 〈...〉. В Одессе у меня множество жалких знакомых, все хотят перехватить червонец и просят службу, но

море прекрасно по-прежнему и акация цветет опьяняюще чудовищно. Чувствую себя хорошо ⟨...⟩. У меня здесь множество работы — и моей (душевной), и кинематографической, но писать буду — лето здесь удивительное, все так напоминает детство и юность, я второй день хожу, грущу и радуюсь...

...Живу здесь хорошо, купаюсь и греюсь под солнцем. ⟨...⟩ Все было бы хорошо, если бы мне не приходилось возить по всем городам глупые мои нервы, не умеющие работать и не умеющие спать. Я их обучаю этим ремеслам, но со средним успехом...»

Из Одессы в Ленинград. 5.VI.26 г.

«Мы заканчиваем с режиссером разработку сценария, надеюсь, что дня через три-четыре я смогу выехать для расчетов в Харьков, а потом в Москву ⟨...⟩

Нервное состояние мое улеглось, и я работаю маленько продуктивнее, чем раньше. К сожалению, пользоваться благами Одессы мне не приходится, целый день торчу с режиссером в гостинице, все же купаюсь исправно каждый день...»

Из Одессы в Ленинград. 12.VI.26 г.

«...Вчера должны были выехать с Гричером в Харьков, но у него не готова еще смета по постановке, он эту смету должен представить в Харьков, в Правление. Если он успеет закончить смету сегодня — то выедем в 5 ч. 30 м., если нет,— завтра. Задержка эта мне ни к чему и даже вредна. ⟨...⟩ В Одессе живу грустно, но очень хорошо. Воздух родины вдохновляет — на плодотворные, простые, важные мысли...»

Из Харькова в Детское Село. 15.VI.26 г.

«...Вчера вечером приехал в Харьков. Сейчас отправляюсь делать дела. Думаю, что к завтрашнему вечеру выяснится, кто кого сломает — дела меня или я их. Завтра напишу. Чувствую себя удовлетворительно. Харьков — пыльный, душный город, к которому я, как и большинство людей, отношусь с предубеждением. Постараюсь сократить здесь мое пребывание...»

Из Москвы в Детское Село. 24.VI.26 г.

«...В конце будущей недели ⟨...⟩ мне придется ехать в Одессу, перспектива невеселая потому, что я боюсь, что мне и там не удастся работать. Был вчера у Воронского, встретил у него Лидию Николаевну [1]. Она очень толстая, весела ли она — не разобрал...»

Из Москвы в Детское Село. 7.VII.26 г.

«...Лидия Николаевна передала тебе вздорные новости. Выгляжу я превосходно и чувствую себя не менее превосходно. Насчет «свиданий» виноваты мы оба в одинаковой степени. Л. Н. прислала мне открытку, в которой сообщила, что до воскресенья будет на даче, я собрался к ней в воскресенье, но она, оказывается, укатила в субботу в Пб. По этому поводу я написал ей негодующее письмо.

⟨...⟩ Помимо «душевной» работы, которую я продолжаю, несмотря на противодействие всех стихий, мне приходится еще участ-

---

[1] Л. Н. Сейфуллина.

вовать в монтаже на I Госкинофабрике несчастной и неумелой картины «Коровины дети». Произведение это сумбурное, я по договору обязан составить к нему надписи и обязательство это выполняю потому, что эта работа значительно уменьшит сумму моего долга фабрике. По логике вещей я обязан вернуть полученный в Госкино гонорар, т. к. гонорар этот я получаю вторично в Вуфку. А ежели возвращать — то... все понятно. Итак, надо монтировать и делать надписи к «Коровиным детям». Кроме того, я редактирую и перевожу последние томы Мопассана и Шолом-Алейхема, кроме того, я должен исполнить кое-какие работы для Вуфку 〈...〉 Работы эти скучные, но деньги пойдут на благие цели, поэтому работать надо; единственно удручает меня то, что многие проблемы (лошадиная и проч.), изучение которых совершенно необходимо для моего душевного рановесия, из-за недостатка времени остаются безо всякого изучения. Ну да чем скорее я исполню заказы, тем скорее можно будет приступить к проблемам. Дня через два в Москву должен приехать один из директоров Вуфку, и я узнаю тогда — состоится ли моя вторичная поездка в Одессу, и вообще разберусь в дальнейших перспективах...».

Тут мне приходится сделать отступление и предуведомить читателя, что, взяв на себя смелость выбора кусков из писем ко мне Исаака Эммануиловича для их опубликования, я допускаю вольность, нарушая хронологию.

Привожу отобранные мною выдержки из писем не в последовательности их написания, а располагая по затронутым в них темам, этим же объясняется и обилие многоточий, безусловно затрудняющих чтение.

Прошу простить, но иначе поступить я не могла, поставив перед собой задачу брать из писем только то, что соответствует намеченной цели.

Ведь я задалась целью написать не монографию о жизни и творчестве И. Э. Бабеля на основании его писем ко мне и своих наблюдений, а пытаюсь набросать лишь штрихи к его портрету.

Все цитируемые письма адресованы Т. В. Кашириной, под каковой фамилией я родилась, училась, работала, выступала на сцене и вообще жила до 29 года, когда приняла, зарегистрировав замужество, фамилию — Иванова.

Закончив работу над двумя сценариями, Исаак Эммануилович занялся литературной обработкой одного из них, а именно «Бени Крика».

Из Москвы в Ленинград. 9.IV.26 г.

«...Меня убеждают в том, чтобы напечатать сценарий о Бене Крике. Ближайшие три-четыре дня будут у меня заняты приспособлением текста для печати. Изменения будут незначительны 〈...〉»

Из Москвы в Ленинград. 12.IV.26 г.

«...Приведение сценария в литературный вид я закончу завтра-

послезавтра; после того, как выяснится его судьба, я смогу выехать в Ленинград. ⟨...⟩»

Киноповесть «Беня Крик» была напечатана в журнале «Красная новь» (1926, № 6). В этом же году она вышла отдельным изданием.

И в том же году Исаак Эммануилович приступает к созданию пьесы «Закат». О начале этой новой работы он в шутку написал мне — как о «коммерческом деле».

Из Ворзеля в Детское Село. 19.III.26 г.

«...Живу в совхозе в 40 верстах от Киева, недалеко от станции Ворзель Ю.-З. ж. д. Хотя ожидания мои в смысле лошадей и тишины обмануты, но думаю, что я смогу здесь поработать. Кровных лошадей в этом совхозе нет, толчеи благодаря уборке урожая много, но так как я живу здесь бесплатно, то выбирать не приходится. ⟨...⟩»

По определению Исаака Эммануиловича, в его жизни играла большую роль «Лошадиная проблема».

Он считал прекраснейшим для себя отдыхом общение с лошадьми. Живя в Москве, посещал бега и скачки. Искал случаи пожить в совхозах, где есть конные заводы.

Он вообще стремился изучать жизнь животных. Хотел поселиться в заповеднике. Но это намерение, во всяком случае в годы нашей дружбы, почему-то никак не могло осуществиться. Лошади же всю жизнь влекли его.

Продолжение писем Бабеля:

«...Особенных новостей не жди от меня, давай, господи, чтобы их у меня не было, чтобы судьба подарила мне месяц-два хотя бы относительного спокойствия. Очень я захвачен сейчас коммерческим делом (правда, тряхнул кровью предков), которое я затеял. Результаты должны сказаться скоро. ⟨...⟩»

Из Ворзеля в Детское Село. 26.VIII.26 г.

«...В Ворзеле за 9 дней я написал пьесу. Это значит, что за девять дней жизни в условиях, мною выбранных, я успел больше, чем за полтора года. Этот опыт еще более укрепил меня в убеждении, что я себя знаю лучше, чем кто-либо. На мне лежит большая ответственность. Я должен сделать все, чтобы иметь возможность нести эту ответственность. Прошу тебя, никому не говори о пьесе. Я очухаюсь и недели через две посмотрю, что у меня вышло. Во всяком случае, счастливый этот казус поправит материальные дела; думаю, что к концу сентября это улучшение примет осязательные формы.

Голова моя очень устала. Девять дней я худо спал и свету божьего не видел. Сегодня поезжу по Днепру, пошатаюсь по селам дня три, вернусь — и буду снова работать. Я написал Виктору Андреевичу Щекину, просил сообщить — находятся ли еще

лошади на летнем положении, жду от него ответа, м. б. съезжу на некоторое время в Хреновую. Пора мне приниматься за дела...»

Из Хреновой в Детское Село. 5.IX.26 г.

«...Вчера после мучительного путешествия (двое суток) приехал в Хреновую. Остановился на прежней квартире. Погода превосходная. Условия для работы хорошие. Постараюсь здесь наверстать часть упущенного времени. Буду здесь сидеть так долго, как только смогу, м. б. месяц. Потом снова начнется суета и гадость — поездка в Москву. Единственное, что сможет меня вознаградить за Москву,— это Детское. Увидимся мы в октябре. Здесь все на прежнем месте — и люди и лошади...»

Из Хреновой в Детское Село. 8.IX.26 г.

«...Новостей, как известно, в Хреновой не бывает. Я работаю до обеда, потом ухожу на завод или наоборот. Обедаю у прошлогодней нашей поварихи [1]. Хожу к ней на дом. Условия для работы здесь превосходные, тем более превосходные, что здесь мозгам можно дать роздых в любую минуту, а мозги мои теперь не в лучшей форме 〈...〉

Пьесу буду переписывать перед отъездом в Москву. Я ею как-то не интересуюсь и тебе не рекомендую. У меня сложились дурные отношения к моим «произведениям». Раньше они мне нравились, по крайней мере во время написания, а теперь и этого нет. Я пишу, сомневаясь и зевая. Увидим, что из этого получится...».

Из Хреновой в Детское Село. 15.IX.26 г.

«...Живу по-прежнему — полдня «размышляю» о вещах нелепых и надоевших мне, полдня сижу в конюшне. Погода держится хорошая. Был два раза на охоте с Виктором Андреевичем. Он охотится, а я смотрю. 〈...〉 Только человек я больно никудышний — не нравлюсь я себе. Все-таки я считаю, что принадлежу к породе людей, могущих притянуть себя к более совершенной организации. Попробуем...»

Из Хреновой в Детское Село. 17.IX.26 г.

«...Живу по-прежнему. Сегодня пошел дождь. Будет он идти, вероятно, не один день. Работаю в меру сил. «Мера»-то не больно велика. Мозги мои требуют очень частых передышек, не по сезону.

...Пьесу начну переписывать через несколько дней. Никому я ее еще не читал 〈...〉».

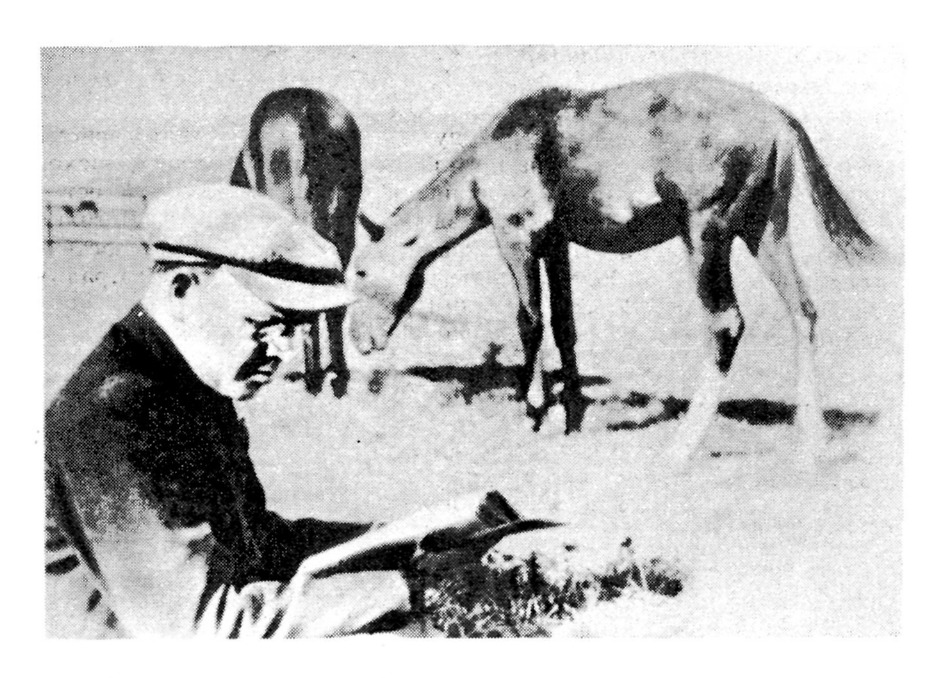
Из Хреновой в Детское Село. 20.IX.26 г.

«...Погода здесь испортилась, дождь, очень это не ко времени — п. ч. я доработался до полного истощения мозгов, мне бы надо на несколько дней забросить всякую «письменность», а как ее забросить, когда приходится сидеть дома? Подожду еще дня два-три, потом возьмусь за переписку пьесы, потом поеду в Москву 〈...〉

Завтра в Хреновой выставка крестьянских лошадей и крестьянские бега. Обязательно пойду посмотреть, как бы только погода не помешала. 〈...〉 Я сегодня, запершись в своей комнате, долго читал

---

[1] Летом 1925 года мы некоторое время прожили в Хреновой вместе.



И. Бабель на конном заводе в Хреновой.
(Середина 20-х годов).

Жития Святых, книжку Толбинских [1], но в этой книге днем с огнем не сыщешь ничего веселого. ⟨...⟩

Сейчас иду обедать, а потом к Виктору Андреевичу: он, кажется, собирается сегодня на охоту. Поеду и я...».

Из Хреновой в Детское Село. 22.IX.26 г.

«...Дождь здесь зарядил, идет очень ядовито, мелкий, беспрерывный. Сегодня были крестьянские бега — очень интересно.

В Москву предполагаю выехать не позднее 1 октября. Надо приступить к переписке моей чудаковатой «пьесы», а не хочется. Надо бы ей отлежаться месяца два, чтобы я о ней забыл. ⟨...⟩»

Из Хреновой в Детское Село. 25.IX.26 г.

«...Весь вопрос теперь в том — хлебную ли пьесу я сочинил? Беда та, что к революции пьеса эта не имеет никакого отношения; как ни верти, она чудовищно дисгармонирует с тем, что теперь в театре делают, и в последней сцене дураки могут усмотреть «апофеоз мещанства». ⟨...⟩

⟨...⟩ поживем, увидим. Вообще же к пьесе этой нельзя относиться серьезно. К сожалению, я мало смыслю в драматургии, и вышел, кажется, легковесный пустячок. Очень жаль, что мне не с кем посоветоваться...».

---

[1] Хозяева избы, в которой жил Бабель.

Из Хреновой в Детское Село. 29.IX.26 г.

«...Первого я отсюда не поеду, есть еще работы на несколько дней. Здесь очень холодно, дурная погода. Теплых вещей нету, одеяла нету — но очень уж тихо, пострадаю еще несколько дней...».

Из Хреновой в Детское Село. 1.X.26 г.

«...Пишу все еще из Хреновой. Никак не удается исполнить расписание. Хотел написать здесь (очень уж тихо) несколько рассказов, подготовил их вчерне, но времени не хватит. Я занят незначительной переделкой последнего акта пьесы, окончу и уеду. Не позже 10/X буду в Москве.

Только что получил телеграмму от одесской фабрики Вуфку о том, что постановка «Блуждающих звезд» закончена и режиссер 10/X везет фильм в Харьков, в Правление. Не знаю — обязывает ли меня к чему-нибудь такая телеграмма, все же перед выходом в свет мне надо картину видеть, пишу об этом в Харьков...»

Из Москвы в Детское Село. 11.X.26 г.

«...Приехал в Москву только вчера. Ехать пришлось сутки четвертым классом — скорый отменен. Тяжелое путешествие. Дела начну завтра. Если они затянутся — чего я не предполагаю,— то я улучу не в счет абонемента один-два дня для того, чтобы вырваться к вам. ⟨...⟩»

Из Москвы в Детское Село. 13.X.26 г.

«...Вчера читал пьесу Маркову. По его мнению, она представляет интерес, но необыкновенно трудна для постановки и, уж конечно, никак не актуальна. Хлопот мне предстоит много...»

Из Москвы в Детское Село. 18.X.26 г.

«...Пьеса моя произвела на слушателей (Марков, Воронский и несколько актеров Художественного театра) благоприятное впечатление, но мы условились, что я сделаю кое-какие дополнения. Я чувствую, что третья сцена у меня недоработана, и не хочу сдавать пьесу в таком виде. Вообще говоря, если принять во внимание быстроту, с какой я написал ее,— то ее нынешнее состояние надо признать удовлетворительным. Искания мои «художественной законченности» плохи только в том отношении, что получение денег откладывается до того времени, когда я сочту, что пьеса выправлена, а счесть это я могу черт меня знает когда. ⟨...⟩»

Из Киева в Москву. 5.I.27 г.

«...«Блуждающие звезды» еще не видел, говорят — гадость ужасная, но сборы — аншлаг за аншлагом. К Бене Крику (картина очень плохая) пишу надписи. От этой кинематографической дряни — настроение скверное...»

Сценарии, вернее, поставленные по ним фильмы, все еще тревожили Исаака Эммануиловича, отнимали у него время, но «Закат» уже заполнил собой все его мысли. Продолжая работать над пьесой, Бабель захотел проверить ее звучание на широкой аудитории.

Из Киева в Москву. 17.III.27 г.

«...Я затеял несколько публичных вечеров — здесь, в Одессе,

м. б. в Харькове. Буду читать пьесу. Кое-как я ее отделал. Вышло хуже, чем раньше,— очень вымученно...»

Из Киева в Москву. 26.III.27 г.

«...Вчера читал пьесу. Вечер прошел с «материальным и художественным» успехом. Посылаю тебе рецензии, посылаю потому, что это первые строки о детище, которое я до написания очень любил. Третью сцену выправил, но недостаточно, каждый раз я что-нибудь подчищаю и думаю, что доведу в конце концов до приличного состояния, а то рецензент прав насчет ржавых мест. Для окончательного суждения очень мне нужен твой совет, когда привезу это сочинение в Москву — тогда поговорим...»

Из Киева в Москву. 30.III.27 г.

«...Сейчас еду в Одессу. Вечера мои там состоятся 1 и 2 апреля. 4-го «выступаю» в Виннице (совсем балериной сделался). 5-го возвращаюсь в Киев...».

Для творческой работы Исааку Эммануиловичу совершенно необходима была «питательная» среда.

Но даже и тогда, когда обстоятельства заставляли его жить в столице, он неизменно искал какую-то особую обстановку, в которой ему легче работалось бы. Он способен был вдруг испытать влечение к чужой квартире, чем-то отличающейся от привычного или же внезапно увиденной им под особым углом зрения.

Я несколько раз присутствовала при возникновении таких внезапных «влечений», но никогда не могла толком разобраться — что же, собственно, его тут привлекло.

К тому же и влекло его каждый раз нечто, совершенно не похожее на предыдущее: то просторность, чистота, чинность, тишина, а то предельная загроможденность — шагу ступить негде...

Но и там и тут он неожиданно говорил: «Вот здесь я бы, наверное, смог писать».

Человек он был обаятельный, поэтому хозяева облюбованного помещения дружно кричали: «Сделайте милость, приходите к нам работать, а то так поселитесь у нас».

Иногда он даже и соглашался на такое предложение, но на моей памяти никогда из подобных проб проку не получалось — писать все равно было ему трудно. А в незнакомом месте возникали и бытовые трудности, которые отнюдь не шли на пользу делу.

Когда сложные переплетения его жизни закинули Бабеля за границу, ему стало там совсем плохо, совсем невмоготу работать.

Из Парижа в Москву. 11.XI.27 г.

«...Жизнь мою за границей нельзя назвать хорошей. В России мне жить лучше, переучиваться на здешний лад мне не хочется, не нахожу нужным 〈...〉

Никогда я не испытывал такой материальной нужды, как теперь. Положение иногда создается унизительное. Вся надежда на пьесу и на то, что ты похлопочешь. Если пьеса прошла несколько раз в провинции, то я думаю, что в Модпике можно взять еще аванс.

Я взял там всего пятьсот рублей. Они обещали мне перед генеральной репетицией дать еще денег. Надо думать, что представления в провинции равносильны генеральной репетиции в Москве. Я не знаю, конечно, как обстоит дело с пьесой — снимется ли она после нескольких представлений или продержится, прошу ⟨...⟩ пришли мне все материалы, какие у тебя по этому поводу имеются. Выражал ли еще какой-нибудь провинциальный театр желание поставить «Закат»? Что ты знаешь о постановке в Одессе? Неужели история с авансом от Александринки тянется до сих пор? Есть ли уверенность в том, что пьеса пойдет в Александринке?

Итак, надо попросить аванс в Модпике. Я пишу заявление на тысячу рублей. Борись. Но получить деньги — это полдела, очень трудно отослать их за границу. Если посылают сумму, превышающую пятьдесят долларов, надо просить разрешения Валютного Управления. Всеволод[1] может дать тебе совет. Конечно, посылать надо от Модпика, вообще от официального учреждения, тогда скорее выдают разрешение ⟨...⟩

Напиши мне еще ⟨...⟩ о пьесах Всеволода и Леонова, как они выглядели со сцены, имеют ли успех? Что получилось у Эйзенштейна? Я совсем отрезан от мира. ⟨...⟩

Я все время стараюсь работать, но ощутимых результатов пока нет. Очень трудно писать на темы, интересующие меня, очень трудно, если хочешь быть честным. Я снова подтвердил Полонскому мое обещание не посылать рассказов, кроме как в «Новый мир». Но если бы ты знала, как мучительно мне привыкать к писанию из-за нужды, к писанию из-под палки ⟨...⟩».

Из Парижа в Москву. 16.XII.27 г.

«...Получил вчера 250 долларов. Деньги — это кислород, вернувший меня к жизни. Я находился при последнем издыхании. 100 долларов было у меня долгу, на остальные, конечно, не разойдешься, но все же поживу. Было бы истинным благодеянием, если бы ты могла в начале января повторить твой подвиг. Финансовые перспективы мои ⟨...⟩ таковы: работать регулярно я начал очень недавно, но если бы поднажать, можно бы кое-что подготовить для печатания. Но все существо мое этому противится. Очутившись вдали от редакционной толкучки, от бессмысленных рецептов, мне непреодолимо захотелось работать «по правилам». Я уверен, что смогу напечатать много вещей в 1928 году, но сроков никаких не знаю, да и думать о них не хочу. Если вещи мои будут хороши — тогда редакторы не станут на меня сердиться за несоблюдение сроков, если они будут плохи, так о чем же тут толковать, что раньше, что позже — все равно ⟨...⟩».

Из Парижа в Москву. 26.XII.27 г.

«...Что же делать — я совсем не писатель, как ни тружусь, не могу сделать из себя профессионала. ⟨...⟩

...Я буду стараться ⟨...⟩ я знаю, как это нужно, но трудно продать первородство за чечевичную похлебку. ⟨...⟩

---

[1] Всеволод Иванов.

Мне и здесь передавали о том, что московские сплетники болтают о моем «французском подданстве». Тут и отвечать нечего. Сплетникам этим и скучным людям и не снилось, с какой любовью я думаю о России, тянусь к ней и работаю для нее 〈...〉».

Относительное облегчение наступило для Бабеля только тогда, когда ему пришла мысль использовать свое пребывание в Париже для работы, связанной с Парижем, и он начал собирать материалы о французском рабочем движении.

Из Парижа в Москву. 16.XII.27 г.

«...В существовании моем недавно произошел перелом к лучшему — я придумал себе побочную литературную работу, которую нигде, кроме как в Париже, сделать нельзя. Это душевно оправдывает мое житье здесь и помогает мне бороться с тоской по России, а тоска моя по России очень велика. Пожалуйста, пришли мне еще материалов о пьесе, если они у тебя есть. 〈...〉».

Из Парижа в Москву. 5.V.28 г.

«...Вообще же и ближайшие три-четыре месяца будут месяцами лишений, зная это — как тут быть? Я работаю недавно, в форму вхожу трудно, с маху стоящую книгу не напишешь, по крайней мере я-то не напишу 〈...〉».

Из Парижа в Москву. 7.VII.28 г.

«...Нездоровье; не такое, чтобы лежать в постели, а похуже — болезнь нервов, частая утомляемость, бессонница. Я, по правде говоря, мало трудился на моем веку, больше баловался, а вот теперь, когда надо работать по-настоящему, мне приходится трудно 〈...〉

Получил несколько писем от Горького. Он просит меня приехать и обещает, что устроит у себя, что у него тихо, можно работать — и расходов никаких не будет. Я бы хотел поехать — но пока нету денег на дорогу. Если раздобуду — напишу тебе и сообщу адрес...».

Одноплановость приводимых мною выдержек из писем Исаака Эммануиловича может вызвать у непосвященного человека представление о нем как о «вечном страдальце», и это будет совершенно ошибочно.

Бабель постоянно испытывал «муки творчества», но человек он был общительный, веселый, блистательно остроумный. Пессимистом его никак нельзя посчитать — при малейшем проблеске благополучия он оживлялся и начинал возводить шаткое нагромождение «воздушных замков».

Человек широкий во всех отношениях, он постоянно испытывал потребность помочь всему своему окружению.

Так, находясь в Париже буквально в нужде и едва получив деньги, чудом отправленные ему туда, он тут же пишет мне:

Из Парижа в Москву. 30.XI.27 г.

«...Если тебе удастся прислать мне в нынешнем году тысячу рублей, будет очень хорошо 〈...〉. Не помню, сообщал ли я тебе адрес сестры 〈...〉 Хорошо бы если бы и ей можно было отправлять ежемесячно 〈...〉».

Возможно, что Исаак Эммануилович так стремился во имя работы зарыться в глушь отчасти и потому, что никак не мог совладать со своей неуемной общительностью.

Письма его тоже дают основание для такого предположения.

Из Киева в Москву. 23.VI.25 г.

«...Я ушел из дому, где начался шум и суета, всегда сопровождающие меня...»

Из Сергиева в Сочи. 29.VI.25 г.

«...В четверг приехала гостья (приятельница из Петербурга) и пробыла два дня, а в субботу нагрянули три семьи — Вознесенские, Зозули и проч. Я измаялся. Пропащие четыре дня, даже вам не мог написать ⟨...⟩».

Познакомилась я с Исааком Эммануиловичем на квартире у Василия Александровича Регинина, который был моим сослуживцем по режиссерской работе в клубных кружках войск Красной Армии.

Я тогда училась в режиссерской мастерской Мейерхольда и работала в театре его имени, а также вела несколько красноармейских и рабочих драматических кружков.

После одного из вечерних занятий кружка Василий Александрович уговорил меня пойти к нему: «Познакомитесь с моей женой и обязательно еще с кем-нибудь интересным, ко мне каждый вечер заходят «на огонек».

Так оно и оказалось — «на огонек» зашел в тот вечер Исаак Эммануилович. Он пошел меня провожать и, будучи человеком крайне неожиданным, весьма удивил меня своим обращением и разговором.

Всю дорогу (от Красных ворот, где жили Регинины, до Горохового поля на Разгуляе, где жила я) Бабель рассказывал мне о лошадях, уверяя, что ни литература, ни искусство нисколько его не интересуют, вот лошади — дело другое!

Когда сидели у Регининых, я позвала и их, и Бабеля, на следующий вечер, посмотреть спектакль «Земля дыбом», в котором я играла.

Они пришли в театр все вместе и по окончании спектакля пригласили меня ужинать в «Литературный кружок».

За ужином Исаак Эммануилович восхищался Зайчиковым, игравшим бессловесную роль царя, а меня поддразнивал: где же, мол, вам соревноваться вашей героикой с актером, которого режиссер посадил при всем честном народе на ночной горшок...

После ужина Бабель опять провожал меня, но на этот раз мы ехали на извозчике — путь от Тверской (теперь ул. Горького) до Разгуляя не для пешего хождения, да и извозчик ехал довольно долго, и опять Исаак Эммануилович все твердил про лошадей.

Но на этот раз он выражал опасение, но не того, что мне может наскучить его пристрастие к лошадям, а того, что я могу его не понять.

Я была избалованна и строптива, поэтому, вырази он опасе-

ние, что лошади наскучили мне, я бы, наверное, с этим согласилась, но, при моем молодом самомнении (мне было тогда 24 года), я возмутилась предположением, что могу чего-то «не понять», и поэтому терпеливо слушала бабелевские рассказы о совершенно не нужных мне лошадях.

Впрочем, он был таким неотразимым рассказчиком, что все, о чем бы ни говорил, получалось у него и увлекательно, и неповторимо интересно.

Скоро мы встретились в Ленинграде, и Исаак Эммануилович попросил меня никому не говорить, что он там. Пригласил зайти к нему в гостиницу, еще раз заверив, что он в Ленинграде «инкогнито».

Когда же я к нему зашла, то обнаружила в его номере «дым коромыслом». Он уже созвал к себе половину Ленинграда.

Такая непоследовательность вообще была очень характерна в те годы для бытового поведения Бабеля.

Другое дело — творчество. В творчестве он был необыкновенно последователен, взыскателен и ни в коем случае не желал ни смириться, ни «укротить» себя.

Он не только с мучительной страстью вынашивал свои произведения, но с такой же пристальной внимательностью прослеживал и их прохождение в жизнь, начиная с корректур и репетиций. Чувство ответственности перед читателем, беспокойство о нерушимости своего творческого замысла никогда не покидали Бабеля.

Это опять можно проследить по письмам:

Из Киева в Москву. 22.IV.25 г.

«...Окажите мне услугу: позвоните в редакцию «Красной нови» (т. 5-63-12), попросите к телефону Евгению Владимировну Муратову. Скажите ей от моего имени, что я с нетерпением жду корректуры [1], которую она обещала выслать мне в Киев. Корректуру эту немедленно по исправлении я отправлю в редакцию...»

Из Киева в Москву. 27.IV.25 г.

«...От «Красной нови» ни слуху ни духу. Какие неверные люди. Я телеграфировал вчера в редакцию и завтра пошлю еще одну телеграмму. Пожалуйста, позвоните еще раз Муратовой и скажите от моего имени, что я протестую против напечатания рассказа по невыверенной рукописи и что если они не пришлют мне корректуры по указанному адресу в Киев, то я буду протестовать против этого в печати. Александр Константинович [2] обещал дать мне возможность прочитать корректуру трижды. Мне стыдно, что я отягощаю вас этим делом, но, право, оно имеет для меня кое-какое значение...».

Из Киева в Москву. 30.IV.25 г.

«...От «Красной нови» ни ответа, ни привета. Придется послать им выправленную рукопись...».

---

[1] Рассказ «История моей голубятни».
[2] Воронский.

Из Киева в Москву. 10.IV.27 г.

«...Корректуру «Короля» пришли. Делов там немного, но просмотреть надо.

Приехать в Москву я хочу 24-го, к Пасхе. Очень хочется мне успеть исполнить до этого времени ту чертову гибель работы, которая висит на моей шее...».

Из Киева в Москву. 13.IV.27 г.

«...Корректуру получил. В корректуре сделал незначительные изменения в порядке рассказов и написал на титульном листе «Третье издание». Это необходимо сделать для того, чтобы не вводить публику в заблуждение...».

Особое беспокойство, обостренное еще и тем, что он находился за границей и не мог сам проследить за перипетиями претворения ее в спектакли, вызывала у Бабеля пьеса «Закат».

Из Парижа в Москву. 3.IX.27 г.

«...Что в театре? Я до сих пор не переделал 3 сцены. Опротивела мне пьеса. Надо бы сократить два-три куплета в песне, да охоты не хватает. Может быть, сделаю. Все переделки пришлю».

Из Парижа в Москву. 6.X.27 г.

«...Авторы наши в отношении к цензуре перешли всякие границы робости и послушания. Я не собираюсь принять к сведению или исполнению ни одно из их замечаний. Все их «исправления» — бессмысленны, продиктованы отвратительным вкусом и политически ненужны и смехотворны. С болванами этими не стоило бы и разговаривать. Я не принадлежу к числу тех, кто плачет над запрещенными своими вещами или злобится. Но «тога гордого безразличия» — это, конечно, пышная тога, но 〈...〉. Поэтому надо бороться за сохранение моих фраз 〈...〉. Уступать нельзя...».

Из Парижа в Москву. 4.X.27 г.

«...Я прочитал в «Правде» отзыв Маркова о постановке «Смерти Иоанна Грозного». Статья эта убедительно написана, и такое у меня чувство, что она правильно излагает то, что происходило в театре. 〈...〉 Плохой театр [1], тут и толковать нечего. Если тебе придется говорить с Берсеневым, попроси их сократить 3 сцену, в особенности песню. Один чех попросил у меня пьесу для того, чтобы показать ее в Праге, я сдуру отдал, теперь у меня нет ни одного экземпляра. Он, правда, обещал вернуть через несколько дней».

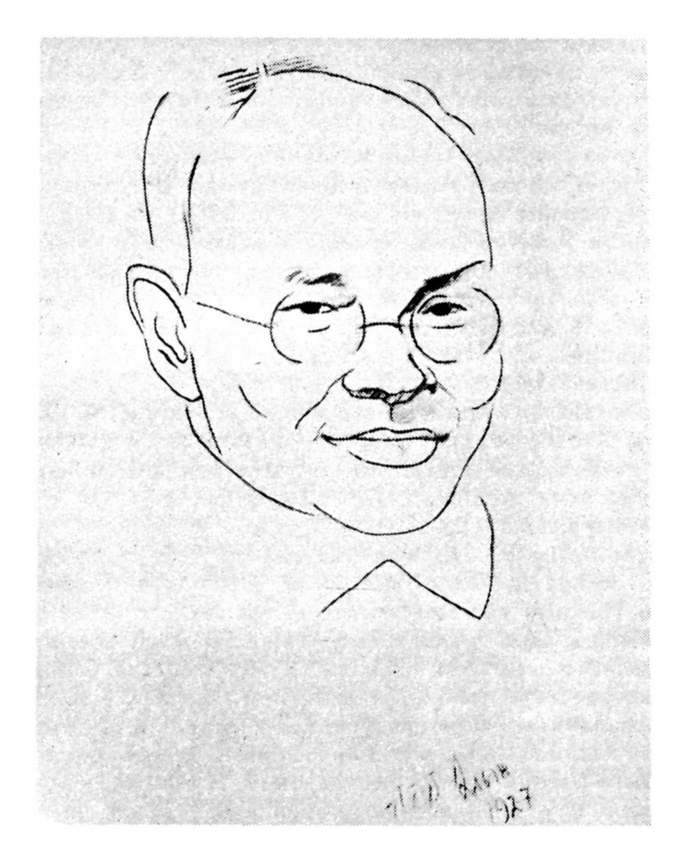
Из Парижа в Москву. 17.X.27 г.

«...Вчера получил письмо твое и Гриппича. Сегодня отправил Гриппичу все нужные ему заявления. Знаешь ли ты что-нибудь о судьбе пьесы в Петербурге?

Перебиваюсь с трудом 〈...〉 А тут еще дней десять тому назад я захворал. Простудился, и начался тяжкий мой «астматический период». Десять дней я снова не работал и так этим испуган, что решил ехать на юг лечиться. Раз навсегда мне надо привести

---

[1] 2-й МХАТ.



И. Бабель в 1927 году. Рисунок Н. Альтмана.

себя в работоспособный вид. Рассчитываю осуществить мою мечту — поехать в Марсель. Поеду, если добуду денег. Здесь не Москва — пропадешь и ни копейки не достанешь...»

Из Парижа в Москву. 30.XI.27 г.

«...Рецензию получил. Спасибо.

...Идет ли пьеса еще где-нибудь? Если у тебя накопились еще материалы, сделай милость, пришли. Что тебе сказали в Александринке? Прежде чем перерешать, я хотел бы знать в точности положение дела. Напиши откровенно...».

Из Парижа в Москву. 22.XII.27 г.

«...Сколько представлений выдержал «Закат» в Одессе и Баку? Собираются ли ставить еще где-нибудь? Не знаешь ли ты, как идут репетиции во 2 МХАТе?..»

Из Парижа в Москву. 10.I.28 г.

«Со всех сторон мне сообщают, что 2 МХАТ разваливается, что никакой постановки там не будет ⟨...⟩ Не худо бы тебе побывать на репетициях, если только они происходят. Если хочешь, я напишу в этом смысле Берсеневу или Чехову...».

5 Заказ 4211

Из Парижа в Москву. 11.III.28 г.

«...Посмотрим, даст ли «Закат» что-нибудь? Никогда с большим отвращением не относился к этой пьесе, к разнесчастному и надоевшему детищу, чем теперь...».

Об искусстве и о лучших для себя условиях, чтобы им заниматься в полную силу, Исаак Эммануилович думал постоянно. В одном из первых своим писем ко мне (23.IV.25 г.) он писал:

«...Последние дни я много думаю о вашем искусстве и моем и со всей страстью убеждаю себя, что мне душевно нужно на два года отказаться от моей профессии... Жизнь моя пошла бы лучше и позже, через два года я сделал бы то, что нужно мне и еще, может, некоторым людям...».

Из Парижа в Москву. 5.IX.27 г.

«...Я здоров, работаю, результаты скажутся не скоро, м. б. через много месяцев. Что же делать? Работать по методам искусства 〈...〉 — это одно из немногих утешений, оставшихся мне. В материальном смысле от этих утешений, конечно, не легче...».

Из Парижа в Москву. 22.VII.28 г.

«...Где тонко, там и рвется. Я, кажется, писал тебе о своей болезни, о том, что работать я не в состоянии, с великим трудом влачу «бремя дней». Ты сама можешь судить — как это все кстати. Я серьезно подумываю о том, чтобы центр тяжести моей жизни перевести из литературы в другую область. У меня всегда было так — когда литература была побочным занятием, тогда все шло лучше. С такими требованиями к литературе, как у меня, и с такими ограниченными возможностями выполнения нельзя делать писательство единственным источником существования. В России я все это переменю. Завтра еду в Брюссель — повидаться с матерью и сестрой, пожить там, если будет к тому возможность, потом вернусь на короткое время в Париж и отсюда уеду в Россию. Только там я смогу снова стать «ответственным» за свои поступки человеком, сочинить какой-нибудь план жизни...».

Из Парижа в Москву. 10.IX.28 г.

«...В Россию я приеду в начале октября. Первый этап будет Киев, а где жить буду — не знаю. Оседлости устраивать пока не собираюсь, буду кочевать где придется 〈...〉 Приезда моего не утаишь, в Москве я жить не буду, как это все сделается?

Я возвращаюсь, состояние духа у меня смутное. Работать столько, сколько бы надо,— не умею, мозги не осиливают. Я чувствую впрочем, что житье, вольное житье в России, принесет мне много добра, выправит и выпрямит меня. Я считаю сущими пустяками (и скорее хорошими, чем дурными) то, что я не печатаюсь, не участвую в литературе. Чем дольше мое молчание будет продолжаться, тем лучше смогу я обдумать свою работу — только бы, конечно, с долгами развязаться и на прожитье зарабатывать 〈...〉».

Из Парижа в Москву. 21.IX.28 г.

«...Выехать я собираюсь отсюда первого октября. В Киев — который будет первым моим этапом — приеду числа шестого-седьмого (хочу на два дня остановиться в Берлине). В литера-

турных или начальственных кругах вращаться не собираюсь, хотелось бы пожить в тишине 〈...〉».

Из Киева в Москву. 24.X.28 г.

«...В Киеве я пробуду еще недели две-три, потом поеду в какое-нибудь захолустье работать. Куда поеду — еще не знаю. Противоположение Парижа и нынешней России так разительно, что я никак не могу собраться с мыслями, и душа от всех этих рассеянных мыслей растерзана. Стараюсь, как только могу, привести себя в форму...».

Из Киева в Москву. 26.XI.28 г.

«...Вчера не мог написать подробнее, п. ч. голова очень болела. Я теперь часто хвораю. Очень часто головные боли,— очевидно, у меня мозговое переутомление. Тут бы работать, а голова часто отказывается. Часто мне бывает от этого очень грустно. Но так как я упрям и терпелив, то надеюсь, что вылечу себя. 〈...〉.

Я пока остаюсь в Киеве, вернее, за Киевом, живу, можно сказать, в губе у старой старухи отшельником — и очень от этого выправляюсь душой и телом. Может, и хворости пройдут...»

Во имя искусства он неустанно стремился все превозмочь и в себе, и вокруг себя.

Принести искусству все возможные и невозможные жертвы — вот каков был символ веры Бабеля.

Однако даже самые пламенные намерения не всегда и не всем удается осуществить.

Не удалось и Бабелю осуществить программированное им в последнем письме ко мне стремление «жить отшельником».

Переписка наша прекратилась, и мы больше не виделись, поэтому о дальнейшей жизни Исаака Эммануиловича я могу судить только по опубликованным письмам его к другим адресатам и по воспоминаниям А. Н. Пирожковой.

У Бабеля были столь непомерные требования к совершенству художественных своих произведений, и создавал он их так медленно, что, видимо, волей-неволей, чтобы заработать на жизнь, пришлось ему вернуться к работе в кино.

Но если над сценариями «Беня Крик» и «Блуждающие звезды» он трудился, предъявляя к себе те же требования, как и при создании прозы или пьесы, то, по-видимому, в последние годы он работал в кино скорее ремесленно, чем творчески, предпочитая исправлять чужие сценарии.

Невозможно без горечи думать о конце его жизни.

Невозможно не сожалеть о неосуществленных творческих его планах и пропавшем архиве.

Остается надеяться, что «рукописи не горят», а архив этот предстанет перед исследователями творчества Бабеля, его читателями и почитателями.

Лев Никулин

ИСААК БАБЕЛЬ

Он любил забавные мистификации. Занимался мистификациями в шутку и всерьез, вероятно, для того, чтобы лучше узнать человека.

Мы учились в одно время в Одессе, в коммерческом училище «имени императора Николая Первого». Странно, что одесское купечество избрало шефом своего училища царя, не уважающего коммерцию.

Бабель был на один класс моложе меня, но я помнил мальчика в очках, в старенькой тужурке и помятой фуражке с зеленым околышем и гербом в виде жезла Меркурия.

Когда мы встретились через шестнадцать лет у Василия Регинина, журналиста, редактора журнала «30 дней», Регинин Бабеля не назвал, а представил его как крупного хозяйственника. В темно-синей куртке, по старой памяти называвшейся френчем, Бабель все-таки совсем не походил на хозяйственника. К тому же Регинин быстро свел разговор на литературные темы, спросил, читал ли я «Соль», «Смерть Долгушова» и другие рассказы о Конной армии. Тут Бабель сказал:

— Вы меня не помните? А я вас помню. Вы играли роль Тартюфа в ученическом спектакле, в комедии Мольера.

Я ответил, что играл в первый и последний раз в жизни.

— Я думал, что вы будете актером... Ну, а я похож на ответственного работника?

Я заметил, что он играл эту роль неважно. Но ответственно. Бабель засмеялся.

Регинин был, как говорится, профессиональным собеседником и рассказывал в тот вечер увлекательные истории. Поэтому мы больше слушали, чем вспоминали былое или обсуждали настоящее и будущее.

Прощаясь, Бабель сказал: «Будем видеться».

Получилось так, что в ту пору видеться нам пришлось больше всего за границей, в Париже, осенью 1927 года.

В первый свой приезд в Париж Бабель как бы растворился в этом городе. Его вскоре перестали интересовать Монпарнас, кафе «Куполь», «Дом». Он зачастил к нам, на авеню Ваграм, вернее на улицу Брей, где в дешевом отеле «Тильзит» жил всякий народец — русские, иностранцы без определенных занятий. Бабель не имел привычки предупреждать о своем приходе по телефону. Однажды он меня не застал и постучался к моей соседке, актрисе «Летучей мыши» — в то время кабаре Балиева гастролировало в Париже накануне отъезда в Нью-Йорк.

Ему ответил мужской голос.

Бабель вошел и увидел молодого человека.

— Вы к Тамочке? Она ушла на репетицию.

— А вы кто будете? — деликатно осведомился Бабель.

— А я ейный ухажер.

Бабель потом со смехом рассказывал об этом разговоре. Он подружился с этой парой, предвещал молодому человеку блестящую артистическую карьеру. Так и случилось. Теперь это знаменитый характерный артист американского кинематографа. А моя соседка — его жена. И оба они тепло и нежно вспоминают Бабеля.

В Париже он переписывался со мной так называемыми «пневматичками» — записочками, пересылаемыми пневматической почтой.

«Дорогой Лев Вениаминович. Я совсем расхворался. По ночам не сплю, задыхаясь, простуда страшная, глаз пухнет, гноится,— вообще я разлагаюсь гораздо менее эстетично, чем парижская буржуазия. Я очень хочу вас видеть. Компаньон я, конечно, никудышный. Как только оправлюсь — заявлюсь к вам. Предварительно — предупрежу письмом.

Ваш Бабель.
14/IX—27».

Но не предупреждал, только приходил пораньше, и мы отправлялись бродить по осеннему Парижу. Он говорил:

— Мы должны благодарить бога, что нашим учителем был француз Вадон. Он научил нас болтать по-французски, а то мы были бы тут глухонемыми.

Компаньоном он был веселым. Когда встречал что-то смешное, останавливался и долго смеялся прерывистым смехом, задыхаясь,— сердце у него пошаливало.

Однажды (это было на Монмартре) мы остановились против одного из домов, имевших определенную репутацию в ночном Париже. По ночам здесь кипела жизнь. Мы же забрели на эту улицу утром — все окна были открыты настежь, видна была претенциозная роскошь, зеркала — все как на ладони.

— Как вы думаете, в этом заведении ведут конторские книги?

— Думаю — ведут. Это коммерческое предприятие. Оно платит налоги.

— Интересно бы изучить записи в книгах. Это была бы глава в хорошем романе.

Все тот же Володя, с которым мы уже однажды путешествовали с Всеволодом Ивановым, за полцены возил нас по городу — осенью, в плохую погоду, работы у него было мало. Мы ехали медленно, останавливались на набережной Сены или в Латинском квартале, на маленькой древней площади позади Пантеона. В то время Париж еще освещался газом, бросавшим призрачный, фосфорический отсвет на дома, оголенные деревья бульваров. Два или три раза происходили эти ночные странствия, это называлось «покататься на Володе». Через несколько лет Бабель с грустью сказал мне:

— А хорошо бы еще раз покататься на Володе.

Однажды в такую парижскую ночь мы оказались на бульваре Рошешуар и остановились возле ночного бара «Черный шарик». Вошли. К нам за столик села красивая смуглая женщина. Она оказалась марокканкой, танцевала в «Казино де Пари» с живым удавом. Бабель обстоятельно расспрашивал ее о заработках, о том, чем питается удав, долго ли спит. Потом мы довезли марокканку до отеля, где она жила.



И. Э. Бабель в Париже. 1927 год.

— Вы понимаете что-нибудь в красоте? Куда они смотрят, эти женолюбы французы? Такая красавица — в гнусной дыре!

— Не пропадет,— мрачно сказал Володя.— Ей нужен шанс.

«Шанс» был. Два года спустя портрет марокканки появился в газете «Пари суар». Она получила все — драгоценности, автомобиль, даже виллу на Ривьере. Портрет и ее история появились в газете после ее смерти. Ее зарезал ревнивый любовник.

В кафе вблизи вокзала Сан-Лазар Бабель показал мне высокую и очень красивую, странно молчаливую женщину. Она была почему-то в бальном, сильно открытом, но помятом и поблекшем платье.

— Похожа на Элен Безухову. Правда?

Это правда, такой можно бы представить себе красавицу Элен Безухову. Но цена этой была как всем одиноким женщинам вблизи вокзала Сан-Лазар в четвертом часу ночи, когда льет холодный дождь...

Внезапно я получил письмецо:

«Родная детка! Так случилось. Я уехал скоропостижно — как

хотел бы умереть. Детка. Представился случай!.. Если вы еще в отеле, если не собираетесь приехать в Марсель — напишите...»

Бабель звал меня в Марсель настойчиво, и я спросил, как долго он собирается пробыть в этом городе. Ответ пришел быстро:

«...Я не только до 1 ноября не уеду из Марселя — я никогда отсюда не уеду. Когда бы вы ни приехали — вы меня застанете.

Если приедете вечером — (есть поезд, приходящий в Марсель в 10 ч. вечера) — буду вас встречать. Сообщите день приезда и какой поезд».

Но из Марселя он все-таки уехал:

«...Дела призывают меня в Париж. Дожидаться вас — можно второго пришествия дождаться. Поэтому таперича ждите меня в Hôtel Tilsit».

О Марселе он рассказывал с восхищением, говорил, что это Одесса, достигшая мирового расцвета. Его восхищали кварталы вокруг Старого порта, ветхие дома, состарившиеся в пороках женщины, выползавшие из щелей-комнат, матросы всех рас и наций. Все это описано у Мопассана. Кстати, эти кварталы перестали существовать, они уничтожены бомбардировкой в годы второй мировой войны. На этом месте построены новые, в современном стиле доходные дома.

В Париже Бабель жил на улице, носившей название Вилла Шовело. Мы шутили, что приятели в Москве думают, что он обитает в роскошной вилле.

В конце 1927 года я вернулся в Москву, и в 1928 году мы довольно часто переписывались. В феврале из Парижа пришло письмо:

«Дорогой Лев Вениаминович. Сделайте милость, пойдите на представление «Заката» и потом не поленитесь описать мне этот позор. Получил я пьесу в издании «Круга». Это чудовищно. Опечатки совершенно искажают смысл. Несчастное творение!.. Из событий, заслуживающих быть отмеченными, на первом месте упоительная, неправдоподобная весна. Оказывается, люди были правы — хорошая весна в Париже...

До февраля я работал порядочно, потом затеял писать одну совершенно удивительную вещь, вчера же в $11^1/_2$ часов вечера обнаружил, что это совершенное дерьмо, безнадежное и выспреннее к тому же... Полтора месяца жизни истрачены впустую. Сегодня еще горюю, а завтра буду думать, что ошибки учат...»

О «Закате» я сообщил Бабелю и, насколько помню, вынужден был его огорчить.

Каждое произведение писателя привлекало внимание. После «Одесских рассказов» какое-то время было модно говорить языком Бени Крика. Лев Толстой ставил в заслугу Куприну его умение искусно владеть испорченным языком. Бабель тоже отлично владел языком одесских окраин. Язык этот — головоломка для переводчиков на Западе. Эпос богатырей-биндюжников увлекателен для западных читателей, для них это экзотика. Но в пьесе «Закат» наших зрителей привлекала не экзотика, а вечная тема надвигающейся старости. Бабель предчувствовал неудачу в театре, знал, что пьесу сыграют не так, как нужно. Это волновало его, и в следующем письме из Па-

рижа он опять пишет об очаровательной весне и снова возвращается к своей пьесе:

«...Нет, грех хулить — город хороший, беда только, что очень стабилизированный... В апреле уеду, наверно, в Италию к Горькому, патриарх зовет настойчиво, отказываться не полагается. Поживу там до отъезда Горького в Россию... Кстати, о «Закате»... Горжусь тем, что провал его предвидел до мельчайших подробностей. Если еще раз в своей жизни напишу пьесу (а кажется, напишу), буду сидеть на всех репетициях, сойдусь с женой директора, загодя начну сотрудничать в «Веч. Москве», или в «Веч. Красной» — и пьеса будет называться «На переломе» (может быть, и «На стыке»), или, скажем, «Какой простор!..» Сочинения я хотя и туго, но сочиняю... Я хворал гриппом, но теперь поправился, испытываю бодрость духа несколько даже опасную — боюсь, лопну! Дружочек, Лев Вениаминович, не забывайте меня, и бог вас не оставит!.. Очень приятно получать ваши письма. Наверное, и новости есть какие-нибудь в Москве...»

Бабель внешне мужественно переносил горести и неудачи, никто не знает, почему у него не получилась «удивительная вещь», над которой он работал полтора месяца. Он нисколько не преувеличивает, когда говорит о мучительном своем труде, о днях, месяцах, даже годах, истраченных впустую. Может быть, он был слишком взыскателен. «Я как-то никак не могу слезть с котурн...» — писал Бабель в одном письме.

Он жадно наблюдал жизнь, вникал в характеры людей Запада. Из Остенде он пишет мне 7 августа 1928 года:

«...Повидал я всякой всячины на моем веку — но такого блистающего, умопомрачительного Содома и во сне себе представить не мог. Пишу я вам с террасы казино, но здесь я только пишу, а кушать пойду в чудеснейшую рыбачью гавань — где фламандцы плетут сети и рыба вялится на улице. Выпью за ваше здоровье шотландского пива и съем фрит мули. Будьте благополучны.

Ваш И. Бабель».

С Бабелем было легко, не надо было умничать, вести псевдозначительные разговоры о литературе.

Как-то мы долго говорили об Одессе, об одесском мещанстве. Бабель не только знал его язык, знал он и косность, тупость, доведенную до остервенения алчность этого мещанства. Оно не всегда обитало на окраинах. Это было мелкое и среднее чиновничество, обыватели, читающие только черносотенную «Русскую речь». В Одессе были даже черносотенные гимназии — Синицына и 5-я. Но в городе был и многочисленный пролетариат, рабочие, моряки, была демократическая интеллигенция. Странно, что именно в таком городе гнездилась оголтелая «черная сотня» с извергом градоначальником и городским головой.

Мы были юношами в 1907 — 1910 годах, но хорошо разбирались в политической обстановке. И когда много лет спустя Бабель говорил об Одессе, он точно и ясно видел обстановку, которая была в его родном городе после 1905 года. Однако в «Одесских рассказах» он,

художник, создал видимый только ему, воображаемый город с гиперболическими образами и ослепительными жанровыми сценами. Было ли так на самом деле? Не думаю. Бандит Мишка Япончик из времен гражданской войны трансформировался в Беню Крика из эпохи реакции после 1905 года. Это все-таки противоестественное слияние. В гражданскую войну Одесса пережила не одну смену власти, иностранную оккупацию, деникинщину. Разгул спекуляции, интервенция развращали население, особенно молодежь. То самое мещанство, которое читало «Русскую речь», часто состояло в «Союзе русского народа», ликовало. И в то же время здесь были примеры настоящего героизма, смелости рабочего подполья, была Жанна Лябурб, Ласточкин, было восстание моряков французской эскадры.

Когда мы говорили об этом, Бабель вполне серьезно горевал, что он видит своим мысленным взором не эту подлинную Одессу, а ту, которую он создал в своих «Одесских рассказах».

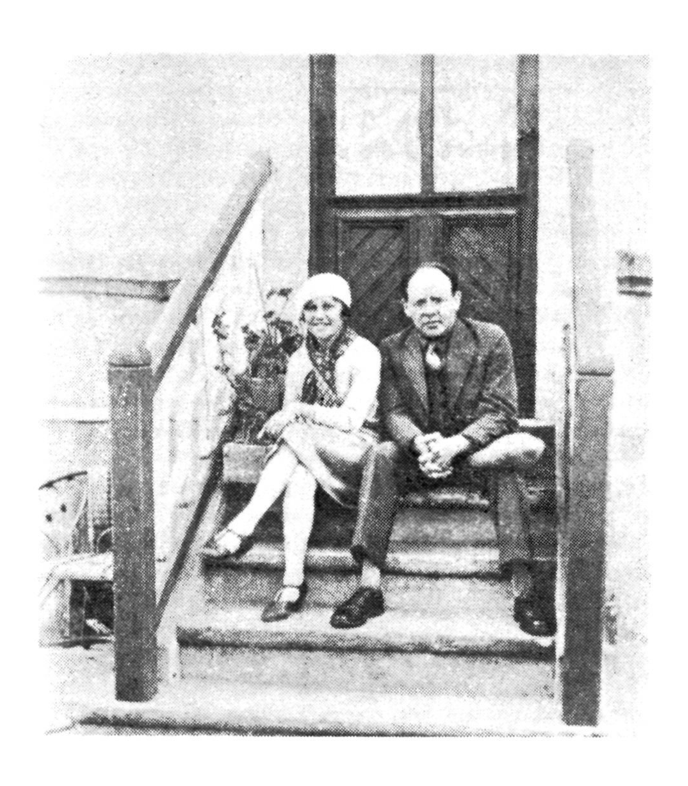
«Приезжайте в августе,— писал мне Бабель.— До этого времени я еще буду в Париже — вряд ли до августа кончу мой «Сизифов труд». Теперь здесь очень интересно, можно сказать — потрясающе интересно,— избирательная кампания, и я о людях и о Франции узнал за последнюю неделю больше, чем за все месяцы, проведенные здесь. Вообще мне теперь виднее, и я надеюсь, что к тому времени, когда надо будет уезжать,— я в сердце и уме что-нибудь да увезу. Будьте веселы и трудолюбивы!!! Открытки ваши, выражаясь просто, растапливают мне сердце, и прошу их слать почаще».

Бабель жадно вникал в быт Франции, он решил писать о ее людях и, может быть, уже писал, и думал увезти в сердце и уме образы этой страны, это, вернее всего, и был его сизифов труд. Снова и снова он говорил о мучительном своем труде. Между тем в Москве газеты, журналы ждали его произведений. Не помню уже, по поручению какого издания я послал ему телеграмму с просьбой дать отрывок из того произведения, над которым он работает. Бабель ответил телеграммой:

«Невозможно. Следует письмо. Бабель».

И в самом деле, пришло письмо от 30 августа 1928 года.

«Я до сих пор не привел свою литературу в вид, годный для напечатанья. И не скоро еще это будет. Трудновато мне приходится с этой литературой. Для такого темпа, для таких методов нужна бы, как вы справедливо изволили заметить, Ясная Поляна, а ее нет, и вообще ни шиша нет, я, впрочем, этих шишей добиваться не буду и совершенно сознательно обрек себя на «отрезок времени» в несколько годов на нищее и веселое существование. Вследствие всех этих возвышенных обстоятельств я с истинным огорчением (правда, мне это было очень грустно) отправил вам телеграмму о том, что не могу дать материал для газеты. В Россию поеду в октябре. Где буду жить, не знаю, выберу место поглуше и подешевле. Знаю только, что в Москве жить не буду. Мне там (в Москве) совершенно делать нечего... Я сейчас доживаю здесь последние дни и целый день шатаюсь по Парижу — только теперь я в этом городе что-то раскусил. Видел Исаака Рабиновича, тут, говорят, был Никитин, но мы с ним, очевид-



И. Э. Бабель с сестрой, М. Э. Шапошниковой.
Бельгия, 1928 год.

но, разминулись, а может, я с ним увижусь. Из новостей — вот Анненков тяжко захворал, у него в нутре образовалась туберкулезная опухоль страшной силы и размеров. Позавчера ему делали операцию в клинике, где работал когда-то Дуайен. Мы очень боялись за его жизнь, но операция прошла как будто благополучно. Доктора обещают, что Ю. П. выздоровеет. Бедный Анненков, ему пришлось очень худо. Пошлите ему в утешение какую-нибудь писульку.

Ну, до свидания, милый товарищ, с восторгом пишу: до скорого свидания».

Бабель возвратился на Родину, в Москву, и мы стали видеться часто. Я жил вблизи ипподрома, а Бабель любил лошадей и бега и дружил с наездниками. По утрам он бывал на проездке лошадей на ипподроме. Надо было видеть, с каким восхищением он говорил о рысаке Петушке: «Это — гений». Он утверждал, что понимают в лошадях только конники, кавалеристы.

С самым близким своим другом, кавалеристом, героем гражданской войны Дмитрием Аркадьевичем Шмидтом, Бабель познакомил меня не на ипподроме, а где-то на улице. Шмидт на первый взгляд казался хмурым, неразговорчивым. Потом он поражал меня своеобразным и очень умным юмором. О войне и своих подвигах он не

говорил никогда, только как-то сказал, что все войны (он был Георгиевским кавалером в первую мировую войну) «гнил в бинтах». Хотя он был в полном смысле слова «военная косточка», но в нем не было ни тени солдафонского духа, это был воин-большевик, он вступил в партию в 1915 году. Юмор и любовь к литературе, эрудиция, образованность, которой он нисколько не кичился, сочетались в нем с элегантностью военачальника. В последние годы своей жизни он был командиром танковой бригады.

Могли ли мы думать тогда, в конце двадцатых годов, что Бабеля и Шмидта ждет во времена культа Сталина одна и та же участь?!

Бабель иногда надолго исчезал из Москвы. В конце 1931 года он жил в Молоденове, на конном заводе. Однажды мы собрались его навестить. Мы — это Дмитрий Шмидт, директор издательства «Федерация» Цыпин и я. Путешествие предстояло довольно сложное, дороги вокруг Москвы в то время оставляли желать лучшего, да и машины были слабенькие и много пережившие на своем веку. Бабель инструктировал нас:

«Жду вас всех третьего к двум часам. Так мы уговорились с Цыпиным. Ехать надо так: по Можайскому шоссе до Перхушково, там повернуть на Успенское; на конном заводе я буду вас ждать к двум часам. До Успенского совхоза дорога будет хорошая, версту-полторы вас потреплет. Ждать я вас буду у зам. управляющего Курляндского или у наездника Пенкина.

Завтра или послезавтра попытаюсь вам позвонить. Продовольствие и водка у меня будут — если хотите деликатесов и белого хлеба, привезите с собой...

Привет — самый душевный, на который я только способен, Е. Г.

Ваш И. Бабель.

Молоденово
30.10.31».

Поездка почему-то не состоялась. И об этом можно только пожалеть. Не так уж мы были молоды тогда и не слишком самозабвенно отдавались работе, но в то время нами владело такое чувство, что все еще впереди, что встреч с хорошим и умным, талантливым человеком будет еще много. И вот упущена возможность побыть с ним в совершенно новой обстановке, среди новых для тебя людей... Так было и во Франции, когда я не собрался в Марсель к Бабелю. Так и в этот раз,— впрочем, в Молоденово я не поехал не по своей вине, скорее потому, что подвел Цыпин.

А теперь грустно, ничего не вернешь, и человек ушел навсегда.

Появляясь в Москве, Бабель не стремился бывать в среде литераторов, особенно когда злословили или даже восхваляли его. Казалось, он на редкость легко сходился с людьми, но это только казалось. Когда люди переставали его интересовать, он исчезал.

Он любил беседовать с Олешей. Его огорчало только, что в застольной беседе Юрий Карлович очень часто прикладывался к бутылке, и тогда Бабель, вздыхая, говорил:

— Не налегайте, Юра... Я теряю собеседника.

Его интересовали люди выдающиеся, знаменитые. В Париже он познакомился с Шаляпиным, и это ему Шаляпин сказал: «Не удалась жизнь». Впрочем, он говорил это не раз и другим. Бабель виделся с Иваном Буниным. Не помню, что Бабель рассказывал об этой встрече, но Бунин не преминул злобно и грубо упомянуть о нем в своих «Воспоминаниях», кстати сказать вышедших в 1950 году, когда в Париже уже было известно о судьбе писателя. Но Бабель был обруган в хорошей компании — наряду с Александром Блоком и Маяковским.

Судьба свела меня с Бабелем еще один раз за границей, на этот раз в Италии, в Сорренто, в гостях у Горького.

Произошло это так: в феврале 1933 года состоялась моя поездка в Турцию. Из Стамбула я писал Бабелю в Париж о моих странствиях. 22 февраля 1933 года он мне ответил письмом:

«Дорогой Л. В. Не могу сказать, как обрадовала меня ваша открытка, как я рад за вас, всем сердцем... Наконец-то. Писать не писал, а думал и вспоминал о вас постоянно — в особенности во время прогулок по av. Wagram... Хороший город Париж — еще лучше стал... Американцы и англичане с шальными деньгами исчезли, Париж стал французским городом и от этого поэтичнее, выразительнее, таинственнее... Боюсь, что на Монпарнасе мы не встретимся. В начале лета я буду в Москве, в марте — хочу поехать в Италию. Не прихватить ли мне Турцию и вернуться через Константинополь? Не входит ли Италия в ваш маршрут? Ответьте мне. Напишите о делах российских. Читали соборно фельетон ваш о Пильняке — помирали со смеху... У меня здесь отпрыск трех с половиной лет — существо развеселое, забавное и баловливое.

Эренбург богат — американцы в который раз купили у него «Жанну Ней» для фильма. Я же, напротив, беден. Есть ли у меня знакомые в турецком представительстве?..

Ответьте поскорее...

Ваш И. Б.»

Почти в это же время я получил письмо от А. М. Горького с приглашением приехать к нему в Сорренто.

В Сорренто я прибыл поздно вечером. Утром, открыв дверь на террасу, стоял ослепленный и восхищенный видом на Неаполитанский залив, на горы и вдруг услышал знакомый смешок и голос:

— Этого еще не хватало...

У окна второго этажа гостиницы стоял Бабель.

Гостями Горького кроме нас были Самуил Яковлевич Маршак и художник Василий Николаевич Яковлев. Не буду повторять уже рассказанного в книгах о трех неделях жизни в Сорренто, о прогулках в парке виллы Иль Сорито, о поездке на Капри, о долгих вечерних беседах за столом в доме Горького, о том, как Алексей Максимович читал нам рассказ «Едут», столь любимый Бабелем.

Мы возвращались ночью после этого чтения в нашу гостиницу. Бабель говорил с ласковым изумлением:

— Мы никогда не узнаем, что такое всемирная слава. А Горький ее узнал. И остался таким, каким был, когда начинал. Представь-

те другого на его месте...— И он назвал одного своего очень честолюбивого земляка.— Вы представляете себе, что бы это было?.. Заметили вы, как старик волновался, когда читал, и поглядывал вокруг? А «Едут» вошло во все издания его сочинений.

Бабель особенно любил этот рассказ и в 1934 году, беседуя с сотрудниками и читателями журнала «Смена», говорил о Горьком:

— Возьмите его маленькие рассказы в полторы-две страницы. Они летят, летят, как песня. Кто помнит рассказ «Едут»? Он очень короток. Всем надо его прочесть.

Быстро летели дни соррентийской весны. Однажды сын Горького — Максим Пешков повез нас на своей полугоночной машине в Амальфи. Он вел машину с ужасающей скоростью по извилистой горной дороге, на крутых поворотах покрикивал, не оборачиваясь:

— Ну, дьяволы! Запасайтесь гробами!

Вернулись мы, однако, благополучно.

— После того, что мы с вами пережили, ничего не страшно.

Бабель рассказывал: однажды ночью он ехал с Максимом по дороге, где накануне происходили автомобильные гонки. Максим не участвовал в этих состязаниях. Но он переживал все, что, вероятно, переживали в момент состязания гонщики, радовался возможности победы, потом огорчился, когда по времени оказался не в первом десятке победителей. Это было по-детски трогательно, но можно себе представить, что переживал его спутник в те секунды, когда машина, круто разворачиваясь, висела над пропастью!..

Море в тот день было неспокойно, пароходик то скатывался в бездну, то взлетал на гребни волн, и хотя остров казался совсем близко, добирались мы до него довольно долго.

На острове была тишина, сеял теплый дождик, не шелохнувшись, стояли апельсиновые и лимонные деревья, кипарисы. Мы пришли и постояли немного у дома, где жил Горький. Ворота были заперты наглухо.

Кончился дождь, на улицах появились люди, в кафе зазвучала музыка, послышалась английская речь...

Вечер застал нас на квартире у врача, русского по происхождению, в его кабинете с хирургическими инструментами, пробирками. Врач был молод, родился в Италии, по-русски говорил с сильным итальянским акцентом. На столе в его комнате мы увидели последний номер журнала «Коммунистический Интернационал», том сочинений Ленина и отметили, что это неконспиративно, нельзя забывать, что у власти фашизм, Муссолини.

Я рассказываю об этой встрече еще и потому, что спустя тридцать с лишним лет в моих руках оказался итальянский журнал «Il mondo» № 3 от 15 января 1957 года. В этом журнале я нашел статью «Babel a Capri». Автор статьи Роберто Пане — тот молодой врач, которого мы посетили весной 1933 года на Капри. Статья была посвящена писателю Бабелю, его таланту и личности.

Из Сорренто я отправился в Париж, пробыл там два месяца и вернулся в Москву. Бабель тоже возвратился в Париж, и в июле 1933 года я получил от него тревожное письмо. В Москве злословили

по поводу того, что он слишком долго задерживается за границей, злословили главным образом в литературной среде. Знали, что первая жена Бабеля предпочла остаться у родственников за границей, что у Бабеля в Париже дочь. Очевидно, это дошло до него, и вот письмо, в котором он отвечает любителям злословия:

«...Послали бы мне друзья мои денег на дорогу или хотя бы ж. д. билет. Пять месяцев тому назад я написал об этом, никто не ответил. Что это значит? Это значит, что я предоставлен самому себе в чужой и враждебной обстановке, где честному сов. гражданину заработать невозможно. Едучи сюда, я рассчитывал, что у Евгении Борисовны будут деньги на обратный путь. Но американский дядюшка кончился, наступила misère noire (черная тоска), долги и проч. Унижение и бессмыслица состоит в том, что человек, лично ни в чем не нуждающийся, приспособленный к тому, чтобы обходиться без всяких просьб, принужден прибегать к ним, и так как он делает это против своего чувства, против своей гордости, то выходит это у него плохо. Жизнь у этого человека ломается надвое, ему надо принять мучительные решения. Сочувствия не нужно, но понимание товарищей — хорошо бы.

Это «о мире», теперь о себе. Живу отвратительно, каждый день отсрочки мучителен, кое-как состряпал кратчайший exposé (содержание). Если понравится, заплатят,— выеду на этой неделе, если не понравится (изложено отнюдь не в духе Патэ!),— тогда... не знаю, что делать, объявить себя разве банкротом, попросить в полпредстве ж. д. билет и тайком бежать от кредиторов...

Voila, не весело. Мне до последней степени нужно быть в Москве 10.VIII, иначе рухнут давнишние заветные планы. Итак, с верой в «божью помощь» — a bientôt...

Любящий вас И. Б.

Эренбург был в Лондоне, захворал там, теперь он в Швеции».

Мучительное решение состояло в том, что надо было надолго (оказалось, навсегда) расстаться с дочерью, с семьей. Мысль о том, чтобы оставить Родину, разумеется, никогда не возникала, и по всему видно, что «стабилизированный» быт на Западе был чужд характеру Бабеля, он с жадным интересом изучал, узнавал эту жизнь как писатель, но ему нужна была бурная, стремительная жизнь в той стране, которая ему была всего дороже.

Горький, по выражению самого Бабеля, послал его «в люди». Годы революции Бабель прожил в суровых условиях военного коммунизма, прошел школу Красной Армии, Первой Конной... Где бы он ни жил, оставался советским писателем, оригинальным, неповторимым, но советским писателем.

У него была ненасытная жадность к людям, среди его друзей были строители, директора заводов, партийные работники, рабочие, председатели колхозов, военные... Где еще мог он встретить таких людей, такие характеры, созревшие в бурях и борьбе величайшей революции... Уверен, что в последние годы своей жизни, лишенный свободы, он продолжал узнавать людей, их характеры, их язык, их горькие раздумья.

Бабель писал эти письма на чужбине: в Париже, Марселе, Остенде, но есть письмо из Молоденова, подмосковной земли, куда в то время добраться было не очень просто. Он любил и знал жизнь России, любил жить в «глубинке» и предпочитал ее городской жизни.

Больше тридцати лет хранились эти письма, я перечитал последнее с чувством горечи и боли.

Бабель исчез из нашей среды, как исчезли другие наши товарищи, но все же он оставил неизгладимый, я бы сказал, ослепительный след в нашей литературе. Не по своей вине он не допел свою песнь.

А. Нюренберг

ВСТРЕЧИ С БАБЕЛЕМ

Москва. 1922 год. Начало лета. Петровка. У запыленной витрины, оклеенной пожелтевшими афишами, знакомая фигура. Всматриваюсь — Бабель. Подняв голову, чуть подавшись вперед, он внимательно рассматривает какую-то карикатуру.

Я подошел к нему, поздоровался. Не отвечая на приветствие и рассеянно рассматривая меня, он спросил:

— Читали последнюю сенсацию? — И, не дожидаясь ответа, добавил: — Бабель — советский Мопассан!

После паузы:

— Это написал какой-то выживший из ума журналист.

— И что вы намерены делать?

— Разыскать его, надеть на него смирительную рубаху и отвезти в психиатрическую лечебницу...

— Может, этот журналист не так уже болен?..— заметил я осторожно.

— Бросьте! Бросьте ваши штучки! — ответил он, усмехаясь.— Меня вы не разыграете!

1927 год. Париж. Ранняя осень. Улица Барро. Район Бастилии. Нуворишевская гостиница «Сто авто». Пишу из окна столько раз воспетые художниками романтические крыши Парижа. Не могу оторваться. Некоторое время тому назад приехал Бабель, переполненный московским оптимизмом. С его приездом ранняя осень, кажется, чуть задержалась. Бабель не любил ничего напоминающего туристский стиль. Ультрадинамические осмотры и изучение музеев под руководством гида раздражали его. Не любил ничего показного, парадного. Все это, говорил он, для богатых американцев. Бабелю был близок простой, трудовой Париж. Его тянуло в старые, покрытые пылью и копотью переулочки, где ютились ночные кафе, дансинги, обжорки, пахнущие жареным картофелем и мидиями, обжорки, где кормится веселая и гордая нищета.

У Бабеля был свой Париж, как была и своя Одесса. Он любил блуждать по этому удивительному городу и жадно наблюдать его

неповторимую жизнь. Он хорошо чувствовал живописные переливы голубовато-серого в облике этого города, великолепно разбирался в грустной романтике его уличных песенок, которые мог слушать часами. Был знаком с жизнью нищих, проституток, студентов, художников. Увидев картины Тулуз-Лотрека, он заинтересовался его тяжелой, горестной жизнью (Тулуз-Лотрек был разбит параличом) и потянулся к его творчеству. Он хорошо знал французский язык, парижский жаргон, галльский юмор. Мы часто прибегали к его лингвистической помощи.

Наступили серые, туманные, дождливые дни, и мы с Бабелем решили использовать их для хождения по музеям. Начали с Лувра. Местом свидания назначили «зал Джоконды» в одиннадцать часов утра. В условленный час писатель Зозуля и я уже стояли у Джоконды. Прождали час, но Бабеля не было. Потеряв надежду дождаться его, мы отправились в кафе. На другой день пришло письмо от Бабеля. Оно пропало, но содержание его сохранилось у меня в памяти. «Дорогой друг, простите мою неаккуратность. Меня вдруг обуяла нестерпимая жажда парламентаризма, и я, идя к Джоконде, попал в палату депутатов. Не жалею об этом. Что за говоруны французы! Встретимся — расскажу. Привет супруге. Ваш И. Бабель».

В другой раз местом свидания в Лувре назначили «зал Венеры Милосской», но Бабель опять нас обманул. Встретившись, мы набросились на него с упреками. Бабель галантно извинился и рассказал, что по пути в Лувр в витрине автомобильного магазина он увидел новые машины последних марок. Машины поразили его, и он не мог от них оторваться. «По красоте,— сказал он,— по цвету и по пластичности они не уступают вашим Джоконде и Венере Милосской. Какая красота! — повторял он.— Потом я набрел на витрину бриллиантов. В витрине лежали словно куски солнца! Решительно, в этих витринах больше современности, чем в музеях».

Так и не удалось нам с Бабелем попасть в Лувр.

Готовясь к персональной выставке в магазине какого-то предприимчивого маршана на улице Сен, жена Бабеля, художница, устроила в своей мастерской нечто вроде предварительного просмотра и, как бывалых зрителей, пригласила Зозулю и меня. Мы пришли. На стенах висели камерные натюрморты и парижские пейзажи, написанные в постимпрессионистской манере. Работы были приятные, но не оригинальные. Чувствовалось, что художница стремится быть похожей на модных парижских живописцев, особенно на Утрилло.

Бабель сидел в стороне и все время молчал.

Когда показ кончился, он иронически заметил: «Теперь, друзья, вы понимаете, почему я не хожу в Лувр».

За чашкой кофе со сладкими пирожками мы поговорили об искусстве. Похвалили Пабло Пикассо, Пьера Боннара и наших русских Сутина и Шагала. Ругнули Бюффе и абстракционистов.

Любил ли Бабель живопись? Думаю и верю, что любил, но не так, как большинство наших писателей, которые в картинах ищут пре-

имущественно содержания, мало обращая внимания на поэзию цвета, формы и фактуры.

Он глубоко верил, что искусство, лишенное чувства современности, чуждое новым выразительным средствам,— нежизнеспособно. И часто высказывал мысль, заимствованную у итальянских футуристов: «Музей — это великолепное кладбище».

Он не искал, как Зозуля, встречи лицом к лицу с живописью, но если случалось с нею встретиться, старался понять ее и, если возможно, искренне полюбить.

Его самолюбивая и гордая эстетика была совершенно чужда натурализму. О художниках, пишущих «á la цветное фото», он говорил как о дельцах и коммерсантах. Он верил и доказывал нам, что быстро развивающаяся цветная фотография с успехом заменит их бездушное творчество и очистит живопись от пошлости и убожества. Какую школу он больше всего любил? Пожалуй, импрессионистскую. Со всеми ее ответвлениями.

Были ли у Бабеля любимые художники? Были. Ван Гог, Тулуз-Лотрек, Пикассо. Он интересовался творчеством Шагала, замечательного фантаста, беспримерного выдумщика. Расспрашивал о его методах работы. Вдохновенно говорил об офортах Гойи, где, как известно, политическое содержание играет доминирующую роль.

Он высмеивал кубистские экзерсисы Пикассо, Брака. Глупые и пустые опусы сюрреалистов. Хорошо отзывался о французских скульпторах Бурделе и Майоле. У него был отчетливо выраженный свой вкус. И он оберегал и защищал его.

Шестидесятилетие Максима Горького отметили во всем мире. Чествовали Горького и в Париже. Были организованы доклады и устроены небольшие выставки, посвященные творчеству великого писателя.

На одном из вечеров выступил Бабель. Вспоминаю, с каким искрящимся юмором провел он свое выступление, рассказывая, как столичные и провинциальные редакторы некогда «обрабатывали» литературные труды Алексея Максимовича. Публика бешено аплодировала. Выступление свое Бабель закончил воспоминанием о том, как Алексей Максимович благословил его на тяжелую и неблагодарную работу литератора и как однажды он сидел у Алексея Максимовича и вел с ним взволнованную беседу о советской литературе, а Горький все время отвлекался от разговора и что-то записывал.

Прощаясь, Бабель спросил его:

— Что это вы, Алексей Максимович, все время писали?

— Это я «Клима Самгина» кончаю,— ответил тот.

Узнав, что бывший редактор газеты «Одесская почта» Финкель торгует старой мебелью на «блошином рынке», Бабель пожелал с ним встретиться. Мы съездили с Исааком Эммануиловичем на рынок, и я познакомил его с Финкелем. Встреча носила сердечный и торжественный характер.

— Вы месье Финкель? — спросил Бабель, крепко пожимая руку бывшему редактору.



И. Э. Бабель со своими героями.
Рисунок художника А. Нюренберга.

— Да, я Финкель.

— Редактор знаменитой «Одесской почты»?

— Да, редактор знаменитой «Одесской почты»... А вы, кажется, писатель Бабель, автор знаменитых одесских рассказов?

Не желая мешать их столь драматическому разговору, я ушел в глубь рынка, в ряды, где продаются старые холсты и антикварные рамы. Вернувшись через полчаса, я нашел Бабеля и Финкеля сидящими в старинных малиновых креслах «времен Наполеона». Лица их сияли, и выглядело это так, будто они выпили бутылку выдержанного бессарабского вина. В метро Бабель с грустью сказал мне:

— Жалко его. Разжирел, поседел и опустился. Я его спросил, куда делись его ценные подношения. «Все сожрали, когда жили в Вене,— ответил он.— Они нас спасли».

И снова Париж.

Возвращаясь поздно ночью из кафе, мы, «чтобы на Монпарнасе пахло Одессой», как говорил Бабель, распевали незабываемые одесские песенки: «Сухой бы я корочкой питалась. Сырую б воду я пила...» или: «Не пиши мне, варвар, писем, не волнуй ты мою кровь...».

Видавшие виды, ко всему привыкшие парижские полицейские не обращали на нас внимания.

Бабель любил подолгу простаивать перед газетными киосками, у витрин магазинов и лавчонок, внимательно читать объявления на уличных щитах. Он посещал судебные камеры, биржу, аукционные залы и места рабочих собраний, стремясь все подметить, запомнить и, если можно, записать.

В живописи он мне больше всего напоминал Домье — великого сатирика, насмешника и человеколюбца.

Бабель был неутомимым врагом пошлости и банальности в литературе и искусстве. Он высмеивал писателей, пишущих «обкатанным» языком.

— Они совершенно равнодушны к слову,— говорил он.— Я бы штрафовал таких писателей за каждое банальное слово!

— А художников, пишущих сладенькие олеографии, следовало бы исключить из союза,— добавлял я, вдохновленный его максимализмом.

Часто Бабель и Зозуля приходили ко мне в гостиницу выпить чашку московского чая и поделиться парижскими впечатлениями.

Исаак Эммануилович был неподражаемым рассказчиком.

Во всех его шутках, рассказах и сценках неизменно присутствовали строго обдуманная форма и композиция. Чисто бабелевская гиперболичность и острая, неповторимая выразительность были приемами, которыми он пользовался для достижения единственной цели — внушить слушателю идею добра. Он словно говорил ему: «Ты можешь и должен быть добрым. Слушая меня, ты будешь таким. Самая созидательная и важная сила в человеке — добро».

«Стыдно после рассказов Бабеля быть недобрым»,— думалось мне.

Кирилл Левин

ИЗ ДАВНИХ ВСТРЕЧ

Как-то в двадцатых годах я пришел к писателю Ефиму Зозуле, жившему в то время в переулке возле Плющихи, и застал у него молодого человека в парусиновой блузе и мятых сереньких брюках. Он был среднего роста, плотный, в очках, с высоким лбом и начинающейся от лба лысиной. Глаза его и выражение лица сразу привлекали внимание: в глазах была какая-то веселая недоверчивость,— они как бы говорили: все вижу, все понимаю, но не очень во все это верю. Лицо с широкими крыльями носа и толстыми губами выражало спокойную, доброжелательную силу.

Зозуля познакомил нас, и, услышав фамилию Бабель, я с нескрываемым восхищением взглянул на него. Бабель с дружелюбной усмешкой встретил мой взгляд. Я недавно прочитал в маленькой книжке «Библиотеки «Огонек» его великолепные рассказы, так не

похожие на то, что печаталось в те годы. Удивительные по языку, сжатости, скульптурной выпуклости, эти рассказы произвели на меня впечатление необыкновенное.

Бабель спокойно поглядывал на меня и, когда Зозуля сказал ему, что я родился в Одессе, спросил, на каких улицах я там жил.

— Заметьте,— вежливо добавил он, и глаза его смеялись,— я спрашиваю, не на какой улице, а на каких улицах вы жили, так как полагаю, что ваши уважаемые родители часто меняли квартиры и каждая следующая была хуже предыдущей.

Я смотрел на него с удивлением — он точно в воду глядел — и глупо спросил его, откуда он все это знает.

Озорная улыбка скользнула по его губам, и он назидательно объяснил, лукаво поглядев на меня:

— Вы худы и, как говорят мясники, упитаны ниже среднего. В вашем костюме я бы не рискнул пойти на дипломатический прием, а ваши ботинки не лучше моих.— Он вытянул из-под стола, за которым сидел, ногу в стоптанном башмаке.— Движения у вас несвободные, вы, вероятно, жили в тесноте и не были в родстве с Ашкенази и Менделевичами (известные одесские богачи). И еще я утверждаю, что ваша последняя квартира была на окраине города, вернее всего — на Молдаванке. Вы будете это отрицать?

Зозуля хохотал, откинувшись на спинку стула и подхватывая рукой свалившиеся очки.

— Н-не буду,— растерянно пробормотал я,— последняя наша квартира была на Прохоровской улице, угол Мясоедовской.

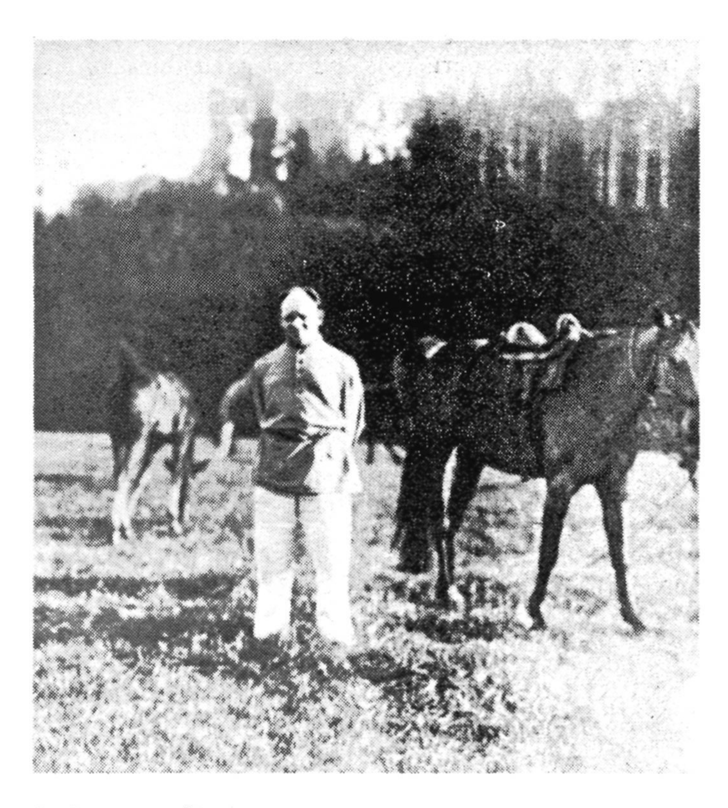
Бабель удовлетворенно кивнул головой.

— Это рядом с Костецкой,— сказал он,— улицей в некотором отношении замечательной: Костецкая первая в Одессе улица по поставке воров, налетчиков и других не признаваемых законом профессий. Хорошо, что вы не жили там.

Столько острой наблюдательности и вместе с тем милого юмора было в его словах, произносимых медленно и значительно, с неуловимым каким-то оттенком, столько веселья было в его глазах, мягко смеющихся, с острыми лучиками в них, что я рассмеялся. Очень понравился мне этот человек, он показался мне простым и мудрым, многое понимающим и ничуть все же не возомнившим о себе.

После этого первого знакомства мне пришлось не раз встречаться с ним. Когда в редакции «Прожектора», литературно-художественного журнала, где я работал, собирались писатели, Бабель чаще всего забивался в уголок, внимательно слушал, но говорил редко, всегда коротко и сжато, как и писал. Как-то я подметил его взгляд. Лукавая мудрость погасла в нем, и глаза смотрели печально и отрешенно,— Бабель был уверен в это мгновение, что никто не наблюдает за ним.

Однажды в нашей редакции он увидел снимок, изображавший группу писателей на конях. В центре группы был снят Зозуля. Он сидел в седле в пиджаке, мягкой шляпе и брюках навыпуск. Бабель захохотал и спросил, откуда взялся этот снимок. Ему сказали, что



И. Э. Бабель. 20-е годы.

снимок сделан в манеже на Поварской (теперь улица Воровского), где группа литераторов обучается верховой езде. Он попросил меня сводить его туда, и через несколько дней мы с ним пошли в манеж.

Здесь шла обычная, будничная учеба.

Бабель с отвращением оглядел трясущихся в седлах, гнувшихся вперед всадников, распустивших повод и вот-вот готовых свалиться, и скорбно покачал головой. Мы пошли с ним на конюшню. В денниках стояли лошади. Он с наслаждением принялся оглядывать их, вдыхая их терпкий запах, что-то тихо бормотал.

— Как приятен мне этот запах,— сказал он,— как много он напоминает.

Мы остановились возле денника, где стоял черный злой жеребец Воронок, статный, красивый, весь собранный. Я предупредил Бабеля, что заходить к Воронку опасно — жеребец может укусить или лягнуть.

— Ничего,— сказал Бабель,— я не боюсь.

— Прими,— властно скомандовал он, и когда Воронок, храпя и кося выпуклым и синим, как слива, глазом, неохотно отступил к боковой стенке, спокойно и неторопливо вошел в денник и огладил

жеребца по шее.— Ну что? — ласково прошептал Бабель.— Давай познакомимся? Э, да ты уже старый, может быть, даже воевал в Конармии? Да ведь по тебе видно, что ты боевой конь! Хороший какой!..— И, мягко коснувшись шеи и холки жеребца, он пощекотал его горло. Воронок сильно втянул воздух, обнюхал лицо Бабеля и негромко заржал.

— Как будто узнал вас,— сказал я,— а мог ведь и укусить.

— Конь прекрасно понимает человека,— сказал Бабель,— и презирает тех, кто его боится.

Мы вернулись в манеж. Там прыгали через препятствия. Длинный парень, бестолково взмахивая руками и распустив повод, вел коня на хертель — низенький забор с торчащими поверху метелками. Лошадь шла ленивой рысцой, небрежно помахивая хвостом, и, дойдя до хертеля, спокойно обогнула его.

Неожиданно послышался чей-то чужой, яростный голос:

— Как вы ведете коня? Собрать его надо, поднять в галоп и выслать на препятствие. А вы развесили повод, пассажиром в седле болтаетесь!

Я с удивлением оглянулся — это кричал Бабель.

Всадник презрительно оглядел его мешковатую, штатскую фигуру и издевательски промолвил:

— Кричать все здоровы, а ты бы, очкарик, сам попробовал прыгать.

Бабель мигом оказался возле него.

— Слазь! — грозно приказал он.— Раз, два!

Ошеломленный парень испуганно сполз с седла, и Бабель перетянул стремена — они были ему длинны. Потом он захватил левой рукой повод вместе с гривой, вдел левую ногу в стремя, взялся правой рукой за луку седла, оттолкнулся от земли правой ногой и мигом очутился в седле. И уже это был новый, незнакомый мне Бабель. Он свободно и чуть небрежно сидел в седле, натянутым поводом подтянул голову коня, сжал его бока шенкелями и коротким толчком каблуков выслал его вперед. И конь словно преобразился — весь подобрался, почуяв настоящего всадника.

Бабель повел его короткой, собранной рысью, описал вольт и резким толчком правого шенкеля поднял коня в галоп, потом свернул к хертелю, наклонился вперед, и конь птицей перелетел через препятствие. Молодецки спрыгнув на землю, не выпуская повода, Бабель крикнул парня и командирским голосом бросил:

— Повод не распускать, в седле сидеть крепче!

И быстро пошел из манежа. Во дворе он повернулся ко мне и промолвил:

— Человека трудно понять. Вдруг снова захочется скакать, брать барьеры... Не мог видеть, как портят коня.

Слава пришла к нему стремительно, шумно. Его переводили на иностранные языки, редакции лучших журналов осаждали его, просили рассказы. А он работал медленно, вытачивая каждое слово, каждую фразу, вечно недовольный собой, подолгу ничего не давая в печать, но не прекращая упорной работы. Он был общителен, у него

было много друзей, и когда он, обычно немногословный, вдруг начинал рассказывать,— а рассказывал он изумительно,— было похоже, будто художник широкими мазками набрасывает на полотно то, что видно ему одному.

Он любил жизнь, много и жадно изучал ее и какие только профессии не перепробовал! Известно, что после его первых неудачных рассказов Горький послал его «в люди» и Бабель семь лет ничего не печатал, хотя все это время работал. А в тридцатых годах он, уже знаменитый писатель, опять усомнился в том, правильно ли пишет, и снова замолчал, перестал печататься, не переставая писать.

Его выбрали делегатом на Международный конгресс писателей, происходивший в Париже. Лучшие писатели Франции встретили его как равного — переводы его рассказов были известны и высоко оценены там. Он прекрасно владел французским языком и блистательно выступил на конгрессе. Его слушали с глубоким интересом, аплодировали.

В последний раз я видел Бабеля в 1936 году, когда он собирался на Северный Кавказ, где подолгу гостил у своего друга, партийного работника Кабардино-Балкарской АССР Бетала Калмыкова. Мы шли по Тверской, и он напомнил мне, что я обещал подарить ему мою последнюю книгу. Я предложил сделать сегодня же вечером.

— Я сегодня уезжаю,— ответил Бабель,— но когда вернусь, вы придете ко мне с вашей книгой.

Он был спокоен, шутил. Прощаясь, сказал, пожимая мне руку:

— Вы не собираетесь в Одессу? Если поедете, поклонитесь ей от меня.

Т. Стах

КАКИМ Я ПОМНЮ БАБЕЛЯ

Весной,— если память мне не изменяет, это было в 1923 году,— я познакомилась с Исааком Эммануиловичем Бабелем. Стах [1] привел его однажды к нам. Жили мы тогда в Одессе, на Пушкинской, 7. Дома этого уже нет, в годы войны в него попала бомба.

Гость посмотрел на меня с некоторым любопытством и сказал насмешливо:

— Слишком молодая!

Помолчав, спросил:

— Жареную скумбрию умеете готовить? А кислое вино пьете? А соус из синеньких по-гречески любите?.. Тогда вот что. Я уже договорился со Стахом. Есть у меня один чудесный старик, Любич. Живет на берегу. В рыбацкой хижине. Словом, через неделю отправляемся к нему в гости. Поживем там несколько дней.

---

[1] Борис Евстафьевич Стах-Герминович (1894—1953) — партийный и советский работник. В двадцатых годах был завагитпропом Одесского губкома. С 1925 года по осень 1928-го — директор Одесского государственного украинского театра драмы.

Исаак Эммануилович был точен. Ровно через неделю он пришел снова.

— Едем завтра. Никаких тряпок с собой не брать. Спать будете на лежанке, остальное время — на берегу или в море. Договорились?

И настало райское житье.

Дни сменяли короткие ночи, жизнь текла размеренно и однообразно, но никто из нас ни разу не испытал чувства скуки или неприятного ощущения безделья... Это было какое-то удивительное слияние с природой, с морем... На всю жизнь я благодарна Исааку Эммануиловичу за те недолгие прекрасные дни.

Каждое утро серебристые качалочки вычищенной и промытой скумбрии лежали в миске. Обваляв в муке, я жарила их в постном масле, и когда рыба покрывалась золотисто-коричневой хрустящей корочкой, отбирала несколько самых твердых помидоров из корзины гостеприимного хозяина и звала мужчин завтракать. Обычно дед Любич (вообще-то он был наборщиком, а в ту пору находился не то в отпуску, не то еще по какой-то причине на работу не ездил) разделял с нами эту утреннюю трапезу.

Бабель чуть не каждый день сокрушался, что вишни не поспели. Он страстно любил крепкий, почти черный чай с вишнями, раздавленными в стакане...

Затем начиналось море. Море и море. Мы загорали, чувствовали себя преотлично... Молодые, здоровые, бодрые, морская даль, безоблачное небо, размеренное движение волн — чего еще желать?

Когда мужчины начинали разговор, я уходила подальше, купалась и совершенно не интересовалась их беседами. Как сожалею я теперь об этом!

Лунные теплые ночи мы чаще всего коротали на берегу, любуясь тихой морской гладью, и попивали самодельное вино старика Любича. Легкое, чуть с кислинкой, оно не пьянило, оно попросту отнимало ноги. Мы буквально не в состоянии были сделать и шага, как, впрочем, и оторваться от этого вина...

Так пролетели десять или двенадцать дней.

С той поры и завязалась наша дружба. Бабель часто звонил, интересуясь буквально всем: и поведением «ребенка» — моей дочери, и здоровьем наших матерей,— к пожилым женщинам он относился как-то особенно, беседовал с ними на любые темы, и видно было, что ему интересны эти разговоры, что они доставляют ему удовольствие.

В журнале «Силуэты», выходящем в Одессе, появился тогда один из первых рассказов Бабеля — «В щелочку», всколыхнувший «всю Одессу»... Одни сочли его чрезмерно натуралистическим, другие восхищались мастерством и лаконичностью автора.

Бабель только посмеивался.

Однажды раздался звонок. Я отворила дверь, и грузчики втащили огромнейший буфет... Оказалось, что Исаак Эммануилович, производя некоторую расчистку у себя дома, презентовал нам свой, как он сказал, «похожий на синагогу», «фамильный» буфет. Это было



И. Э. Бабель в конце 20-х годов.

громоздкое черное сооружение с резными украшениями, где невероятно прочно оседала пыль... Буфет с трудом втиснулся в нашу квартиру и занял подобающее ему место в столовой. Долго у нас жил этот буфет, и Бабель всегда проверял его содержимое. Не могу сказать, чтобы он оставался довольным, и не раз называл меня бесхозяйственной кукушкой.

В 1928 году мы переехали в Киев; буфет остался в нашей прежней квартире и пропал со временем вместе с остальной мебелью.

Но вернусь несколько назад.

Зимой — пожалуй, это был 1924 год — на гастроли в Одессу приехала Айседора Дункан.

Б. Пильняк и Вс. Иванов, находившиеся в ту пору в Одессе, художник Борис Эрдман, редактор «Одесских известий» Макс Осипович Ольшевец, Бабель и Стах решили чествовать Айседору и собраться в узком кругу в Лондонской гостинице.

Айседора на таких встречах не выносила присутствия женщин. Исаак Эммануилович пожалел меня — мне страстно хотелось быть

на этом ужине — и взялся переубедить Айседору. Он намекнул ей, что я не женщина вовсе, а известный в Одессе гермафродит, и к тому же ярый поклонник ее таланта. Айседора пожала плечами и без особого энтузиазма разрешила мне присутствовать.

О всех этих подробностях я узнала значительно позже, поэтому явилась на вечер в блаженном неведении...

Мы сидели в полутемной большой комнате Лондонской гостиницы. Ужин проходил весело и непринужденно, хотя Айседора показалась мне печальной и рассеянной. Это была уже немолодая женщина с изумительными глазами какого-то блекло-сиреневого цвета и медно-красными волосами, довольно коротко подстриженными. После ужина ее упросили танцевать. С большого стола все убрали, аккомпаниатор сел за рояль. Айседора поднялась и начала медленный танец на столе. Босая и полунагая, она постепенно сбрасывала с себя все свои разноцветные прозрачные шарфы и делала это очень ритмично, в такт музыке.

Наверное, это было красиво и оригинально. Все, естественно, были в полном восторге, целовали ей руки, восхищались и благодарили, пили за ее здоровье. Бабель, высоко подняв брови, с удивлением и крайним любопытством смотрел на Айседору. Несколько раз снимал и протирал очки. Его как бы «раздетое» без очков лицо казалось беспомощным и очень добрым...

Разошлись под утро.

Когда мы шли по пустынному Приморскому бульвару, Бабель сказал:

— Здорово, конечно! Но далеко ей до Жозефины Беккер! Та пленяет хоть кого, желает он этого или не желает. Это огненный темперамент и мастерство великое. А таких ног, как у нее, я вообще никогда не видел!..

Бабель не раз потом рассказывал нам о Жозефине Беккер и неизменно восхищался ее необыкновенным талантом.

Вскоре Исаак Эммануилович переехал в Москву.

На премьере своей пьесы «Закат», поставленной в Одессе, он не был, несмотря на обещание приехать. «Закат» проходил с шумным успехом. Толпы людей осаждали кассы. Спектакль и впрямь был хорош, великолепно сыгранный Юрием Шумским, Полиной Нятко, Маяком, Мещерской, Хуторной.

«Закат» шел и в Украинском и в Русском театрах, публика валом валила в оба театра,— каждый считал своим долгом посмотреть оба спектакля и определить, чей «Закат» лучше...

Миновало несколько лет. Мы долго не виделись с Бабелем...

В конце 1928 года он приезжал в Киев. Мы жили тогда в помещении Театра имени Франко (Стах был директором этого театра). Бабель прожил у нас около недели, много гулял по Киеву, который он любил, неизменно восхищаясь Печерском,— он считал этот район самым красивым местом в Киеве. Я не раз сопутствовала ему в этих прогулках. Однажды мы зашли в цветочный магазин. Долго и при-

дирчиво выбирая цветы, Бабель заказал к Новому году несколько корзин цветов для своих киевских приятельниц и все волновался, не пропустил ли кого. Получила и я от него такую новогоднюю корзиночку альпийских фиалок.

Ему очень нравилось жить в театре. После спектакля он заходил в пустую ложу и подолгу иногда сидел там... Затащить его на спектакль было гораздо труднее: в тот период он больше увлекался кино. Но когда удавалось пригласить его на спектакль, высидеть до конца у него почти никогда не хватало терпения. Помню, я спросила его, нравится ли ему «Делец» Газенклевера, премьеру которого он посмотрел. Подумав, он сказал кратко: «Вообще неплохо, но у этой красивой актрисы слишком много зубов»...

Еще раз он приехал в Киев уже в 1929 году, но я тогда была в Одессе и знаю только, что он прожил у нас несколько дней, жалуясь на сильный мороз. Он говорил, что дышится ему легче в туман или слякоть, только не в мороз (астма уже тогда, очевидно, мучила его).

В 1934 году мы решили перебраться в Москву. Решение это очень поддерживалось Бабелем, он неоднократно писал нам, что это просто необходимо. Торопил. К несчастью, все его письма пропали во время войны в числе других драгоценных реликвий. Чудом уцелела из довольно обширной переписки одна-единственная открытка. В суете, в работе, обремененный планами и заданиями, поездками и встречами, он все же находил время писать нам, интересовался нашей жизнью, приглашал дочь мою — ей было тогда лет двенадцать-тринадцать — в Москву («пока родители поумнеют»). Привожу текст этой недавно найденной открытки — единственной теперь памяти о Бабеле.

«М. 26. III. 34 г.

Милая Т. О. Где же Бэбино письмо, о котором вы сообщаете? Приглашение остается в силе, надеюсь, что летом мы приведем сей прожект в исполнение, я-то буду очень рад. Суета по-прежнему одолевает меня, но меньше, большую часть времени провожу за городом, собираюсь совсем туда переселиться. Работаю над сценарием по поэме Багрицкого — для Украинфильма. Повезу его в Киев и по дороге остановлюсь в Харькове. Поговорим тогда. Получил письмо от Жени. Парижский мой отпрыск требует отца и порядка, как у всех прочих послушных девочек. Я в тоске по поводу этого письма. Привет Стаху и Бэбе. Ваш И. Б.»

Обещанная встреча по каким-то причинам не состоялась. Вскоре мы переехали в Москву.

В день приезда я позвонила Бабелю, и он в этот же день пришел к нам на Покровку, где мы остановились, и потащил нас в МХАТ. Разговор был короткий и, как всегда, не терпящий возражений: «Нельзя быть в Москве и не посмотреть «Дни Турбиных».

Он сидел и смотрел спектакль, виденный им не раз, с таким же волнением, как если бы видел его впервые.

Играли тогда Хмелев, Еланская, Яншин... Я была очарована. Исаак Эммануилович посматривал на меня и, увидя, что я прослезилась, остался очень доволен.

Как-то он пришел к нам, когда я правила после машинки свой перевод какого-то рассказа. Он взял листок, прочел его и сказал:

— Сколько можно употреблять прилагательных? «Милый, ласковый, добрый, отзывчивый...» Боже мой! Одно — максимум два, но зато — разящих! Три — это уже плохо.

В тот его приход он рассказывал мне, как был на кремации Эдуарда Багрицкого. Его пустили куда-то вниз, куда никого не пускают, где в специальный глазок он мог видеть процесс сжигания. Рассказывал, как приподнялось тело в огне и как заставил себя досмотреть это ужасное зрелище.

В памяти запечатлелись несколько дней, проведенных у него на даче в Переделкине в 1938 году.

Он жил там с семьей, у него уже была дочь. После работы я приезжала на дачу и готовила Бабелю его любимое блюдо — соус из синих баклажанов,— блюдо, которое ему никогда не приедалось. С пристрастием пробовал он и смаковал горячий еще соус, скуповато похваливал меня, но ел с аппетитом.

Он много работал в тот период, иногда отрываясь, чтобы походить по саду, сосредоточенно о чем-то размышляя и ни с кем не разговаривая. Был рассеян. «Много времени уходит на обдумывание,— как-то «открылся» он мне.— Хожу и поплевываю. А там,— и он небрежным жестом показал на свой высокий лоб,— там в это время что-то само вытанцовывается. А дальше я одним дыханием воспроизвожу этот «танец» на бумаге...» Правда, «одно дыхание» часто оборачивалось для него десятикратным переписыванием в поисках не дававшегося ритма, не звучащего слова, длинной фразы, с которой он безжалостно расправлялся. Но на эту тему он говорил очень редко, да и то вскользь. Я немного знала об этом, так как иногда перепечатывала ему одни и те же страницы по нескольку раз...

Вернувшись в Москву, он нередко посылал меня по всяким поручениям в редакции толстых и тонких журналов. Это называлось «охмурять редактора».

Очень хорошо помню, как явилась к Ефиму Давыдовичу Зозуле — он был тогда редактором «Огонька» — и тоном заговорщика, как учил меня Бабель, сказала, что перепечатывала новый рассказ Исаака Эммануиловича и могу «устроить» ему этот рассказ. Только после того, как последовало соответствующее распоряжение в бухгалтерию, рассказ был вручен редактору.

Однажды Бабель получил устрашающее предписание из бухгалтерии вернуть взятый аванс. В памяти моей осталось, как я отправляла лаконичную телеграмму в ответ. В телеграмме значилось что-то вроде того, что «письмо получил, долго хохотал, денег не вышлю».

Бабель был очень отзывчивым и добрым человеком, многим он помогал, как мог. Не раз я отправляла по его поручению небольшие суммы. По одному адресу он посылал довольно регулярно и всегда говорил, дописывая на переводе несколько теплых строк: «Это святые деньги. Она старая, больная и совершенно одинокая женщина...»

Чаще всего я виделась с Исааком Эммануиловичем в 1937—1938 годах. Чуть не каждый день в перерыв (я работала тогда во

Втором Доме Наркомата Обороны) я мчалась к Исааку Эммануиловичу. То бумагу хорошую прихвачу (с бумагой тогда было трудновато,— да простят мне сей грех бывшие мои начальники!), то вишни Бабель просил купить, то еще что-нибудь... Как приятно было оказывать ему эти пустяковые услуги! Антонина Николаевна была очень занята, работа поглощала массу времени, Лида была совсем крошкой, и весь дом держался Э. Г. Макотинской, которая подолгу жила там и которой я всегда слегка завидовала...

Исаак Эммануилович много шутил. Что только не приходило ему в голову! Какую-то сотрудницу одного из журналов он упорно величал по телефону «Леопардой Львовной», искренне всякий раз принося свои извинения, но тут же снова «ошибался»... Сочетание этих слов ему очень нравилось. Иногда, избегая назойливых звонков, подходил к телефону и совершенно измененным, «женским» голосом говорил: «Его нет. Уехал. На неделю. Передам».

В разгар работы он вдруг срывался с места и шел в спальню, тискал и душил поцелуями свою дочь, приговаривая: «Будет уродка и хозяйка преотличная. Замуж не отдадим — останется в утешение родителям в старости».

Он много работал, часто подолгу вышагивал из угла в угол по своему небольшому кабинету, сосредоточенно думая о чем-то. Сокровенного процесса его творчества, думается мне, никто не знал. Этим таинством он не делился.

Михаил Зорин

ЧИСТЫЙ ЛИСТ БУМАГИ

— «...Город накрыли темной чадрой...» — читает Бабель. Он снимает очки, протирает стекла платком, чуть щурит глаза.

— Красиво звучит. А? Почему вы не написали: «Была темная ночь»?

— Так может написать каждый,— бросает кто-то смущенно.

— Ну и что же? — Бабель пожимает плечами.— Пушкин пишет в «Дубровском»: «Луна сияла, июльская ночь была тиха...» Чехов еще точней: «Было двенадцать часов ночи». Не нагромождайте красивостей. Красивость — всегда фальшива. В вашем рассказе нет деталей. Я не вижу, как одет ваш герой, не вижу его движений, не вижу комнаты, в которой он сидит. Начало рассказа состоит у вас из общих слов. Пушкин так начинает «Дубровского»: «Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин Кирила Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение». Так же просто начинает своих «Мужиков» Чехов: «Лакей при московской гостинице «Славянский базар» Николай Чикильдеев заболел». Вчитайтесь, какая точность и ясность. В короткой, до предела лаконичной фразе жизнь чело-

века. Мы узнаем его имя, фамилию, работу, место жительства, название гостиницы и состояние здоровья. Я часто вижу Чехова за письменным столом, вижу, как он пишет свои рассказы. Итак, договорились, война — красивостям...

— У меня в рассказе есть такие строки,— глухо говорит молодой человек: — «Ветер растрепал облака, и они повисли над городом, как черные косы». Они мне нравятся. Что делать, вычеркнуть?

— Мне они не нравятся,— смеется Бабель,— как это ни грустно. Мне больше нравится такая фраза: «Ночь приближалась и росла, как грозовая туча».

— Это Пушкин? — спрашивают с места.

— Нет, Тургенев, но также неплохо написано. Какие ощущения, какие чувства вызывает такая строка. У каждого из нас одинаковые перья, но писать они должны по-разному. Вчера я спускался в шахту и видел, как работают забойщики. Я обратил внимание, что многие шахтеры по-разному держат отбойные молотки. Они делали одно дело — добывали уголь. Но каждый делал это по-своему...

Мы сидим за круглым столом и пристально смотрим на Бабеля, удивляемся: он буднично прост и даже застенчив. Круг людей очень плотен.

— Вы окружили меня теплым течением Гольфстрима,— смеется Бабель, чувствуя повышенный к себе интерес, который мы по-юношески не можем скрыть.

Мы — это начинающие авторы, делегаты слета, студенты, молодые журналисты, рабочие шахт и заводов. Один из нас, линотипист, принес набранные им самим стихи и рассказы.

Бабель держит в руках гранки, заинтересованно спрашивает:

— Издаетесь?

— Нет...— смущается юноша. Он сбивчиво объясняет, что начальник цеха, узнав, что Бабель будет читать рукописи, разрешил линотиписту набрать рассказы.

— Так Бабелю будет удобно и потом... солидно,— сказал начальник.

И в самом деле — гранки выделяются среди рукописей, напечатанных неумело и густо на пишущей машинке, и тетрадей, в которых от руки старательно переписаны рассказы, новеллы, этюды и даже повесть.

— Смелый автор,— добродушно посмеивается Бабель.

Линотипист говорит, что ему захотелось посмотреть, как выглядят сочиненные им строки «в металле».

— Понятное желание...

Бабель рассказывает, что однажды в Одессе девушка принесла ему альбом, в который записывала свои стихи. Они были выписаны каллиграфически, каждая буква «отработана». Стихи робко-слабые, гимназические, но почерк не мог оставить человека равнодушным. Почерк вызывал восхищение. Строка к строке, на подбор. «Где вы научились так красиво писать?» — спросил ее Бабель.



И. Э. Бабель. Дружеский шарж К. Ротова.

«На почте...» — ответила девушка. И писатель объяснил нам смысл этого ответа.

Многие одесские студенты зарабатывали тем, что писали на почте за неграмотных письма родным и близким. Люди любили красивый и четкий почерк. Люди диктовали свои письма, определяя их стиль. Одесский грузчик-украинец предпочитал лирику, солдат из далекой Сибири — сдержанную тоску и хозяйственную деловитость, еврей неудачник-коммерсант — горесть, молдаванин — возвышенно-цветистый слог, но всем нравилось, чтобы письма были «подлиннéй и посердечней». Некоторые студенты тренированно заучивали тексты писем, заготовленные на случай рождения, смерти, свадьбы, успешного завершения торговой сделки, жалобы на здоровье, безденежье, но были и «художники», которые вели, выражаясь современным языком, «интервью» с неграмотными и писали каждый раз новые письма, сугубо частные, с различными житейскими сюжетами.

По своему складу интимного лирика девушка чаще и больше всего писала нá одесском почтамте любовные послания. Это сказалось и в стихах.

— Стихи не произвели никакого впечатления, а почерк — незабываем, я его и сейчас вижу. Редкий...

Бабель передает гранки линотиписту.

— Итак, начнем с «металла».

Бабель, по выражению Эренбурга, ни на кого не был похож, и никто не мог походить на него. Он всегда писал о своем и по-своему; именно к этому призывал он нас в декабре 1935 года, когда встречался с участниками Вседонецкого слета молодых писателей.

Объявили, что гости поедут на шахты, заводы, фабрики, в колхоз, где живет и работает Паша Ангелина.

Утром к гостинице «Металлургия» подкатили легковые машины, автобус. Бабель вежливо отказался от легковой машины, он решил ехать в автобусе с молодежью.

— Хорошо было бы затеряться в толпе заводских рабочих, послушать разговоры, шутки, споры... Писатель-экскурсант,— Бабель смеется,— это ужасно.

Автобус мчится по Макеевскому шоссе. В Макеевке, на металлургическом заводе имени Кирова, работает мастером в доменном цехе знаменитый Иван Григорьевич Коробов. Едем к нему. Бабель расспрашивает о старшем Коробове, о его сыновьях, которые, как и отец, стали доменщиками.

Макеевский завод-гигант изумляет Бабеля. Он оглядывает его с площадки доменной печи. Внизу паровозы, ковши с расплавленной массой чугуна, ветер, дым, обжигающий аромат кипящего металла, гудки, грохот подъемников, облака газа над литейным двором. Люди в брезентовых куртках и широких брезентовых шлемах, в синеватых очках, приподнятых на лоб, сильные, улыбающиеся. Макеевка в декабрьском тумане, заснеженные терриконы, ветви железнодорожных и шоссейных дорог.

Рыжеусый, бронзоволицый, веселый, Иван Григорьевич Коробов рассказывает о работе доменщиков, вскользь — о своих сыновьях.

Коробову представляют писателей здесь же, на площадке: Бабель, Олеша, Дмитрий Мирский, Перец Маркиш, Вилли Бредель, Беспощадный, Авдеенко...

— Слыхал.— Коробов в распахнутой телогрейке, на шее цветной шарф, ушанка.— Беспощадный, Авдеенко — наши, донбасские... И Бабеля читал, про гражданскую войну, что ли?

Коробов приглашает писателей взглянуть, как варится чугун. По очереди подходят к «окошку» размером в медный пятак, долго вглядываются через синее стекло в огненную массу горна.

— Чугун варить трудно? — Юрий Карлович Олеша поеживается под ветром.

— Следить дюже надо, чтобы не переварить,— смеется Коробов,— или недоварить. Без «сала», без жирка должен быть. На чугуне свет стоит...

Немецкий писатель Вилли Бредель спрашивает, давно ли работает Коробов на заводе.

— Пацаном пришел, мальчонком.— Он показывает рукой, мол, мал был ростом.— Батя горновым был. Вот здесь и я стараюсь... Теперь все по книгам, анализы, лаборатории, а раньше на глазок узнавали, хорош ли чугун. Немцы-то небось теперь чугун и сталь на войну варят? — обращается он к Вилли Бределю.

Вилли Бредель смущается, говорит что-то по-немецки, словно он в ответе за то, что происходит сегодня в гитлеровской Германии. Он говорит Коробову, что в Германии есть очень хорошие мастера на заводах, он видел в Гамбурге, Кёльне, Ростоке, Берлине.

— У нас тут, правда, в Макеевке, больше французы были, но и немцы попадались. Башковито работали, зер гут,— соглашается он с Вилли Бределем.

Со стороны степи летит большая птица. Осторожно кружит в небе, застывает над заводом, разбросав большие крылья.

— Что за птица? — спрашивает Бабель, протирая запотевшие очки.— Весьма любопытная картина...

— Орел, степной, донецкий, летит погреться в заводском дымку...

Писатели наблюдали пуск чугуна. Подошли составы, раздалась команда, пробурили летку, запахло едким дымом, искрящаяся, жаркая огненная струя, словно зверь, вырвалась из печи, тяжело бурля, падала в ковши.

В автобусе Бабель все еще продолжал расспрашивать о шахтах и заводах Донбасса, он весь под впечатлением только что увиденного. Исаак Эммануилович припоминает повесть Василия Гроссмана «Глюкауф», опубликованную в альманахе «Год 16-й».

— Хорошая книга, очень понравилась Алексею Максимовичу. Правда, чуть суховатая, но точная...

— Технически?

— Технически и художественно. Представьте себе повесть, в которой неправильно будет описан процесс варки чугуна. Такой человек, как Иван Григорьевич Коробов, просто обидится. Толстой описал Бородинское сражение не только как художник, но и как знаток военного дела. Может быть, это объясняется еще и тем, что он пережил оборону Севастополя.

Юрий Олеша, перебравшись в автобус, сидит рядом с Бабелем. За окном — шахты, рудничные поселки, розоватые отблески зимнего неба.

— Огненный край,— говорит Олеша.

— Если я буду писать о Коробове, о заводе,— Бабель смотрит на Олешу,— я начну свой рассказ с описания...

— ...льющихся огненных рек,— торопится кто-то из молодых писателей.

Бабель поворачивается, смотрит на юношу. Он устало щурит глаза. Сегодня был очень тяжелый день.

— Чугунные реки,— повторяет юноша.

— Это очень красиво звучит: огненные реки, чугунные реки, бурлящие огнем реки,— перечисляет Бабель.— Я бы начал рассказ с этого степного орла, который греется в заводском дымку, как сказал Иван Григорьевич Коробов. Итак, договорились: орел остается за мной...

Устроили большой литературный вечер. Выступили Юрий Олеша, Александр Авдеенко, Александр Решетов, Владимир

Лифшиц, Иван Кириленко, Юрий Черкасский, Павел Беспощадный, Перец Маркиш, Николай Ушаков. Председательствующий, Юрий Карлович Олеша, предоставляет слово Исааку Бабелю.

— В этом году я пережил два съезда писателей,— начинает Бабель.— Первый состоялся летом этого года в Париже. Второй съезд — ваш. Первый проходил в одном из красивейших архитектурных памятников Парижа. Ваш съезд проходит в стандартном, темном, даже мрачноватом здании. На вашем съезде нет таких знаменитых писателей. Но удивительное чувство охватывает меня, когда я вглядываюсь в ваши лица людей, только пробующих свои силы, свое сердце в литературе. Я думаю о тех новых книгах, которые появятся через несколько лет. Я думаю о будущем нашей советской литературы...

Бабель говорит медленно и тихо. Никаких ораторских жестов, никаких трибунных интонаций, никакой игры. Он цепко ухватился руками за край кафедры. Поблескивают очки.

— У вас есть драгоценные качества: молодость, энергия, у некоторых, кроме любви к литературе,— талант. Вы живете в шахтерском краю и знаете: трудно добывать уголь. Слово добывать также нелегко. Раньше писали: один философ — властитель дум, другой писатель — властитель душ. Мне не нравится слово властитель. Мне по душе другое слово — единомышленники. Сейчас тревожное время. О берег жизни бьет зловонная волна фашизма. Мы должны быть единомышленниками в борьбе против фашизма. Горький, Роллан, Барбюс, Арагон, Мальро призывают бороться против войны, против фашизма. Об этом страстно, горячо, может быть, несколько противоречиво, но одинаково согласные в главном, говорили писатели в Париже. Нельзя дать фашизму восторжествовать, а фашизму уступают не только территорию Германии, но уступают душу и мозг немцев. Нельзя допустить, чтобы фашизм убивал людей.

Бабель говорит о том, как проходил Конгресс писателей в защиту культуры в Париже. Перед ним нет блокнотов, записей. Кажется, что он просто рассказывает близкому человеку о своих мыслях и чувствах. Бабель желает успеха молодым литераторам и хочет оставить трибуну. Юрий Олеша останавливает его жестом:

— Исаак Эммануилович! Тут накопились записки, множество вопросов. Надо ответить.

Он передает записки Бабелю. Тот медленно разворачивает их, читает вслух:

— «Сколько часов в день вы работаете?» — Процесс писания не прекращается у писателя, даже когда он не сидит за рабочим столом. Но я пишу, когда чувствую, что не написать об этом не могу. Маяковский говорил, что он себя чувствует заводом. Есть заводы большие, как в Донбассе, с домнами и мартеновскими печами, есть маленькие...

— А какой вы завод? — спрашивают из зала.

— Я — человек,— отвечает Бабель.

Следующая записка:

— «Скажите, как надо писать?»

В зале смех. Какой чудак задал такой вопрос? Впрочем, он закономерен. Большинство участников съезда зеленая молодежь.

— Я не могу ответить на этот вопрос. Я и автор записки думаем по-разному. Он — как надо писать, а я думаю о том, как не надо писать...

— «Есть ли у вас записные книжки?» — Я уважаю писателей, которые обзаводятся записными книжками, заносят темы, мысли, фразы... Это большое подспорье. Но часто они лежат в ящиках стола забытыми. Иногда увидишь на улице лицо женщины, и не нужны записные книжки. Лицо — рассказ и даже роман. И потом долго думаешь: где я видел эти глаза, эти губы, этот нос? Кто на меня так смотрел? Не глаза, а целый мир душевных драм...

Вчера из окна гостиницы я видел, как падал снег. Происходила обычная вещь. Декабрь, зима... А я думал, что это тоже рассказ. Скажем, «Снег в Донбассе». Он здесь другой, чем в Москве или Париже, и земля здесь другая. Но как об этом написать? Этого я еще не знаю, может быть, и никогда не узнаю. И поэтому мне становится грустно...

Бабель читает еще одну записку, застывает от удивления.

— «Почему у вас на носу очки, а на душе осень?»

Он смущенно разводит руками.

— На носу очки потому, что я плохо вижу, а на душе у меня четыре времени года. Конечно, хотелось бы, чтобы всегда была весна, как пишут поэты, но в моем возрасте и с моей внешностью этого добиться трудно.

Из президиума передают все новые и новые записки.

— «Я пишу стихи и работаю в газете. Нужно писать о столовых, банях, о бюрократах, а я вечером пишу стихи. Стоит ли мне работать в газете?»

— Стоит!

Писатель рассказывает о том, как он работал в одесской газете «Моряк», в красноармейской газете Первой Конной.

В редакцию приходили участники гражданской войны — котовцы, щорсовцы, моряки, бойцы речных флотилий, грузчики, судостроители, авантюристы и проходимцы, прикрывающиеся фальшивыми документами и вымышленными подвигами. Бабель рисует этих людей — их походку, речь, одежду.

— Я старался их просто слушать. Как только я брался за перо или карандаш, они сразу меняли тон, они подбирали другие слова, становились осторожными и даже пугливыми. К нам приходил один бывший боец котовской бригады, который начинал все свои рассказы так: «Стало быть, идем мы в атаку...» Мы так и окрестили его «Стало быть...». Я и сейчас стараюсь беседовать с людьми без карандаша и блокнота. Иногда обычная газетная информация, набранная петитом, превращается у художника в рассказ или пьесу...

Бабель показывает на Олешу:

— Юрий Карлович Олеша тоже работал в газете «Моряк» и сейчас не расстается с журналами и газетами.

— «Как вы находите тему?»

— Я скептически отношусь к тем литераторам, которые берут творческие командировки в поисках тем. Есть выражение — напластование пород. В этом напластовании жизненного материала писатель находит свой пласт. Одни вгрызаются глубоко, другие снимают только верхний слой.

— «Каких писателей вы больше всего любите читать?»

— Хороших, интересных... Но когда раскрываешь книгу, еще ничего не знаешь — хороший писатель ее писал или нет. Толстой заметил, что у Анны Карениной кроме ума, грации и красоты была и правдивость. Кроме таланта, яркого стиля и литературного мастерства хочется, чтобы у писателя в книге была и правдивость.

— «Ваши книги о прошлом, о гражданской войне. Собираетесь ли писать о нашем времени?»

— Собираюсь. Я думаю о нашем времени, о наших людях. Недавно в Париже один французский писатель говорил мне, что он как художник соскучился, истосковался по настоящим героям. Надоело писать о стависских, о молодчиках Кьяппа, о проститутках, о постельных конфликтах, о политических авантюристах. Он предложил одному издателю роман о жизни докеров Марселя. Буржуазный издатель махнул рукой: «Опять забастовки, политическая борьба, голод, нищета, драма жизни... Нет, такая книга мне не нужна. Напишите книгу о Горгулове — убийце президента Франции...» Честный писатель, он отказался писать книгу о белогвардейском выродке. За рубежом люди жадно расспрашивают о нашей стране. Они хотят знать правду о нашей жизни... И мы, советские писатели, должны помочь им в этом...

— «Какой у вас рабочий режим?»

Бабель аккуратной стопкой складывает записки, разглаживает их.

— Как ответить на этот вопрос? В Париже один буржуазный журналист брал у меня интервью. Он быстро, профессионально очень быстро, задавал мне вопросы и поглядывал на часы. «Я тороплюсь, синьор Бабель, мне нужно успеть дать интервью в вечерний выпуск. Зачем так мучительно думать...» И я вдруг понял, что этот молниеносный репортер, не подозревая, открыл одну из тайн писательского ремесла и рабочего режима писателя — надо все время мучительно думать... Над темой, над словом, сюжетом, над образом... Друзья,— улыбается Бабель,— что вы так старательно записываете все, что я говорю? Вот товарищ Селивановский, ответственный редактор «Литературной газеты», обязательно раскритикует меня за такую литературную консультацию...

Алексей Селивановский — старый друг донецких писателей — откликается из президиума:

— Я тоже, Исаак Эммануилович, за то, чтобы думать...

— Мучительно думать...

— Мучительно думать,— соглашается Селивановский.

Все дни Исаак Эммануилович работает в семинарах, читает рукописи молодых авторов, ездит на шахты и заводы, беседует с партийными работниками. Ему хочется познакомиться с Пашей Ангелиной, сталеваром Макаром Мазаем, прославленными шахтерами.

Литературные работы участников семинаров служат поводом для раздумий о мастерстве, о роли художника в общественной жизни, о книгах, которые должны помогать людям жить.

Сквозь очки мудро и лукаво поблескивают глаза. Писатель смотрит на нас дружески, отечески, но говорит как равный с равными, без поучительства. Голос спокойный, мягкий, но полон иронии, а вся речь освещена то добрым, то язвительным юмором — не оттого, что человек старается острить, а потому, что он честен и справедлив, хорошо видит достоинства и недостатки, умеет прощать слабости, но едко и горько говорит о глупости, напыщенности и высокомерии.

— Иногда бывает так: обманывают друга, родителей, любимую девушку, жену,— но никогда нельзя обмануть чистый лист бумаги,— говорит Бабель.— Никогда! Как только вы возьметесь за перо и выведете первую строку, лист бумаги заговорит о вас. Я испытываю робость перед чистым листом бумаги...

В те дни я усердно записывал «бабелевскую литконсультацию». Записные книжки пропали, а мысли Бабеля остались навсегда. Он рассказывает о Горьком, которого недавно посетил в Крыму — в Тессели. Чувствуется, что он очень любит Горького. Голос Бабеля, вообще тихий, становится еще тише, сердечней.

— Есть писатели, которые сами по себе, а народ сам по себе. Горький — писатель, который сорадуется и сопечалится человеку,— замечает Бабель.

И еще один большой литературный вечер. Выступают писатели Москвы, Киева, Ленинграда, Харькова.

Далеко стоит завод «Светлана»,
Русая девчонка далека...—

звонко читает свои стихи Александр Решетов.

Бабель вглядывается в зал, аплодирует. Потом он идет к трибуне и под общий хохот задумчиво повторяет:

— Да, русая девчонка далека...— и поглаживает полысевший лоб.

Бабель читает один из своих рассказов.

Утверждают, что память — это очень хорошая и нужная книжка. Жаль только, что чернила в ней с годами выцветают.

Я перелистываю пожелтевшие страницы газеты «Социалистический Донбасс» от 5 декабря 1935 года.

Репортерский отчет скупо запечатлел факты. Но в нем есть такие строки:

«В президиум летят десятки записок. Литературная молодежь жадно и живо интересуется всеми видами «оружия» в арсенале писателя...»

«Больше всех «атакуются» Бабель и Олеша...»

«...Особенно восторженно встретила аудитория Олешу и Бабеля, выступавших с чтением своих произведений».

«Аудитория получает от тов. Бабеля острые, запоминающиеся ответы».

Запоминающиеся ответы Бабеля. Автор газетного отчета оказался прав. Они запомнились, сохранились в записной книжке памяти.

В конце сентября 1936 года мы, группа молодых журналистов, возвращались из Ялты на пароходе «Пестель». В Севастопольском порту видим Бабеля. Подошли, поздоровались, напомнили о Донбассе, о декабре тридцать пятого года.

— Я был в Тессели. Все осиротело без Алексея Максимовича...

За год Бабель заметно состарился, чуть желтоватые скулы, за очками грустные, настороженные глаза.

— Как вы себя чувствуете, Исаак Эммануилович? Как ваше здоровье?

— Преотличнейшее... Такое солнце в сентябре, жаловаться грех...

Бабель расспрашивает о людях, с которыми он встречался в Донбассе. Он называет многих по имени и отчеству,— видимо, встречи с ними ему дороги.

— Я рассказывал Алексею Максимовичу о своей поездке в Донбасс. Горький очень интересовался всем, расспрашивал... Ведь он там бывал когда-то.— И голос у Бабеля грустный.— Хорошо было бы съездить туда летом... Может быть, еще удастся...

Здесь, в Крыму, Бабель работал с кинорежиссером Сергеем Эйзенштейном над сценарием «Бежин луг». Эйзенштейн снимает в Ялте этот фильм. Отнюдь не по Тургеневу. Это современная лента.

— Но у Тургенева взято не только название, есть дух тургеневский — ночной простор, поэтичность...

Трудно удержаться от журналистского вопроса:

— Над чем вы работаете, Исаак Эммануилович?

— Я думаю над книгой о Горьком... То она мне видится от обложки до последней строки, то вдруг уходит от меня... Как написать о нем? Сложно, сложно, но думаю...

И еще одна встреча с Бабелем.

Во время войны наши войска заняли небольшой украинский городок Малин на Киевщине. Седая библиотекарша пришла к молодому капитану, командиру батальона, и сказала, что она спрятала часть книг в подвале, чтобы гитлеровцы не сожгли, не уничтожили, и попросила красноармейцев достать их из подвала.

Бойцы весело и легко вытащили пять или шесть ящиков с книгами, поставили в классной комнате и тут же начали их перелистывать, просматривать, читать.

Пушкин, Лермонтов, Крылов, Шевченко, Коцюбинский, Чехов, Горький, Тычина...

И вдруг среди разных переплетов, обложек один из бойцов достал примятую книжечку с замусоленными страницами.

— Бабель. «Конармия»,— прочел он вслух.

Подошли товарищи, склонились.

— Это что ж за писатель Бабель? — спросил совсем молоденький красноармеец.— Впервые слышу...

— А кто его знает! Сейчас посмотрим,— ответил тот, кто нашел эту книжечку.

Он громко читал:

— «Мы делали переход из Хотина в Берестечко. Бойцы дремали в высоких седлах. Песня журчала, как пересыхающий ручей...»

— Хороший писатель этот Бабель, ей-богу, хороший,— повторил он и с разрешения библиотекарши сунул книжечку в красноармейский мешок.

Измятая, зачитанная, с оттисками многих пальцев, с подклейками, эта книжечка Бабеля побывала в боях, в госпитале, в запасном полку и снова уехала на фронт.

Владимир Канторович

БАБЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ О БЕТАЛЕ КАЛМЫКОВЕ

ВЕЧЕР В «КАМИННОЙ»

На воспоминания об Исааке Эммануиловиче Бабеле я, в сущности, не имею права. Наше знакомство можно назвать шапочным. Раза два-три мы сидели с ним за общим столом, но почему-то застольные разговоры не оставили ни малейшего следа в моей памяти.

Зато мне посчастливилось слышать, как Бабель в узком кругу литераторов читал «Марию». В другой раз весь вечер он рассказывал о Бетале Калмыкове.

Этот последний «вечер с чаепитием» был устроен редакцией одного из толстых журналов в «каминной» писательского дома на улице Воровского.

Исаак Эммануилович рассказывал весь вечер. Не читал, а именно рассказывал. И хотя в руках он держал листки (или тетрадку), однако в текст, помнится, ни разу не заглядывал и ничего оттуда не читал.

И все-таки мне казалось, что я слышал не изустные рассказы, а по-бабелевски отработанные новеллы, которые автор читал по памяти, наизусть. Мы знаем, Бабель находил слова незаменимые, единственные. Искал эти крупинки золота, как поэт, перебирая

тонны словесной руды. Каждое слово стояло в его тексте в своем смысловом, семантическом, ритмическом ряду, и именно там, где и должно было стоять. Никакие рассказчицкие интонации не могли бы ни смягчить, ни усилить впечатления. Может быть, я ошибаюсь, но Бабель не казался мне выдающимся мастером *устного* рассказа. В этом смысле он не стоял вровень с признанными королями этого жанра — назову из его современников хотя бы Новикова-Прибоя. Но, по правде сказать, Бабелю, который создавал один за другим десятки вариантов каждой новеллы, дар изустного рассказа был бы словно ни к чему...

Еще до того, как вечер открыл Всеволод Иванов, кто-то спросил Исаака Эммануиловича: правда ли, что он написал новую книгу — о Бетале Калмыкове?

Бабель ответил неопределенным жестом. Можно было расшифровать его так: написал, но до завершения далеко!

Весь вечер Бабель рассказывал о Бетале Калмыкове (или, как я догадывался, читал наизусть свои новеллы). Правда, утомившись, Исаак Эммануилович попросил кого-то из друзей прочитать отрывок из газеты (судя по формату — из периферийной газеты). Но едва читка закончилась, Бабель снова принялся рассказывать.

Что это было, этот газетный текст? Мы, безусловно, почувствовали связь между газетным очерком (?) и новеллами Бабеля. Словно прозвучал чистейший звук камертона — и вслед за ним свободные вариации в той же тональности. Газетный очерк нас позабавил: он был стилизован под фольклор. Когда-нибудь мы обнаружим этот затерявшийся номер неизвестной газеты, и я не удивлюсь, если увижу, что знакомый материал озаглавлен примерно так: «Сказание о Бетале Калмыкове». Герой представал пред читателями истинно сказочным батыром, но, к счастью, неотступно звучала юмористическая, чуть ироническая нотка. Она не разрушала образа, но незаметно сводила батыра Бетала с балкарского Олимпа на нашу бренную землю.

Кто был автором газетного очерка?

Кажется невероятным, чтобы И. Бабель, годами не расстававшийся со своими рукописями, а в эти годы особенно скупо доверявшийся печати, согласился под своим именем напечатать, да еще в периферийной газете, один из вариантов какой-нибудь главы будущей своей книги. Напомню, что после «Нефти», опубликованной в 1934 году, писатель за последующие пять лет опубликовал только четыре рассказа (если не считать воспоминаний). Ну, а с другой стороны, разве Бабель стал бы на своем литературном вечере читать вслух чужое произведение о любимом герое? Невероятно.

Думается, к «Сказанию о Бетале Калмыкове», с которым писатель познакомил нас в тот вечер, он все же приложил руку как редактор.

Очевидно, в первичном материале, собранном газетой, Бабель обнаружил крупицы правды, зарождение эпоса.

Исаак Эммануилович прежде всего отделил ценные злаки от обильных плевел, отсек цветистую лесть, вытравил пошлость, а дальше, увлекшись процессом редактирования, вписывал, наверное, кое-что и от себя. И под рукой мастера на страницах газеты родился красочный образ человека, отнюдь не образцового, но понятного и близкого своему народу, не похожего, впрочем, на праведника из Четьих-Миней восточного образца.

Оговорюсь: все, что здесь сказано по поводу услышанного тогда очерка о Бетале Калмыкове,— моя догадка. Но раз уж она высказана, я продолжу поиски самого документа, номера газеты с этими материалами о Бетале Калмыкове.

А вот что не догадка, а достоверное воспоминание. Новеллы, рассказанные Бабелем, и газетный очерк восприняты были нами, слушателями, как единое художественное целое, как доказательство, что замысел *книги* о герое, пленившем воображение писателя, существует не только в его воображении, но уже в какой-то мере — литературная реальность.

Исааку Бабелю снова пришлось выслушивать упреки друзей:

— Когда же мы прочтем рассказанное вами?

— Исаак Эммануилович, ну можно ли держать это в столе?

— Можно,— сухо ответил Бабель.— Эти тетрадки станут на полку, рядом с другими (о тех мы знали по отрывкам, появлявшимся в печати). Пусть постоят. Я к ним еще не раз вернусь.

Позже Константин Паустовский рассказывал нам о многих вариантах «Любки Казак», переписанных Бабелем от руки, каждый от начала и до конца, причем переделка не коснулась сюжета; просто появлялись немногие новые слова, менялся ритм некоторых фраз. В середине тридцатых годов мы еще не представляли себе, чем обернется благоговение Бабеля перед словом! Ведь из-за этой трагической страсти рукописи Бабеля, хотя бы незавершенные, существовали в одном-единственном экземпляре.

В тот вечер Бабеля снова просили не так скупо делиться с читателем написанным.

Исаак Эммануилович привычно отшучивался:

— Зачем расставаться с рукописями? Раз редакции не скупятся на авансы...

Ни одна строка о Бетале Калмыкове не уцелела...

Как известно, антрополог М. М. Герасимов по сохранившимся черепным костям воссоздает облик людей, умерших сотни и тысячи лет назад. В литературе не справиться с такой задачей... по чьим бы то ни было воспоминаниям.

Но новеллы о Калмыкове, невосстановимые в их художественной целостности, были все же *фактом писательской биографии* Исаака Бабеля, фактом литературной истории.

И если это так, то, пожалуй, те, кому посчастливилось некогда услышать из уст писателя несколько новелл о замечательном балкарце, должны бы поделиться с новыми поколениями читателей И. Бабеля тем, что сохранила их память. Дать представление о жанре этой незаконченной и утерянной книги, о внутренней

теме новелл, о тональности, в которой они были выполнены. Попытаться восстановить образ главного героя книги, авторскую позицию. И конечно, прежде всего — передать *впечатления* от рассказанных Бабелем новелл, пронесенные через три с половиной десятилетия.

Литературный герой бабелевских новелл отнюдь не «зеркальное отображение» своего прототипа, исторического Бетала Калмыкова. Это вообще было бы для Бабеля не характерно,— не случайно же «очевидцы» так трудно воспринимали «Конармию». Писатель Бабель меньше всего копиист, он создает свой художественный мир. Впрочем, при всем своем своеобычии образная вселенная Бабеля выражает многие стороны реальной жизни глубже, пронзительнее других произведений, претендующих на документальность. Бессмысленно искать в нарисованных писателем портретах фотографическое сходство с прототипами, тем более принимать такое сходство за критерий оценки.

Долгие годы Бетал Калмыков был первым человеком в своей небольшой республике — и не только потому, что занимал высокие посты и представлял советскую власть.

Его знали в лицо, звали по имени все балкарцы и кабардинцы — от десятилетних ребятишек до стариков-долгожителей, которых тогда было много и среди балкарцев. Калмыков был первым секретарем обкома ВКП(б), но было в нем что-то и от главы большого рода.

Конечно, в гражданскую войну и в первые годы после нее все было иначе. В 1922 году я оказался в Нальчике в числе первых туристов. В горы нам отсоветовали подниматься, в городе же было и спокойно, и сытно, и дешево. Вот тогда-то я не раз наблюдал, как Бетал Калмыков выезжал по делам в горы. В открытую коляску запрягали пару горячих кабардинских коней. Кучеру было с ними нелегко справиться, тем более что коленями он придерживал винтовку. Сзади сидел коренастый горец, натянутый, как пружина, не позволявший себе откинуться на подушки (это и был Бетал). На боку в деревянной кобуре висел у него огромный маузер, наготове были еще два штуцера (или обреза). Бетал и его кучер готовы были к любой неожиданности; в бою они, наверное, не дали бы маху. Классовая и политическая борьба, усугубляемая родовыми и племенными распрями, в те годы еще не утихла в горах.

Позднее, в тридцатых годах, Бетал Калмыков благодаря журналистам и литераторам стал особенно популярной фигурой в стране.

Это по инициативе Бетала колхозы Кабардино-Балкарии развели вдоль горных дорог бахчи, посадили ягодники, огороды. Воткнули в землю колышки с дощечками и на них написали крупно:

ПУТНИК! ОТДОХНИ, ПОЖАЛУЙСТА!
ПОДКРЕПИСЬ!
ТЕБЯ УГОЩАЕТ КОЛХОЗ...

(Конечно, не забывали назвать гостеприимного коллективного хозяина.)

Бабель искал признаков будущего в сегодняшнем дне (по собственным словам, он всегда был готов помочь цыпленку разбить скорлупу). Но в то же время нельзя было закрывать глаза на противоречия, таившиеся в этом человеке. К нему, например, приросло шутливое прозвище: «Наш социалистический старейшина рода» и др.

Известно, литератор и дня не проживет без шутки. Но даже за самой едкой, гротескной непременно скрывается какая-то частица жизненной правды или черта человеческого характера, иногда только чахлый росток, глазу, затуманенному восторгом, невидимый... И вправду невидимый? Спустя тридцать лет кабардинский писатель Алим Кешоков опубликовал роман «Вершины не спят». Бетал Калмыков, безусловно, послужил автору прототипом при создании образа «головного журавля» Кабардино-Балкарии тридцатых годов — Инала Маремканова. В прошлом Инал — легендарный революционер, в романе — человек, упивающийся властью, нетерпимый, подозрительный, крушивший всех стоявших на его пути. «Кто против меня, тот, значит, и против новых порядков,— поучает Инал своего помощника, выполняющего функции «меча карающего» в автономной республике,— вот тебе и метод в руки... Хороши любые средства».

Не может быть, чтобы Бабель, зная своего друга долгие годы, готов был втиснуть всю его человеческую сущность в одну из простейших, одночленных формул. Не мог он не видеть, что Беталу, этому стойкому мечтателю и неутомимому борцу за будущее, не чужды ни противоречия, ни пережитки, что у него властная натура и что страсти кипят в его душе.

Новеллы о Бетале Калмыкове написаны после «Нефти», рассказа, признаваемого переломным в творчестве писателя. Бабель говорил в те годы И. Эренбургу, что прежде писал чересчур цветисто, злоупотребляя образами, что теперь стремится к большой простоте. Но, очевидно, намечавшийся путь не был прост, однозначен. Бабель искал новых жизненных впечатлений повсюду. Однако то, что мы слушали в «каминной» Дома литераторов, было ближе к прежней прозе Бабеля, чем к тому, что намечалось в «Нефти».

Литературный герой новой книги предстал пред нами в романтическом обличье и был, на первый взгляд, свободен от кое-каких противоречий, явно выраженных в его прототипе.

Но вот что примечательно. Восприняв на слух тридцать пять лет назад несколько новелл из уст Бабеля, я запомнил их (точнее — свои тогдашние впечатления), тогда как за эти годы, насыщенные событиями, перезабыл многое даже из того, что повлияло на собственную мою судьбу.

Как полнее передать читателю эти *впечатления*, пронесенные сквозь целую эпоху? Я расскажу две новеллы, услышанные в тот вечер от Бабеля, такими, какими их сохранила память.

Литераторы не придерживаются обычая дипломатов, которые по свежим следам записывают «для истории» свои беседы с государственными деятелями. Со времен Гутенберга рукописи создают, что-

бы их размножать на печатных станках для читателей. Кто из нас на вечере в «каминной» сомневался, что рано или поздно увидит эти новеллы в книге Бабеля?.. Конечно, запись, даже если бы она была сделана в тот самый вечер, когда мы слушали писателя, все равно не сохранила бы для потомства подлинного произведения Исаака Бабеля. Зато сколько бы ожило подробностей, сколько бы сохранилось бесподобных, неповторимых словечек Бабеля и примеров той тончайшей оркестровки произведения, в которой он не знал себе равных.

Я не записал новеллы ни в тот вечер, ни позднее. Мало того — не раз и не два рассказывал их в той обстановке, среди тех людей, для которых слова, услышанные мною некогда из уст Бабеля, звучали как сказка. А каждый рассказчик знает, что много раз пересказанный сюжет, взятый даже из собственной жизни или из своего произведения, непроизвольно меняется, обрастает новыми подробностями...

Обо всем этом я помню. Догадываюсь, что спорна сама попытка передать (через столько лет!) впечатление от рассказов Бабеля. Но друзья подсказывают, что нет иного пути помочь читателю представить себе, какой была задумана книга о Бетале Калмыкове, книга, которой так и не суждено было стать «фактом литературы».

РАЗБОЙНИК ИСМАИЛ КАПИТУЛИРУЕТ

— Поедем в горы? — предложил Бетал Калмыков Бабелю.— Милиционеры выследили наконец Исмаила-разбойника [1]. Он засел в своем убежище на неприступной скале. Двоих ранил, отстреливается. Его обложили, как волка, и надежд на спасение у него не осталось. Не Шамиль — тот перепрыгнул, как говорят, через шесть рядов солдат, окруживших его саклю в Гимринском ущелье... Утром позвонили из района, одумался Исмаил. Крикнул сверху: сдаст оружие. Но только Беталу, в собственные руки. И еще: пусть Бетал поклянется, что Исмаила никто не унизит. Будут судить, пусть расстреляют, но чтобы его, безоружного, никто рукой не коснулся... Гордый, что скажешь? Придется брать в плен разбойника Исмаила. Поедем?

Вместе с Бабелем-рассказчиком мы пережили его радость: он станет свидетелем фантастической сцены — разбойник выбрал секретаря обкома, чтобы сдать ему оружие! А на дворе — тридцатые годы!

Романтическая тема стала раскрываться уже в пути. Бетал разговорился о своем бунтарском прошлом. Оказывается, до революции он одно время скрывался в горах, был «социальным разбойником».

---

[1] Имена всех действующих лиц, кроме Бетала Калмыкова, как и географические названия, кроме Нальчика, я не запомнил. Пришлось подменить их произвольными именами и названиями.— *В. К.*

— Вроде вашего Дубровского, что ли... Мстил князьям, богачам. Добычей делился с бедняками. И ведь ни один меня не выдал, а?

И спустя некоторое время:

— Когда это было! Правильного пути еще не видел. Узнал его позже.

А про бандита, который соглашался сдаться в плен ему одному, Бетал сказал так:

— Этот Исмаил шкуру спасал — старые преступления его раскрылись. А в горах он сидел смирно. Людей не убивал. Ну, скотину похищал... колхозную, это так.

И добавил со вздохом, в котором прозвучало, однако же, не одно только осуждение:

— Люди из ближних селений знали, наверное, где он скрывался. Многие. Не выдали... А кто им Исмаил? Вот уж не друг, не защитник. На их шее сидел. Не выдали...

В райцентре к Беталу в машину сели вооруженные люди — уполномоченный со своим помощником. Поднялись еще выше в горы. За Агарты колесная дорога превратилась в конную тропу.

Пошли дальше пешком. И вскоре услышали: ударил одиночный выстрел, а в ответ — стрельба вразнобой, из нескольких ружей.

Старшина встретил Бетала неподалеку от засады.

— Огрызается! Нашего Асхада ранил в руку. Легко. Третьего уже.

Ничего не скажешь, Исмаил — горец, выбрал логовище с умом. От более высоких скал, с которых мог бы ему угрожать противник, его защищал длинный выступ. К расщелине, где он прятался, откуда из-за камня прицеливался, стрелял, шел крутой подъем — он был целиком под обстрелом. Семь милиционеров расположились кто где, веером, выбрав себе защиту за камнями и уступами. Бетала Калмыкова отвели в сторону,— чтобы достать его из ружья, разбойнику пришлось бы на полкорпуса высунуться из своего убежища. Он сразу же оказался бы на мушке у всех семерых стрелков...

Милиционеры хором повторяли какие-то слова, несколько раз прозвучало имя Калмыкова. Видимо, передавали Исмаилу, что условия капитуляции приняты, Бетал здесь.

Откричались милиционеры и смолкли. Тишина пришла в горы, гулкая, настороженная.

Наконец из ущелья донесся крик Исмаила-разбойника.

— Назначает встречу на полпути,— объяснил Бабелю один из сопровождающих и кивнул в сторону каменной россыпи, круто подымавшейся к самому убежищу.

— Рискованно, товарищ начальник,— сказал по-русски уполномоченный.

— В каждой игре свои правила,— ответил Бетал. Вынул из кармана и отдал ему револьвер.

Распорядился:

— Тот, у кого голос позвонче, крикни: пусть Исмаил выйдет из ущелья сразу, как меня увидит. Пусть спускается навстречу.

Парень, присевший за крупным камнем, прокричал приказ Бетала дважды.

Я помню: дойдя до этого места, Бабель выдержал долгую паузу. На этот раз он подчинился неписаным законам устного рассказа.

Бетал, собранный, наружно спокойный, ждал дальнейшего развития событий.

И снова вокруг тишина.

О чем он там раздумывает, Исмаил? Молится, что ли?

Из расщелины донесся короткий возглас. Уполномоченный пополз к обстреливаемой зоне. Милиционеры взяли на мушку темную нору — отверстие, зиявшее между скалами.

Бетал сделал несколько решительных шагов к подъему. Виден он преступнику? Еще шаг, другой,— теперь-то Исмаил наверняка разглядел Калмыкова. Что же он медлит?..

И в то же мгновенье на темном фоне волчьей норы обозначилась фигура рослого горца. В ладонях, поднятых на уровень груди, он бережно, как чашу с питьем, нес обрез.

У свидетелей и участников этой рискованной игры вырвался из груди вздох облегчения.

Бетал и Исмаил шли навстречу друг другу.

На крутой тропе меж рассыпанных камней природа позаботилась сохранить ровную площадку. Не для того ли, чтобы эта сцена, немыслимая, казалось, в наше время, еще больше напоминала военную капитуляцию! Бетал достиг этой площадки первым и ждал, пока на нее ступит Исмаил,— где ж это видано, чтобы побежденный возвышался над победителем? Вот они замерли лицом к лицу. Вот Исмаил произнес какие-то слова. Бетал ответил. Исмаил протянул обрез. Бетал небрежно взял его одной рукой, повернулся и стал первым спускаться с кручи; побежденный следовал за ним. Навстречу уже карабкались, спешили милиционеры.

Один из них схватил Исмаила за руку, другой хотел ощупать его карманы.

Бетал отдал сердитую команду, милиционеры подчинились. Теперь разбойник шел между рядами тех, с кем вел непрерывный бой двое суток.

Был он очень бледен, но гордо крутил свой ус.

Однако Бабель не поставил точку после эпизода с капитуляцией. Новелла имела продолжение. Необходимое для подводного движения сюжета.

Бетал с Бабелем и Исмаил под конвоем милиционеров подошли к машине (шоферу удалось подогнать ее поближе к месту событий). Бабелю Бетал указал на переднее место, рядом с шофером. Сам же сел сзади, рядом с разбойником. Уполномоченный хотел было втиснуться третьим, но Калмыков приказал ему остаться на месте, обыскать ущелье.

Правда, правый карман у Бетала снова оттопырился, и рука была наготове.

Вот что произошло по пути в город.

Ехали по берегу шумной, разлившейся реки. Внезапно увидели: тонет буйвол. Видно, оступился, сошел с брода, сильное течение сбило животное с ног, а тяжелое ярмо не отпускало, не давало всплыть.

Возница суетился, старался сбить ярмо, но силы его были на исходе. Буйвол захлебывался.

Шофер притормозил машину. Исмаил и Бетал еще на ходу выскочили на дорогу и бросились на помощь земляку. Так в каждом из трех горцев сработал инстинкт, чувство, воспитываемое жизнью в горах, передаваемое из поколения в поколение, как наказ мудрых и справедливых: «Терпящему бедствие — помоги!»

Двое сильных мужчин быстро справились с тем, что было не под силу старику. И вот уже спасенный, присмиревший буйвол стоит на прибрежных камнях.

Теперь у колхозника нашлось время оглянуться на тех, кто помогал ему. Справа от себя он увидел Бетала Калмыкова,— кто же не знает его в горах? Кто не искал у него помощи, не испытал на себе его заботы? Колхозник произнес слова благодарности. Только тогда он оглянулся и на второго спасителя, того, что стоял слева,— и окаменел! Это же Исмаил! Как многие местные люди, он конечно же знал разбойника в лицо. Что это? Два смертельных врага соединились, чтобы помочь ему в беде?.. Оправившись от изумления, старик из селения Науруз так же церемонно поблагодарил разбойника.

Дальше ехали без приключений. В Нальчике, у здания тюрьмы, машину остановили, преступника сдали дежурному. На прощанье Бетал кивнул ему. Исмаил наклонил голову и слегка прижал руки к груди.

БЕТАЛ, БАТЫРБЕК И ПОГОРЕЛЬЦЫ

Бетал снова увез Бабеля в горы — в районе праздновали открытие нового клуба.

В райцентре Бетала ожидала толпа празднично одетых мужчин. Чуть подальше стояли женщины с детьми.

Бетал вышел из машины. Его окружили, здоровались с ним, а он расспрашивал о здоровье родственников,— казалось, секретарь обкома знает всех, может назвать чуть не каждого по имени, помнит, у кого сколько сыновей, какие в семье радости и беды. Такое встретишь только у малых народов на Кавказе, да и то не всегда.

Расставаясь, Бетал пригласил всех на открытие клуба.

К дому районного секретаря Батырбека гости из города пошли пешком.

Как всегда, за столом собралось великое множество людей. И все были накормлены, обласканы хозяйкой, ее пожилыми родственницами.

В клуб отправились засветло. Бетал был весел, перебрасывался словечком-другим с встречными пешеходами — со всех концов селения народ тянулся к клубу. Новое здание радовало глаз. От него еще вкусно пахло свежим тесом, красками.

Бетал обошел клуб кругом. Душа его была полна гордости: кто, как не он, твердил с таким постоянством, что зажиточная жизнь

мерится не пудами, аршинами и рублями, а культурой! Но к его радости примешивалось и чувство ребенка, когда тот любуется новой игрушкой.

Бетал со спутниками уже приблизился к гостеприимно открытым дверям клуба, люди, собравшиеся здесь, отступили, чтобы пропустить почетного гостя...

И вдруг в один миг Бабель-рассказчик разрушил нарисованную им же идиллию, этот порыв всеобщего прекраснодушия. В пейзаже, нарисованном с помощью одних только звонких, брызжущих радостью, ярких и чистых красок, внезапно проступило темное пятно — неожиданно заявил о себе посланец из мира не столь благополучного. Этим посланцем стала женщина в черном деревенском платье до пят; темный платок на голове покрывал, по обычаю, и волосы, и лоб, и шею, и подбородок — и все же не мог скрыть искаженные смертельной обидой черты лица. Женщина бросилась наперерез начальству, с губ ее сорвался сдавленный крик.

— Бетал!

Тотчас же перед ней вырос молодой горец в кубанке, за ним другой. Они преградили путь женщине, пытаясь оттеснить ее и вообще замять этот неприятный, неприличный, как им казалось, инцидент.

Бетал легко мог сделать вид, что ничего не приметил, и войти в клуб, чтобы не портить настроение себе и слушателям его сегодняшней праздничной речи.

Я вспоминаю, что в рассказе Бабеля, когда он дошел до этой сцены, вдруг прозвучало короткое, как удар хлыстом, балкарское слово. Бетал приказал, и добровольные слуги порядка послушно расступились.

— Что тебе, женщина? — спросил Калмыков.

Она говорила жестоко, страстно. В горле звучала тяжкая обида, но унижения ее душа не приняла, врожденное достоинство не изменило ей и теперь.

Рассказчик заставил нас в эту минуту оглянуться на начальников, опытных церемониймейстеров празднества,— ведь это их обличала женщина!

Батырбек и другие так и застыли на месте, где их застала неожиданность. Они молчали. Не переглядывались друг с другом. Казалось, даже не слушали, а просто присутствовали. Лица их были лишены всякого выражения.

Позже Бабель узнал, что колхозница жаловалась на глухоту и черствость людей. Сгорел дом, погибло все имущество. Третий день с больным мужем они ютятся в хлеву. Ни одна душа не пришла на помощь. Начальники не откликнулись на беду, не помогли. Где справедливость?

Бетал слушал женщину. Ярость вскипала в нем. Батырбек и его помощники знали Бетала, его характер. Они не оправдывались. Но если бы вскрыть в ту минуту грудную клетку Батырбека, вряд ли сердце обнаружилось бы там, где оно бьется у всех людей.

Женщина высказала все и умолкла, ожидая решения.

Выждав минуту и убедившись, что колхознице нечего больше добавить, Бетал произнес спокойно, твердо:

— Возвращайся к мужу. Все будет по справедливости.

И, круто развернувшись, шагнул к двери клуба.

Местное начальство потянулось за ним. Не лица у них были — маски, безликие, застывшие.

Когда закончилось торжественное заседание, Калмыков, Батырбек и Бабель спустились вниз, к машине.

— Из какого селения та женщина? — коротко бросил Бетал.

Выслушав ответ, приказал:

— Едем к погорельцам.

— Поздно, товарищ Калмыков! — взмолился Батырбек.— Дорога плохая, машина будет скользить. Опасно!

— Садись в машину. Зло выслеживают по горячему следу.

— Бетал! — сделал еще одну попытку секретарь райкома.— Все будет как надо, ошибку исправим, виновных накажем...

— Садись с шофером, указывай дорогу!

Въехали в селение Сораби в темноте, разыскали свежее пожарище.

Чистый горный воздух пьешь, как нектар. Здесь прогорклый воздух отдавал дымом, бедой...

Дом сгорел дотла. Он стоял на отлете — в селении больше никто не пострадал. На задах сгоревшего дома лепился не то сарай, не то хлев для баранты. Из-под его ворот пробивался слабый свет.

Трое приезжих вошли вовнутрь. В каганце чуть мерцал огонек. У задней стенки, прикрытый потертой буркой, лежал, вытянувшись во весь рост, больной хозяин сгоревшего дома. Голову его подпирал ополовиненный мешок с кукурузным зерном. Лицо, заросшее седой щетиной, было обращено к вошедшим. Из-под бурки торчали голые ноги, обутые в старые, все в трещинах, калоши. У изголовья неподвижно стояла жена. Глаза ее горели неистовой верой во всемогущество Бетала.

Бабель оглянулся. На стенках сарая висела старая упряжь. По углам валялись лишь тряпье да ржавые ведра. Хозяевам ничего не удалось спасти от огня.

Бетал произнес приветствие и молча слушал, пока погорельцы отвечали на вопросы Батырбека.

Вдруг Бетал произнес:

— Все будет хорошо, люди!

Попрощался и вышел к машине. Скомандовал:

— В райком!

В пути никто не произнес ни слова.

Молча вышли из машины, молча пришли к кабинету секретаря. Бетал с Батырбеком сели друг против друга, лицом к лицу, и в ярости стали стремительно бледнеть...

...Эти бледнеющие от ярости двое мужчин врезались в мою память навсегда — уверен, запомнились подлинные слова Бабеля!

Бетал испепелял Батырбека взглядом, но и тот не опускал глаз; они выражали стойкость прямо-таки огнеупорную. Шел поеди-

нок. Друг другу противостояли сильные, страстные мужчины, сгустки воли, вместилища страстей. Слабых Бетал не терпел в своем окружении.

Вдруг Калмыков со страшной силой ударил кулаком по столу:

— Позор!

И спустя некоторое время снова прозвучало единственное слово (это многословный Бетал!):

— Позор!

Дважды повторенный, этот возглас разрядил грозовую атмосферу. Двое мужчин еще помолчали, теперь, кажется, во взаимном согласии.

Наконец Бетал встал. Голос его звучал обыденно, даже тускловато:

— В пятницу вернусь (события происходили в воскресенье). У Хазрета будет стоять новый дом. В нем будет все, что нужно колхознику. Балкарцы увидят: если беда посетила одного — на помощь приходит большая колхозная семья. Всё. Я вернусь в пятницу.

На обратном пути в Нальчик Бетал, как обычно, шутил, рассказывал, но ни разу не коснулся событий в Сораби. У Бабеля на языке вертелся вопрос: как можно поставить дом за четыре дня? Вопрос так и не был задан.

В пятницу Бабель ждал вестей с самого утра. Бетал позвонил в полдень, сказал, что сегодня и в субботу он занят, но в воскресенье они непременно поедут в Сораби.

В назначенный день Калмыков с Бабелем действительно уехали в горы. В райцентре к ним в машину сел веселый, разговорчивый, краснощекий Батырбек.

Сораби удивил на этот раз многолюдством. Нелегко было в машине проехать по главной улице селения и совсем уже трудно узнать недавнее пожарище. На его месте стоял новенький, с иголочки, дом-пятистенка под железной кровлей. Добрая сотня мужчин наводила последний глянец, вязала изгородь, выносила со двора мусор, горелую землю. Из трубы валил дым. В сарае, недавно служившем пристанищем людям, мычала корова.

Вслед за Беталом и Батырбеком Бабель поднялся по ступенькам и вошел в дом. Посредине избы, словно трон, возвышалась городская железная кровать с четырьмя медными шишками.

На ней в той самой позе, в какой его застали неделю назад, лежал больной. Под ним была добротная бурка, голова покоилась на сатиновых подушках, а ноги в грубошерстных носках прочной вязки были обуты в новенькие калоши.

Бетал поздоровался с Хазретом и его женой. Выслушал от хозяина слова благодарности, произнесенные с чувством достоинства, которое редко покидает горцев. И вышел наружу.

Люди бросили работу, обступили крыльцо.

Бетал сказал народу горячее слово:

— Так будет в новой жизни всегда! Большая колхозная семья придет на помощь любому сыну и дочери, когда их постигнет беда.

Люди научатся смягчать горе земляков. Могучая сила у народа. Но каждый должен помнить; хочешь делать добро — не откладывай, поспеши! Сверши его в первый же черный день, выпавший на долю земляка!

Бетал говорил в тот раз долго.

Народ внимал ему в полном молчании.

Рассказывая по памяти две новеллы Исаака Бабеля о Бетале Калмыкове, я старался придерживаться их сути, не пытаясь воспроизвести «подробности»,— за давностью лет подлинные я мог позабыть и взамен домыслить новые.

«Воспоминания о новеллах» как бы облечены в форму элементарного очерка, автор которого отказывает себе в праве даже на собственное мнение об описываемых событиях, тем более на любой вымысел.

Конечно же я запретил себе стилизацию, расцвечиванье текста «под Бабеля»,— это было бы отвратительно!

Правда, внимательный читатель, наверно, обнаружит считанные выражения, резко выпадающие из сухого, чуть ли не протокольного, стиля. Но я крепко убежден, что эти слова принадлежат самому Бабелю: они навсегда врубились в мою память. Такими я их услышал.

Как кошмар преследует меня мысль, что кто-либо из читателей воспримет две последние главки воспоминаний за пересказы произведения Исаака Бабеля, за попытку имитировать его стиль!

Тогда как смысл работы, проделанной памятью, в том, чтобы истинные ценители прозы Бабеля, узнав теперь новые исторические и литературные факты о том, как писатель трудился над книгой о Бетале Калмыкове, и познакомившись с впечатлениями одного из слушателей, смогли бы *вообразить*, как эти новеллы могли прозвучать в устах их творца.

Леонид Утесов

МЫ РОДИЛИСЬ ПО СОСЕДСТВУ

Написать о Бабеле так, чтобы это было достойно его,— трудно. Это задача для писателя (хорошего), а не для человека, который хоть и влюблен в творчество Бабеля, но не очень силен в литературном выражении своих мыслей.

Своеобразие Бабеля, человека и писателя, столь велико, что тут не ограничишься фотографией. Нужна живопись, и краски должны быть сочные, контрастные, яркие. Они должны быть столь же контрастны, как в «Конармии» или в «Одесских рассказах».

Быт одесской Молдаванки и быт «Первой Конной» — два полюса, и они оба открыты Бабелем. На каких же крыльях облетает он их? На крыльях романтики, сказал бы я. Это уже не быт, а если

и быт, то романтизированный, описанный прозой, поднятой на поэтическую высоту.

Так почему же все-таки я пишу о Бабеле, хоть и сознаю свое «литературное бессилие?» А потому, что я знал его, любил и всегда буду помнить.

Это было в 1924 году. Мне случайно попался номер журнала «Леф», где были напечатаны рассказы еще никому не известного тогда писателя. Я прочитал их и «сошел с ума». Мне словно открылся новый мир литературы. Я читал и перечитывал эти рассказы бесконечное число раз. Кончилось тем, что я выучил их наизусть и наконец решил прочитать со сцены. Было это в Ленинграде. Я был в ту пору актером театра и чтецом. И вот я включил в свою программу «Соль» и «Как это делалось в Одессе».

Успех был большой, и мечтой моей стало — увидеть волшебника, сочинившего все это. Я представлял себе его разно. То мне казалось, что он должен быть похож на Никиту Балмашева из рассказа «Соль» — белобрысого, курносого, коренастого парнишку. То вдруг нос у него удлинялся, волосы темнели, фигура становилась тоньше, на верхней губе появлялись тонкие усики, и мне чудился Беня Крик, вдохновенный иронический гангстер с одесской Молдаванки.

Но вот в один из самых замечательных в моей жизни вечеров (это было уже в Москве, в театре, где играет сейчас «Современник») я выступал с рассказами Бабеля. Перед выходом кто-то из работников театра прибежал ко мне и взволнованно сообщил:

— Знаешь, кто в театре? Бабель!

Я шел на сцену на мягких, ватных ногах. Волнение мое было безмерно. Я глядел в зрительный зал и искал Бабеля — Балмашева, Бабеля — Крика. В зале не было ни того, ни другого.

Читал я хуже, чем всегда. Рассеянно, не будучи в силах сосредоточиться. Хотите знать правду? Я трусил. Да, да, мне было понастоящему страшно.

Наконец в антракте он вошел ко мне в гримировальную комнату. О воображение, помоги мне его нарисовать! Ростом он был невелик. Приземист. Голова на короткой шее, ушедшая в плечи. Верхняя часть туловища намного длиннее нижней. Будто скульптор взял корпус одного человека и приставил к ногам другого. Но голова! Голова у него была удивительная! Большая, откинутая назад. И за стеклами очков — большие, острые, насмешливо-лукавые глаза.

— Неплохо, старик,— сказал Бабель.— Но зачем вы стараетесь меня приукрасить?

Не знаю, какое у меня было в это мгновение лицо, но он улыбнулся.

— Не надо захватывать монополию на торговлю Одессой! — Бабель лукаво поглядел на меня и расхохотался.

Кто не слышал и не видел смех Бабеля, не может себе представить, что это было такое. Я, пожалуй, никогда не видел человека, который бы смеялся, как он. Это не был раскатистый хохот — о, нет! Это был смех негромкий, но совершенно безудержный. Из

глаз его лилися слезы. Он снимал очки, вытирал слезы и снова начинал беззвучно хохотать.

Когда Бабель, сидя в театре, смеялся, сидящие рядом смеялись, зараженные его смехом, а не тем, что происходило на сцене.

И до чего же он был любопытен! Любопытными были у него глаза, любопытными были уши. Он все хотел видеть, все слышать.

В вечных наших скитаниях мы как-то встретились с ним в Ростове.

— Ледя, у меня тут есть один знакомый чудак, он ждет нас сегодня к обеду,— сообщил мне Бабель.

Чудак оказался военным. Он был большой, рослый, и еда у него была под стать хозяину. Когда обед был закончен, он предложил:

— Пойдемте во двор, я вам покажу зверя.

Действительно, во дворе стояла клетка, а в клетке из угла в угол метался матерый волк. Хозяин взял длинную палку и, просунув ее между железных прутьев, принялся злобно дразнить зверя, приговаривая: «У, гад, попался? Попался?..»

Мы с Бабелем переглянулись. Потом глаза его скользнули по клетке, по палке, по лицу хозяина... И чего только не было в этих глазах! В них были и жалость, и негодование, и любопытство. Но больше всего было все-таки любопытства.

— Скажите, чтобы он прекратил,— прошептал я.

— Молчите, старик! — сказал Бабель.— Человек должен все знать. Это невкусно, но любопытно.

В искусстве Бабеля мы многим обязаны этому любопытству. И любопытство стало дорогой в литературу. Бабель пошел по этой дороге и не сходил с нее до конца. Дорога шла через годы гражданской войны, когда величие событий рождало мужественные, суровые характеры. Они нравились Бабелю, и он не только «скандалил» за письменным столом, изображая их, но, чтобы быть достойным своих героев, начал «скандалить на людях». Вот откуда взялся «Мой первый гусь». Вот где я верю ему. Тяжело, но любопытно. Любопытство его, подчас жестокое, всегда было оправданно. Помните, что происходило в душе Никиты Балмашева перед тем, как товарищи сказали ему: «Ударь ее из винта»?

«И, увидев эту невредимую женщину, и несказанную Расею вокруг нее, и крестьянские поля без колоса, и поруганных девиц, и товарищей, которые много ездют на фронт, но мало возвращаются, я хотел спрыгнуть с вагона и себя кончить или ее кончить. Но казаки имели ко мне сожаление и сказали:

— Ударь ее из винта».

Вот оно, оправдание жестокого поступка Балмашева. «Казаки имели к нему сожаление»! И я им сочувствую, и всякий, кто жил в то романтическое, жестокое время, поступил бы так же.

Если же вы хотите знать, что такое бабелевский гуманизм, вчитайтесь в рассказ «Гедали», но только не думайте, что в нем разговаривают два человека — Гедали и Бабель. Нет. Это диалог писателя с самим собой.

«—...я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек



Исаак Бабель в детстве.

по первой категории,— говорит в этом рассказе Гедали.— Вот, душа, кушай, пожалуйста, имей от жизни удовольствие. «Интернационал», пане товарищ, это вы не знаете, с чем его кушают...

— Его кушают с порохом,— ответил я старику,— и приправляют лучшей кровью...»

Нет, нет, не верю. Не нужна Бабелю приправа из лучшей крови, как не нужна ему матерщина и зарубленный саблей гусь («Мой первый гусь»). «Человек, пострадавший по ученой части...», он противится жестокости всем своим существом. Казаки чуждаются его, и это вынуждает его стать таким, как они... «Я видел сны и женщин во сне, и только сердце мое, обагренное убийством, скрипело и текло». Вот правда Бабеля.

С 1917 по 1924 год Бабель, по совету Горького, «ушел в люди». Это был уход из дома, и он снова очутился в Одессе, пройдя длинный путь. Как у всякого одессита, у Бабеля была болезнь, которая громко именуется «ностальгией», а проще — тоской по родине.

Есть очень милый рассказ об этом.

В одном маленьком городишке жил человек. Был он очень беден. И семья у него, как и у большинства бедняков, была большая, а заработков почти никаких. Но однажды кто-то сказал ему:

— Зачем ты мучаешься здесь, когда в тридцати верстах отсюда есть город, где люди зарабатывают сколько хотят? Иди туда. Там ты будешь зарабатывать деньги, будешь посылать семье, разбогатеешь и вернешься домой.

— Спасибо тебе, добрый человек,— ответил бедняк.— Я так и сделаю.

И он отправился в путь. Дорога в город, куда он направился, лежала в степи. Он шел по ней целый день, а когда настала ночь, лег на землю и заснул. Но чтобы утром знать, куда идти дальше, он вытянул ноги туда, где была цель его путешествия. Спал он беспокойно и во сне ворочался. И когда к концу следующего дня он увидел город, то он был очень похож на родной его город, из которого он вышел вчера. Вторая улица справа была точь-в-точь такая, как его родная улица. Четвертый дом слева был такой же, как его собственный дом. Он постучал в дверь, и ему открыла женщина, как две капли воды похожая на его жену. Выбежали дети — точь-в-точь его дети. И он остался здесь жить. Но всю жизнь его тянуло домой.

Вот что такое эта самая ностальгия.

— Старик,— сказал мне как-то Бабель,— не пора ли нам ехать домой? Как вы смотрите на жизнь в Аркадии или на Большом Фонтане?

А когда мы хоронили Ильфа, он стоял рядом со мной у гроба, так же, как когда-то у гроба Багрицкого.

— Вам не кажется, Ледя, что одесситам вреден здешний климат? — спросил он меня. О том же он говорил Багрицкому, говорил Паустовскому. Он всегда звал одесситов домой.

Решительно, ностальгия — прекрасная болезнь, от которой невозможно и не нужно лечиться.

И когда после «Конармии» появились «Одесские рассказы», это был тоже очередной приступ ностальгии. Герой Бабеля — Беня Крик, прототипом которого был Мишка Япончик, стал героем вполне романтическим. Это не важно, что «подвиги» Япончика были весьма прозаичны. В них, конечно, можно было увидеть и смелость, и, если хотите, твердую волю, и умение подчинять себе людей. Но романтики, той самой романтики, которая заставляет читателей «влюбляться» в Беню Крика, конечно же у Мишки Япончика не было. Зато талант писателя-романтика был у Бабеля, и он поднял своего героя на недоступную для того высоту. И он вложил в уста Арье Лейба слова о Бене: «Вам двадцать пять лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле». Вот он какой, Беня Крик. Он налетчик. Но он налетчик-«поэт». У него даже сигнал на машине с музыкой из «Паяцев». Ну до чего же это здорово, честное слово! Сколько бы раз ни перечитывал рассказы о нем, я волнуюсь, хоть и знаю, что Мишка Япончик был далеко не столь романтичен.

Бабелю противны серые люди. Я уже говорил, что он любит не фотографию, а живопись, причем яркую, сочную, впечатляющую. Вспомните Афоньку Биду, Конкина, Павличенко, Балмашева. И рядом с ними — Гедали, Любку Казак, Менделя Крика, Беню, его брата Левку Быка. Когда я представляю себе всех их, меня охватывает какой-то буйный восторг, мне хочется петь.

И наконец, Бабель-драматург. «Закат»! Казалось бы, опять эта вековечная тема «отцов и детей». Но как она повернута! Дети, воспитывающие отца. И как воспитывающие! И снова портреты: Мендель, Беня, Левка, Двойра, Нехама, Боярский. Любую роль, даже женскую, я был бы готов сыграть.

Пьеса шла давно, во Втором МХАТе, и мне кажется, что она не до конца была понята исполнителями. Были удачи, но были и просчеты. Бабель говорил мне, что он мечтал о таком распределении центральных ролей, в идеале (это было еще до спектакля в МХАТе): Мендель — Б. С. Борисов, Нехама — Блюменталь-Тамарина, Двойра — Грановская, Беня — Утесов, Левка — Надеждин, Боярский — Хенкин, Арье Лейб — Петкер. Но это были мечты, которым не суждено было осуществиться.

Бабель написал значительно больше, чем мы знаем, но его рукописи, к великому огорчению, не были обнаружены.

Автобиографию Бабель начинает так: «Родился в 1894 году в Одессе, на Молдаванке». Если бы я писал свою автобиографию, то она начиналась бы так: «Родился в 1895 году в Одессе, рядом с Молдаванкой (Треугольный пер.)». Значит, мы родились по соседству, рядом росли, но, на мою беду, в детстве не встретились, а познакомились только через тридцать лет в Москве. Ну что ж, спасибо судьбе и за это.

Бабель был огромный писатель. Наследство его — это одна книга, в которую входят «Конармия», «Одесские» и другие рассказы и две пьесы. Но мало ли больших писателей, оставивших нам всего лишь одну книгу и навсегда вошедших в литературу? Ведь в искусстве, как и в науке, важно быть первооткрывателем. Бабель им был. И подумать только, что он и сейчас мог бы быть среди нас. Но его нет. И хочется сказать об этом фразой из «Кладбища в Козине»:

«О смерть, о корыстолюбец, о жадный вор, отчего ты не пожалел нас, хотя бы однажды?»

Виктор Шкловский

ЧЕЛОВЕК СО СПОКОЙНЫМ ГОЛОСОМ

Познакомился с Исааком Бабелем в Петербурге, который тогда только что переименовали в Петроград, в редакции журнала «Летопись». Журнал был очень толстый, в зеленой обложке. По случаю военного времени журнал печатался на рыхлой, плохой бумаге.

Редактор, недавно вернувшийся в Россию Горький, по нашим тогдашним понятиям был стариком — ему уже было под пятьдесят.

Светло-густой ежик волос начинал седеть, голубые глаза были еще молоды. Но он слегка горбился, хотя и был еще очень силен физически, неутомим, и если не писалось (я говорю про беллетристику), то отвечал на бесчисленные письма.

Он не мог отсутствовать у своего стола в эти урочные часы, потому что к нему в это время должно было приходить вдохновение. Горький в это время писал «Детство», был в новом литературном взлете. Впереди были книги «В людях» и «Мои университеты» и замечательнейшая книга о Льве Толстом, «Егор Булычов», «Клим Самгин».

«Летопись» помещалась где-то на Петроградской стороне. Комнаты редакции большие, высокие, с зелеными обоями, с портьерами и с тюлевыми занавесками на окнах, с большими, не заставленными вещами письменными столами, тихо, удобно.

Сюда приходили писатели: Чапыгин, Федор Гладков, Михаил Пришвин, Александр Блок, Валерий Брюсов, очень молодая и очень красивая начинающая журналистка Лариса Рейснер, солдат автомобильной роты Владимир Маяковский. В автомобильную роту Маяковского устраивал сам Горький, через капитана Крита, близкого знакомого.

Журнал был антивоенный. Печатались в нем, но не часто, большевики. Ходили в него как жрецы, которые одни только знают тайны и прошлого и будущего, умные люди без будущего — Базаров, Суханов.

Здесь я и познакомился с Бабелем.

Сам я был одет в кожаные штаны, кожаную куртку. Служил в броневом дивизионе; не то чтобы верил в скорый приход революции, но видел ее боковым зрением; ведь еще в 12-м году Велимир Хлебников напечатал в журнале «Союз молодежи» разговор учителя с учеником, таблицу, в которой были обозначены годы крушений великих империй, и кончалось все строкой: «Некто в 1917 году».

Маяковский ждал революцию ближе. Он писал: «В терновом венце революций грядет шестнадцатый год». Горький очень любил Владимира Владимировича, очень ему верил. Маяковский к Алексею Максимовичу тогда относился восторженно — ведь он знал его с кавказского детства по добрым слухам и хорошим делам.

Бабель был низкоросл, широкогруд, одевался очень скромно; он рано полысел; говорил всегда тихим голосом.

Имел на друзей, знакомых невероятное влияние. Ему повиновались все, даже те женщины, которые его любили. Подобного случая магнетического влияния я не знаю.

Бабель находился в состоянии подземного роста,— так с осени растения закладывают в корневище побег и ждут солнца.

Он напечатал в «Летописи» новеллу о том, как две дочери геолога, уехавшего на Камчатку, живут сами по себе. Мать занята. Одна из дочерей забеременела. Другая, постарше, собирается сделать ей аборт домашними средствами. Все было написано просто и страшно; обходится все благополучно.

Мать пришла домой, пишет безнадежное письмо на Камчатку.

На Камчатку не было воздушного сообщения. Камчатка существовала как бы только в географии.

Горький очень верил Бабелю, удивлялся его точному мастерству.

Для того чтобы удивиться, надо быть талантливым человеком. Для того чтобы поверить в молодое дарование, надо быть почти гениальным.

Гениальные люди переоценивают друг друга, и, во всяком случае, они хоть несколько недель своей жизни верят друг другу. Пушкин поверил Гоголю почти сразу. Толстой не только поверил Горькому; видал Чехова в снах и как будто бы отвечал перед молодым писателем.

Много было разговоров о литературе в высоких комнатах «Летописи», много было загадано. Не все было угадано. Даже писатели-пророки ошибаются. Поэты ошибаются не реже других — поэты нетерпеливы.

Квартира Горького, помещавшаяся на Кронверкском проспекте (ныне проспект Горького), посещалась нами всеми. Этот проспект замечателен тем, что он имеет только одну сторону. С другой стороны был парк.

Когда-то вместо парка на этом месте высились валы Петропавловской крепости. За парком, за высоким шпилем собора, была видна Нева, дальше — Адмиралтейская игла.

Будущее было в надеждах, за горизонтом: между нами и будущим был огонь и дым революции.

Была старая, огромная, расплывшаяся, как распаханный курган, Россия. Горы — Урал, Кавказ, Карпаты — были совсем далеко. На Карпатах, где я уже побывал в ту безнадежную войну, видел обрушенные окопы.

В одном окопе, подкопав себе пещерку в глиняной стенке бруствера, варил кашу старый солдат.

Горел огонек, заменяя домашний уют.

Прошла война. Жили мы опять в веселом Петрограде.

Алексей Максимович восхищался тогда прозой Михаила Зощенко, очень любил ее.

Про Всеволода Иванова он говорил: «Я так не начинал».

Очень любил Бабеля. По-другому, по-товарищески, он относился к Федину, веря в его надежный талант.

Федин был постарше. А тогда каждый год разницы между нами много значил.

Бабелю Горький посоветовал посмотреть людей, походить по России.

Революционная Россия тогда была очень пересеченной местностью.

Побывал потом Исаак Бабель солдатом, служил в ЧК [1], в Наркомпросе. Ходил в продовольственных экспедициях 18-го года, ка-

---

[1] В 1918 г. Бабель некоторое время работал переводчиком в иностранном отделе Петроградского ЧК. Подробнее см. об этом в книге М. Скрябина и Л. Гаврилова «Светить можно — только сгорая», Политиздат, 1987, с. 307—310.



Одно из изданий «Конармии».

жется, ездил на баржах по Волге — эти баржи тогда обстреливали. На них читали лекции. Побывал Бабель в армии, стоящей против Юденича, линия фронта которой подходила совсем близко к Питеру, занимала дачные местности.

Но есть старая китайская пословица, что у многих аппетит шире рта.

Революционный город — накаленный, огромный, неистощимый — много был шире рта армии Юденича и других армий: пасти их смыкались судорогой страха. Потом фронты откатились, а гром их усилился.

Попал Бабель и в Первую Конную армию. Мне про него рассказывал директор кинокартины «Броненосец «Потемкин» Блиох, который прежде был там комиссаром. Бабеля очень любили в армии. Он обладал спокойным бесстрашием, не замечаемым им самим. В Первой Конной понимали, что такое бесстрашие.

Умение освободиться от страха у каждого человека свое. Но тогда, когда человек находится под пулями, видит конную атаку, не меняется голос, его посадка, когда он не подтягивается и не распускается — физическая смелость, всеми уважаемая.

Бабель вернулся в редакцию не скоро.

Встретился я с Бабелем в зимнем Питере. Снега в городе были так высоки, как будто это был не город, а решетчатый противоснеговый щит, сколоченный из редких досок. Такие щиты как бы притя-

гивают к себе снег. Фабрики не дымили. Автомобилей тогда было считанные десятки. Снег лежал чистый, по снегу протаптывали глубокие тропинки. С крыш свешивались сугробы.

Бабель жил на Невском проспекте в доме номер 86. В комнате его всегда был самовар и иногда бывал хлеб. Сидел у самовара Петр Сторицын — химик с швейцарским образованием, замечательный рассказчик. Часто бывал здесь великий актер Кондрат Яковлев.

Из Питера Бабель уехал, оставив у меня свой чемодан. Он умел так таять в воздухе.

Когда я был на фронте на Днепре, до меня дошли слухи, что Бабеля убили. Потом говорили, что он ранен. Я тогда тоже был ранен.

Что привез с фронта Бабель? Привез рассказы о Первой Конной армии, которые впервые были напечатаны в «Лефе» в 24-м году. Сам Бабель считал это началом своей настоящей литературной судьбы. Слово «карьера», конечно, не употреблялось. И про успех не говорили: говорили про искусство.

У Маяковского на Водопьяном переулке Бабеля встретили восторженно. Что нас поражало и что сейчас меня поражает в искусстве Бабеля, в искусстве рассказа про революцию?

Мы сейчас много говорим об атомной войне. Если она случится,— а она уже прорывалась над Хиросимой и Нагасаки,— эта война будет ужасна. Старые войны были медленны, но тоже страшны. Идти в атаку, плохо подготовленную артиллерией, встать с земли, пройти близкий путь до чужого окопа — трудно. Путь фронтовых частей и ночлеги в снегу, в грязи — не только материал для красивых пейзажей. Это долгая судьба и долгие отношения между людьми.

Люди снимают картины о революции, о революционных войнах, и получается так, что все это очень страшно, очень мрачно, что это не только переламывает и убивает, но это затаптывает людей. Это верно, но верно не до конца.

У Бабеля бойцы Первой Конной армии представляют себе войну и фронт как свое кровное, радостное дело. Над лугами — небо, а краем неба — победа. Люди пестры и радостны не потому, что они пестро оделись, а потому, что они оделись к празднику.

Бабель — оптимист революционной войны, Бабель изобразил непобедимую молодость, трудно побеждаемую старость и торжество вдохновения. Бабель не пацифист — он солдат революции.

Писал Бабель медленно. Платили за литературу с количества строк, а литература бывает разная — метром ее нельзя измерить. Она медленна, как смена времен года, быстра, как весна, которая подготавливается еще под землею.

Я был дружен с Бабелем. Мы называли друг друга по имени. Ему нравились мои теоретические статьи. А про беллетристику он говорил мне: «Сильнее тебя, взятого в одной строке, у нас нет никого». По-моему, это не много.

Но он умел помнить такие строки.



Шуточная фотография И. Бабеля, появившаяся в журнале «Чудак». 1933 год.

Вместе работали на кинофабриках. Задумывали сценарии, писали надписи, верили в чудеса, и безымянные чудеса происходили. Взыскательный и смелый Бабель был нужен всюду. Но бывают чудеса, которые попадают в жестяные коробки и лежат на полках.

Последний раз увидал я Бабеля в Ясной Поляне. Приехали мы из Союза писателей бригадой. Во главе бригады был Василий Иванович Лебедев-Кумач. Время шло к осени.

За широкими полянами стояла березовая роща. Старые аллеи давно сомкнулись над дорожками.

Нас угощали в старом, еще толстовским дедом построенном помещении. Там стояли длинные столы. На столах — картошка, капуста, огурцы. Мяса не помню. Сзади за спиной ходили старые люди неслышной походкой, наливали водку в большие рюмки.

Сидел рядом с Бабелем. Несколько раз подошел к нам сзади старик и хотел налить. Я накрыл рюмку рукою и спросил старика:

— Почему все время к нам?

— Его сиятельство приказали.

— Какое сиятельство?

Старый лакей тихо ответил:

— Лев Николаевич.

Я отошел к стенке и спросил еще раз: чье приказание?

— Графа. Приказано наливать по шуму, чтобы шум был ров-

ный: где молчат — наливать, где шумят — пропускать, так, чтобы шум был ровный.

Шуму в этот раз было немного.

Пошли к могиле Льва Николаевича. На невысоком холме под тогда не очень еще старыми дубами возвышался невысокий холмик. Тогда его еще не покрывали еловыми ветками.

Зеленела трава. Небо спокойно оконтуривалось уверенными изгибами дубовых веток. Листья, по форме знакомые, как своя ладонь, покоились в синеве.

Первым встал на колени Лебедев-Кумач. Мы встали все.

Лежал среди спокойных деревьев в глубокой могиле богатырь с трудной судьбою; если богатырь сидит дома, то, значит, дом — крепость, которую нужно держать.

Пошел с Исааком Эммануиловичем вниз с той «муравьиной горки», по зеленому лугу, к реке.

Кажется, ее называют Воронкой. В ней любил купаться Лев Николаевич.

Он хорошо плавал. Никогда не вытирался после купания. Сох на ветру.

Поле было зеленое, широкое. Мы говорили о Толстом, о длинных романах, о способе сохранять дыхание в длинном повествовании, о том, как не пестрить стиль, а если надо, то надо это сделать так, чтобы все поле было драгоценным. Мы говорили об Алексее Максимовиче, тогда живом.

Говорили о кино, о своих неудачах, о чужих удачах, о том, как надо писать драгоценно и понятно, точно и выборочно, точно и празднично.

Бабель был печален. Очень устал. Одет он был в толстовку, кажется, синего цвета. Спина его слегка круглилась.

Молодость прошла.

Мельком он рассказывал о Париже. Долго говорил о новой прозе.

Мы дошли до спокойной речки. Не шумела вода.

Течет время, как вода, смывая память. Не хочу выдумывать, не хочу уточнять разговор. Мы ведь пишем, а не записываем, не ведем корабельный журнал.

С того спокойного дня Бабеля я больше не видал.

Г. Марков

УРОК МАСТЕРА

В один из приездов в Москву работники Гослитиздата сообщили мне, что рукопись моего романа «Строговы» прочитал Исаак Эммануилович Бабель. Это известие, конечно, взволновало меня. Не рассчитывая на личную встречу с известным писателем, я стал просить товарищей узнать его мнение о моем произведении. Кто-то из них позвонил Бабелю.

— Пусть приезжает ко мне сегодня же. К обеду.

И вот после обеда мы сидим с Исааком Эммануиловичем в его кабинете, расположенном в уютной квартире дома в Николо-Воробинском переулке. Сидим в полусумраке, беседуем увлеченно и откровенно...

Так выглядит этот разговор с Бабелем в моей записи, сделанной вскоре, но, к сожалению, не помеченной никакой датой (воспроизвожу эту запись без какой-либо правки).

— Исаак Эммануилович, я приехал из Сибири, из города Иркутска, стоящего от Москвы на расстоянии пяти тысяч двухсот километров,— сказал я.— Но буду откровенен: я был бы не удовлетворен беседой с вами, если бы все это имело какое-нибудь значение при рассмотрении моей рукописи. Современный художник вооружен самым передовым и самым научным мировоззрением. Наша действительность достаточно многогранна, как в Москве, так и на окраине. Это очень существенно. Это переносит центр тяжести на суть дела и сжигает всяческие мосты для скидок на так называемую отдаленность. В конечном итоге не важно, где мы живем, важно, какими масштабами мы мыслим.

— Да, это так. Но география для меня имеет какое-то значение. Прежде всего в смысле специфики человеческого бытового уклада. Я прочел вашу рукопись с удовольствием. Вы мир видите просто и просто о нем пишете,— продолжал далее Бабель.— Учтите: ничто не имеет столько нераскрытых возможностей, сколько настоящее чувство художественной простоты. Если вы будете следовать этому — вас ждут удачи.

Больше всех меня захватила женщина, которую вы написали с большой силой. Анна. В этом образе сильно все: от философии до художественных деталей. Скажите, сколько вам лет? Откуда вы знаете, как держит себя любящая жена с глазу на глаз с любовницей мужа? Затем, как вы узнали, где подсмотрели и услышали такое сложное чувство в женщине, как раздвоение любви? Все это описано у вас так верно, что кажется, будто испытано вами.

— Если б я опирался только на свой опыт, я бы не сказал и одной десятой того, что сказано у меня. Я отталкивался от слышанного и воображаемого. Я выработал привычку фиксировать в своей памяти житейские случаи и мелочи. Это расширяет мои представления о жизни. Опираясь на эти представления, я строю воображение и поверяю этим точность воображения. Кроме того, я знал женщину, которая очень походила на Анну Строгову, хотя была далеко не Анной Строговой.

— Это хорошо. Без воображения не может быть художника. Но воображение не нечто оторванное от жизни, а питаемое жизнью. Где вы работаете? Что вас окружает? — спросил Бабель.

— Я сейчас работаю в библиотеке, и меня окружают книги,— ответил я.

— Это очень плохо. Самое опасное для художника — это сделаться книжником.

Все замечательное в литературе — замечательно своей новиз-



И. Э. Бабель. Дружеский шарж Б. Ефимова.

ной. Ни одна самая хорошая книга не способна дать этого. Новизна в широком смысле этого слова — это жизнь. Мой совет: держитесь ближе к жизни, знайте больше простых людей, населяющих землю, и бойтесь книжничества. Плохо, когда писатель отталкивается не от жизни, а от книги.

— Надеюсь, все сказанное вами никак не противоречит необходимости знания книги? — спросил я.

Бабель ответил:

— Само собой разумеется. Нельзя смешивать книжничество и знание книги. Для писателя знание книги — это знание важной области жизни, приобщение к культуре.

— Мне кажется, что я представляю все это верно,— сказал я.— Сошлюсь на свой маленький опыт: рукопись, которая лежит перед вами, создавалась не мной одним. Говорю это, расширяя самое понятие «создавалась». Это — концентрация жизненного опыта множества людей. Я собирал этот опыт в той среде, которая бли-

зка и понятна мне: крестьяне, охотники, рыбаки. До двух десятков людей разного пола и разных возрастов находятся под постоянным моим наблюдением. Я слежу за всеми движениями их жизней. Это помогает мне видеть общее через частное. Даже тогда, когда я начинаю представлять прошлое, я мысленно передвигаю туда этих людей, и это прошлое начинает рисоваться мне осязаемо, как вчерашний день, прожитый мною. Правда, все это затруднено тем, что эти люди отделены от меня расстоянием.

Таким образом, на первый план я ставлю жизнь, но роль книги для меня при этом не уменьшается, а увеличивается. Книга держит меня в состоянии напряжения, она помогает лучше видеть жизнь и глубже осмысливать ее многообразие.

— Почему вы не живете в деревне? — спросил Бабель.

— Возможно, что это было бы лучше. Но для того, чтобы плодотворно наблюдать, мне нужна не вообще деревня, а деревня, с которой я кровно связан. Это неосуществимо практически. Я не найду там дела, могущего соединить два важных обстоятельства: возможность зарабатывать хлеб насущный и заниматься литературой.

Кроме того, город мне жизненно нужен, мне нужна творческая среда, темп и атмосфера городской культурной жизни.

— Поговорим теперь о рукописи, точнее — о языке,— сказал Бабель, беря рукопись.

Ваш язык прост, точен, но, к сожалению, не везде. Вы еще не всегда умеете говорить своим словом.

Вот примеры.

Вы пишете: «Анна вернулась с покрасневшими глазами». Это хорошо и просто. Но вот дальше: «Прикладываясь к чудотворной иконе, она поддалась царившему возле нее экстазу и всплакнула». Экстазу? Это слово не только не ваше, оно враждебно вашей манере.

Дальше. «Захар не изменил спокойного тона». Тон?! Поверьте, это не ваш тон.

Еще: «В конце августа не по-летнему шелестят деревья. Высохшие листья, хрупкие, как лед первых заморозков, трепещут от самого легкого дуновения ветра». Это хорошо сказано. Точно. Просто. Но вдруг читаю дальше: «В эту пору по полям стоит печальный шум, нагоняющий унылые думы». Унылые думы... Господи, кто только не писал этого!

Или вот еще: «Матвей отвечал не торопясь. Приятно было чувствовать себя в центре напряженного внимания этих людей». В центре напряженного! Это же не ваше. Это написано с чужого голоса.

А вот описание грозы: «В Ильин день разразилась гроза. Вначале солнце с остервенением жгло землю. От зноя повяли листья берез. Воздух накалился, как в жарко натопленной бане. Лошади забились в кусты, коровы залезли в речку, курицы ходили по двору, вяло раскрыв клювы. Артемка босой выбежал на крыльцо, обжег ноги и с плачем поспешил обратно».

Все это хорошо. Тяжеловесно. Ощущаешь физически, пятками,

вместе с Артемкой. И вдруг вы теряете свой язык: «Воцарилась жуткая тишина. Казалось, что сейчас свершится что-то гигантски катастрофическое». Отвратительно! Еще пример того, как вы портите фразу: «Агафья нажарила рыбу на сковороде, и дед Фишка, радуясь тому, что все в эту ночь произошло так, как ему хотелось, ел жареных чебаков с редкостным наслаждением». Редкостное наслаждение — из чужой песни.

«Резвой рысью жеребчик подвозил ее к селу. Он точно понимал, чего от него хотела хозяйка, и, колесом выгнув шею, красиво перебирал ногами».

Но что значит красиво? Для читателя это пустой звук. Раскройте это «красиво» в какой-то подробности.

«Страшные боли мучили его, и единственным желанием старика была смерть». Это и пережато и недосказано. Помните, что стремление жить — безгранично, даже тогда, когда жизнь для человека — страдание. Осторожно с выводами. Наконец: «Анна оделась на виду у Демьяна в сак и пошла». Сак? Это род пальто. Дайте деталь: какой сак? Пусть читатель увидит это.

Вы, наверное, спросите: как избежать этих и иных подобного рода недостатков?

Скажу — строгостью к себе. Взвешивайте каждое слово. Ставьте его на суд своего вкуса. Но это достигается не сразу. Это достигается тренировкой, упражнением. Только.

— Эта рукопись — моя первая вещь,— сказал я.— Верно ли, что надо начинать с мелких произведений? Почему в редакциях морщат лбы, когда говоришь, что начал сразу с романа?

— Морщат лбы невежественные люди,— засмеялся Бабель.— Литература — более тонкое дело, чем она представляется таким людям. Каждый начинает по-своему, и вредно прописывать рецепты со стороны.

Если вы начали с романа, то, следовательно, ваш строй души сложился именно в этом плане.

Многие говорят: «Горький начал с рассказов, Горький советовал писать рассказы». Но забывают другое: никто так бурно не поддерживал литераторов, начавших с романа, как Горький.

Затем. Русская литература знает и такие важные факты: Толстой начал романом, Достоевский начал романом. Не надо представлять дело так: роман — это что-то высшее, рассказ — нечто низшее.

Хороший рассказ стоит на том же уровне, на каком стоит хороший роман.

Роман, рассказ — это скорее то, в чем выявляется творческое «я» писателя.

Вы знаете, что я не написал романов. Но скажу вам откровенно: самое мое большое желание в жизни — это написать роман. И я не раз начинал это делать. К сожалению, не выходит. Получается кратко. Может быть, поэтому я преклоняюсь перед людьми, пишущими романы. Я пишу кратко. Значит, таков мой психический склад, таков строй души.

Вообще же говоря, моя литературная жизнь сложилась счастливо. Я сразу попал к Горькому.

— Что вы можете сказать мне относительно моей дальнейшей творческой работы? — спросил я.

— Углубляйте свои достоинства и недостатки. Не думайте, что это звучит парадоксально,— сказал Бабель.— Творческая индивидуальность — это и достоинства и слабости, но такие, которые вытекают из присущего только вам склада души и другими не повторимы.

Слушая других, не забывайте о своем внутреннем голосе. Сообразуйтесь с ним.

В. П. Полонский

ИЗ ДНЕВНИКА 1931 ГОДА

...Среди них — оригинал Б. Он не печатает новых вещей более семи лет. Все это время живет на проценты с напечатанного. Искусство его вымогать авансы изумительно. У кого только не брал, кому он не должен — все под написанные, готовые для печати, новые рассказы и повести. В «Звезде» даже был в проспекте года три назад напечатан отрывок из рукописи, «уже имеющейся в портфеле редакции», как объявлялось в проспекте.

Получив в журнале деньги, Бабель забежал в редакцию на минутку, попросил рукопись «вставить слово», повертел ее в руках — и, сказав, что пришлет завтра, унес домой. И вот четвертый год рукописи «Звезда» не видит в глаза. У меня взял аванс по договору около двух с половиною тысяч. Несколько раз я перечеркивал договор, переписывал заново,— он уверял, что рукописи готовы, лежат на столе, завтра пришлет, дайте только деньги. Он в 1927 году, перед отъездом за границу, дал мне даже название рассказа, который пришлет ровно 15 августа. Я рассказ анонсировал — и его нет по сие время. Под эти рассказы он взял деньги — много тысяч у меня, в «Красной нови», в «Октябре», везде и еще в разных местах. Ухитрился забрать под рассказы даже в Центросоюзе. Везде должен, многие имеют исполнительные листы, но адрес его неизвестен, он живет не в Москве, где-то в разъездах, в провинции, под Москвой, имущества у него нет,— он неуловим и неуязвим, как дух. Иногда пришлет письмо, пообещает прислать на днях рукопись,— и исчезнет, не оставив адреса...

Не так давно в какой-то польской газете какой-то корреспондент опубликовал свою беседу с Бабелем — где-то на Ривьере. Из этой беседы явствовало, что Бабель настроен далеко не попутнически.

В. П. Полонский (1886—1932) — главный редактор журнала «Новый мир» в 1926—1931 гг. Публикация подготовлена вдовой В. П. Полонского К. А. Эгон-Бессер.

Бабель протестовал. Мимоходом заметил в Литгазете, что живет он в деревне, наблюдает рождение колхозов и что писать теперь надо не так, как пишут все, в том числе и не так, как писал он. Надо писать по-особенному — и вот он в ближайшее время напишет, прославит колхозы и социализм, и так далее. Письмо сделало свое дело — он везде заключил договора, получил в ГИЗе деньги — и «смылся». Живет где-то под Москвой, в Жаворонках, на конном заводе, изучая коней. Пишет мне письма, в которых уверяет в своих хороших чувствах, и все просит ему верить: вот на днях пришлет свои вещи. Но не верится. И холод его меня отталкивает. Чем живет человек? Но внутренне он очень богат — старая глубокая еврейская культура.

Звонок Бабеля. Опять тысяча и одна увертка. Советовался-де с Горьким, и Горький не советует печатать рассказы, какие он мне дал. Но он написал «вчерне» два колхозных рассказа (об этом «вчерне» я слышал года три назад) и над ними работает. В течение месяца он их мне доставит. Узнав, что я вернусь в начале сентября: «Как приедете, в Вашем портфеле будут эти рассказы». Четыре года тому назад он так же уверял меня в том, что у меня «15 августа» будет рассказ «Мария Антуанетта», чтобы я анонсировал его в журнале,— рассказа нет и по сие время! Он роздал несколько своих рассказов в «Октябрь», мне и еще кому-то, но не для печати, а как бы вроде «залога», для успокоения «контор», которые требуют с него взятые деньги. Сдал книгу в ГИХЛ,— получив от издательства деньги и обещание книгу не печатать, так как она «непечатна»,— то есть столь эротична, индивидуалистична, так полна философии пессимизма и гибели, что опубликовать ее — значит «угробить» Бабеля. По той же причине и я не хочу печатать те вещи, что он дал мне.

Странная судьба писателя. С одной стороны, бесспорно: он «честен» — и не может приспосабливаться. С другой — становится все более ясно, что он чужд крайне революции, чужд и, вероятно, внутренне враждебен. А значит, притворяется, прокламируя свои восторги перед строительством, новой деревней и т. п.

Бабель: «Новиков-Прибой — славный писатель», про Олешу: «О, он — писатель замечательный». Обещает печатать весь будущий год каждый месяц. Замечает при этом: «Ух, много денег с вас стребую». Конечно, мы виноваты перед ним. Такого писателя надо было поддерживать деньгами. Дрянь, паразиты — выстроили домишки. Он как-то рассказывал: «Получал я исполнительные листы и один на другой складывал в кучку. Но я крепкий. Другой бы сломался, а я нет, я многих переживу».

«Соть» Леонова не нравится писателям. Б. говорит: «Не могу же я писать «Соть».

Заходил Б. Пришел вечером, маленький, кругленький, в рубашке какой-то сатиновой серо-синеватого цвета,— гимназистик с остреньким носиком, с лукавыми блестящими глазками, в круглых очках.

Улыбающийся, веселый, с виду простоватый. Только изредка, когда он перестает прикидываться весельчаком, его взгляд становится глубоким и темным, меняется и лицо: появляется другой человек с какими-то темными тайнами в душе. Читал свои новые вещи: «В подвале», не вошедший в «Конармию» рассказ про коня: «Аргамак». Несколько дней назад дал три рукописи,— все три насквозь эротичны. Печатать невозможно. Это значило бы угробить его репутацию как попутчика. Молчать восемь лет и ахнуть букетом насыщенно эротических вещей — это ли долг попутчика? Но вещи замечательные. Лаконизм сделался еще сильнее. Язык стал проще, без манерности, пряности, витиеватости. Но сейчас печатать их Б. не хочет. Он дал их мне, сказав, чтобы «заткнуть глотку» бухгалтерии. Он должен «Новому миру» две тысячи рублей. Бухгалтерия грозит взысканием. Он дал рукопись, чтобы успокоить бухгалтерию. Обещает в августе дать еще несколько вещей, которые вместе можно будет пропустить в журнале. Но даст ли? Странный человек: вещи замечательные, но он печатать их сейчас не хочет. Он действительно дрожит над своими рукописями. Волнуется. Испытующе смотрит: «Хорошо? Я ведь пишу очень трудно,— говорит он.— Для меня это мучение. Напишу несколько строк в день и потом хожу, мучаюсь, меняю слово за словом».

Ведет оригинальный образ жизни, в Москве бывает редко. Живет в деревне под Москвой, у какой-то крестьянки. Проводит в деревне все время. Керосиновая лампа. Самовар. Простой стол и одиночество. Надевает туфли, зажигает лампу, пьет чай и ходит по комнате часами, думая, иногда записывая несколько слов, потом (снова) к ним возвращаясь, переделывая, перечеркивая. Его радует удачный эпитет, хорошо скроенная фраза. Он и в самом деле мучается и пишет вещи запоем, причем пишет не то, что захотел накануне, а то, что само как-то появляется в сознании.

«На днях решил засесть за рассказ для Вас, за отделку, но проснулся и вдруг услышал, как говорят бандиты, и весь день писал про бандитов. Понимаете, как услышал, как они разговаривают,— не мог оторваться».

Сейчас он влюблен в лошадей, впрочем, это длится уже много лет, путается с жокеями, конюхами, изучает лошадей, иногда пропадает на ипподроме и конном заводе. Говорит, что пишет что-то о лошадях и жокеях.

Равнодушен к славе. Ему хотелось бы, чтобы его забыли. Жалуется на большое количество иждивенцев, кабы не они, было бы легче.

Бабель говорит: «Я Пастернака не понимаю. Просто не могу понять иногда, что он говорит».

Я его печатал в 1918 году в «Вечерней звезде» — после первых его рассказов в «Летописи». Я его тогда выручил. Когда он встретил меня в 1922 году в Москве — он привез тогда свою «Конармию»,— он буквально повис на моей шее и уверял, что он приехал в Москву именно ко мне, что он меня искал и т. д.



На праздновании юбилея журнала «Красная новь» в 1927 году. Первый справа в верхнем ряду — И. Э. Бабель, третий слева — В. П. Полонский.

Почему он не печатает? Причина ясна: вещи им действительно написаны. Он замечательный писатель, и то, что он не спешит, не заражен славой, говорит о том, что он верит: его вещи не устареют и он не пострадает, если напечатает их позже. Я не читал этих вещей. Воронский уверяет, что они сплошь контрреволюционные, то есть они непечатны: ибо материал их таков, что публиковать его сейчас вряд ли возможно. Бабель работал не только в Конной, он работал в Чека. Его жадность к крови, к смерти, к убийствам, ко всему страшному, его почти садическая страсть к страданиям ограничила его материал. Он присутствовал при смертных казнях, он наблюдал расстрелы, он собрал огромный материал о жестокости революции. Слезы и кровь — вот его материал. Он не может работать на обычном материале, ему нужен особенный, острый, пряный, смертельный. Ведь вся «Конармия» такова. А все, что у него есть теперь,— это, вероятно, про Чека. Он и в Конармию пошел, чтобы собрать этот материал. А публиковать сейчас боится. Репутация у него попутническая.

Вчера заходил Бабель, принес читать новый рассказ: розовый, в темной рубашке, в новеньком пиджаке, черное кожаное пальто, румяный, пахнет вином, весел.

— «Кормит меня, возит повсюду»,— говорит. Читал рассказ о деревне. Просто, коротко, сжато — сильно. Деревня его, так же как

и Конармия,— кровь, слезы, сперма. Его постоянный материал. Мужики, сельсоветчики и кулаки, кретины, уроды, дегенераты. Читал и еще один рассказ о расстреле — страшной силы. С такой простотой, с таким холодным спокойствием, как будто лущит подсолнухи,— показал, как расстреливают. Реализм потрясающий, при этом лаконичен до крайности и остро образен. Он доводит осязаемость образа до полной иллюзии. И все это простейшими (как будто) средствами. «Я, знаете,— говорит,— работаю как специалист, мне хочется сделать хорошо — мастерски. Способы обработки для меня — всё. Я горжусь этой вещью. И я что-то сделал. Чувствую, что хорошо». Он волновался, читая. Он доволен своим одиночеством. Живет один в деревне. Туфли, чай с лимоном, в комнате температура не ниже 26^0. Не хочет видеть никого.

Б. опять обманывает. Обещал в октябре рассказ,— не дал. Звонит, прислал письмо,— просит заключить договор: ему надо такой договор, чтобы ему платили деньги вперед. Словом, обычная история.

Пришел сегодня, принес черновик начатых рассказов.

«Нет у меня готовых, что же делать?» Правда, делать нечего. Я упрекнул его в том, что он не сдержал обещание, опять подвел меня. Обещал на декабрь, я анонсировал, а рассказа нет. Прочитал отрывок из рассказа об одессите Бабичеве, рассказ начинается прославлением Багрицкого, Катаева, Олеши — и некоторым презрением к русской литературе, на которую одесситы совершили нашествие.

Жена его в Париже. Уже несколько лет живут розно. Рассказывает, жена прислала телеграмму,— если не приедешь через месяц — выйду замуж за другого. Просто сообщил, что года два назад жена родила дочь. Равнодушен. Смеется.

Б. рассказывает, как он ходил в гости к кухарке на даче Рудзутака, его знал и управляющий дачей. Теперь на этой даче Горький. Он пошел к нему, но не с черного «кухаркиного» хода,— а через подъезд. Управляющий не знал, кто такой Б. И вообще не знал его имени, так же как и кухарка: предложил ему здесь не шататься, а идти на задний двор. Б., не ответив, прошел. Управляющий к нему: «Мы наркомов не пускаем, а ты лезешь». Но в окно его увидел Максим, сын Горького, и позвал. Кухарка дрожала, когда подавала кушать,— за столом, развалясь, сидел ее кум, ее собеседник, ее друг и гость — и разговаривал с Горьким как равный.

Л. Боровой

ПОДАРОК

— Послушай,— сказал мне однажды один мой приятель, журналист и кинематографический деятель,— сегодня у меня будет Бабель. Придет непременно, потому что я ему устраиваю аванс. А ведь он — горе мое! — не покрыл еще и прежний. Но что делать! Бабель ведь... Придут, вероятно, еще и другие. В общем, приходи. При тебе мне будет легче с ним разделаться.

Когда я пришел к Владимиру Александровичу, у него уже сидел какой-то седой красивый старик. Оказалось, что это довольно известный немецкий режиссер, бежавший от Гитлера. После долгих скитаний по Европе он приехал к нам, в СССР, прожил у нас более полугода, был обласкан и уже позволял себе критиковать наши порядки. Недавно он предложил Комитету по делам искусств поставить «Персов» Эсхила под открытым небом, по образцу Маркса Рейнгардта, с которым он долго работал.

— Комитет в принципе поддерживает эту идею,— рассказывал немец,— но почему-то никак не может сказать последнее слово. «Боитесь каких-нибудь современных персов?» — спросил я председателя Комитета. «Никого мы не боимся,— сказал председатель,— но дело все-таки сложнее, чем вы думаете». Я в сотый раз объясняю ему, что спектакль пойдет под открытым небом и помещения мне никакого не потребуется, а он все тянет и тянет, готов даже дать еще один аванс, но чувствую, что чего-то недоговаривает. И только вчера говорит мне очень осторожно: «А не будет ли это просто скучно?» «Персы» Эсхила — скучно! О чем же с ним говорить?!

Долго еще тараторил, невыносимо скромничая, этот немецкий режиссер в том же роде. Заявил даже, что сочувствует председателю, который, как он убедился, хороший человек, и притом европейски образованный. Но эта его проклятая нерешительность...

Наконец немец простился и, поговорив еще о чем-то с Владимиром Александровичем в передней, ушел.

И сейчас же пришел еще один гость, на этот раз наш, советский режиссер, у которого тоже было какое-то важное, срочное и личное дело к моему другу. Я хотел уйти, но Владимир Александрович прошептал мне, что теперь я тем более должен остаться.

И опять он ушел с режиссером в переднюю, но довольно скоро вернулся, очень усталый и скорбный. При этом он молча пожал почему-то мне руку, а своей жене Марье Романовне сказал, что пора готовить чай для Бабеля, и Марья Романовна ушла на кухню.

И снова раздался звонок, и опять это был не Бабель.

Пришла молодая, красивая и очень хорошо одетая женщина и сейчас же сообщила, что очень жалеет, что разминулась с «ним», то есть с режиссером, который приходил до нее. Она просила Владимира Александровича повлиять на этого человека, который, конечно, очень талантлив, но почему-то бросил ее с ребенком и сошелся со

своей пустенькой и, в сущности, даже не очень красивой помощницей. Владимир Александрович сказал, что он уже повлиял на ее бывшего мужа, и она ушла, заплаканная, но, кажется, довольная, передав на прощание особый привет Марье Романовне, «как женщина женщине».

И вот пришел чем-то очень довольный Бабель. Владимир Александрович рассказал Бабелю, что происходило до его прихода, и вообще о том, как его терзают по личным вопросам всякие люди, как они все ждут от него будто бы советов и наставлений, но главным образом, конечно, авансов.

— Они думают, что литература — это общество взаимного кредита! — сказал бодро Бабель.— Были такие до революции. Даже вы это, вероятно, помните,— добавил он, обращаясь ко мне.

Я подтвердил, что были такие еще на моей памяти, и напомнил, что были также и другие общества взаимопомощи. В старой Одессе, например, было общество приказчиков-евреев и отдельно общество приказчиков-христиан.

— Как же! Помню... Повес! Эс Ге Повес! — обрадовался Бабель.— Такая была фамилия у председателя общества приказчиков-евреев. А какая была у этих приказчиков библиотека! Какие они выпускали рекомендательные каталоги! Какие были у них аннотации, если говорить по-современному! У меня сохранился один такой путеводитель по новейшей русской литературе, который был издан их библиотекой в 1912 году под редакцией этого самого Повеса. Какие это были уроки словесности! А какие виньетки! Я непременно когда-нибудь напишу про это...

Между тем Марья Романовна принесла чай и разлила его по стаканам.

Бабель даже не пригубил из своего стакана. Он только поднял его, посмотрел на свет и воскликнул:

— Так я и знал. Смитье, настоящее смитье, а не чай!

— Я тоже так и знала,— сказала очень спокойно Марья Романовна.— Знала, что вы все равно заварите чай по-своему. А может быть, я попробую сделать это еще раз?

— Нет. Я это сделаю сам,— сказал Бабель и ушел на кухню.

— Смитье,— сказал он, возвратившись,— это одесское слово, но что-то очень похожее есть в Киево-Печерском патерике: «Аще бы мы ся смитием пометену быти». Может быть, сметье, а не смитье? Надо навести справки. А секрет настоящей заварки очень прост: надо положить по две ложечки чая на каждого и дать ему как следует настояться. Вот я его и оставил там, а у нас есть двадцать минут, чтобы поговорить о литературе. Чай любит настаиваться в одиночестве и под разговор о литературе.— Был я на днях в «Красной нови»,— продолжал Бабель.— Никого из старших не было. Был только Александр Григорьевич Митрофанов. Он у них сидит на прозе, но, к сожалению, ничего не решает. И очень жаль! Потому что Митрофанов человек с замечательным чутьем и безукоризненным вкусом. Человек, который в самом деле понимает, что такое литература. Поразительный человек, одно из высших

оправданий нашей революции, если бы она, святая, нуждалась в оправданиях! Сын, как он сам охотно рассказывает, вечно пьяного сапожника и его сожительницы, женщины очень сомнительного поведения. А как хорошо он видит и слышит литературу, как умеет просмотреть на свет ее ткань! Никому я так не верю, как Митрофанову! И больше чем кого-либо боюсь его. Как жаль, что сам он пишет не всегда так, как ему хотелось бы и как мне бы хотелось. Так вот, этот Митрофанов говорит мне: «У нас теперь, понимаете, только две линии в прозе: вальдшнеповская и высоколобая. Несут и несут нам какие-то записки охотников. И все больше из тайги. Но не в этом дело. Пришел сегодня бледный старый человек. Такой, кажется, сроду не держал в руках ружья. Ему бы в самый раз подумать о спасении души. А он кладет мне на стол большущий роман. «Напазончили, стало быть?» — говорю я. Он очень смущен: «Вам уже сказали, черти?» — «Никто, говорю, не сказал, сам знаю».— «А «пазончить» здесь не к месту,— отвечает с большим достоинством этот несчастный.— Посмотрите в словаре. «Пазончить», да будет вам известно, означает — обрубать конечности и даже голову... Это вы будете пазончить мою рукопись». А то приносят что-нибудь под Хаксли или под Джи Эйч Лоренса. Знаете этого великого интеллектуала, автора «Детей и любовников», «Любовника леди Чаттерлей» и прочего? Не смешивать с другим Лоренсом. Но на это у нас есть свой интеллектуал, специалист по высоколобым. Ему, конечно, лучше, чем мне,— иногда у его авторов бывает так плохо, что даже вроде бы хорошо!..» Очень мил этот Митрофанов! Но чай уже, вероятно, готов.

Бабель убежал за чаем, принес, сам разлил по стаканам, остался доволен и неожиданно заявил:

— Пейте, а я прочитаю вам мой новый рассказ.

И стал читать. Это был рассказ «Справка», который до того назывался «Мой первый гонорар». Когда он кончил читать, мы помолчали немного. Тихо улыбалась, закрыв глаза, Марья Романовна.

Наконец Владимир Александрович первым опомнился, чмокнул губами и протянул руку к тетрадке с рассказом.

— Не пойдет. Ведь сам понимаешь! Но для аванса годится. Все-таки оправдательный документ.

Бабель отвел его руку и, к моему изумлению, протянул тетрадку мне.

— Это вам за Повеса! Отличную тему вы мне напомнили.

— А вы... а у вас остался еще экземпляр? — спросил я в полной растерянности, взяв у Бабеля рукопись.

— Остался. Я его уже переписал и еще перепишу и когда-нибудь отдам ему,— сказал Бабель, повернувшись к хозяину.

— Негодяй! — ответил тот.— А как будет с оправдательным документом?

— Никак! Я не возьму под этот рассказ аванс. Ты ведь сам сказал, что его нельзя печатать.

Так я и получил от Бабеля написанный его рукой один из вариантов (и, кажется, лучший) его рассказа «Мой первый гонорар».

М. Н. Берков

МЫ БЫЛИ ЗНАКОМЫ С ДЕТСТВА

Я поступил в 3-й класс Одесского коммерческого училища имени Николая I в 1906 году. Меня посадили на парту рядом с Бабелем. В последующих классах мы также сидели за одной партой. Это сблизило и сдружило нас.

Коммерческое училище, в котором мы учились, содержалось в основном на средства одесского купечества. На подготовку в этом училище квалифицированных работников для банков и коммерческих предприятий купцы не жалели средств.

Училище занимало большое трехэтажное здание с просторными классами, залами, кабинетами, лабораториями. При училище были: большой двор, сад и даже своя церковь.

Программа училища равнялась курсу гимназии без латинского языка, но зато к этому курсу прибавлялся ряд специальных предметов: химия, товароведение, бухгалтерия, коммерческие исчисления, законоведение, политическая экономия. Много часов уделялось языкам — французскому, немецкому и английскому.

Для поступления евреев в Коммерческое училище и в Коммерческий институт была более высокая процентная норма, поэтому Бабель, не имея никакого влечения к коммерческим наукам, обучался в двух коммерческих учебных заведениях — сначала в училище, а затем в институте.

В период обучения Бабеля в училище нам, его школьным товарищам, ничто не говорило о том, что он изберет себе путь писателя. Он хорошо отвечал на уроках по литературе и получал отличные отметки по классным и домашним сочинениям. Но пятерки по литературе получали и другие ученики.

Некоторыми чертами своего характера и особенностями своей личности он все же выделялся среди своих товарищей. Он проявлял исключительное упорство и трудолюбие, когда добивался своей цели. Он очень любил историю и в детском возрасте перечитал массу книг по истории. В 13—14 лет он прочел все 11 томов «Истории Государства Российского» Карамзина. Он рассказывал мне, как ночью читал Карамзина под столом, покрытым скатертью, края которой доходили до пола. Освещением ему служила купленная им маленькая керосиновая лампочка (на Тираспольской улице в 1907—1908 гг.).

Историю нам преподавал директор училища А. В. Вырлан. Ответы Бабеля по истории были глубже и шире, чем то, что нам преподносил Вырлан. Бабеля на уроках истории мы слушали с бóльшим интересом, чем Вырлана, который вел урок в пределах учебника. В последнем классе Вырлана сменил по истории Вандрачек, великолепно знавший и преподававший историю. С ним Бабель подружился.

Преподаватель французского языка Вадон многих из нас сумел заинтересовать французской литературой. Бабель с увлечением



И. Э. Бабель — ученик Одесского коммерческого училища.

стал изучать французский язык. Его не удовлетворяли краткие изложения Вадоном биографий классиков французской литературы и содержания их произведений. Бабеля можно было нередко видеть с книгами Расина, Корнеля, Мольера, а на уроках, когда это было возможно, он писал что-то по-французски, выполняя задания своего домашнего учителя. Наиболее удобны для этого были уроки немецкого языка. Herr Озецкий был близорук и обыкновенно вел свой урок, сидя на кафедре и не замечая, что делается на партах. Бабель на его уроках работал до самозабвения над французским языком. Заканчивая свою работу, он вдруг издавал громко какой-то звук — знак не то удовлетворения, не то удовольствия. Озецкий всегда в этих случаях, обращаясь к Бабелю (он называл его Бабыл), произносил одну из двух фраз: «Бабыл, machen Sie keine faule Witzen!» или «Aber, Бабыл, sind Sie verrückt?» («Оставьте свои плоские шутки», «Вы что, с ума сошли?»).



С товарищами по учебе в училище.

В последний год нашего пребывания в училище Бабель, не довольствуясь знаниями немецкого языка, приобретенными в училище, решил заняться глубже этим языком. Он предложил мне вместе с ним работать. Мы приобрели самоучитель немецкого языка Туссена и Лангешейта и принялись за работу. Скоро я убедился, что мне не хватает ни упорства, ни усидчивости Бабеля, и я отстал от него.

Еще в школьные годы он проявил свой незаурядный талант чтеца и рассказчика.

В 1909 году группа учеников нашего класса задумала отметить пятилетие со дня смерти А. П. Чехова. Родители нашего соученика Ватмана предоставили нам большой зал в их квартире на Ришельевской улице, угол Новорыбной. Я сейчас не могу восстановить в памяти детали этого вечера. Я не помню, кто сидел рядом со мной, какие мои соученики были на этом вечере, но я четко сохранил в памяти небольшую фигуру Бабеля, стоящего на коленях перед стулом, на котором лежал лист бумаги и стояла баночка с чернилами, а он — Ванька, медленно выводя буквы, читал и писал письмо «на деревню дедушке». Я думаю, что так хорошо запомнил Бабеля таким только потому, что он своим необыкновенным чтением вызвал у меня глубокое волнение: к горлу подкатывался ком, а на глаза навертывались слезы.

О том, что Бабель пишет, мы узнали впервые примерно в 1912—1914 году. Не могу установить точную дату, но это произошло в один из приездов Бабеля из Киева в Одессу.

Он собрал нас, нескольких своих бывших соучеников, и прочитал нам написанную им пьесу. Ни названия, ни содержания пьесы я не помню, но по настроению, созданному, может быть, больше



И. Э. Бабель с отцом. 1900 год.

его прекрасным чтением, она показалась мне схожей с пьесами Чехова. Помню, что, описывая обстановку последнего действия, Бабель сделал какое-то особое ударение на том, что на стоящем у постели героини столике лежит письмо, на которое падает яркий свет от лампы. Мы были поражены уже одним фактом написания Бабелем пьесы и растроганы ее передачей — его чтением.

По окончании чтения все окружили его и стали убеждать его отвезти пьесу в Петербург и показать ее какому-нибудь редактору для напечатания. Бабель был взволнован нашим отношением, а может быть и сам своим чтением, и заявил нам: он не может вести переговоры с кем бы то ни было о продаже того, что написано кровью его сердца. Это было в период студенчества, когда он находился на содержании своего отца и не испытывал материальной нужды. Как известно, в дальнейшем он изменил свое отношение к вопросу издания своих произведений.

Еще один случай заставил меня думать о Бабеле как о писателе. В один из своих приездов в Одессу в 1912 или 1913 году Бабель пред-

ложил мне пойти с ним в пивнушку «Гамбринус», описанную Куприным в рассказе «Гамбринус». Этот кабачок пользовался дурной славой главным образом потому, что собиравшиеся там матросы, проститутки и сутенеры нередко затевали драки и можно было там, что называется, ни за что ни про что в общей свалке быть избитым. Мне очень не хотелось туда идти, но и не хотелось показаться перед Бабелем трусом. Просидели мы в «Гамбринусе» часа полтора-два. Я сидел как на иголках и ждал с нетерпением момента, когда Бабель надумает наконец уйти оттуда. Бабель спокойно рассматривал публику, обменивался репликами кое с кем. На обратном пути я спросил его, зачем нам было сидеть два часа в погребке в спертом воздухе от пивного угара и табачного дыма. Кружку пива можно было выпить в более приличной обстановке. Бабель посмотрел на меня и сказал: «С бытописательской точки зрения это очень интересно».

В первые годы после революции мы встречались редко. Он бывал у меня во время наездов в Одессу.

Запомнился его рассказ об эпизоде, закончившемся довольно печально для него. Когда Конармия откатывалась под давлением поляков к Киеву, казаки устраивали еврейские погромы в местечках. В одном месте Бабель вступил с ними в пререкания. Казаки его жестоко избили, а затем, больного, возили его в тачанке с собой в тыл, не покидая его в самые опасные моменты. По его рассказам, 300 казаков, наиболее активных участников погромов, были по распоряжению Троцкого расстреляны.

Бабель в течение четырех месяцев конца 1937 года и начала 1938 года проживал в Киеве, куда он приехал по приглашению Киевской киностудии для работы над сценарием по произведению «Как закалялась сталь». В это время мы несколько раз встречались с ним. Я до сих пор не могу себе простить, что не записывал его рассказы о встречах с видными и интересными людьми. Он так мастерски и увлекательно рассказывал, что однажды мы вчетвером — я, жена и одна пара наших знакомых всю ночь до утра слушали его рассказы о Горьком, Фейхтвангере, Станиславском, Андре Жиде и других.

На мой вопрос, почему он не пишет, он мне ответил: «Есть такая детская игра в фанты: барыня послала сто рублей, что хотите, то купите, да и нет — не говорите, белое, черное — не называйте, головой не качайте. По такому принципу я писать не могу. Кроме того, у меня плохой характер. Вот у Катаева хороший характер. Когда он изобразит мальчика бледного, голодного и отнесет свою работу редактору, и тот ему скажет, что советский мальчик не должен быть худым и голодным,— Катаев вернется к себе и спокойно переделает мальчика,— мальчик станет здоровым, краснощеким, с яблоком в руке. У меня плохой характер — я этого сделать не могу».

Мне очень хотелось узнать, как Бабель объясняет массовые репрессии и аресты, которые в то время проводились. В эту эпоху страха, взаимного недоверия, а главное, непонимания того, что

делается, трудно было ожидать от кого-нибудь откровенного и правильного толкования происходивших событий. Бабель не ответил мне на мой вопрос...

Это была наша последняя встреча. В 1939 году я был в командировке в Москве и узнал, что Бабель репрессирован.

Савва Голованивский

ВЕЛИКИЙ ОДЕССИТ

В 1927 году Одесса еще сохранила многие черты колоритного своеобразия истинной черноморской столицы, среди обитателей которой Беня Крик и Остап Бендер отнюдь не казались редкими исключениями. Нэпманский «бум» улегся уже по всей стране, но в роскошном «Фанкони» еще мелькали котелки и трости неуемных валютчиков и спекулянтов, а под развесистыми платанами в квадратном внутреннем садике «Лондонской» еще можно было увидеть заезжего турка, который из маленькой серебряной ложечки заботливо кормил мороженым местных девиц, картинно усадив их на своих толстых коленях.

«Лондонская» была нам не по карману, да и слишком шумна для людей, собирающихся ради чтения стихов и разговоров о поэзии. Нашей небольшой группе литературных юнцов больше нравился «Фанкони», где можно было занять отдельную «кабину» и где метрдотель относился к нашим еженедельным встречам подчеркнуто благосклонно. Мы — в большинстве своем студенты одесских рабфаков и вузов, весьма стесненные в финансовом отношении, заказывали себе чай, а наш почтенный руководитель Владимир Гадзинский — отбивную. За таким скромным столом мы и просиживали до часу ночи каждое воскресенье, читая вслух свою рифмованную продукцию, произведенную за неделю.

В это воскресенье, однако, наш стол выглядел куда шикарнее обычного. Пышная отбивная красовалась не только перед Гадзинским, но и перед каждым из нас, а официант носился вокруг стола со своей белоснежной салфеткой. За столом, рядом с руководителем нашей литературной группы, восседал сам директор ресторана, расточая улыбки, как истинный гостеприимный хозяин знаменитого заведения. Дело в том, что именно в этот вечер вручалась премия за самый короткий рифмованный текст для вывески здешнего кафе, которую получал я, в качестве победителя конкурса. Текст был действительно краток и действительно рифмованный, хотя этим и исчерпывались его литературные достоинства: «Пирожные всевозможные». Премия — десять рублей, что для меня, получавшего стипендию в размере тринадцати рублей в месяц, было значительной суммой.

Мы с аппетитом уплетали райское блюдо из нежнейшей свинины, впервые осознавая его неоспоримое преимущество перед обыч-

ным для нас стаканом чая, когда директор вдруг вскочил из-за стола и с театрально распростертыми объятиями кинулся кому-то навстречу. Оглянувшись, я увидел невысокого плотного человека с круглым улыбающимся лицом, которому, непрерывно кланяясь, директор пожимал руку. Я сразу догадался, что это Бабель, так как накануне видел его портрет в журнале «Шквал», а в городе читал афиши о предстоящем вечере писателя.

Исаак Эммануилович уселся на появившемся вдруг кресле между директором и Гадзинским. В мгновение ока на столе выросла бутылка шампанского и звякнули три бокала. Помню, как недоуменно скользнул взгляд Бабеля по лицам остальных, смущенный, видимо, тем, что вино подано лишь троим: он, конечно, не мог знать, что заведение уже и так понесло значительные расходы, одарив нас всех по случаю окончания конкурса бесплатными отбивными. Директор не без театрального пафоса сказал что-то об окончившемся сегодня поэтическом турнире, не упомянув, однако, имени победителя. Он постарался, помнится, придать своему тосту и некоторый общий смысл, заметив, что речь идет о его, Бабеля, литературной смене, чему почетный гость еле заметно улыбнулся. Затем трое чокнулись и выпили вино.

Бабель умел легко расправляться с излишним пафосом и, видимо, стараясь придать этой случайной для него встрече характер дружеской непосредственности, тут же заметил, что ему сегодня вообще везет на встречи со знаменитостями. Вот и час тому назад, во время перерыва на только что окончившемся вечере, в порту к нему подошел человек в визитке, с тростью и котелком в руке, и попросил разрешения представиться «коллеге». Он жаловался на затянувшийся застой в своем творчестве,— на то, что после шумного и всеобщего успеха своего предыдущего произведения никак не может войти в нормальную рабочую колею и одарить любителей изящной словесности новым шедевром. Имени своего он не называл, как видно совершенно убежденный в том, что Бабель его, конечно, и без того хорошо знает. Смущенный своим постыдным неведением, Исаак Эммануилович вертелся и так и сяк, старался навести его на разговор, из которого так или иначе можно было бы сделать необходимый вывод, и, наконец, выяснил, что разговаривает с автором действительно знаменитой песни «Ужасно шумно в доме Шнеерсона».

Все это было очень смешно, и мы от всей души хохотали.

Еще больше насмешил он нас рассказом о своем посещении Шаляпина, к которому имел поручение и письмо от Горького. У Федора Ивановича находилась какая-то дорогая ваза,— Бабель должен был привезти ее из Парижа Горькому не то на Капри, не то в Москву. Как она попала к Шаляпину и почему тот должен был вернуть — не помню, хотя Бабель говорил и об этом.

Шаляпин принял Бабеля весьма холодно — посланец чем-то вызывал явное недоверие. Он долго сличал почерк, которым написано письмо, с другими письмами Горького, как видно подозревая, что оно поддельно. Но и убедившись в подлинности письма, он

не освободился от мучивших его подозрений. Наконец Федор Иванович предложил Бабелю следовать за ним, как видно боясь оставить его одного в комнате.

Ваза оказалась довольно громоздкой. Шаляпин подержал ее в руках, не скрывая своего неудовольствия по поводу разлуки с ценным произведением керамического искусства, и вдруг ему пришла в голову спасительная мысль.

— Послушайте, вы случайно не одессит?

— Одессит,— признался Бабель.

— Хо-хо! — радостно воскликнул певец, поняв, что наконец-то спасен.— И вы надеетесь, что я вам доверю? — Он бережно упрятал вазу в шкаф и проводил Бабеля к выходу.

Мы снова дружно захохотали. У Бабеля, однако, смеялись только глаза. Рассказывая, он умел заставлять смеяться других — высшее достоинство истинного рассказчика смешных историй.

Уже пробило двенадцать, когда Исаак Эммануилович поднялся из-за стола. Директор ресторана, довольный тем, что вечер удался, и, естественно, усматривая в этом свою личную заслугу, снова неистово пожимал руку нашему неожиданному гостю. Большой и холеный, он напоминал своей театральной картинностью именно Шаляпина.

Когда пришла и моя очередь пожать на прощание руку Бабеля, черт меня дернул спросить:

— А правда, что Буденный гонялся за вами вокруг стола с саблей?

Никто не засмеялся — как видно, это интересовало всех. Дело в том, что незадолго перед этим появилась статья М. Горького, в которой великий писатель защищал «Конармию» Бабеля от нападок великого кавалериста. Вся Одесса говорила о смешном эпизоде, якобы происшедшем на каком-то большом приеме, где Буденный, встретив автора «Конармии», будто бы вознамерился смыть писательской кровью клевету на своих бойцов. Как видно, Бабелю уже надоели расспросы об этой, скорее всего, выдуманной истории, но он не рассердился и уклончиво ответил:

— Я думаю, что казнить меня он в данном случае не имел намерения.— И, уже выйдя из-за стола, добавил: — Если хотите проверить, не поступил ли он опрометчиво, приходите на завтрашний вечер: я буду читать. Ложи бенуар вы, конечно, не заказали?

Да, билетов у нас не было,— таких дорогих покупок не позволял наш бюджет. Да и достать билеты нельзя было — все распродали уже давно. Исаак Эммануилович вырвал лист из большого блокнота Гадзинского, написал записку и подал ее ныне покойному Панько Педе.

На вечер Бабеля наша группа шла чуть ли не строем. Когда Исаак Эммануилович появился за сценой Дома журналистов, все мы уже сидели на длинной деревянной лавке, так как даже по записке Бабеля в зале для нас мест не нашли. Улыбчивый, коренастый, как бы плотно всаженный в черный костюм, он поздоровался с каждым из нас, как со старым знакомым. Пока публика заполняла

довольно большой зал, занимая места согласно купленным билетам, Бабель, окруженный плотной стеной одесских журналистов и писателей, рассказывал о сегодняшней встрече со старым своим знакомым, которого не видел давно — ребе Менахэмом с Молдаванки. Старик был мудрецом, но свои сентенции и парадоксы высказывал на языке, который подчас поражал даже обитателей его живописного прихода. Бабель цитировал витиеватые периоды, в которых имена, лица и названия предметов женского и мужского рода вели себя не менее произвольно, чем знаки препинания в сочинениях начинающего школяра. Мы покатывались со смеху, опасаясь даже, что наш гогот слышен и в зале.

Наконец звякнул колокольчик, возвещая начало вечера. Уходя на трибуну, с которой предстояло читать, Бабель многозначительно ткнул себя пальцем в грудь:

— И он стал на ту пьедесталь, на которое стоял сам! — торжественно произнес он одно из изречений ребе Менахэма. И ушел на сцену, чтобы стать на эту самую «пьедесталь»...

Я слушал прекрасное чтение прекрасного рассказа «Соль» и думал об Одессе, которая в течение второго десятилетия XX века вывела в своем гнезде целую плеяду блестящих литературных талантов: Багрицкий, Олеша, Инбер, Катаев, Ильф и Петров. Чуть позже — Микитенко и Кирсанов. Веселый южный город показал миру свой роскошный выводок. Это был щедрый взнос в культурную сокровищницу, внесенный, к тому же, с истинным южным размахом. Бабель был, пожалуй, самым крупным из этой блестящей плеяды.

Недаром Горький назвал его лучшим стилистом в русской послереволюционной литературе. И конечно же, недаром, ограждая своего любимца от несправедливых нападок знаменитого кавалериста, знаменитый писатель сказал: «Товарищ Буденный охаял «Конармию» Бабеля,— мне кажется, что это сделано напрасно: сам товарищ Буденный любит извне украшать не только своих бойцов, но и лошадей. Бабель украсил бойцов его изнутри, и, на мой взгляд, лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев».

...Зал наградил писателя громом рукоплесканий. Исаак Эммануилович появился за кулисами раскрасневшийся, но, кажется, довольный собой. Вытирая белоснежным платком розовое лицо, он сказал, обращаясь к нам, тоже хлопавшим в ладоши:

— Ну как, ничего? Как сказал ребе Менахэм, «посмотрите на воробью, которое само добывает свое пище!».

Из клуба работников печати мы вышли гурьбой на улицы ночной Одессы. С Греческой свернули на Дерибасовскую, а затем на Пушкинскую. Все шумно переговаривались и состязались в остротах, а Бабель шел молча, словно утомленный недавним чтением своих рассказов.

После этого я долго не видел Бабеля и встретился с ним лишь в 1933 году в Минске — на пленуме оргкомитета будущего Союза писателей, посвященном вопросам поэзии.

Были здесь не только поэты, но и все крупные писатели вообще, а среди них, конечно, и Бабель.

В один из вечеров, после очередного заседания, мы собрались в большом ресторане. За столиком, у одной из колонн, мы сидели вчетвером — Сосюра, Микитенко, Антон Дикий и я.

Дикий был колоритнейшей фигурой. Черный, как цыган, с небольшими усиками и клинообразной бородкой, с глазами подвижными и горящими, словно раскаленные угли, он казался постоянно готовым к очередной авантюре. К писателям он имел, собственно говоря, лишь косвенное отношение, хотя издал небольшую книжицу посредственных стихов. Зато был он весьма талантливым фантазером и безобидным вруном и несметное количество необыкновенных историй, выдуманных тут же, рассказывал увлекательно и с большим количеством характерных деталей, придававших им черты истинного правдоподобия.

За столом он также рассказывал нам удивительную небылицу, якобы случившуюся с ним во время гражданской войны. Помнится, речь шла о поросенке, сыгравшем важную роль в боевой операции партизанского отряда. История была, как всегда, увлекательная и комичная, а колоритные детали поражали и захватывали.

Вдруг я почувствовал, что сзади кто-то стоит. Оглянувшись, я увидел Бабеля и Пастернака. Огромные глаза Бориса Леонидовича пылали от восторга, а Бабель молча слушал, и лицо его, наоборот, казалось, не выражало восхищения. Микитенко потеснился, указывая на стул между Диким и Сосюрой, а я поднялся, собираясь предложить свое место, но Пастернак замахал руками, призывая нас не мешать Дикому рассказывать, а ему слушать.

Когда Дикий закончил и хохот улегся, Бабель тихо произнес:

— И попадаются же, черт возьми, счастливые люди на земле! Годами иной мучится, выдумывая всякие такие штуки, а тут человек все это выкладывает, словно Ротшильд из кошелька!

— Что там! — осклабился рассказчик.— У меня таких историй целый мешок.

— Так послушайте, Дикий, вы же уголовный преступник! Ведь это же готовый рассказ! Ведь это же надо просто продиктовать стенографистке!

Дикий самодовольно улыбался, а мы — трое сидевших с ним за столом, многозначительно переглядывались. Дело в том, что совсем недавно Микитенко уже заставил однажды этого неистощимого выдумщика записать свое очередное вранье. Когда Дикий это сделал, оказалось, что рассказ не получился. Тогда его стал переписывать Микитенко, а затем Первомайский. Выяснилось, однако, что даже два талантливых писателя не в состоянии исправить то, что испортил один неумелый.

Но Исаак Эммануилович ничего этого, конечно, не знал. Он представлял себе написанное исходя из своих возможностей и, конечно же, был введен в заблуждение эффектной болтовней Антона Дикого, когда сказал, что его устный рассказ достаточно лишь застенографировать, чтобы получилось литературное произ-

ведение. Гораздо ближе к истине он был, когда проворчал, что «годами мучается иной, выдумывая всякие такие штуки», с горечью намекая на себя. Но Дикий не был этим «иным», им был Бабель, умевший превращать житейский анекдот в высокопробное литературное золото.

Как это удавалось, трудно было понять. Читая его и восхищаясь удивительной выразительностью и точностью каждого слова, я не мог себе представить оборудования его лаборатории. Но невольное признание о длительных муках проливало некоторый свет и кое-что объясняло.

Откровенно и доверительно он рассказал о своих муках позже, с трибуны Первого съезда писателей. В то время кое-кто упрекал Бабеля за длительное молчание, а находились и такие, кто клеймил его словами, весьма напоминавшими обвинительные заключения. Почему, дескать, молчит? Может быть, просто отмалчивается? Было время партизанской романтики — тогда писал, а наступил час прозаической борьбы — и он помалкивает. Даже его земляк Семен Кирсанов, отвечая, как все одесситы, вопросом на вопрос, недоумевал, правда умеряя при этом страсти и стараясь кое-кого навести на единственно верное объяснение:

> Не надо даром зу́брить сабель,—
> меня интересует Бабель,
> наш знаменитый одессит.
> Он долго ль фабулу вынашивал,
> писал ли он сначала начерно
> иль, может, сразу шпарил набело,—
> в чем, черт возьми, загадка Бабеля?..

А невысокий плотный человек с круглым улыбающимся лицом и очками в железной оправе медленно прохаживался рядом с трибуной, заложив руки за спину, и, словно рассказывая очередную историю из жизни обитателей одесской Молдаванки, тихо и дружественно признавался, что носит во чреве своем детенышей подолгу, как слониха. Он, конечно, не сказал, а возможно, и не имел в виду другой стороны своей шуточной метафоры: что только выношенные, как у слонихи, литературные детеныши и бывают полновесны, как слонята, и в этом мы можем убедиться на его опыте, а не на опыте тех, кто «шпарит набело». Ответ на недоуменный вопрос был получен из первоисточника, и все узнали, что «знаменитый одессит» пишет подолгу и рождает в муках, и потому-то в его длительном молчании особенной загадки, в сущности, и нет.

Месяца через два после съезда Бабель приехал в Харьков. Я встретил его на Сумской и потащил к себе. По дороге я стал рассказывать о главах из романа «Всадники», которые мне накануне прочел Юрий Яновский. Главы эти мне очень понравились, и я старался заинтересовать ими Бабеля еще и потому, что автору нужно было кое в чем помочь.

Яновскому в то время было нелегко. Обстоятельства сложились так, что его почти не печатали. Он был угнетен, ничего не зарабатывал и в таких условиях писал свой роман. Это был высокий, строй-

ный, очень сдержанный и органически интеллигентный человек. Ироническая улыбка, словно защитная маска гордеца, почти постоянно светилась на его красивом лице, надежно скрывая от постороннего взгляда его невеселые внутренние переживания. Но я, живший с ним в одной квартире в писательском доме уже более шести месяцев, знал, в каком он положении, и, хоть не имел реальной возможности, очень хотел ему помочь — особенно после ознакомления с отрывками из его нового произведения.

Исаак Эммануилович имел, конечно, больше возможностей. Встретив его теперь, я вспомнил, что слыхал о близком его знакомстве или даже дружеских отношениях с тогдашним директором ОГИЗа,— это могло пригодиться в данном случае. И когда я тут же поделился с Бабелем и Олешей впечатлениями от произведения и намекнул на бедственное положение автора, Исаак Эммануилович, знавший Яновского по Одесской киностудии, сказал:

— Пошли к нему.

Я не был уверен в том, что Яновского легко будет уговорить прочесть снова то, что он мне прочел накануне, и сказал об этом.

— А мы его перехитрим,— улыбнулся Исаак Эммануилович.— Откровенно признаемся, что хотим помочь.— И, понизив голос, поделился секретом: — Когда говоришь правду, это иногда действует.

Юрий Иванович приветливо встретил старых знакомых по Одесской кинофабрике, где он прежде был главным редактором. После недолгих блужданий вокруг да около Исаак Эммануилович сказал:

— Послушайте, деловое общение — лучшая гарантия успеха. Это, между прочим, относится и к писателям. Так вот, доставайте свою новую рукопись и прочтите нам несколько глав.

Не знаю, подействовало ли на Яновского его «чистосердечное признание», или он просто не решился отказать Бабелю,— Юрий Иванович лишь наградил меня своим ироническим, но на сей раз отнюдь не язвительным взглядом и пошел к своему небольшому письменному столу, достал рукопись и безропотно начал читать.

Бабелю понравилось то, что он услышал. Мягкие акварельные краски тогдашней прозы Яновского и подчеркнутая приземленность его собственной прозы были, по сути, разными сторонами одинакового восприятия действительности. Оба они преклонялись перед духовным величием человека, одевали его в яркий, а подчас и пышный наряд поэтических преувеличений: шли к одной и той же цели, хотя и разными дорогами. Бабель это, как видно, сразу почувствовал и высоко оценил.

Однако Яновскому он прямо не высказал своего восхищения, проявив таким образом и мудрость и такт: стимулирующую похвалу уместно расточать, когда говоришь с младшим. Восхищение произведением равного может иногда обидеть не меньше, чем откровенная хула. Поэтому Исаак Эммануилович только сказал:

— Что ж, вы свое дело знаете!

Но на улице, по дороге к гостинице, Исаак Эммануилович дал полную волю чувствам и не стеснялся в эпитетах ни по отношению к «Всадникам», ни по отношению к их автору.

Вскорости я должен был ехать в Москву, и, прощаясь у подъезда гостиницы, мы условились, что пойдем к Халатову вместе.

В приемной директора ОГИЗа произошел смешной инцидент. Войдя, Бабель направился прямо к двери кабинета Халатова, но ему преградила путь коренастая секретарша. Довольно грубо остановив его, она заявила, что директор занят и сегодня не будет принимать. Бабель попросил все же доложить и назвал свою фамилию. Но секретарша наотрез отказалась докладывать — видимо, имя знаменитого писателя ей ничего не говорило.

— Позвольте,— возмутился Исаак Эммануилович.— Для чего же вы здесь сидите, если не желаете докладывать, что кто-то пришел?!

Поднялась настоящая перепалка. Вдруг массивная дверь распахнулась и на пороге появился бородач в кожаной куртке — Халатов. Увидев Бабеля, он просиял, обнял его и, взяв под руку, повел к себе. Я тоже вошел. Секретарша осталась в приемной, как видно, очень посрамленная.

Они долго по-приятельски разговаривали о том о сем, не имеющем никакого отношения к поводу нашего посещения. Наконец Бабель поднялся, и я уже готов был подумать, что о романе Яновского он так ничего и не скажет — то ли забыл, то ли передумал говорить. Но, уже пожав на прощание руку Халатову, Бабель, как бы невзначай, сказал:

— Да, вот что. В Харькове сейчас пишется замечательная книга. Нужен подходящий аванс.

— Фамилия? — спросил Халатов, взяв карандаш и придвинув к себе поближе отрывной календарь.

— Яновский.

— Юрий Яновский,— вставил я.

Халатов записал, но ничего не сказал. Его безразличие меня расстроило, но Исаак Эммануилович, как видно, не беспокоился.

Когда мы появились в приемной, секретарша робко подошла к Бабелю:

— Вы уж простите меня,— пролепетала она.— Сами понимаете, я — одна, а вас много...

— Ну конечно,— улыбнулся Бабель.— Ведь это самое сказал еще Понтий Пилат Иисусу Христу, разве вы не помните?

— Да, да, конечно...— продолжала несчастная секретарша, заботливо провожая нас к выходу: знание истории христианства, как видно, не входило в ее обязанности.

А когда я вернулся в Харьков, оказалось, что договор для Яновского меня опередил. Прошло еще несколько дней, и прибыл почтовый перевод на довольно значительную сумму. Юрий Иванович все так же иронически улыбался, но на протяжении последующих двух месяцев почти не выходил из своей комнаты: работал усиленно.

Года через два, уже в Киеве, как-то позвонил Довженко.

— Приехал Бабель,— сказал он.

— Мы к вам сейчас зайдем.

Но Александр Петрович почему-то не пришел — вдруг оказался занят. С Бабелем явилась Юлия Солнцева. Отворив дверь, я услыхал саркастический возглас Исаака Эммануиловича:

— Пятьдесят девятая квартира! Да, наша литература велика!..

Не успев еще снять пальто, он направился прямо к книжным полкам. Бегло просмотрел сквозь свои толстые стекла корешки книг и остановился на марксовском издании сочинений Бунина.

— Воробью добывает свое пище из неплохого источника! — воскликнул он, как некогда ребе Менахэм, с удовольствием перелистывая том писателя, книги которого не так часто встречались в те годы на полках писательских библиотек. Присутствие этих книг в моей скромной библиотеке, кажется, заметно подняло в глазах Бабеля мой писательский престиж.— Кстати, о ребе Менахэме,— сказал Исаак Эммануилович, вдруг захлопнув книгу.— Старик приказал долго жить. Но на прощание с неблагодарным человечеством он высказал ему довольно мрачное предостережение: «Хороня своих мудрецов,— изрек он,— люди остаются в дураках». Точного синтаксиса этого изречения я не сохраняю, так как услыхал его не из первоисточника. А человек, передавший его мне, был профессиональным редактором и не заботился о подобных пустяках.

Мы решили прогуляться и вышли на улицу. Выяснилось, что Исаак Эммануилович приехал в Киев в связи с предполагавшейся постановкой на Киевской киностудии какого-то сценария по роману Николая Островского «Как закалялась сталь». Бабелю было поручено довести плохое кинопроизведение до нужной художественной кондиции. Уж кто-кто, а он умел оживить скучный диалог или невыразительную характеристику действующего лица — исправление чужой стряпни стало в последнее время его побочным занятием, пополнявшим кое-как скудные финансы.

Мы бродили по улицам прекрасного города, разговаривая о незначительных вещах, словно уверенные, что у нас еще будет время поговорить о более серьезном. Ведь человек никогда не знает, что его ждет, и с непростительным легкомыслием уходит от предположения, что встреча может быть последней...

Татьяна Тэсс

ВСТРЕЧИ С БАБЕЛЕМ

> Угасает запад многопенный,
> Друга тень на сердце
> у меня...
> *Николай Тихонов*

Большое лиловое облако плотно закрывало солнце, облако не обещало ни дождя, ни грозы, а только погасило краски летнего утра, и они примолкли, утратив свою цветущую яркость. Все вокруг стало простодушно тихим и сереньким, как бывает иногда ранней осенью, и казалось, что осень уже пришла раньше времени и в лес, и в сад. Но листва на деревьях зашуршала, качнулась, подул откуда-то ветер, облако медленно двинулось, открывая ослепительно голубой край неба, и началось чудо преображенья.

Трава, кусты, растенья — все вспыхнуло свежестью, теплые солнечные пятна легли на землю, листья закипели, сверкнули серебром своих нежных подкладок, пролетел тяжелый шмель и сел на куст, качнув тонкую ветку. Знакомая птица с белым пятнышком на лбу, быстро-быстро тряся рыженьким хвостиком, пошла пешком по дорожке. Все было мило душе, все казалось по-новому прекрасным, омытое чистым утренним светом, и так бы сидела я и наслаждалась красой природы, если бы не белый лист бумаги, заложенный в пишущую машинку.

Ничто не может быть страшней этого белого листа, на котором еще нет ни одной строки, и вместе с тем ничто на свете не обладает такой притягательной тайной силой.

Молодые «Серапионовы братья», встречая друг друга, говорили вместо приветствия: «Здравствуй, брат, писать очень трудно».

С той поры прошло много лет, а литература, слава богу, не стала более легким делом. Но самая трудная задача, на мой взгляд,— писать о дорогих тебе людях, которых хорошо знала.

Не один раз я закладывала в машинку чистый лист бумаги, чтобы рассказать о встречах с Исааком Эммануиловичем Бабелем, и вытаскивала этот лист обратно, так и не написав ни строчки. Больше всего меня страшило вот что: я старалась представить, что сказал бы сам Бабель, если бы прочел то, что пишут о нем другие. Этот незримый суд, на который я выносила свое еще не написанное сочинение, так пугал меня, что я бежала прочь от пишущей машинки. И всякий раз при этом вспоминалось мне одно и то же: давно минувшее раннее зимнее утро и телефонный звонок.

В то утро в только что вышедшем номере «Известий» был напечатан мой очерк о Давиде Ойстрахе. Могучий талант Ойстраха восхитил меня, а когда я, перед тем как писать очерк, побывала у него дома, восторг мой удвоился. На столе Ойстраха лежал слепок с руки Изаи, и я не могла оторвать глаз от этой великолепной кисти, широкой и сильной, как рука рыбака, с длинными, чуткими паль-

цами музыканта. Впервые я увидела вблизи скрипку, на которой играл Ойстрах: вынутая из футляра, беззащитно доступная, она поражала лебединой простотой своей формы, таинственным, тусклым блеском драгоценного дерева. Партитуры скрипичных концертов, нотные папки, портреты великих дирижеров, огромный распахнутый рояль — сама музыка была хозяйкой этого дома, главенствовала в нем.

Все увиденное настолько меня сразило, что обильные метафоры и нарядные фразы сами собой слетали с моего пера: очерк был заполнен ими до краев. Я так берегла их, что просидела в редакции до глубокой ночи, сторожа каждую строчку, чтобы ее не вычеркнул редактор.

Заснула я поздно. Рано утром меня разбудил телефонный звонок.

— Говорит Ойстрах,— прозвучал в трубке задыхающийся от смеха, знакомый голос Бабеля.— Я хочу поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали...

И тотчас же, словно освещенное лучом беспощадного прожектора, мое собственное сочинение предстало передо мной в совершенно ином виде.

Как, как я не видела его чрезмерной пышности еще вчера? За «превосходными степенями», которые ничего не могли добавить к ореолу и без того прославленного скрипача, я упустила его душу, ничего не рассказала об одержимом трудолюбии Ойстраха, о его непримиримой взыскательности к самому себе, удивительной скромности, спокойной простоте, юморе — о многом, что было ему присуще как музыканту и человеку. Сколько раз потом, когда меня искушала ложная нарядность фразы, в моих ушах звучал знакомый, задыхающийся от смеха голос: «Я хочу поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали...» И я тотчас же зачеркивала ненужную строку.

Ох, как хочется, чтобы таких строк не было в рассказе о самом Бабеле! А написать о нем все-таки решилась, ибо поняла, что уже не могу не написать.

Впервые я встретила Исаака Эммануиловича Бабеля в Москве, у писателя Михаила Левидова.

Человек тонкого и ироничного ума, остроумнейший собеседник, Левидов был жаден до разговоров: в доме у него, в небольшом кабинете, уставленном по стенам ореховыми книжными шкафами, собирались за чаем писатели, журналисты, режиссеры, актеры, художники, шли творческие споры, обсуждались литературные события, театральные премьеры, новые книги. Приходить к Левидову было всегда интересно. Знакомый писатель, по доброте своей, привел меня, начинающего литератора, в этот радушный дом; познакомившись с семьей Левидовых, я стала бывать у них часто.

В один из таких вечеров у входной двери позвонили, и хозяйка пошла встречать очередного гостя. Левидов, расхаживая вдоль книжных шкафов, сыпал парадоксами. Вдруг, прервав свою речь, он прислушался, и его подвижное лицо с всегда иронической складкой у тонких губ стало непривычно серьезным.

— Если зовут человека в гости,— ворчливо сказал в коридоре незнакомый голос,— если зовут человека в гости, а сами живут на шестом этаже, надо его предупреждать заранее, что лифт не работает, не работал и, наверное, не будет работать никогда.

— Это Бабель,— произнес Левидов с особой и неожиданной для меня значительностью.— Пришел все-таки...

Левидов быстро направился к дверям.

Но гость уже входил в комнату.

Я никогда не встречала Бабеля в Одессе, хотя для обоих нас Одесса была родным городом. Он уехал оттуда много раньше, чем я, до Одессы только долетали слухи о стремительном успехе его первых, напечатанных в Москве рассказов. Нас, молодых сочинителей, эти рассказы поражали своей мускулистой энергией, новизной красок, бесстрашием метафор: проза Бабеля была для нас одновременно открытием и потрясением.

И вот сейчас Бабель вошел в комнату, и я увидела его своими глазами.

Внешность его, по первому впечатлению, могла бы показаться непримечательной, и вместе с тем, увидев Бабеля хоть однажды, его нельзя было ни забыть, ни с кем-либо спутать.

Невысокого роста, коренастый, в очках, шагающий неторопливо, чуть вразвалку, он не походил ни на знаменитого писателя, ни тем более на бывшего кавалериста и поначалу выглядел, что называется, весьма обыкновенно. Но не проходило и нескольких минут, как вы ощущали идущую от него скрытую внутреннюю силу. В лице его поражало соединение черт как будто несовместимых: ребячества и древней мудрости. Мягкие, детски припухлые губы как бы сами собой складывались в лукавую улыбку, огромный лоб мудреца обладал простодушной подвижностью, то и дело собираясь в морщинки любопытства или изумления.

Но удивительней всего были его глаза.

Они всматривались в вас с живым, открытым интересом, и внимательный их взгляд странным образом сразу обязывал вас не дать этому интересу погаснуть.

Это отнюдь не значило, что вы должны были изо всех сил стараться «произвести впечатление» на вашего собеседника,— ничего подобного. Живые, зоркие, вглядывающиеся в вас глаза как бы требовали, чтобы вы оставались только самим собою, ибо именно это было всего интересней Бабелю: увидеть человека таким, какой он есть. Смотрел Бабель на собеседника, чуть наклонив голову, сквозь стекла очков; очки у него были самые обыкновенные, без модной тогда толстой роговой оправы,— очки учителя или конторского работника, с тонкими, заходящими за уши дужками.

Прерванный приходом Бабеля общий разговор вскоре возобновился, разгорелся очередной спор, но Бабель, не вступая в него, лишь поглядывал на спорщиков, переводя глаза с одного на другого.

Слушал он с необыкновенным вниманием, которое ничуть не ослабевало, если собеседник, разгорячившись во время спора, вдруг начинал нести очевидную чушь,— тогда Бабель поворачивался

всем корпусом именно к нему и вглядывался в спорщика с живейшим любопытством. Наконец один из присутствующих задал ему какой-то вопрос, и тут я впервые увидела одну характерную особенность Бабеля, которую потом так хорошо знала.

Ответил он не сразу.

Слегка приподнявшись со стула, он снова опустился на него, подложив под себя одну ногу; в такой позе обычно сидят не взрослые люди, а непоседливые подростки, за что получают замечания от учителя в школе. Чуть вытянув «трубочкой» губы, он помолчал и лишь потом неторопливо ответил. Но этот ответ был таким блистательным по остроумию и мысли, так выразительно, свежо и точно было каждое произнесенное им слово, что все спорщики, сразу затихнув, слушали Бабеля, не сводя с него глаз. А он, увлекшись, принялся рассказывать одну историю за другой.

Рассказчик Бабель был необыкновенный.

Он владел тайной силой словесного изображения, заставляя слушателей как бы увидеть своими глазами каждого человека, о котором рассказывал, и все, что с этим человеком происходило.

Трагическое соединялось в его историях со смешным, искренность соседствовала с лукавством. Магия его воображения была настолько сильна, что даже самые испытанные рассказчики, самые избалованные удивительными историями литераторы слушали его затаив дыхание. И сколько раз после этого вечера, когда я видела, как Бабель, приподнявшись со стула, снова на него садится, подложив под себя одну ногу и вытянув «трубочкой» губы, я замирала от радостного ожидания, зная, что сейчас произойдет очередное чудо.

Иногда это разворачивался целый сюжет, рассказанный с тончайшими подробностями, с сочными, то жесткими, то забавными деталями, а иногда всего лишь две-три неторопливо произнесенные фразы, снайперски точно определяющие смысл события или характера человека. Но всякий раз, если тема была Бабелю интересна, вспыхивало фейерверком его поразительное по силе воображение.

Из дома Левидовых мы ушли одновременно.

Я жила тогда неподалеку на Арбате, Бабель пошел меня проводить. Когда мы прощались, я почему-то рассказала, что увлекаюсь сейчас фотографией: Роман Кармен, работавший в ту пору фоторепортером, приохотил меня к своему делу, когда я ездила вместе с ним на съемки.

— Приходите как-нибудь, я вас сфотографирую,— с беспечной храбростью сказала я.— Только днем, чтобы я могла сделать снимок при дневном освещении.

Внимательно на меня покосившись, Бабель промолчал. Позже я узнала, что фотографироваться он не любил и собственных фотографий, снятых в зрелом возрасте, у него почти не было.

К моему удивлению, спустя несколько дней раздался телефонный звонок.

— В котором часу бывает хорошее дневное освещение? —



И. Э. Бабель в 1927 году. Фото Татьяны Тэсс.

ворчливо спросил негромкий, чуть задыхающийся голос, который позже стал так хорошо мне знаком.

И вот солнечным полднем, точно в назначенное время, в перенаселенной коммунальной квартире на Арбате появился удивительный гость.

С интересом поглядывая вокруг сквозь очки, он не торопясь прошел по высокому, бесконечно длинному, тускло освещенному единственной лампочкой коридору огромной квартиры, некогда принадлежавшей банкиру Ведерникову, а в пору, когда я въехала в нее, вмещающей девять семейств. Бывшая роскошная гостиная банкира с позолоченной лепниной на потолке была разделена фанерной перегородкой на две комнаты; одну из комнат занимала я.

Пристроив фотоаппарат на старомодный деревянный штатив, я усадила Бабеля так, чтобы солнечный свет падал на его лицо слева, а справа, помня наставления Кармена, включила для «подсветки» настольную лампу. Нажав кнопку, висящую на спусковом тросике, я стала, следуя указаниям своего наставника, отсчитывать шепотом

выдержку: «Двадцать один... двадцать два... двадцать три...». Фотографировала я на стеклянную пластинку старенькой камерой, подаренной мне в детстве отцом, выдержку надо было делать большую, и все это время мой натурщик, подложив под себя правую ногу, терпеливо сидел, освещенный с двух сторон, и боялся пошевелиться, чтобы не испортить мне снимок.

Ночью, закрывшись в комнате и завесив окна от света уличных фонарей, я проявляла две снятые пластинки.

По Арбату с грохотом проносились запоздавшие ночные трамваи, призрачно мерцала красная лампочка, я осторожно покачивала эмалированную кювету с проявителем и вдруг, замерев, увидела, как на негативе, освещенное рубиновым светом, проступает четкое изображение...

На следующий вечер с помощью самодельного увеличителя, напоминающего неуклюжий деревянный ящик, я отпечатала снимки.

На одной фотографии Бабель был серьезен, глядел прямо в объектив; широко развернутый его лоб казался гладким, без морщин и складок, губы не улыбались — он был похож на себя, ничего не скажешь, и вместе с тем чего-то главного, ему присущего, в этом снимке не хватало. Но вторая фотография... Чуть сощуренные глаза смотрели сквозь стекла очков на что-то видимое ему одному, в углах пухлых губ дрожала усмешка, высокий лоб пересекала крутая складка, поза была непринужденной, свободной, и таким лукавством дышало это удивительное лицо, столько было в нем ума, юмора, иронии, неутомимого любопытства, столько неукротимого интереса к жизни...

И вместе с тем едва уловимая таинственность сквозила в нем, словно напоминая: не так-то просто разглядеть, что за этой усмешкой скрыто...

Когда через несколько дней я показала оба снимка Бабелю, он, бегло взглянув на первую фотографию, отложил ее в сторону. Второй снимок он разглядывал долго и внимательно.

Потом его губы тронула улыбка, очень похожая на ту, что была схвачена на снимке.

Бабель вынул ручку — черный «Паркер»,— перевернул фотографию и на обороте написал:

«В борьбе с этим человеком проходит моя жизнь.

И. Б.»

...С того дня, когда в комнате на Арбате я сделала две эти фотографии, минуло много — ох как много! — времени.

Были тяжкие годы, была война, были бомбежки Москвы, когда сброшенные с фашистских самолетов бомбы разорвались возле большого дома, куда я переехала с Арбата, и в квартире вылетели все стекла. Была в первую военную зиму жизнь на казарменном положении в редакции «Известий», когда моим домом стал один из редакционных кабинетов, а новенькая квартира, которую я еще не успела толком обжить, стояла со всеми вещами брошенная, замерзшая, с забитыми фанерой окнами и кружевным инеем на ледяном паркете.

Словом, было многое, что говорить.

Но две хрупкие стеклянные пластинки, два слабеньких негатива с изображением удивительного человека, которого уже давно нет на свете,— они уцелели, сохранились, пережили все. Как прочны иногда бывают самые, казалось бы, хрупкие предметы, через какие испытания они с поразительной стойкостью проходят...

В сборнике произведений Исаака Эммануиловича Бабеля и в книге критика Федора Левина, посвященной его творчеству, можно увидеть сделанные с этих негативов снимки.

А фотография Бабеля — та, на обороте которой он сделал надпись,— стоит в моем книжном шкафу под стеклом, и я вижу ее каждый день, когда сажусь работать...

Но вернемся снова к рассказу о встречах с Бабелем.

Спустя некоторое время после нашего знакомства Бабель повез меня на бега.

Я знала о его любви к лошадям, много раз в книге «Конармия» перечитывала страницы, полные неведомой и поражавшей меня страсти. Но силу этой любви я поняла только тогда, когда вместе с ним оказалась на ипподроме.

Мы прошли на трибуны; среди завсегдатаев, к удивлению своему, я увидела Михаила Михайловича Яншина, Николая Робертовича Эрдмана, знаменитого дамского парикмахера Поля... Бабель оживился, глаза его блестели, он весело здоровался со знакомыми, с любопытством разглядывал новичков — в пестрой, странной толпе, заполнявшей трибуны ипподрома, все было ему привычно, все интересно.

Но вот зазвонил гулкий колокол старта — начался заезд. По беговой дорожке помчались рысаки. Взглянув на Бабеля, я его не узнала.

Он уже не улыбался, не шутил, не разглядывал толпу. Глаза его стали серьезными, лицо напряглось.

Подавшись к барьеру, он неотрывно смотрел на летящих по дорожке лошадей, на их мускулистые прекрасные тела, узкие гордые головы, на наездников в ярких камзолах и картузах, сидящих в легких двухколесках, так называемых «качалках», на стальные руки, державшие вожжи,— руки, от каждого движения которых исходила воля и сила... Казалось, Бабель ничего больше не видел, ничего не слышал, кроме частого, упругого стука копыт по беговой дорожке; лицо его дышало наслаждением, счастьем, восторгом, и было видно, что прекрасней зрелища, чем это, для него нет.

На бегах Бабель не играл.

Он был знаком со всеми наездниками, с некоторыми из них дружил, часто бывал у них в беговых конюшнях, хорошо знал их лошадей. При таких обстоятельствах даже близко подходить к билетной кассе он считал для себя неудобным. Но вдруг, неожиданно для самой себя, захотела сыграть на бегах я.

Когда Бабель увидел, что я достаю кошелек, глаза его сверкнули любопытством, но он промолчал. Он внимательно наблюдал, как я вытаскиваю из кошелька находящуюся там единственную бумажку

и решительно направляюсь к билетной кассе; в углах его губ дрожал смех, но он по-прежнему не произносил ни слова. Поставила я на лошадь, имя которой мне почему-то понравилось: это была ничем не примечательная, темная лошадка, которая по своим данным никоим образом прийти первой не могла.

Но случилось так, что участвовавшие в этом заезде знаменитые фавориты один за другим дали сбой, а темная лошадка, послушно перебирая аккуратными ножками и вытянув голову, первой пришла к финишу, обставив всех соперников. По трибунам пронесся глухой, протяжный гул, знатоки пожимали плечами, удивленно листая программку, разводили руками... Бесстрастный кассир отсчитал мне за мой единственный билет целую кучу денег: на темную лошадку, кроме меня, очевидно, никто не ставил.

Торжествуя, я подошла к Бабелю. Он бегло посмотрел на меня и отвернулся, лицо его ничего не выражало, будто в том, что произошло, ничего необычного для него не было.

— Пойдем в буфет? — сказал он.— Неплохо бы сейчас перекусить.

— Нет,— решительно сказала я.— В буфет рано. Я хочу поставить еще на какую-нибудь лошадь.

Бабель ничего не ответил. И опять я увидела, что в углах его губ дрожит сдержанный смех.

В следующем заезде я выбрала другую лошадь, имя которой показалось мне красивым. И снова, как в сказке, захудалая, никому не известная лошадка пришла к финишу первой.

Тогда я еще не знала, что с новичками, не разбирающимися в резвости лошадей, ничего не смыслящими в тонкостях бегов, не знающими ни наездников, ни рысаков, такие случаи иногда бывают. Бабель, конечно, это знал. И когда я поставила в третий раз и дурковатый гнедой жеребец, никогда до той поры не побеждавший, обошел всех фаворитов, Бабель, к моему разочарованию, решительно сказал, что пора ехать домой.

Завсегдатаи удивленно провожали его глазами, когда он пробирался сквозь толпу к выходу, а за ним плелась я, смутно догадываясь о причине, по которой он уходит с ипподрома много раньше своего обычного времени.

Разгоряченная удачей, на следующий беговой день я отправилась на ипподром одна.

О том, что на этот раз произошло, долго рассказывать не стоит: ни одна из выбранных мною лошадей не пришла к финишу ни первой, ни даже третьей. Я проиграла весь свой роскошный выигрыш, и у меня не осталось даже несколько копеек на трамвай. Ошарашенная и расстроенная, я поплелась с бегов пешком.

Когда я, усталая, растрепанная, красная, в забрызганных грязью туфлях, добралась до Триумфальной площади (так называлась тогда площадь Маяковского), то вдруг увидела перед собою Бабеля.

Он с любопытством оглядел мою неприглядную внешность, и по блеску в его глазах я поняла, что для него не тайна, откуда я по-

явилась. Волнуясь и пересыпая свое повествование специальными, подслушанными у завсегдатаев «беговыми» словечками, я принялась рассказывать о том, что было на ипподроме. Перебив меня, Бабель неожиданно спросил:

— А вы хоть в буфет там зашли? Ели что-нибудь?

— Только и дел у меня было, что в буфет ходить,— мрачно сказала я.— Ничего я не ела.

Напротив Художественного театра есть маленькое кафе — «Артистическое». Бабель привел меня туда. За отбивным шницелем я принялась снова пересказывать свои злоключения, обвиняя наездников, рысаков, судей — всех, кроме самой себя. Когда я дошла до рассказа о том, как проиграла последние деньги и у меня не осталось даже на трамвай, Бабель вдруг посмотрел на меня с таким интересом, словно видел в первый раз.

— Так-таки не осталось ни одной копейки? — быстро спросил он.

— Ни одной,— созналась я.

— И вы, когда подходили к кассе, знали, что это у вас последние деньги? Знали, что, если проиграете, у вас не хватит даже на трамвайный билет?

— Знала,— вздохнула я.

— Хм...— Бабель отодвинул свою чашку кофе.— Оказывается, в вас живет настоящий азарт. Вообще-то мне нравится, когда человек азартен. Это сильная страсть, а я люблю сильные страсти. Но все-таки...— Он посмотрел на меня еще внимательней.— Все-таки дайте мне слово, что больше не будете играть на бегах.

— Ладно,— хмуро сказала я.— Не буду.

Мы попрощались. Я ждала, что через несколько дней Бабель позвонит. Но прошла неделя, а телефонного звонка не было.

Прошел почти месяц, а о Бабеле ни слуху ни духу. Тогда я еще не знала этой его способности неожиданно и бесследно исчезать, словно проваливаться под землю.

Ничто не привязывало его к одному месту, он с необычайной легкостью переселялся: то жил в большой холодной квартире своего знакомого, уехавшего на работу в наше посольство в Лондоне, то вдруг оказывался в маленькой комнате старого деревянного дома на Красной Пресне. У него не было ни мебели красного дерева, ни машины, ни кабинета с большими книжными шкафами, что не мешало ему быть великолепным знатоком литературы, человеком высокой культуры и безупречного литературного вкуса. В ту пору у него не было даже своей квартиры — вот уж кому поистине, кроме «свежевымытой сорочки», ничего не было надо...

Так же внезапно, как Бабель исчезал, он появлялся или давал о себе знать.

Минуло еще несколько дней, и я получила почтовую открытку, пришедшую из деревни Молоденово. Она лежит сейчас передо мной, эта пожелтевшая открытка, исписанная мелким косым почерком:

«Третий день болит голова. Дьявольский климат. При таком климате надо бы каждому гражданину, ни в чем особенном не замечен-

ному, раздавать по карточкам по крупице радия, чтобы он лучеиспускал. Неумолчно ревет корова. Она требует трех вещей: травы, солнца и супружества. Ревет она упрямо, забирая все выше, вытягивает морду из стойла и таращит глаза. С таким откровенным характером, конечно, ей легко поживется на свете...

Вернусь я в Москву 1 или 2 мая. Желаю Вам от господа бога хорошего расположения духа, хороших мыслей и адекватного их воплощения. Ваш И. Бабель.

P. S. Не придется, видно, в нынешнем году куличей попробовать...»

И действительно, вскоре Бабель снова появился в Москве. Он с удовольствием говорил о своей деревенской жизни и, смеясь, рассказал происшедшую с ним в деревне историю.

Неподалеку от Молоденова находилась дача А. М. Горького; в ту пору Алексей Максимович с семьей был в Крыму, и на даче не жил никто, кроме сторожа. В Москве у Бабеля осталось много незаконченных дел, выбираться в город из Молоденова ему было неохота, а дача Горького оказалась единственным местом, где был телефон, по которому можно звонить в Москву.

Бабель обладал поразительным свойством расположить к себе любого человека — личное обаяние его было огромным. Секрет этого непобедимого обаяния, как мне кажется, заключался в том, что он обладал редкостной способностью легко и искренне входить в чужую жизнь. Мне приходилось видеть, как он разговаривал с рабочим на заводе, с государственным деятелем, занимавшим высокий пост, с знаменитым артистом, с конюхом, с прославленным французским писателем. В любом разговоре он был абсолютно естествен, всегда оставаясь самим собой. О своем собеседнике Бабелю хотелось знать все, что может знать один человек о другом: как тот живет, что его заботит, о чем думает, как работает. Интерес его был таким живым и искренним, что люди охотно рассказывали ему о себе.

Его общительность и уменье к себе расположить сказались, очевидно, и здесь: сторож дачи Горького разрешил ему пользоваться телефоном.

Поговорив с Москвой, Бабель усаживался и начинал со сторожем неторопливую, долгую беседу, а тот, с любопытством разглядывая странного очкастого человека, живущего у деревенского сапожника, его подпоясанную ремешком косоворотку и старательно очищенные от мокрой земли башмаки, рассказывал ему о своей жизни.

Но однажды, когда, в очередной раз, Бабель пришел на дачу, сторож, выбежав к нему навстречу, шепотом сказал, чтобы он немедленно уходил: приехал Алексей Максимович с семьей. В жизни Бабеля Горький занимал огромное место; беспредельное уважение соединялось в его отношении к Горькому с трогательной нежностью. Горький Бабеля высоко ценил и очень любил.

Весть о том, что Алексей Максимович приехал, так обрадовала Бабеля, что он, позабыв обо всем на свете, ринулся в дом.

Пораженный таким нахальным поведением обычно тихого жильца сапожника, сторож с криком «Иди, иди отсюда!» стал толкать Бабеля в грудь, отпихивая его от входа. Тот завопил: «Максим Алексеевич!» — и на поднятый ими шум вышел недоумевающий сын Горького. Увидев Бабеля, барахтавшегося в сильных руках сторожа, Максим Алексеевич кинулся к нему, радостно обнял и повел в дом, в то время как пораженный сторож, тяжело дыша и утирая со лба пот, молча смотрел им вслед...

Историю эту Бабель с охотой рассказывал и сам заразительно смеялся, когда доходил до забавных ее подробностей...

Спустя некоторое время после его возвращения из деревни мы отправились вместе в парк ЦДСА. Там на теннисном корте должна была состояться встреча одного из наших игроков со знаменитым французским теннисистом Анри Коше. Под летним солнцем стояли открытые деревянные трибуны для зрителей.

В ту пору теннис не был в нашей стране таким распространенным видом спорта, каким стал сейчас: это была, кажется, одна из первых международных встреч. Мастеров у нас было тогда немного.

И вот на корте появились оба игрока.

Высокий, статный, бронзовый от загара, в белых фланелевых брюках и белоснежной рубашке с распахнутым воротом, наш теннисист был очень элегантен и красив. Французский игрок оказался маленьким, щуплым человечком, смуглым, как маслина, с худым подвижным лицом; на нем были белые трусы, открывающие тонкие, поросшие темными волосами ноги, и простая белая майка.

Игра началась.

И тут произошло нечто поразительное.

Не прилагая как будто никакого усилия, Коше каждый раз оказывался именно там, куда был направлен посланный его противником мяч.

Он не бегал, не прыгал, а просто встречал этот тугой, летящий мяч, словно был соединен с ним невидимой нитью. Его удары были безошибочны и вместе с тем казались до странности легкими, хотя на самом деле обладали «пулевой» силой. Маленький, сухой, без единой капли пота на смуглом лице, Коше без всякого напряжения как бы перелетал с одного угла корта на другой, ни разу не ошибившись: каждый его удар был безупречно точен.

Бабель следил за игрой Коше, не отрывая глаз. Наконец после долгого молчания он сказал с восхищенным изумлением:

— Мопассан!

В его устах это звучало как самая высшая похвала: Мопассан был одним из его любимейших писателей. Игра французского теннисиста восхитила его той безошибочностью, той верностью выбора и всегда пленявшей его «точностью попадания», какие он так ценил в искусстве.

Сам он был до мучительности к себе взыскателен, всегда собою недоволен, писал нелегко. К тому, что уже было им сделано, относился со строгой требовательностью и считал, что не раньше, чем к тридцати годам, после семи лет «хождения в люди», он научился

излагать свои мысли «ясно и не очень длинно». Редкостная плотность повествования, блистательность эпитетов, сочность красок — все, что так восхищало читателей, было с лихвой оплачено им долгими часами напряженной работы.

Как-то он рассказал мне, что Толстой в своем доме в Ясной Поляне работал в комнате, где окна находились под самым потолком, а с балок спускались железные крючья, на которых раньше висели копченые окорока. Там стоял простой, некрашеный дубовый стол, за этим столом Толстой любил писать.

Ножки стола соединяла толстая дубовая перекладина. Однажды она оказалась разбитой в щепы.

— Разбитой в мелкие щепы! — сказал Бабель с уважением.— Так Толстой пинал эту толстую перекладину своими маленькими, крепкими, как сталь, ногами в поисках нужного ему слова...

Помолчав, он сказал задумчиво:

— Что такое вдохновенье? Вдохновенье с одинаковой силой может испытывать и великий писатель, и посредственный беллетрист. А вот результаты...— Он покачал головой и усмехнулся.— Результаты вдохновенья у них совершенно разные.

Бабель не любил рассказывать, о чем он пишет, не делился, как другие писатели, своими замыслами, не пересказывал свои сюжеты. В его отношении к собственной работе было, я бы сказала, строгое целомудрие: он бережно, как таинство, охранял его от чужого взгляда. За годы нашей дружбы я ни разу не заставала его за работой, никогда не видела на его столе ни одного исписанного листка, ни одной рукописи — все было убрано, аккуратно спрятано перед приходом гостя. Однажды я заметила на стуле рядом с его столом небольшой кожаный саквояж, похожий на те, с какими раньше врачи ходили к пациентам. В ту минуту мне подумалось, что в этом саквояже он прячет свои рукописи и возит их с собой туда, где собирается работать. Но спросить его об этом я не решилась.

Как-то он сказал, что записывает рассказ только тогда, когда знает в нем каждое слово, когда может мысленно увидеть каждую строчку. Где работать, ему было все равно, лишь бы никто не мешал: он мог писать за кухонным столом, а в деревне Молоденово, в комнате, снятой у сапожника Ивана Карповича, писал на верстаке. Но, прежде чем записать, он вышагивал по скрипящим половицам этой большой деревенской комнаты из угла в угол, одна доска пола была горбатой, и он, не считая шагов, точно знал, в каком именно месте, не доходя до горбатой доски, повернется и пойдет назад.

...Какие рассказы были написаны в деревенской комнате с горбатой половицей? Полный очарования «Гюи де Мопассан»? «Улица Данте», овеянная ароматом Парижа? «Ди Грассо», где на четырех страницах волшебно уместилась судьба одесского мальчика, впервые понявшего красоту благородной страсти искусства?

Эти рассказы, один вслед за другим, стали спустя некоторое время неожиданно появляться в московских журналах.

Было бы неверным полагать, что он только что их написал: это всего лишь значило, что он наконец посчитал их готовыми для пе-

чати. До этого дня он мог множество раз их переписывать, держа именно в том таинственном кожаном саквояже, о назначении которого я так и не решилась спросить.

Таким же неожиданным было и сообщение, что в Литературном музее Бабель прочтет свою новую пьесу. То была «Мария».

Отличный чтец, он волновался, читая пьесу: щеки его порозовели, дыхание прерывалось — впервые я видела его таким. У меня сохранилась вырезанная из газеты «Вечерняя Москва» фотография, сделанная в комнате музея после читки. На ней можно увидеть оживленную и нарядную Ольгу Леонардовну Книппер-Чехову, молодую, красивую Ангелину Иосифовну Степанову, меня в надвинутом на ухо берете, Николая Дмитриевича Волкова и напротив них автора пьесы, улыбающегося смущенной и как будто виноватой улыбкой...

Неожиданно Бабель исчез из Москвы снова.

Кажется, только вчера мы разговаривали по телефону, собирались погулять по арбатским переулкам,— и вдруг опять от него ни звука.

Наконец пришла открытка с видом собора Парижской богоматери: Бабель был в Париже. Оказалось, что он, несколько позже, чем остальные члены советской делегации, приехал вместе с Пастернаком в Париж на Всемирный конгресс деятелей культуры.

«Бегаю по Парижу, как заяц,— писал он на открытке своим мелким, косым почерком.— Хочу сделать баланс личным знаниям и мыслям об этом городе. Он так же прекрасен, как и раньше. Путешествие мое с Пастернаком достойно комической поэмы. Конгресс оказался действием более серьезным, чем я предполагал. Чаще других вижусь с Тихоновым, Толстым, Кольцовым. Вчера открывали в Ville guif проспект имени Горького,— необыкновенно трогательно. В Москву приеду в конце июля. Ваш И. Б.»

Позже я прочла в статье И. Эренбурга, напечатанной в «Известиях», как Бабель выступал на Парижском конгрессе:

«Бабель не читал своей речи, он говорил по-французски свободно, весело и мастерски, в течение пятнадцати минут он веселил аудиторию несколькими ненаписанными рассказами. Люди смеялись, и в то же время они понимали, что под видом веселых историй идет речь о сущности наших людей и нашей культуры».

Бабель знал несколько языков, но французский особенно любил и знал с детства. Его учителем французского языка в Одессе был мсье Вадон, веселый, изящный бретонец, который, по его словам, не только обучал его своему языку, но и «обладал литературным дарованием, как и все французы». Начитавшись французских классиков, одесский мальчик стал писать рассказы на французском языке; ему понадобилось два года, чтобы бросить это занятие. По странной случайности, я, много позже, училась в одесской школе французскому языку у того же Вадона — он по-прежнему был остроумен, изящен, легок в движениях, но в его подстриженной ренуаровской бородке уже пробивалась седина...

Среди произведений Бабеля, опубликованных после долгого мол-

чания, был рассказ «Нефть», напечатанный в газете «Вечерняя Москва».

Как мне кажется, в этом маленьком, необыкновенно плотно написанном рассказе можно явственно увидеть, с какой чуткостью писатель ощущал пульс времени, как пристально, со страстным интересом вглядывался в неслыханный по размаху процесс строительства, во все новое, рождавшееся и развивавшееся в стране. Ему хотелось везде быть, все видеть своими глазами, говорить с людьми об их труде, их жизни, а люди легко открывались ему. Ничего не было для него выше и дороже, чем справедливость, человечность, доброта, счастье людей: до конца своих дней он сохранил верность этим высоким понятиям.

Взыскательность его к собственной работе все повышалась, не было у него более жестокого критика, чем он сам. И вместе с тем страстная потребность воплотить в живое слово то, что переполняло его душу, непрестанно подталкивала, подгоняла его: он работал, не зная усталости. Как-то он сознался, что переписывает свои вещи по множеству раз и потом, перечитав, с ужасом убеждается, что надо переписывать снова...

В опубликованных после долгого перерыва рассказах ощущались эти поиски нового в самом себе, стремление обрести новую, высокую простоту. Не знаю и никогда, наверное, не пойму, как осмелилась я высказать этому большому мастеру свои суждения, но в письме, посланном ему в Одессу, куда он с обычной внезапностью уехал, я, неожиданно для самой себя, изложила все, что думала об этих рассказах и вообще о его творчестве. На следующий же день я ужаснулась собственному поступку, но исправить сделанное уже было невозможно. Бабель ответил мгновенно.

Его ответ был поразителен — столько в нем было жестокой, непримиримой требовательности писателя к самому себе.

«Умное Ваше письмо получил. То, что Вы пишете о моих «сочинениях»,— важно и удивительно верно, можно сказать — потрясающе верно. К чести моей, у меня уже несколько лет такое чувство. Попытаюсь выказать делом. (Здесь была звездочка, и после такой же звездочки в конце письма приписка: «Возможно, конечно, что, как пишут в газетах,— вместе с водой я выплеснул и ребенка...».— *Т. Т.*) То, что я делаю теперь,— еще не есть писание начисто, но во всяком случае похоже на сочинительство, на профессию...

Мне в декабре,— по необходимым делам,— надо ехать в Москву. Беда, великая беда! Вот когда надо будет показать себя «человеком» и продолжать трудиться и жить, как в Одессе. Впрочем, надеюсь, поездка не на долгий срок...»

Одессу Бабель любил нежной и верной любовью, все было ему здесь по душе, все казалось знакомым и милым сердцу. Он наслаждался веселым и певучим одесским говором, общительностью одесситов, их приветливостью и юмором. В Одессе он расцветал, молодел, был весел и неутомим. В ту пору моя мама была жива, и я каждое лето приезжала к ней в домик на Ближних Мельницах; обычно летом приезжал в Одессу и Бабель.

В Одессе некогда существовали так называемые «красные шапки» — рассыльные для доставки личных писем на дом. На углу Дерибасовской и Екатерининской, рядом с продавщицами цветов — говорливыми толстухами, сидящими на низких скамеечках возле больших тазов, наполненных теплыми от солнца розами,— стояли плечистые молодцы в красных фуражках с блестящими козырьками. За соответствующее вознаграждение они тут же доставляли адресату ваш конверт: отправить письмо с «красной шапкой» считалось в старой Одессе высшим шиком.

Не представляю, как Бабелю удалось разыскать «красную шапку»: в те годы в Одессе их уже нигде нельзя было встретить. Но так или иначе, однажды утром к домику на Ближних Мельницах подкатил извозчичий фаэтон, так называемый штейгер (такие фаэтоны в те годы тоже были в Одессе редкостью), и в нем, шикарно выставив на подножку ногу в начищенном башмаке, сидел толстый пожилой дядя с длинными седыми усами; на голове у него пламенела под ярким одесским солнцем знаменитая красная фуражка с лакированным козырьком. Он вручил мне конверт, надписанный знакомым почерком: Бабель сообщал о своем приезде и приглашал пообедать вместе с ним в ресторане «Лондонской» гостиницы, как в ту пору называлась гостиница «Одесса». Ответ он просил послать на почтамт «до востребования», хотя, как выяснилось позже, сам жил в той же «Лондонской». Это относилось к числу особенностей его характера: он любил окружать себя некоей таинственностью — раскрывать сразу свои маленькие секреты казалось ему неинтересным...

Почти каждый вечер мы вместе бродили по одесским улицам. Под фонарями платаны отбрасывали на асфальт колеблющуюся тень, летний воздух пахнул розами и жареной рыбой, с моря тянул влажный ветерок. Окна в домах были распахнуты, ленивые одесские красавицы, опершись локтями на подоконники, громко переговаривались со своими кавалерами, стоящими под окнами на улице. В черном небе блестели крупные южные звезды...

Бабель показал мне дом, где жил в детстве. Мы долго стояли на другой стороне улицы, глядя на окна этого дома, где горел свет чужих ламп, чужой жизни.

— Мне было лет шестнадцать, когда я отправился на первое в своей жизни свидание,— сказал он, продолжая смотреть на освещенные окна.— Мы пошли в парк и, держась за руки, долго бродили по аллеям, потом оказались на Ланжероне, сидели на не остывших от дневного зноя камнях. Светила луна, волны шелестели у наших ног. Что говорить, счет времени мы потеряли. Было уже за полночь, когда я, проводив свою Джульетту на другой конец города, отправился домой. Голова моя кружилась от счастья, я шагал, размахивая руками, бормоча стихи, грудь мою распирала гордость... Еще издали я увидел, что на улице, у дверей нашего дома, закутанная в шаль, стоит моя мать. Она простояла так, наверное, не один час, ожидая меня. Когда я, еще не остыв от восторга, улыбаясь дурацки счастливой улыбкой, подошел к ней, она, не говоря ни слова, дала мне по шее своей маленькой, крепкой рукой, и мы в полном

молчании стали подниматься по лестнице на четвертый этаж, в нашу квартиру...

Он вздохнул и сказал, помолчав:

— Пойдемте отсюда. Я так люблю этот дом, что не позволяю себе приходить к нему каждый день.

После прогулки мы попрощались, договорившись встретиться снова. Но от Бабеля долго не было никаких вестей. Наконец на Ближние Мельницы пришло коротенькое сообщение:

«Хвораю, ничего из-за этого не успеваю делать. Пытаюсь лечиться, пытаюсь работать. Результаты минимальные. Мечтаю о Ближних Мельницах,— нашли ли вы мне уже фатеру? Приехал Эйзенштейн, я должен доработать с ним сценарий...»

Вскоре я уехала в Москву. Уехал из Одессы и Бабель: от него пришла из Крыма открытка с видом Ялты. На открытке, окруженные кипарисами, белели южные дома с балконами и башенками, вдали виднелась знаменитая ялтинская набережная...

«Приехал сюда по служебным делам,— кино. Живем недурно,— писал он.— Погода попадается превосходная. Получаю суточные. В ресторанах заказываю порционное, на дом покупаю виноград. По улицам хожу с мохнатым полотенцем. Работаю больше для собственного удовольствия. Желаю Вам хорошего климата. Снятся мне Ближние Мельницы. Ваш И. Б.»

В то время у Бабеля уже было московское жилье в Большом Николо-Воробинском переулке. Литфонд обещал ему в Переделкине дачу. И все же он мечтал об Одессе и не видел прекрасней и лучше места для своей работы, чем Ближние Мельницы с их тенистыми, тихими улицами и домиками, окруженными фруктовыми садами.

Вернувшись из Крыма в Одессу, он написал мне:

«Обошел и объехал весь город,— лучше Мельниц нет; решил там обосноваться и предпринимаю «официальные» шаги... Видел Ольгу Николаевну (моя мама.— *Т. Т.*). Освобожденная от гостей, она расцвела и помолодела. Никогда не забывайте о ней и о Ближних Мельницах...»

К старым женщинам Бабель относился с необыкновенной нежностью, может быть, потому, что они напоминали ему его мать, которую он очень любил. Доброта моей матери, ее живой интерес ко всему новому, любовь к книгам, к искусству его глубоко трогали. Больше всего ему хотелось поселиться где-нибудь неподалеку от нее. И моя мама стала подыскивать для него на Ближних Мельницах жилье.

Рядом с домом на Пишениной улице, где она жила, стоял крытый красной черепицей флигелек, состоящий из небольшой комнаты и кухни с дровяной плитой. Флигелек был заселен, но жилец собирался оттуда выехать, и мама предпринимала все доступные ей шаги, чтобы закрепить флигелек за Бабелем. Дело оказалось сложным, но тем не менее продвигалось, общими их усилиями, довольно успешно.

Не так давно в Одессе в одном из ящиков старого маминого письменного стола я нашла пачку писем Бабеля, адресованных моей матери, его телеграмму и мамино письмо к нему: по привычке, свойственной людям ее поколения, она часто писала письма с черновиками. Бумага пожелтела, чернила выгорели от времени, края листков истончились, но живые голоса тех, кто писал эти письма, звучат явственно и до боли знакомо...

«Дорогая Ольга Николаевна,— писал Бабель.— Поздравляю Вас с прошедшим днем ангела и от всего сердца желаю Вам истинных душевных и физических благ, желаю этого Вам с искренним чувством, потому что знаю не много людей, которые были бы так достойны счастья, как Вы... Рассчитываю получить возможность выехать в Одессу во второй половине августа и жду этого времени с великим нетерпением. Если бы еще была надежда забраться в заветный флигелек на Пишениной,— то будущее казалось бы мне лучезарным. Если предположения, о которых Вы писали Тане, оправдаются, то очень Вас прошу, О. Н., не забывать обо мне. Я сейчас после большого перерыва прихожу в так называемую литературную «форму» и знаю, что Пишенина улица принесла бы мне счастье... Преданный Вам И. Б.».

Письмо это было отправлено из Москвы 25 июля 1937 года. Как выяснялось из дальнейшей переписки, жилец, занимавший флигелек, затеял большой ремонт квартиры, в которую собирался переехать, и освободить флигель не торопился. Моя мама делала все, что было в ее силах, чтобы ускорить его отъезд, прибегая даже к наивным хитростям. «Действую на его самолюбие»,— сообщала она.

Бабель продолжал регулярно ей писать.

«Уединился для работы на подмосковной даче,— писал он в мае 1938 года.— По ночам здесь надо укрываться ватным одеялом, днем топить все печи... Вот так климат,— поэтому нет ничего понятней, чем мечты об Одессе. Дел у меня, впрочем, здесь множество, когда освобожусь, не знаю, о приезде своем предупрежу Вас заблаговременно. Меня согревает одна только перспектива очутиться на Ближних Мельницах... У меня все по-старому — работа для души, работа для «тела» и, увы, мало веселья... До свидания. Жму Вашу руку. Искренне преданный И. Бабель».

Из других писем видно, что мечта об Одессе и Ближних Мельницах не оставляла его ни на один день.

«Жилец я буду удобный хотя бы тем, что в Одессе смогу жить всего только несколько месяцев в году,— сообщал он, но тут же добавлял тревожно: — Но не явится этот плюс минусом, не может ли кто-нибудь возразить против такого неполного, что ли, использования жилплощади?»

И вот наконец из Одессы в Москву пришло желанное сообщение. Черновик маминого письма лежит сейчас передо мной.

«Срок освобождения флигелька между 15 мая и 1 июня. Скорее первое,— писала она.— Внутри флигель в полном порядке. Сливы, черешни и вишни возле него прекрасно цветут, и Вы летом будете

кушать фрукты прямо с дерева... Дети мои со мной это лето не живут, так что и время и материнские заботы, не использованные ими, могут быть обращены на Вас. У меня будет жить сестра, которая будет мне в этом помогать. Надоедать мы Вам не будем, а кормить фаршированными перчиками и прочим — сможем. Вот такие дела».

В ответ на это письмо из Москвы на Ближние Мельницы полетела телеграмма:

«Счастлив возможности быть вашим соседом ближайшие дни напишем с Таней подробно сердечный привет. Бабель».

Вслед за телеграммой от него пришло в Одессу большое письмо, написанное в Переделкине 21 июня 1938 года:

«Занимаюсь несвоевременными делами. Литфонд предоставил мне домик в загородном поселке писателей, и я приготовляю его для зимнего жилья. Затем — ликвидация на несколько месяцев московских дел, чтобы можно было поехать в Одессу; ликвидация сложная и займет, вероятно, еще целый месяц. О приезде своем я уведомлю Вас заблаговременно. Сей числящийся за мной флигелек очень поднял мой дух; Достоевский говорил когда-то: «Всякий человек должен иметь место, куда бы он мог уйти»,— и от сознания, что такое место у меня появилось, я чувствую себя много увереннней на этой, как известно, вращающейся земле. Что касается потребностей, то они простейшие и элементарнейшие: стол, кровать или диван, шкапик и два-три стула. Единственное, пожалуй, не элементарное,— это потребность в темной занавеске, чтобы солнце не будило слишком рано... Я написал о занавеске и подумал, что на Ближних Мельницах очень могут быть ставни, и забота о занавеске может быть лишняя...

Я уже недели две за городом... Смотрю, как здесь медленно, чахло, поздно распускается растительность, как трудно выходят цветочки под сумрачным небом без солнца (только вот дождь, зарядил на десять дней!) и не могу не думать о Ближних Мельницах.

Очень прошу Вас кланяться от меня всем чадам и домочадцам.

Искренне Вам преданный *И. Бабель*».

Это было его последнее письмо.

Поселиться на Ближних Мельницах ему не пришлось, и ни разу не разбудило его во флигельке ранним утром солнце — судьба сложилась иначе.

Бывая в Одессе, я приезжаю иногда на Ближние Мельницы и смотрю через забор на дом, где прошло детство и где жила и умерла моя мать. За домом, в густой зелени старых черешен и слив, краснеет крытая черепицей крыша «заветного» флигелька.

Часто смотреть на дом своего детства я не в силах. Могу только повторить сказанные Бабелем слова: «Я так люблю этот дом, что не позволяю себе приходить к нему каждый день...»

Прошло много лет. И вот однажды мне позвонила Антонина Николаевна, вдова Бабеля, и сообщила, что из Парижа приехала Наташа, дочь Исаака Эммануиловича от первой жены.

— Сестры только сейчас впервые познакомились,— сказала Антонина Николаевна.— Я думаю, вам будет интересно увидеть Лиду и Наташу вместе...

Дочь Бабеля Лиду я знала, помнила ее еще девочкой. В пору первой встречи сестер Лида уже закончила Московский архитектурный институт.

Наташа родилась и выросла в Париже, а работала тогда преподавателем в Сорбонне. От Антонины Николаевны я узнала, что Наташа приехала в качестве переводчицы на французскую выставку: работа эта привлекла ее возможностью побывать в Москве и познакомиться с сестрой.

И вот осенним вечером я оказалась у небольшого двухэтажного, похожего на коттедж дома в Николо-Воробинском переулке, где когда-то бывала так часто. В комнате Антонины Николаевны уже собрались несколько близких друзей Бабеля, с ними сидела Лида. И снова я поразилась ее необыкновенному сходству с отцом.

Это сходство не казалось прямым «отпечатком с оригинала», как иногда бывает, а волшебно таилось в прелестном и нежном девичьем лице, поминутно вспыхивая в улыбке, в повороте головы, в походке, движеньях, жесте... Отца Лида потеряла, когда была маленьким ребенком, и, конечно, не знала и не могла помнить его привычек. Но, как рассказала мне Антонина Николаевна, в первом же классе школы Лида, садясь за парту, подкладывала под себя правую ногу точно так же, как это делал отец, и, несмотря на замечания учительницы, так и не избавилась от этой привычки...

По характеру же Лида, как мне казалось, походила на мать: мягкость, спокойствие взгляда, сдержанность — все напоминало в ней Антонину Николаевну.

Собравшись в небольшой комнате, мы оживленно разговаривали,— многие из нас давно не видели друг друга. Наташи еще не было: она задержалась на выставке.

Наконец внизу раздался звонок, и я услышала звучный и сильный женский голос, по лестничным ступеням быстро застучали высокие каблуки... Наташа поднималась по лестнице. Сердце мое замерло от волнения: я никогда не видела старшей дочери Бабеля и знала ее только по его рассказам.

Открылась дверь, Наташа вошла.

Высокая, статная, с пышными, рассыпающимися каштановыми волосами, она вошла в комнату быстро, окинув всех присутствующих веселым и внимательным взглядом. Рукава платья, с элегантной небрежностью подтянутые вверх, открывали длинные сильные руки, румяные губы улыбались, женственные плечи были откинуты назад...

Ни одна ее внешняя черта не напоминала отца. Это была вылитая мать — Евгения Борисовна в молодые годы.

Но едва Наташа заговорила, как я тотчас же узнала в ней отца.

Все было в ней от отца: живость, наблюдательность, юмор, открытый интерес к людям, уменье входить в их жизнь... Позже я узнала в Наташе еще одну черту: от отца она унаследовала любовь

к некоей таинственности, к маленьким секретам, раскрывать которые ей казалось неинтересным. Об одном примере этого мне хочется рассказать отдельно.

Во время своего пребывания в Москве Наташа хотела повидать многих друзей отца. Валентин Петрович Катаев пригласил ее к себе. По просьбе Наташи я повезла ее к нему в Переделкино.

Когда мы остановились у ворот катаевской дачи, я сказала Наташе, что поставлю машину чуть дальше, чтобы не мешать движению, а сама пойду к своему другу Льву Кассилю, который жил на той же улице, где Катаев. Я объяснила ей, что Кассиль и Катаев хорошо знакомы, часто встречаются и Валентин Петрович поможет ей меня найти.

У Кассиля я просидела несколько часов. Уже стало смеркаться, а Наташа все не появлялась. Как я знала, у нее были билеты в театр на Таганке; из Переделкина на Таганку путь не близкий, и пора было выезжать. Я решила пойти за Наташей.

Когда я вошла в уютный и теплый катаевский дом, все сидели за обеденным столом, беседа была в разгаре, и Наташа, веселая и оживленная, словно и не помышляла о возвращении в Москву. Хозяева встретили меня радушно, но с первого же взгляда было ясно, что мое появление для них совершенно неожиданно.

— Разве Наташа не сказала вам, что я привезла ее сюда, а сама пошла к Кассилю? — удивленно спросила я Валентина Петровича.

— В первый раз об этом слышу! — ответил он.— Когда я спросил, кто ее привез в Переделкино, Наташа ответила: «Одна дама...»

Эта маленькая забавная история только подтвердила то, что я уже почувствовала: удивительное внутреннее сходство дочери с отцом...

Но вернемся к первой встрече с Наташей в Николо-Воробинском переулке.

С неизъяснимым волнением вглядывалась я в лица двух сестер. Никогда не встречавшиеся в детстве, сестры подружились с первой же минуты, словно их притянуло друг к другу магнитом. Они шутили, поддразнивали одна другую, увлеченно переговаривались; их отношения пленяли своей естественностью и легкостью, за которыми угадывалась нежность.

Им было бесконечно интересно находиться рядом — этим двум, очень разным по внешности, никогда не видавшимся ранее сестрам,— интересно находиться рядом, разговаривать, расспрашивать, узнавать все ближе, все глубже друг друга, открывая каждый раз нечто новое в далекой и родной душе. И, глядя на них, я не могла не думать о том, как легко и счастливо включился бы в разговор дочерей отец, как светились бы юмором его глаза, как поглядывал бы он на них, покачивая головой, с лукавой усмешкой, со скрытой гордостью...

...Была уже ночь, когда я вышла из комнаты в Большом Николо-Воробинском, который был совсем не большим, а изогнутым маленьким переулком, вьющимся, как тихий ручей, от шумной улицы.

Стоя напротив подъезда, я долго глядела на окна дома, вспоминая всех, кого когда-то здесь встречала. Ночь была лунной, длинные тени дрожали на асфальте, над крышами блестели осенние звезды, отблеск луны лежал на крыле машины...

И, смотря на освещенные окна, я неслышно повторяла слова, которыми заканчивался рассказ Бабеля «Ди Грассо».

Слова, которыми он рассказал миру о той никогда не испытываемой им ранее ясности, с какой вдруг увидел «уходившие ввысь колонны Думы, освещенную листву на бульваре, бронзовую голову Пушкина с неярким отблеском луны на ней, увидел в первый раз окружавшее меня таким, каким оно было на самом деле,— затихшим и невыразимо прекрасным...».

А. Н. Пирожкова

ГОДЫ, ПРОШЕДШИЕ РЯДОМ (1932—1939)

Я пытаюсь восстановить некоторые черты человека, наделенного великой душевной добротой, страстным интересом к людям и чудесным даром их изображения, так как мне выдалось счастье прожить с ним рядом несколько лет.

Эти воспоминания — простая запись фактов, мало известных в литературе о Бабеле,— его мыслей, слов, поступков и встреч с людьми разных профессий — всего, чему свидетельницей я была.

Я познакомилась с ним летом 1932 года, спустя примерно год после того, как впервые прочла его рассказы.

Это знакомство произошло в Москве у Ивана Павловича Иванченко — председателя Востокостали, большого поклонника Бабеля. И Бабель и я были одновременно приглашены к Иванченко на обед.

Иван Павлович знал меня по Кузнецкстрою, где я работала после окончания Сибирского института инженеров транспорта. Жил он, когда приезжал в Москву, на Петровке, 26, в доме Донугля, вместе со своей сестрой.

К обеду Бабель явился с некоторым опозданием и объяснил, что пришел прямо из Кремля, где получил разрешение на поездку к семье во Францию.

Иван Павлович представил меня Бабелю:

— Это — инженер-строитель, по прозванию Принцесса Турандот.

Иванченко не называл меня иначе с тех пор, как, приехав однажды на Кузнецкстрой, прочел обо мне критическую заметку в стенной газете под названием: «Принцесса Турандот из конструкторского отдела»...

Бабель посмотрел на меня с улыбкой и удивлением, а во время обеда все упрашивал выпить с ним водки.

— Если женщина — инженер, да еще строитель,— пытался он меня уверить,— она должна уметь пить водку.

Пришлось выпить и не поморщиться, чтобы не уронить звания инженера-строителя.

За обедом Бабель рассказывал, каких трудов стоило ему добиться разрешения на выезд за границу, как долго тянулись хлопоты, а поехать было необходимо, так как семья его жила там почти без средств к существованию, из Москвы же очень трудно было ей помогать.

— Еду знакомиться с трехлетней француженкой,— сказал он.— Хотел бы привезти ее в Россию, так как боюсь, что из нее там сделают обезьянку.— Речь шла о его дочери Наташе, которую он еще не видел.

Через несколько дней, когда Иван Павлович уехал в Магнитогорск, Бабель пригласил меня и сестру Иванченко, Анну Павловну, к нему обедать, пообещав нам, что будут вареники с вишнями.

Название переулка, где жил Бабель, поразило меня: Большой Николо-Воробинский: откуда такое странное название?

Бабель объяснил:

— Оно происходит от названия церкви Николы-на-воробьях — она почти напротив дома. Очевидно, церковь была построена с помощью воробьев, то есть в том смысле, что воробьев ловили, жарили и продавали.

Я удивилась, но подумала, что это возможно: была же в Москве церковь Троицы, что на капельках, построенная, по преданию, на деньги от сливания капель вина, остававшегося в рюмках; ее построил какой-то купец, содержавший трактир. Позже я узнала, что название церкви и переулка происходит не от слова «воробьи», а от слова «воробы» — рода веретена для ткацкого дела в старину.

Квартира, в которой жил Бабель, была необычна, как и название переулка. Это была квартира в два этажа, где на первом располагались: передняя, столовая, кабинет и кухня, а на втором — спальные комнаты.

Бабель объяснил нам, что живет он вместе с австрийским инженером Бруно Штайнером, и рассказал историю своего знакомства и совместной жизни с ним. Штайнер возглавлял представительство фирмы «Элин», торговавшей с СССР электрическим оборудованием. Представительство этой фирмы состояло из нескольких сотрудников и занимало всю квартиру. Затем наша страна не захотела больше покупать австрийское оборудование. Уговорились, что в Москве останется только один представитель фирмы, Штайнер, который будет давать советским инженерам некоторую консультацию. Оставшись один, Штайнер, из боязни, что квартиру, состоящую из шести комнат, у него отберут, стал искать себе компаньона, который сумел бы ее отстоять. Он был хорошо знаком с писательницей Лидией Сейфуллиной и просил ее найти ему такого соседа из писателей. Сейфуллина порекомендовала Бабеля, который в это время как раз был без квартиры и ютился у кого-то из друзей.

— Так я поселился здесь на Николо-Воробинском,— закончил Бабель.— Мы разделили верхние комнаты по две на человека, а столовой и кабинетом внизу пользуемся сообща. У нас со Штайнером

заключено «джентльменское соглашение»,— все расходы на питание и на обслуживание дома — пополам, и никаких женщин в доме. Сейчас Штайнера нет в Москве, он недавно надолго уехал в Вену.

До отъезда Бабеля за границу я еще несколько раз бывала на Николо-Воробинском.

Однажды он мне сказал:

— Приходите завтра обедать, я познакомлю вас с остроумнейшим человеком.

На следующий день, придя к Бабелю, я застала у него гостя. Это был Николай Робертович Эрдман. Мой приход прервал их беседу, но она тотчас же возобновилась, и я с интересом услышала, что речь идет о пьесе Эрдмана, которую не хотят разрешать.

Бабель вкратце рассказал мне сюжет, а затем добавил:

— Пьеса с невеселым названием «Самоубийца» буквально набита остротами на темы современной жизни, ей пророчат судьбу «Горя от ума»...

За обедом Бабель все заставлял меня рассказывать о моей работе на Кузнецкстрое в 1931 году. Я рассказала, как однажды в конструкторский отдел строительства из конторы какой-то угольной шахты пришел запрос на консультанта — специалиста по основаниям и фундаментам. Начальник конструкторского отдела послал меня, предупредив, что там работают сосланные после шахтинского процесса инженеры. Ехать надо было на лошади, в санях километров тридцать. Меня встретили солидные, бородатые люди в форменных фуражках и полушубках. Дело оказалось пустяковым, им надо было построить одноэтажное здание новой конторы, но грунты были лёссовые, а они отличаются тем, что размокают от воды.

Все домны и все цехи Кузнецкого металлургического завода возводились именно на лёссовом основании, поэтому можно понять, как рассмешило меня требование маститых инженеров выслать им консультанта по такому пустяковому поводу. А консультанту не было и двадцати двух лет.

После того как я письменно и с чертежом изложила им мои соображения по поводу закладки здания, меня пригласили обедать, очевидно к начальнику угольной шахты. Квартира была со старинной мебелью, с картинами на бревенчатых стенах и ковром на полу, даже с роялем; великолепно сервированный стол; дамы — жены инженеров — в старомодных платьях с бриллиантовыми серьгами в ушах и солидные мужчины в форме горных инженеров — все это казалось невероятным для такой глуши.

Бабель, выслушав мой рассказ, сказал:

— Видите ли, Николай Робертович, эти инженеры, конечно, отлично сами все знали, но нарочно не хотели брать на себя никакой ответственности. Раз им не доверяют, пусть отвечают большевики. Поэтому они и разыграли эту комедию... Ну, расскажите еще что-нибудь...

И я рассказала, как на Кузнецкстрое зимой 1931 года велась кирпичная кладка одновременно двух дымовых труб доменных печей. На каждой трубе работала бригада каменщиков, и эти бригады

соревновались. Не только мы, инженеры, но и все рабочие всех участков, и все домохозяйки из окон своих квартир наблюдали за этим соревнованием. Всех охватило волнение, спорили — кто закончит раньше, заключали пари. Никто не оставался равнодушным, воодушевление было всеобщим. Бригады каменщиков были одинаково сильные, поэтому кладка поднималась чуть выше то на одной трубе, то на другой. И все это на большой высоте, и отовсюду видно.

После моего рассказа Бабель заметил:

— Вот если бы написать так, как она рассказывает, а то пишут о соревновании — скука одна...

Как-то раз Бабель попросил разрешения зайти ко мне домой. Я угостила его чаем, помню, не очень крепким (а он, как я потом узнала, любил крепчайший), но Бабель выпил чай и промолчал. А потом вдруг говорит:

— Можно мне посмотреть, что находится в вашей сумочке?

Я с крайним удивлением разрешила.

— Благодарю вас. Я, знаете ли, страшно интересуюсь содержимым дамских сумочек.

Он осторожно высыпал на стол все, что было в сумке, рассмотрел и сложил обратно, а письмо, которое я как раз в тот день получила от одного моего сокурсника по институту, оставил. Посмотрел на меня серьезно и сказал:

— А это письмо вы не разрешите ли мне прочесть, если, конечно, оно вам не дорого по какой-нибудь особой причине?

— Читайте,— сказала я.

Он внимательно прочел и спросил:

— Не могу ли я с вами уговориться?.. Я буду платить вам по одному рублю за каждое письмо, если вы будете давать мне их прочитывать.— И все это с совершенно серьезным видом. Тут уж я рассмеялась и сказала, что согласна, а Бабель вытащил рубль и положил на стол.

Он рассказал мне, что большую часть времени живет не в Москве, где трудно уединиться, чтобы работать, а в деревне Молоденово, поблизости от дома Горького в Горках. И пригласил меня поехать с ним туда в ближайший выходной день.

Он зашел за мной рано утром и повез на Белорусский вокзал. Мы доехали поездом до станции Жаворонки, где нас ждала лошадь, которую Бабель, очевидно, заказал заранее. Дорога шла сначала через дачный поселок, потом полями, потом через дубовую рощу. Он был в очень хорошем настроении и рассказал мне почему-то историю, как муж вез жену к себе домой после свадьбы и по дороге зарубил лошадь по счету «три», так как по счету «раз» и «два» она его не послушалась. На жену это произвело такое впечатление, что она, как только муж говорил «раз», сразу бросалась исполнять его приказание, помня, что последует после слова «три».

Дом в Молоденове, в котором жил Бабель, был крайним и стоял на крутом берегу оврага, по дну которого протекала маленькая речка, впадающая в Москву-реку. Сенями дом разделялся на две половины: одну, состоящую из кухни, горницы и спальни с окнами на улицу,

занимал хозяин Иван Карпович с семьей, и другую, где жил Бабель,— из одной большой комнаты с окнами на огород. Обстановка в этой комнате была очень скромной. Простой стол, две-три табуретки и две узкие кровати по углам.

Бабелю хотелось показать мне все молоденовские достопримечательности, поэтому мы по приезде тотчас же отправились пешком на конный завод. Там нам показали жеребят; один из них родился в минувшую ночь и был назван «Вера, вернись», так как жена одного из зоотехников ушла от него к другому.

Осмотрев конный завод, где Бабеля все знали и все ему с подробностями рассказывали, что меня удивляло и почему-то смешило, мы отправились смотреть жеребых кобылиц — они паслись отдельно на лугу, на берегу Москвы-реки.

Разговор с зоотехником шел у Бабеля очень специальный; в нем слышались выражения, смысл которых мне стал ясен только значительно позже, например: «на высоком ходу», «хорошего экстерьера», «обошел на полголовы». Обо мне Бабель, как мне казалось, забыл. Наконец, приблизившись, он стал рассказывать о кобылицах. Одна, по его словам, была совершенная истеричка; другая — проститутка; третья — давала первоклассных лошадей даже от плохих жеребцов, то есть улучшала породу; четвертая, как правило, ухудшала ее.

И на пути к конному заводу, и по дороге обратно мы прошли мимо ворот белого дома с колоннами, в котором жил Алексей Максимович Горький. Пройдя дом, свернули к реке, а искупавшись, отправились в Молоденово через великолепную березовую рощу. Потом Бабель повел меня к старику-пасечнику, очень высокому, с большой бородой, убежденному толстовцу и вегетарианцу. Он угощал нас чаем и медом в сотах.

Возвращались на станцию тоже на лошади. По дороге Бабель спросил меня:

— Вот вы, молодая и образованная девица, провели с довольно известным писателем целый день и не задали ему ни одного литературного вопроса. Почему? — Он не дал мне ответить и сказал: — Вы совершенно правильно сделали.

Позже я убедилась, что Бабель терпеть не мог литературных разговоров и всячески избегал их.

В Молоденове Бабель водил дружбу с хозяином Иваном Карповичем, с которым мог часами разговаривать, с очень дряхлым старичком Акимом, постоянно сидевшим на завалинке и знавшим множество занятных историй, с пасечником-вегетарианцем; у него был целый круг знакомых — бывалых старых людей.

Колхозные дела Молоденова Бабель знал очень хорошо, так как даже работал одно время, еще до знакомства со мной, в правлении колхоза. Не для заработка, конечно, а с единственной целью как можно доскональнее узнать колхозную жизнь. Крестьяне называли Бабеля Мануйлычем.

Незадолго до своего отъезда во Францию Бабель уговорил меня переехать на время его отсутствия на Николо-Воробинский. Он боялся, как бы в пустую квартиру (Штайнер в это время все еще был

за границей) кто-нибудь не вселился. Он надеялся, что я в случае необходимости найду лиц, которые помогут квартиру отстоять. Я заняла одну из верхних комнат Бабеля и месяцев пять или шесть прожила в квартире с милой девушкой Элей, работавшей у Штайнера.

Так как Бабель долго не возвращался из Франции, по Москве распространился слух, что он вообще не вернется. Я написала ему об этом, и он мне ответил: «Что могут вам, знающей все, сказать люди, не знающие ничего?» Писал из Франции Бабель часто, почти ежедневно, так что за одиннадцать месяцев его отсутствия накопилось очень много писем. Все они были забраны в 1939 году при его аресте и мне не возвращены.

Однажды весной 1933 года я поехала в Молоденово вместе с Ефимом Александровичем Дрейцером и написала Бабелю об этой нашей поездке.

«Нож ревности повернулся в моем сердце,— ответил мне Бабель,— когда я узнал, что вы были в Молоденове. В моей тоске по родине чаще всего у меня перед глазами это мое жилье». Он писал мне также, что ему заказали написать киносценарий об Азефе и что он согласился, чтобы заработать денег и оставить семье. Он упоминал об этом в письмах несколько раз, но когда много лет спустя я пыталась узнать у сестры Бабеля и у его дочери Наташи, живущих за границей, был ли написан этот сценарий и какова его судьба, они ничего не могли мне сказать. Только в 1966 году, когда в Москву из Парижа приехала Ольга Елисеевна Колбасина, вдова эсера В. М. Чернова, выяснилось, что Бабель начинал этот сценарий вместе с Ольгой Елисеевной потому, что Азеф когда-то часто бывал у Черновых и она его хорошо знала. Она рассказала мне, что были написаны, кажется, две сцены, Бабель их ей диктовал. Она обещала мне найти эти сцены в своих бумагах, но вскоре в Москве умерла. Все ее бумаги остались в Париже, у ее дочери, Натальи Викторовны Резниковой, которую я тоже просила их поискать. Насколько мне помнится, работа над этим сценарием прекратилась потому, что кто-то другой предложил кинематографической фирме в Париже готовый сценарий на эту тему. Но, может быть, я и ошибаюсь.

Бабель возвратился из-за границы в сентябре 1933 года. Он приехал один, без семьи. Я оформляла в это время свой уход со службы, чтобы после отпуска взяться за другую, более интересную для меня работу. Отпуск я собиралась провести в доме отдыха в Сочи. Узнав об этом, Бабель посоветовал мне воспользоваться свободным временем и поездить по Кавказскому побережью. Он сам захотел показать мне это побережье, Минеральную группу и Кабардино-Балкарию. Мы условились, что Бабель приедет в Сочи к окончанию срока моего пребывания в доме отдыха.

Я встретила его на сочинском вокзале, и мы отправились на Ривьеру, чтобы снять еще на несколько дней номера в гостинице. Устроившись, мы обсудили наш маршрут.

Сначала мы решили поехать на машине в Гагры — там велись съемки картины «Веселые ребята» по сценарию Эрдмана и Масса. В этой картине снимался Утесов. Из Гагр было намечено проехать в

Сухуми, а оттуда добираться до Кабардино-Балкарии. Я сказала Бабелю, что у меня есть билет для проезда в мягком вагоне от Сочи до Москвы и он пропадает.

— Очень хорошо,— ответил он,— мы его обменяем на два билета до Армавира.

На другой день мы пришли в ресторан обедать и сели за столик, занятый двумя пожилыми дамами, одна из них в этот момент жаловалась своей соседке, что никак не может достать билет до Москвы. И тут Бабель вдруг говорит:

— А у нас есть такой билет, но мы не можем им воспользоваться. Возьмите его.

Я, ни слова не говоря, вынимаю из сумочки билет и отдаю незнакомой даме.

— Сколько я вам должна? — спрашивает она.

— Нет, нет, он бесплатный, пожалуйста, возьмите. Он нам совершенно не нужен! — возражает Бабель.

Чувствую, что он страшно смущен, меня он еще достаточно хорошо не знает и не знает, как я к этому отнесусь. Ведь мы только вчера решили обменять этот билет на два до Армавира! Он сам не свой и все на меня поглядывает, а я болтаю о другом и виду не подаю, что все это имеет для меня какое-нибудь значение.

Доброта Бабеля граничила с катастрофой. В этом я убедилась позже, и случай с билетом был только первым таким примером. В подобных случаях он не мог совладать с собой. Он раздавал свои часы, галстуки, рубашки и говорил: «Если я хочу иметь какие-то вещи, то только для того, чтобы их дарить». Но он мог подарить также и мои вещи. Возвратясь из Франции, он привез мне фотоаппарат. Через несколько месяцев один знакомый кинооператор, уезжая в командировку на Север, с сожалением сказал Бабелю, что у него нет фотоаппарата. Бабель тут же отдал ему мой фотоаппарат, который никогда ко мне уже не вернулся.

Даря мои вещи, он каждый раз чувствовал себя виноватым и смущенным, но я знала, что он с этим справиться не может, и никогда не показывала виду, что мне жалко вещей. А было, конечно, жалко.

Мы поехали в Гагры в теплый, солнечный день в открытой легковой машине. Было раннее утро. Навстречу нам попалась закрытая черная машина с зарешеченным маленьким окном. Мы обратили на нее внимание, и только. А приехав в Гагры, застали расстроенной всю съемочную группу и узнали, что арестовали Эрдмана. За что? Может быть, за басню, которую он сочинил.

Еще в Сочи Бабель говорил мне, что для него особенно приятны две встречи в Гаграх — с Эрдманом и Утесовым. Известие об аресте Эрдмана просто ошеломило его. Он был очень расстроен.

В гостинице «Гагрипш» не было свободных номеров. Но маленькая комнатка Эрдмана под лестницей только что освободилась, и ее дали мне. Бабель поселился в комнате Утесова. В комнате Эрдмана на столике возле кровати еще лежали раскрытая книга и коробка папирос...

Все были подавлены. Машеньке Стрелковой хотелось плакать, но было невозможно, мешали длинные наклеенные ресницы. Мрачным ходил и Александр Николаевич Тихонов (Серебров).

И только много лет спустя Эрдман рассказал мне, что везли его в обыкновенном открытом автобусе и что он видел нас в открытой легковой машине. Мы же на встречный автобус не обратили внимания.

Эрдман рассказывал мне, что, когда его арестовали, он был в роскошных белых брюках и в белой шелковой рубашке и долго ходил по пустой камере, не имевшей никакой мебели. Потом, решившись, улегся на спину прямо на грязный пол. По дороге в Сочи, когда автобус остановился, ему разрешили купить виноград, и это было единственное его питание до самого вечера. Зато в поезде он был вознагражден. Сопровождавшие его в Москву сотрудники НКВД угощали его черной икрой, семгой, ветчиной и даже коньяком.

В Гаграх съемки «Веселых ребят» продолжались, мы с Бабелем пропадали на них и смотрели, как снимают то Утесова, то Орлову, то как без конца бултыхается в воду очень милая актриса Тяпкина. Утесов хвалился все возрастающим числом своих поклонниц, и это меня так раздражало, что я наконец не выдержала и сказала ему:

— Не понимаю, что они в вас находят, ведь вы — некрасивый и вообще ничего особенного.

Утесов прямо взвился и к Бабелю:

— Она находит, что я некрасивый, объясните ей, пожалуйста, что я красивый и вообще какой я!

И я выслушала от Бабеля внушение:

— Нельзя быть такой прямолинейной. Он артистичен до мозга костей. Вы же видели, каков он, когда выступает, у него артистична даже спина.

Не согласившись с Бабелем, я ушла и бродила целый день. Жоэкварское ущелье поразило меня дикой своей красотой, и я на другой день уговорила Бабеля пойти со мной в горы.

Потихоньку, ничего ему не говоря, я увлекла его в ущелье. Там было одно место, где приходилось идти по узкой тропинке, огибая выступ скалы, рядом с пропастью, а идти можно было, только прижимаясь спиной к скале и передвигая ноги боком. И вдруг я так испугалась за Бабеля, что крепко схватила его за руку, и мы, не глядя вниз, прошли опасное место. Отдышались уже на ведущей к морю дороге. Бабель сказал: «Сусанин, куда меня завел?» Мы спустились с гор, когда уже стемнело, и были ужасно голодны. В первом же попавшемся нам духане заказали харчо и ели его с белым, свежим, пушистым хлебом. Казалось, что вкуснее этого ничего не может быть.

Бабель очень любил гулять, но должен был из-за мучившей его астмы сначала медленно-медленно «разойтись», а потом уж, когда с дыханием все было хорошо, мог ходить довольно много. Я ничего этого тогда не знала и увлекла его в длительную прогулку по горам, не дав ему раздышаться. Поэтому он чувствовал себя ужасно, задыхался, но от меня это скрывал.

Вечерами в Гаграх мы ходили к персу Курбану — пить чай под платанами. Чай был очень крепкий, горячий, с кизиловым вареньем.

Утесов в тот наш приезд был неистощим на рассказы. Тут я впервые узнала, что он не только музыкант, но и талантливый рассказчик и что он когда-то выступал с чтением рассказов Бабеля «Как это делалось в Одессе» и «Соль». Однажды он подарил Бабелю свою фотографию с шуточной надписью: «Единственному человеку, понимающему за жизнь...»

В Гаграх Бабель захотел встретиться с председателем ЦИКа Абхазии Нестором Лакобой. Я проводила Бабеля до дачи ЦИКа, где Лакоба отдыхал, и осталась ждать на скамейке возле входа.

Свидание с Лакобой продолжалось около часа, затем оба вышли, поговорили и попрощались. Меня удивил черный костюм на Лакобе в солнечный день и шнурок из уха от слухового аппарата.

На обратном пути Бабель сказал, что Нестор Лакоба «самый примечательный человек в Абхазии».

Из письма родственника Нестора Станислава Лакобы, полученного мною в 1984 году, я узнала, что «Нестора отравил 26 декабря 1936 г. Берия, когда Лакоба находился в Тбилиси. Отравил с помощью своей жены во время ужина, подлив в бокал с вином яд. Подробно об этом говорил в 1956 г. на процессе в Тбилиси ген. прокурор Руденко. 31 декабря Нестора с почестями похоронили в Сухуми у входа в Ботанический сад. Но через некоторое время объявили «врагом народа», выкопали тело и уничтожили».

Всех его родных расстреляли.

Из Гагр на машине мы переехали в Сухуми, где прожили несколько дней. Кинорежиссер Абрам Роом снимал там на берегу моря картину с участием Ольги Жизневой. По утрам мы ходили на базар, а днем в обезьяний питомник или на пляж. В городе повсюду жарились шашлыки: и на базаре, и прямо на главной улице, в каких-то нишах домов, где устроены для этого специальные приспособления. Город был наполнен запахом жареной баранины. Вечерами встречались на набережной и пили в чайной крепкий чай с бубликами.

Из Сухуми пароходом мы добрались до Туапсе, а оттуда поездом отправились в Кабардино-Балкарию. Чтобы попасть в Нальчик, мы должны были сделать пересадку на станции Прохладная. Поезд пришел туда поздно вечером, когда в станице все уже спали, а отправлялся он в Нальчик утром. Мы оставили вещи на вокзале и налегке пошли по улицам, выбрали удобную скамью под деревом и просидели на ней всю ночь.

Ночь была теплая, светлая от луны, тополя серебрились, пахло пылью и коровами. Когда взошло солнце, мы отправились на базар.

— Лицо города или села — его базар,— говорил мне Бабель.— По базару, по тому, чем и как на нем торгуют, я всегда могу понять, что это за город, что за люди, каков их характер. Очень люблю базары, и, куда бы я ни приехал, я всегда прежде всего отправляюсь на базар.

На базаре было уже полно народу, много лошадей, торговали зерном, скотом. Вся продающаяся птица — живая. Мы купили го-

рячие лепешки, пшенку (вареные кукурузные початки) и пошли на вокзал.

— Нет былого изобилия, сказывается голод на Украине и разорение села,— говорил Бабель.

Через несколько часов мы были в Нальчике, остановились в гостинице и заказали чаю. Я легла спать, а Бабель отправился к Беталу Калмыкову, первому секретарю обкома партии Кабардино-Балкарии...

Бабель разбудил меня. Войдя в мой номер, он сказал со смехом:

— Знаете, сколько вы проспали? Теперь утро следующего дня. Бетал приглашает нас переехать к нему в загородный его дом, где он сейчас живет, в Долинское.

Но я заупрямилась:

— С Беталом я не знакома, принять приглашение не могу, приглашает он вас, а не меня, и переезжать к нему я не хочу. Не хочу — и все!

Со мной ничего нельзя было поделать. Не помогло ни уверение в том, что у меня там будет своя комната, ни то, что у Бетала всегда живет много всякого народу — друзья, корреспонденты московских газет с женами и т. д. Я стояла на своем. Пришлось Бабелю снова пойти в обком, и там было решено, что он будет жить у Бетала, а я куплю путевку в дом отдыха как раз напротив дома Бетала. На это я согласилась, и мы переехали в Долинское. По дороге туда Бабель рассказал мне о своей встрече с Беталом Калмыковым в тот первый день в Нальчике, который я полностью проспала.

— Я встретил его на площади, он стоял перед новым зданием Госплана. Я подошел к нему и сказал: «Красивое здание, Бетал». Он ответил: «Здание — красивое, люди — плохие. Зайдемте!» Мы вошли, и я с удивлением услышал, как он сказал какой-то женщине, что хочет пройти в уборную и чтобы там никого не было. Пригласил меня туда. В уборной было нисколько не хуже, чем в уборной любого московского учреждения, но Бетал остался недоволен. Он прошел оттуда к заведующему и, когда тот встал, встречая нас, сказал ему без всякого предисловия: «Вы дикий и некультурный человек! У вас в уборной грязно».

В Долинском Бабель познакомил меня с Беталом и его семьей.

Бетал Калмыков был высокого роста, довольно плотный и широкоплечий, с раскосыми карими глазами и круглым, скуластым лицом. Одевался он в серый костюм из простой ткани, которая называлась тогда «чертовой кожей». Брюки-галифе и рубашка с глухим воротником, подпоясанная узким ремешком. На ногах сапоги из тонкого шевро, а на голове кубанка из коричневого каракуля с кожаным верхом. Он почти никогда, даже за столом, не снимал своей кубанки, и только однажды я увидела его без шапки и узнала, что он лыс. Очевидно, своей лысины он стеснялся.

Жена Бетала, Антонина Александровна, была русская, крупная и красивая женщина. Она работала, кажется, по линии детских учреждений и народного образования. У них было двое детей: сын Володя примерно двенадцати лет и дочь Светлана (Лана) трех или

четырех лет. Мальчик был очень красив и имел русские черты лица, а девочка похожа на Бетала, со скуластым личиком и черными, слегка раскосыми, лукавыми глазами. Лана была любимицей отца.

— Некрасивая будет у меня дочка, никто не умыкнет,— говорил Бетал, держа на коленях Лану.

— Она сама, кого захочет, умыкнет,— смеялся в ответ Бабель.

По утрам в Долинском Бабель работал или чаще уезжал куда-нибудь с Беталом. После обеда приходил ко мне, мы гуляли, и он рассказывал о Бетале или передавал услышанное от него за завтраком или обедом. Я запомнила кое-что так, как Бабель пересказал это мне.

«За мной гнались белые,— таков был один из рассказов Бетала,— я убегал в горы по знакомым тропинкам. Погоня длилась трое суток, меня уже было настигали, но я уходил. За мной охотились. Меня решили загнать, как загоняют зверя. Гнались по моим следам, я не мог остановиться. Сил оставалось все меньше, я ничего не ел, не спал. Наконец на третьи сутки погоня прекратилась. Я так устал, что упал, а когда поднялся, то увидел перед собой большого тура. Он был совсем близко, смотрел на меня, весь дрожал, а из глаз его текли слезы. Тур плакал. Он тяжело дышал и так же, как и я, не мог бы сделать больше ни шага. Белые гнались за мной, а я, сам того не зная, гнался за туром. И вот мы оба изнемогли и теперь стояли друг против друга и смотрели друг другу в глаза. Я первый раз в жизни видел, как плачет тур».

В Кабардино-Балкарии довольно большая площадь леса отведена под заповедник. Водятся там медведи, кабаны, лоси и много всякой птицы. Охота занимает значительное место в жизни здешних людей, и Бетал был страстным охотником. Его рассказы за столом чаще всего касались этой темы. Иногда приезжали поохотиться члены правительства из Москвы. И вот однажды на охоту приехала большая группа гостей во главе с Ворошиловым. И Бабель рассказал мне то, что слышал о Бетале от одного из его товарищей.

— Ружья были заряжены дробью. Во время охоты кто-то из неумелых гостей нечаянно всадил Беталу в живот весь заряд дроби. Но он и виду не подал, продолжая охотиться до конца. После охоты жарили птицу и ужинали, а когда все легли спать, Бетал обнажил живот и при свете костра сам и с помощью товарищей вытащил перочинным ножом более двадцати засевших глубоко дробинок. Две дробинки остались, их вытащить не удалось. Никто так ничего и не заметил. На другое утро охотились на кабанов, и только после этого, проводив гостей домой, Бетал обратился к врачу. Каковы законы гостеприимства! — заметил Бабель.

В другой раз на охоте пуля одного из гостей-охотников попала Беталу в кость ноги. На следующий день ему надо было ехать в Москву на какое-то совещание. Он с трудом натянул на больную ногу сапог и, прихрамывая, дошел до вагона. В поезде нога начала распухать, сапог пришлось разрезать и снять. В Ростове его ссадили с поезда, чтобы немедленно везти в больницу. Бетал ни за что не захотел лечь на носилки, сам дошел до машины, а потом и до опера-

ционного стола. Ему хотели привязать к столу руки и ноги, но он воспротивился, от наркоза он также категорически отказался. «У нас на Кавказе не любят насилия над человеком, не прикасайтесь ко мне, я не вскрикну, я хочу сам видеть операцию!»

«В первый раз в жизни,— рассказывал Бетал,— я видел человеческую кость. Какая красивая! Белая, как перламутровая, с голубыми и розовыми прожилками. Я видел, как врач вытащил пулю и как зашил кожу. Закончив операцию, он мне сказал: «Ну, товарищ Калмыков, все в порядке, но охотиться на медведей вы больше не будете». Я ответил: «Буду, доктор, и шкуру первого убитого мною медведя пришлю вам». Я пролежал больше месяца, потом стал ходить, но нога не сгибалась в колене, ходить было неудобно. Думал я, думал, как быть, и решил опускать ее в горячую воду и потихоньку сгибать. Каждый день я проделывал эти упражнения. Сначала было очень больно, а теперь — пожалуйста! — И он покачал ногой, легко сгибающейся в колене.— Шкуру первого убитого мной медведя я послал доктору в Ростов».

Кабардино-Балкария в 1933 году была областью казавшегося немыслимым изобилия. Там поражали базары, сытые лошади, тучные стада коров и овец.

Из Нальчика Бабель писал своей матери: «Я все ношусь по области (Кабардино-Балкарской), жемчужине среди советских областей, и никак не нарадуюсь тому, что приехал сюда. Урожай здесь не только громадный, но и собран превосходно — и жить, наконец, в нашем русском изобилии приятно».

Когда начался сбор кукурузы, Бетал не оставил в обкоме и в учреждениях Нальчика ни одного человека. И сам он, и его жена Антонина Александровна отправились на поля. Работали целыми днями, Бетал был впереди всех, он выполнил норму по сбору кукурузы большую, чем самый опытный колхозник.

— Этот человек во всех отношениях первый в Кабардино-Балкарии,— говорил мне Бабель.— Он первый охотник, нет ему равного. Он — самый лучший сборщик кукурузы, никто с ним не может потягаться в сноровке, и он — лучший в стране наездник... Бетал всегда окружен товарищами: бывшими партизанами, вместе с которыми в давние времена он дрался с белыми. В этом я убедился сам. Вчера поздно вечером мы гуляли вдвоем с Беталом по парку; дорожки его были засыпаны облетевшей листвой. Вдруг неизвестно кому Бетал сказал: «Надо бы подмести дорожки». И кто-то рядом из темноты ответил: «Будет сделано!..» Он всегда окружен личной охраной, состоящей из товарищей, бывших партизан,— повторил Бабель,— а когда Сталин распорядился, чтобы у Бетала была официальная охрана и чтобы его сопровождали телохранители, он с трудом переносил это и страшно над охранниками издевался. Недавно мы ездили с Беталом на строящуюся электростанцию. Вышли из машины и пошли по тропинке. Тотчас из другой машины, нагнавшей нас, вышли двое красноармейцев и пошли за нами. Вдруг мы увидели перед собой на тропинке свернувшуюся змею. Бетал обернулся и сказал одному из телохранителей: «А ну-ка, убей

змею!» Тот остановился и растерялся, не зная, как к ней подойти. Бетал быстро шагнул вперед, наклонился, как-то по-особому схватил змею и швырнул на землю. Она была мертва. Обернувшись, он иронически сказал: «Как же вы будете защищать меня, когда вы змею убить боитесь?» — и пошел дальше.

Строящаяся электростанция была гордостью Бетала Калмыкова, он много говорил о ней и почти ежедневно сам бывал на стройке.

Бабель присутствовал в обкоме на специальном совещании инструкторов, которые отправлялись в Балкарию, чтобы ликвидировать те 15 процентов единоличных хозяйств, которые там еще оставались. Возвратившись, Бабель повторил мне речь, произнесенную Беталом перед инструкторами:

«Побрякушки, погремушки сбросьте, это вам не война. Живите с людьми на пастбищах, спите с ними в кошах, ешьте с ними одну и ту же пищу и помните, что вы едете налаживать не чью-то чужую жизнь, а свою собственную. Я скоро туда приеду. Я знаю, вы выставите людей, которые скажут, что все хорошо, но... выйдет *один старик* и расскажет мне правду. Если вы все хорошо устроите, то с каким приятным чувством вы будете встречать день Седьмого ноября. Если же вы все провалите... *унистожу*, унистожу всех до одного!» (Хорошо говоря по-русски, Бетал некоторые слова немного искажал.)

— Угроза была нешуточной, инструкторы побледнели,— закончил Бабель свой рассказ...

Мне надоело мое безделье, и однажды, гуляя, я увидела женщин, убиравших в поле морковь. Я присоединилась к ним и проработала до обеда. Настроение у меня сразу поднялось, обедала я с аппетитом в первый раз за все время моего пребывания в Нальчике. Когда Бабель после обеда пришел ко мне, я ничего ему не сказала. Но Бетал уже все знал.

— Этот человек знает, что делается в его «владениях» в каждую минуту времени. Он не может иначе,— сказал Бабель.

И вскоре это подтвердилось еще раз. В конце октября Бетал предложил нам поехать в такое — единственное — место, откуда виден весь Кавказский хребет и одновременно две его вершины — Эльбрус и Казбек. Выехали верхом на лошадях в ясное, солнечное утро. И только на пути нашем туда нас дважды нагоняли верховые, которых посылал Бетал, чтобы узнать, все ли у нас хорошо.

Мы решили провести на горе Нартух ночь, увидеть Кавказский хребет на рассвете и на другой день к вечеру возвратиться в Нальчик. Никогда раньше не видела я альпийских лугов; высоко над уровнем моря на чуть холмистой местности расстилался зеленый ковер с цветами и стояли стога свежего сена. Было очень жарко. Невозможно было себе представить, что в Москве в это время деревья стоят голые и льет холодный дождь. Ночью все сидели у костра, в большом котле варились свежие початки кукурузы. То и дело вокруг раздавался звон и грохот — это сторожа кукурузного поля отгоняли медведей, покушавшихся на урожай.

Наконец из предрассветной мглы начали выступать горы,—

сумрачные, темно-синие и фиолетовые, они вдруг окрашивались в отдельных местах в розовый цвет, словно кто-то их зажигал. И вот все вспыхнуло в разнообразных переливах красок — взошло солнце. Весь Кавказский хребет был перед нами. Слева — Казбек, справа — Эльбрус, между ними — цепь горных вершин.

Бабель ушел с охотниками на вышку, где можно было видеть, как кабаны идут к водопою, а потом наблюдать и охоту на них.

В письме к матери Бабель по этому поводу писал:

«Ездили на охоту с Евдокимовым и Калмыковым — убили несколько кабанов (без моего участия, конечно) на высоте 2000 метров среди альпийских пастбищ и на виду у всего Кавказского хребта, от Новороссийска до Баку — жарили целых».

Я не видела Бетала в тот день, но, наверное, он приезжал под утро, чтобы поохотиться, и затем уехал в Нальчик. Мы же оставались на горе Нартух до середины дня и возвратились в Долинское уже вечером.

Позже мы ездили вместе с Беталом также в Баксанское ущелье, к самому подножию Эльбруса. Солнце было горячее, и подтаивающий снег ледников стекал многочисленными ручьями в речку Баксан. Бабель, смеясь, рассказал мне:

— Беталу надоело читать, как альпинисты совершают подвиги восхождения на вершину Эльбруса и как об этом пишут в газетах, и он решил покончить с легендой о невероятных трудностях этого подъема раз и навсегда. Собрал пятьсот рядовых колхозников и без всякого особого снаряжения поднялся с ними на самую вершину Эльбруса. Теперь, когда его об этом спрашивают, он только посмеивается.

В Баксанском ущелье мы прожили несколько дней в зеленом домике Бетала, недалеко от балкарского селения. Гуляя, мы находили множество бьющих из-под земли нарзанных источников, узнавая их по железистой окраске вокруг.

«Несколько дней,— писал в это время Бабель своей матери,— провели в балкарском селении у подножия Эльбруса на высоте 3000 метров, первый день дышать было трудно, потом привык».

Вместе с Беталом Бабель и здесь разъезжал по балкарским селениям, возвращался уставшим, но наполненным разнообразными впечатлениями: «Какой народ! Сколько человеческого достоинства в каждом пастухе! И как они верят Беталу! Все его помыслы — о благе народа».

Из Баксанского ущелья мы хотели было поехать верхом на лошадях на перевал Адыл-Су, чтобы взглянуть оттуда на море. Однако накануне ночью в горах разыгрался буран. Пришлось возвратиться в Нальчик.

Настало Седьмое ноября. С утра недалеко от города состоялись скачки с призами. Были приглашены все московские гости, расположившиеся на сколоченной по этому случаю деревянной трибуне.

Во время скачек на трибуну поднялась и прошла прямо к Беталу какая-то бедно одетая женщина, в шали, с ребенком на руках,

и сказала ему несколько слов по-кабардински. Бетал быстро обернулся к председателю облисполкома и по-русски спросил:

— Она колхозница?

— Они — лодыри,— ответил тот.

Бетал что-то сказал жещине, она спустилась с трибуны и ушла. Я видела, как Бетал, до того очень веселый, стал мрачен. Бабель спросил своего соседа:

— Что сказала женщина?

Тот перевел:

— Бетал, мы колхозники, и мы голодаем. Нам выдали на трудодни десять килограммов семечек. Мой муж болен, у нас нечего есть.

— А что сказал Бетал? — спросил Бабель.

— Он сказал, что завтра к ним приедет.

После окончания скачек и раздачи призов мы подошли к стоянке машин, и Бетал, открыв дверцу одной из них, предложил мне сесть. Его жена Антонина Александровна села рядом со мной. В другую машину сел Бетал вместе с Бабелем, и они тронулись первыми, мы — за ними. Так как дорога была проселочная, пыльная, я спросила шофера:

— А мы не могли бы их обогнать?

— У нас это не полагается,— ответил он строго.

Я с недоумением посмотрела на Антонину Александровну.

— Я к этому привыкла,— улыбаясь, сказала она.

Вечером нас пригласили на праздничный концерт. Когда один танцор в национальном горском костюме и в мягких, как чулки, сапогах вышел плясать лезгинку и стал как-то виртуозно припадать на колено, Бетал, сидевший в первом ряду, вдруг возмутился, встал и отчитал его за выдумку, нарушающую дедовский танец. Таких движений, какие придумал танцор, оказывается, в народном танце не было. После концерта Бабель шепнул мне:

— Вы видите, как по-хозяйски он вмешался даже в лезгинку!

На другой день утром Бетал выполнил свое обещание, данное женщине с ребенком, и поехал в селение, где она жила. Бабель поехал с ним. Возвратился он очень взволнованный и рассказал:

— По дороге в селение мы заехали сначала за секретарем райкома, а затем за председателем колхоза. И то, как Бетал открывал для них дверцу машины и с глубоким поклоном приглашал их сесть, заставило их побледнеть. По дороге к дому женщины Бетал сказал: «Неужели сердца ваши затопило жиром? Ведь эта женщина обошла всех вас, прежде чем ко мне подняться». И немного погодя: «Какая разница между мной и вами? Вы будете ехать по мосту, будет тонуть ребенок — и вы проедете мимо, а я остановлюсь и спасу его. Неужели сердца ваши затопило жиром?!»

Но председатель колхоза и секретарь райкома твердили одно и то же: «Эти люди — лодыри, они не хотят работать».

Мы подъехали к маленькой, покосившейся хате, зашли во двор, сплошь заросший бурьяном, затем в дом. На постели лежал муж женщины, укрытый лохмотьями, и агонизировал. (Именно это слово — «агонизировал» — употребил Бабель.)

В комнате было прибрано, но почти пусто. На столе — мешок с семечками. Женщины с ребенком дома не было. Бетал все осмотрел, сказал несколько слов больному колхознику — спросил, давно ли болеет, сколько семья заработала трудодней и что получила на них в виде аванса. Затем, обернувшись к секретарю райкома, сказал: «Послезавтра я назначаю во дворе этого дома заседание обкома. Чтобы к этому времени здесь был построен новый дом, чтобы у этих людей была еда и им было выплачено все, что полагается на трудодни». Затем, выйдя во двор, добавил: «Чтобы был скошен весь бурьян и там,— показав на дальний угол двора,— была построена уборная». Затем сел в машину, и мы уехали,— закончил рассказ Бабель.

Назначенный Беталом день совещания был потом изменен, но все равно срок для постройки нового дома был так невелик, что все мы с волнением его ждали. Но было слишком много желающих поехать на это совещание, и мне было неудобно просить Бабеля взять меня с собой. Поэтому я с нетерпением ждала его возвращения.

— Перед нами стоял красивый новый дом,— рассказал мне, возвратясь, Бабель,— он был закончен, только внутри печники еще клали печку. Во дворе был скошен весь бурьян, и в дальнем углу двора виднелась уборная. Не только весь двор был заполнен народом, но и все прилегающие к нему улицы и огороды. Беталу так понравились собственные слова, сказанные ранее, что он, обращаясь к членам обкома по-русски, снова произнес: «Неужели сердца ваши затопило жиром?» Затем заговорил по-кабардински. Я схватил за рукав ближайшего ко мне человека и спросил: «Что он говорит?» Оглянувшись, тот ответил: «Ругает один человек». Голос Бетала звучал резко, глаза его сверкали, и через некоторое время я снова спросил соседа: «Что он говорит?» «Ругает все люди»,— ответил тот, повернув ко мне испуганное лицо. И наконец, когда Бетал стал что-то выкрикивать и я подумал, что он закончит речь, как это обычно бывает, словами: «Да здравствует Сталин!» — еще раз толкнул соседа и спросил: «Что говорит он?» Тот повернулся ко мне и сказал: «Он говорит, что надо строить уборные». Именно этими словами закончил Бетал Калмыков свою речь.

Рассказы Бабеля о Бетале продолжались. Запомнился и такой:

— Бетал созвал девушек Кабардино-Балкарии и сказал им: «Лошадь или корову купить можно, а девушку — нельзя. Не позволяйте своим родителям брать за вас выкуп, продавать вас. Выходите замуж по любви». Тогда вышла одна девушка и сказала: «Мы не согласны. Как это так, чтобы нас можно было взять даром? Мы должны приносить доход своим родителям. Нет, мы не согласны». Бетал рассердился, созвал юношей и сказал им: «Поезжайте на Украину и выбирайте себе невест там, украинские девушки гораздо лучше наших, они полногрудые и хорошие хозяйки». И послал юношей в ближайшие станицы, чтобы они оттуда привезли жен. Тогда делегация девушек пришла к Беталу и объявила: «Мы согласны».

О съезде стариков, который созывал Бетал, Бабель написал из Нальчика своей матери: «Завтра, например, открывается второй областной съезд стариков и старух. Они теперь главные двигатели колхозного строительства, за всем надзирают, указывают молодым, ходят с бляхами, на которых написано «Инспектор по качеству», и вообще находятся в чести. Такие съезды созываются теперь по всей России, гремит музыка, и старикам аплодируют. Придумал это Калмыков, секретарь здешнего обкома партии (у которого я гощу), кабардинец по происхождению, а по существу своему великий, невиданный новый человек. Слава о нем идет уже полтора десятилетия, но все слухи далеко превзойдены действительностью. С железным упорством и дальновидностью он превращает маленькую горную полудикую страну в истинную жемчужину».

Бетал Калмыков был одним из тех людей, которые владели воображением Бабеля. Иногда он в раздумье произносил:

— Хочу понять: Бетал — что он такое?

В другой раз, прохаживаясь по комнате, он говорил:

— Отношения с Москвой у него очень сложные. Когда к нему из Москвы приезжают уполномоченные из ЦК, они обычно останавливаются в специальном вагоне и приглашают туда Бетала. Он входит и садится у дверей на самый краещек стула. Все это нарочито. Его спрашивают: «Правда ли, товарищ Калмыков, что у вас нашли золото в песке реки Нальчик?» Он отвечает: «Помолчим пока об этом». Он прибедняется и даже унижается перед ними, а ведь он — гордый человек и мне кажется, что не очень их уважает. Москва платит ему тем же. Ему дают очень мало денег, очень мало товаров. А он втайне от Москвы покрыл свою маленькую страну сетью великолепных асфальтированных дорог. Я спросил его однажды — на какие деньги? Оказалось, заставил население собирать плоды дичков (груш и яблонь), которых в лесах очень много, и построил вареньеварочные заводы. Делают там джем и варенье, продают и на эти деньги строят дороги. Кстати, нас приглашают посетить один такой завод...

И мы поехали. Повез нас туда вместе с другими гостями сам Бетал, показал все оборудование. Любимым его выражением для похвалы было: «Добропорядочный работник», а для порицания — «Дикий, некультурный человек». На вареньеварочном заводе он никого не ругал, наоборот, раза два про кого-то сказал: «Добропорядочный работник».

Всем гостям Бетал предлагал варенье и джем в банках. Многие взяли, а мы с Бабелем отказались. Позже мне Бабель сказал:

— Бетал о вас говорит очень уважительно; наверно, потому, что вы отказались взять варенье,— засмеялся и добавил: — А может быть, потому, что вы здесь ведете такой обособленный образ жизни. Он даже собирается пригласить вас к себе на работу инженером, на строительство электростанции. Ну, как, вы бы согласились?

— Нет,— ответила я.— Я собираюсь работать по проектированию метро...

Уже зимой, а может быть, весной 1934 года, находясь в Москве,

Бабель узнал, что на спортивных соревнованиях в Пятигорске, куда съехались спортсмены всех северокавказских областей, кабардино-балкарцы завоевали все первые места. С этой новостью он вошел ко мне в комнату.

— Среди народностей Северного Кавказа,— сказал он,— ни кабардинцы, ни балкарцы не отличаются особенной физической силой, тем не менее *все* первые места взяты ими. Что мог сказать, отправляя спортсменов на соревнования, Бетал? Дорого бы я заплатил за то, чтобы узнать это.

В феврале 1935 года Бабель написал своей матери:

«В Москве — съезд Советов; из разных концов земли прибыли мои товарищи — Евдокимов с Сев. Кавказа. Из Кабарды — Калмыков, много друзей с Донбасса. На них уходит много времени. Ложусь спать в четыре-пять утра. Вчера повезли с Калмыковым кабардинских танцоров Алексею Максимовичу, плясали незабываемо!»

Когда позже, кажется в 1936 году, Бетал снова приехал в Москву, Бабель мне сказал:

— Пойдите к Беталу в гостиницу и уговорите его показаться здесь врачу. Мне известно, что он болен, у него, по всей вероятности, язва желудка, а к врачу пойти не хочет. Быть может, вас он послушается. Кстати, захватите для Ланы апельсины.

И вот я с пакетом апельсинов отправилась к Беталу. Он сидел в гостиничном номере на диванчике у стола все в той же каракулевой шапке и ел со сковородки яичницу. Встретил меня с улыбкой. После обмена общими фразами я, нарочно пользуясь его излюбленным выражением, сказала:

— Бетал — вы дикий и некультурный человек, почему вы не хотите посоветоваться с врачами о вашей болезни?

Он рассмеялся и сказал:

— Да они все выдумали, я совершенно здоров.

На том мои уговоры и закончились.

А какое-то время спустя, наверно уже в 1937 году, Бабель сообщил мне об аресте Бетала: «Его вызвали в Москву, в ЦК, и когда он вошел в одну из комнат, на него набросилось четыре или пять человек. При его физической силе не рисковали арестовать его обычным способом; его связали, обезоружили. И это Бетала, который мог перенести любую боль, но только не насилие над собой! После его ареста в Нальчике был созван партийный актив Кабардино-Балкарии. Поезд, с которым приехали представители ЦК, был заполнен военными — охраной НКВД. От вокзала до здания обкома, где собрался актив, был образован проход между двумя рядами вооруженных людей. На партактиве было объявлено о том, что Бетал Калмыков — враг народа и что он арестован, а после окончания заседания весь партактив по проходу, образованному вооруженными людьми, был выведен к поезду, посажен в вагоны и увезен в московские тюрьмы...»

Бетал погиб.

И остался ненаписанным цикл рассказов Бабеля о Кабардино-Балкарии...

Покидая Нальчик, Бабель задумал перекочевать в колхоз, в станицу Пришибскую, где хотел собирать материал и писать. Он решил проводить меня и попутно показать мне Минеральную группу. Мы побывали в Железноводске, недалеко от которого находился очень интересовавший Бабеля Терский конный завод.

— Терский конный завод существует уже несколько лет,— рассказывал по дороге туда Бабель,— основан он специально для того, чтобы получить потомство от Цилиндра — замечательного арабского жеребца. Но вся беда в том, что от него рождаются только кобылицы. И каких бы маток к нему ни подводили, получить жеребчика пока не удается...

На заводе нам показали Цилиндра. В жизни я не видела лошади красивее. Совершенно белый, с изогнутой, как у лебедя, шеей, с серебристыми гривой и хвостом. Бабель успел уже показать мне очень породистых лошадей и на конном заводе вблизи Молоденова, и на московском ипподроме, но там была рысистая порода; арабского жеребца я видела впервые. Я даже не думала, что такие красивые кони могут существовать на самом деле.

— Ну, что? — улыбаясь, спросил Бабель.— Стоило устраивать ради него завод?

Мы провели на конном заводе почти целый день. Осматривали жеребят, перед нами проводили потомство араба — двухлеток и трехлеток. Ни одна из его дочерей не унаследовала даже масти отца.

В Пятигорске Бабель показал мне все лермонтовские места. Он бывал здесь и в прошлые годы, навещая своих «бойцовских ребят», как он называл тех товарищей, с которыми встречался в 1920 году в Конармии, поэтому рассказывал мне о лермонтовских местах, как настоящий экскурсовод.

— Для путешествий страна наша пока совсем не приспособлена,— говорил он.— Гостиницы ужасные, кровати плохие, с серыми убогими одеялами, ничем не покрытые столы.

Из Кисловодска Бабель проводил меня на станцию Минеральные Воды, и я уехала.

Вскоре по возвращении в Москву я получила от Бабеля письмо из станицы Пришибской. Хорошо запомнились строки:

«Живу в мазаной хате с земляным полом. Тружусь. Вчера председатель колхоза, с которым мы сидели в правлении, когда настали сумерки, крикнул: «Федор, сруководи-ка лампу!»

А незадолго до Нового года я получила письмо, в котором Бабель писал:

«Я человек суеверный и непременно хочу встретить Новый год с вами. Подождите устраиваться на работу и приезжайте 31-го в Горловку, буду встречать».

Приглашение Бабеля было предложением жить в будущем вместе. И мой приезд в Горловку 31 декабря 1934 года означал, что я это предложение приняла.

Бабель встретил меня в Горловке в дубленом овчинном полушубке, меховой шапке и валенках и повез к Вениамину Яковле-

вичу Фуреру, секретарю Горловского горкома, у которого остановился.

Фурер был знаменитым человеком, о нем много писали. Прославился он тем, что создал прекрасные по тем временам условия жизни для шахтеров и даже дорогу от их общежития до шахты обсадил розами. Бабель говорил:

— Тяжелый и грязный труд шахтеров Фурер сделал почетным, уважаемым. Шахтеры — первые в клубе, их хвалят на собраниях, им дают премии и награды; они самые выгодные женихи, и лучшие девушки охотно выходят за них замуж.

Мы встречали Новый год втроем: Фурер, Бабель и я. Жена Фурера, балерина Харьковского театра Галина Лерхе, приехать на Новый год не смогла.

Квартира Фурера в Горловке, большая и почти пустая, была обставлена только необходимой и очень простой мебелью. Хозяйство вела веснушчатая, очень бойкая девчонка, веселая и острая на язык. Она говорила Фуреру правду в глаза и даже им командовала; он покорно ей подчинялся, и это его забавляло.

— Преданный человек и, как ни странно, помогает в моей работе — не дает стать чиновником,— говорил Фурер.

Он был очень красив. Высокий, хорошо сложенный, с веселыми светлыми глазами и белокурой головой. «Великолепное создание природы»,— говорил про него Бабель.

За столом под Новый год Фурер смешно рассказывал, как его одолевают корреспонденты, какую пишут они чепуху и как один из них, побывавший у его родителей, написал: «У стариков Фуреров родился кудрявый мальчик». Бабель весело смеялся, а потом часто эту фразу повторял.

В Горловке Бабель захотел спуститься в шахту — посмотреть на работу забойщиков. К нам присоединился приехавший в Горловку писатель Зозуля. В душевой мы переоделись в шахтерские комбинезоны, на грудь каждому из нас повесили лампочку и в клети «с ветерком» спустили на горизонт 630. С нами были инженер и начальник смены. Разрабатывался наклонный, под углом 70 градусов, пласт угля толщиной около двух метров, расположенный между горизонтами 630 и 720.

В очень небольшое отверстие первым спустился инженер, потом я, затем начальник смены, Бабель и последним Зозуля. Спускаться надо было в темноте, при свете наших довольно тусклых лампочек; воздух был насыщен угольной пылью, она сразу же забила нос, рот, глаза.

Бревна, распирающие породу там, где пласт угля был уже выработан, располагались с расстоянием от 1,5 до 1,7 метра одно от другого, поэтому спуск был чрезвычайно сложным для меня, приходилось все время пребывать в каком-то распятом состоянии, стараясь вытянуться как можно больше. При этом было совершенно нечем дышать и почти ничего не видно. Руки и ноги вскоре онемели, сердце заколотилось, и я, например, была в таком отчаянии, что готова была опустить руки и упасть вниз. Но идущий впереди

все-таки помогал мне и в отдельных случаях просто брал мою ногу и с силой ставил ее на бревно. Поневоле руки мои отрывались от верхних бревен. Так, дойдя до полного отчаяния, я вдруг коснулась спиной породы и почувствовала облегчение. Опираясь спиной, спускаться было уже много легче, но никто раньше об этом мне не сказал. Волнуясь за Бабеля (рост его ненамного превышал мой, к тому же он страдал астмой), я просила идущего за мной начальника смены помочь ему и сказать, чтобы он опирался спиной.

Справа от нас рубили уголь; он сыпался вниз; везде, где были рабочие, ругань стояла невообразимая. Это было традицией, без этого не умели добывать уголь. В одном месте мы передвинулись ближе к забою. Уголь искрился и сверкал при свете лампочек. Это был настоящий антрацит.

Бабель с забойщиками не разговаривал,— очевидно, говорить ему было трудно. Я взглянула на него. Лицо его было совершенно черное, как и у всех остальных, белели только белки глаз и зубы. Он тяжело дышал.

Мы начали спускаться дальше; показалось, что стало легче, может быть, стал более наклонным пласт. Последние несколько метров съехали просто на спине в кучу угля и чуть-чуть не угодили в вагонетку. Спустившись по приставной лесенке, мы оказались в довольно большой штольне, потолок и стены ее были побелены и воздух чист. Как ни предупреждал начальник смены откатчиков: «Тише: женщина!» — мат не прекращался. А какой-то веселый паренек, увидев, что появились гости, с восторгом закричал:

— Идите в насосную, вот где ругаются, красота!

Бабель сказал:

— Там, в насосной, более образованные люди, поэтому и ругань изысканней!

Смысл ругательств здесь полностью утрачивался, оставалась только внешняя форма, не лишенная изобретательности, даже поэтичности: в насосной виртуозно ругались стихами, кто под Пушкина, а кто под Есенина; можно было различить размер и стиль.

Поднялись на поверхность и пошли отмываться в душевую, где вода была какая-то особенная — конденсат отработанного пара, поэтому уголь смывался очень хорошо. У всех остались только ободки вокруг глаз, что могло отмыться лишь через несколько дней. Сели в машину и поехали осматривать коксохимический завод.

Большие цехи с какими-то агрегатами, покрытыми инеем, работали автоматически; рабочих нигде не было, только наблюдающий инженер. Температура в этих агрегатах, наполненных аммиаком, очень низкая. В результате их работы получалось удобрение для полей. Я ходила с трудом — так ныло у меня все тело, особенно трудно давались спуски и подъемы — хождение по этажам.

Лицо Бабеля было спокойно, и вид такой, как будто он и не проходил только что через угольный ад. Он всем интересовался и задавал инженеру вопросы.

Фурер отсутствовал два дня — ездил к жене в Харьков. Возвратившись, он с воодушевлением рассказывал о своих планах преобра-

зования Горловки: здесь будет больница, там — городской парк, а там — театр. Он мечтал о сокращении рабочего дня шахтера до четырех часов в день.

Из Горловки 20 января 1934 года Бабель писал своей матери:

«Очень правильно сделал, что побывал в Донбассе, край этот знать необходимо. Иногда приходишь в отчаяние — как осилить художественно неизмеримую, курьерскую, небывалую эту страну, которая называется СССР. Дух бодрости и успеха у нас теперь сильнее, чем за все 16 лет революции».

Планов своих в Горловке Фуреру осуществить не пришлось. Каганович потребовал его в Москву для работы в МК.

В том же 1934 году мы вместе с ним и Галиной Лерхе были на авиационном параде в Тушине. Проезжая по какой-то боковой улочке, чтобы избежать потока машин, направлявшихся в Тушино, мы увидели склад с надписью: «Брача песка строго воспрещается». Эта надпись дала повод Бабелю вспомнить целый ряд таких же курьезных объявлений вроде: «Рубить сосны на елки строго воспрещается», виденного им в Крыму.

Парад смотрели с крыши административного здания, где собрались знатные гости, и стояли рядом с А. Н. Туполевым, который тогда был в зените своей славы, впоследствии чуть не угасшей совсем. Впереди, ближе к парапету, стояли Сталин и другие члены правительства.

Некоторое время спустя мы еще раз встретились с Фурером, когда были приглашены на творческий вечер Галины Лерхе.

Вечер был устроен в каком-то клубе, кажется на улице Разина; зал был небольшой, но набит битком. Танцы Галины Лерхе, характерные и выразительные, казались тогда очень современными по сравнению с классическим балетом. Бабель сказал, что они «в стиле Айседоры Дункан», которую он знал.

В последний раз я видела Фурера осенью 1936 года. Бабель незадолго перед этим уехал в Одессу, а я в его отсутствие решила, что ему не следует больше жить в одной квартире с иностранцами. Поэтому я позвонила Фуреру и сказала, что мне нужно с ним поговорить, не откладывая; он пригласил меня прийти вечером. Дверь мне открыла все та же бойкая девчонка из Горловки. Я застала хозяина в кабинете за письменным столом. Целью моего визита было объяснить ему, что Бабелю, в связи с общей сложившейся тогда ситуацией (шли судебные процессы над «врагами народа»), неудобно жить вместе с иностранцами и что ему нужна отдельная квартира. Бабель, наверное, высмеял бы мои соображения, если бы был дома. Однако Фурер во всем со мной согласился и обещал о квартире подумать. Я обратила внимание, что ящики его письменного стола были выдвинуты и что он, слушая меня, извлекал письма и какие-то бумаги из ящиков и рвал их на мелкие клочки. На столе был уже целый ворох изорванной бумаги. Меня не очень удивила эта операция, я решила, что он просто наводит порядок в своем письменном столе.

Но вскоре получила от Бабеля письмо из Одессы, в котором он писал: «Сегодня узнал о смерти Ф. Как ужасно!» Почему-то я долго ломала себе голову: кто из наших знакомых имеет имя или фамилию на букву «Ф»? — и никого не нашла. Я и не подумала о Фурере, так как никак не могла заподозрить в неблагополучии стоящего у власти, и так близко к благополучному Кагановичу, человека, а искала это имя (или фамилию) совсем в других кругах наших знакомых.

Когда же весть о смерти Фурера дошла и до меня, я поняла, что разговаривала с ним в последний раз накануне его самоубийства. Это было в субботу, а в воскресенье он уехал на дачу и там застрелился. От Бабеля я позже узнала, что Сталин был очень раздосадован этим и произнес: «Мальчишка! Застрелился и ничего не сказал». Человек слишком молодой, чтобы принадлежать в прошлом к какой-либо оппозиции, ничем не запятнанный, числившийся на отличном счету,— понять причину угрожавшего ему ареста было просто немыслимо. А я тогда все же искала причину, наивно полагая, что без нее человека арестовать нельзя.

Но в январе 1934 года, когда мы с Бабелем уезжали из Горловки, веселый и полный надежд Фурер провожал нас на вокзал...

На Николо-Воробинском нас встретил Штайнер, очевидно уже подозревавший, что «джентльменское соглашение» с Бабелем (никаких женщин в доме) грозит нарушиться. Мы же решили, что надо подготовить его к этому постепенно, и поэтому через несколько дней сняли для меня комнату на 3-й Тверской-Ямской в трехкомнатной квартире одного инженера. Кроме супругов, в этой квартире жила домработница Устя, веселая, уже немолодая женщина. Она любила порассказать о жизни своих хозяев, и тогда Бабеля нельзя было от нее увести. Особенно веселил его обычный ответ Усти на мой вопрос по телефону: «Как дома дела?» — «Встренем — поговорим».

Раздельная жизнь наша продолжалась несколько месяцев. Штайнер сам предложил Бабелю, чтобы я переехала на Николо-Воробинский, и уступил мне одну из своих двух верхних комнат, считая ее более для меня удобной, чем вторая комната Бабеля. Очень скоро после этого вторую комнату Бабель отдал соседу из другой половины дома. Дверь из нее была заложена кирпичом, и наверху остались три комнаты.

Рабочая комната Бабеля служила ему и спальней; она была угловой, с большими окнами. Обстановка этой комнаты состояла из кровати, замененной впоследствии тахтой, платяного шкафа, рабочего стола, возле которого стоял диванчик с полужестким сиденьем, двух стульев, маленького столика с выдвижным ящиком и книжных полок. Полки были заказаны Бабелем высотой до подоконника и во всю длину стены, на них устанавливались нужные ему и любимые им книги, а наверху он обычно раскладывал бумажные листки с планами рассказов, разными записями и набросками. Эти листки, продолговатые, шириной 10 и длиной 15—16 сантиметров, он нарезал сам и на них все записывал. Работал он или сидя на диване, часто поджав под себя ноги, или прохаживаясь по комнате. Он

ходил из угла в угол с суровой ниткой или тонкой веревочкой в руках, которую все время то наматывал на пальцы, то разматывал. Время от времени он подходил к столу или к полке и что-нибудь записывал на одном из листков. Потом хождение и обдумывание возобновлялись. Иногда он выходил и за пределы своей комнаты; а то зайдет ко мне, постоит немного, не переставая наматывать веревочку, помолчит и уйдет опять к себе. Однажды в руках у Бабеля появились откуда-то добытые им настоящие четки, и он перебирал их, работая; но дня через три они исчезли, и он снова стал наматывать на пальцы веревочку или суровую нить. Сидеть с поджатыми под себя ногами он мог часами; мне казалось, что это зависит от телосложения.

Рукописи Бабеля хранились в нижнем выдвижном ящике платяного шкафа. И только дневники и записные книжки находились в металлическом, довольно тяжелом ящичке с замком.

Относительно своих рукописей Бабель запугал меня с самого начала, как только я поселилась в его доме. Он сказал мне, что я не должна читать написанное им начерно и что он сам мне прочтет, когда это будет готово. И я никогда не нарушала этот запрет. Сейчас я даже жалею об этом. Но проницательность Бабеля была такова, что мне казалось — он видит все насквозь. Он сам признавался мне, как Горький, смеясь, сказал как-то:

— Вы — настоящий соглядатай. Вас в дом пускать страшно.

И я, даже когда Бабеля не было дома, побаивалась его проницательных глаз.

К тому времени я уже поступила на работу в Метропроект, занимавшийся тогда проектированием первой очереди Московского метрополитена.

Бабель относился к моей работе очень уважительно, и притом с любопытством. Строительство метрополитена в Москве шло очень быстро, проектировщиков торопили, и случалось, что я брала расчеты конструкций домой, чтобы дома закончить их или проверить. У меня в комнате Бабель обычно молча перелистывал папку с расчетами, а то утаскивал ее к себе в комнату и если у него сидел кто-нибудь из кинорежиссеров, то показывал ему и хвастался: «Она у нас математик,— услышала я однажды.— Вы только посмотрите, как все сложно, это вам не сценарии писать...»

Составление же чертежей, что мне тоже иногда приходилось делать дома, казалось Бабелю чем-то непостижимым.

Но непостижимым было тогда для меня все, что умел и знал он.

До знакомства с Бабелем я читала много, но без разбору, все, что попадется под руку. Заметив это, он сказал:

— Это никуда не годится, у вас не хватит времени прочитать стоящие книги. Есть примерно сто книг, которые каждый образованный человек должен прочесть обязательно. Я как-нибудь составлю вам список этих книг.

И через несколько дней он принес мне этот список. В него вошли древние (греческие и римские) авторы — Гомер, Геродот, Лукреций, Светоний, а также все лучшее из более поздней западно-

европейской литературы, начиная с Эразма Роттердамского, Свифта, Рабле, Сервантеса и Костера, вплоть до таких писателей XIX века, как Стендаль, Мериме, Флобер.

Однажды Бабель принес мне два толстых тома Фабра «Инстинкт и нравы насекомых».

— Я купил это для вас в букинистическом магазине,— сказал он.— И хотя в список я эту книгу не включил, прочитать ее необходимо. Вы прочтете с удовольствием.

И действительно, написана она так живо и занимательно, что читалась как детективный роман.

Летом 1934 года и в последующие годы мне часто приходилось бывать с Бабелем на бегах, но я никогда не видела, чтобы он играл. У него был чисто спортивный интерес к лошадям.

Он бывал на тренировках и в конюшнях наездников гораздо чаще, чем на самих бегах. Скачками он интересовался меньше. Но люди, встречавшиеся на бегах, азартно играющие, и разговоры их между собой очень его интересовали. На ипподроме он жадно ко всему прислушивался, внимательно присматривался и часто тащил меня из ложи куда-то наверх, где толпились игроки наиболее азартные, складывавшиеся по нескольку человек, чтобы купить один, но, как им казалось, беспроигрышный билет.

Впоследствии по одной домашней примете я научилась безошибочно узнавать, что Бабель уехал к лошадям: в эти дни из сахарницы исчезал весь сахар.

Театр Бабель посещал не очень часто, с большой осторожностью, но зато на «Мертвые души» в Художественный ходил каждый сезон.

Хохотал он во время представления «Мертвых душ» так, что мне стыдно было сидеть с ним рядом. Я не знаю другой пьесы, которую Бабель любил бы больше этой.

Когда Бабель возвратился после читки своей пьесы «Мария» в Художественном театре, то рассказывал мне, что актрисам очень не терпелось узнать, что же это за главная героиня и кому будет поручена ее роль.

Оказалось, что главная героиня отсутствует. Бабель считал, что пьеса ему не удалась, но, впрочем, сам он ко всем своим произведениям относился критически.

Ни оперу, ни оперетту Бабель не любил. Пение же, особенно камерное, слушал с удовольствием и однажды пришел откуда-то восхищенным исполнением Кето Джапаридзе.

— Эта женщина,— рассказывал он,— была женой какого-то крупного работника в Грузии и пела только дома, для гостей. Но мужа арестовали, и она осталась без всяких средств к существованию. Тогда кто-то из друзей посоветовал ей петь. Она выступила сначала в клубе, и успех имела невероятный. После этого сделалась певицей. Поет она с чувством необыкновенным.

А когда Кето Джапаридзе давала концерт в Москве, он повел меня ее послушать.

Однажды я возвратилась из театра и застала у Бабеля гостей, то были журналисты, среди которых знакомым мне был только

В. А. Регинин. Я увидела Бабеля, бледного от усталости, прижатого к стене журналистами, о чем-то его выспрашивавшими. Я набралась храбрости, подошла к ним и сказала:

— Разве вы не знаете, что Бабель не любит литературных разговоров?!

Они отошли, а Регинин сказал:

— Ну, поговорим в другой раз.

И все ушли. Тогда Бабель сказал мне:

— Мойте ноги, выпью ванну воды...

А в театре, откуда я возвратилась в тот вечер, показывали пьесу «Волки и овцы»; в перерыве между действиями присутствовавший на спектакле Авель Сафронович Енукидзе объявил зрителям только что полученную им новость,— в СССР, прямо с Лейпцигского процесса, прилетел Димитров.

Нелюбовь Бабеля к литературным интервью граничила с нетерпимостью. От дочери М. Я. Макотинского, Валентины Михайловны, мне известен, например, такой эпизод: когда В. М. Инбер попыталась однажды (в 1927 или 1928 году) расспросить Бабеля и узнать, каковы его ближайшие литературные планы, он ответил:

— Собираюсь купить козу...

Киноэкран привлекал Бабеля всегда.

Фильм «Чапаев» мы с ним ходили смотреть на Таганку. Он вышел из кинотеатра потрясенный и сказал:

— Замечательный фильм! Впрочем, я — замечательный зритель; мне постановщики должны были бы платить деньги как зрителю. Позже я могу разобраться — хорошо или плохо сыграно и как фильм поставлен, но пока смотрю — переживаю и ничего не замечаю. Такому зрителю нет цены.

Летом 1934 года в Москву впервые приехал из Парижа известный французский писатель Андре Мальро. Это был довольно высокий и очень изящный человек, слегка сутулившийся, с тонким лицом, на котором выделялись большие, всегда серьезные глаза. Нервный тик то и дело проходил по его лицу. У него были темно-русые, гладко зачесанные назад волосы, одна прядь их часто падала на лоб. Движением руки или головы он отбрасывал ее назад.

Втроем — Мальро, Бабель и я — мы смотрели физкультурный парад на Красной площади, с трибуны для иностранных гостей. Недалеко от нас стоял Герберт Уэллс. Со мной был фотоаппарат, и мне захотелось снять Уэллса. Подвигаясь поближе к нему и смотря в аппарат, я нечаянно наступила на ногу японскому послу и смутилась. Бабель, заметив это и стремясь сгладить мою неловкость, с улыбкой спросил его:

— Скажите, правда ли, что у вас в Японии размножаются почкованием?

Тот весело засмеялся, что-то шутливо ответил, и все было замято. Мне же Бабель тихо сказал:

— Из-за вас у нас могли быть неприятности с японским правительством. Надо быть осторожнее, когда находишься среди послов.

Снимать я больше не пыталась. Трибуна для иностранных гостей находилась близко от мавзолея, и стоявшим на ней был хорошо виден Сталин в профиль. После парада мы направились в ресторан «Националь» обедать. За обедом Мальро все обращался ко мне с вопросами о том, какое место занимает любовь в жизни советских женщин, как они переживают измену, как относятся к девственности? Я отвечала, как могла. Бабель переводил мои ответы и, наверно, придавал им более остроумную форму. Во всяком случае, Мальро с самым серьезным видом кивал головой.

В тот же приезд Мальро сказал, что «писатель — это не профессия». Его удивляло, что в нашей стране так много писателей, которые ничем, кроме литературы, не занимаются, живут в обособленных домах, имеют дачи, дома отдыха, свои санатории. Об этом образе жизни писателей Бабель как-то раз сказал:

— Раньше писатель жил на кривой улочке, рядом с холодным сапожником. Напротив обитала толстуха-прачка, орущая во дворе мужским голосом на своих многочисленных детей. А у нас что?

Летом 1935 года в Париже состоялся Конгресс защиты культуры и мира. От Советского Союза туда была послана делегация писателей, к ней присоединился находившийся тогда во Франции Илья Эренбург. Когда эта делегация прибыла в Париж, французские писатели заволновались: где Бабель? где Пастернак? В Москву была направлена просьба, чтобы эти двое вошли в состав делегации. Сталин распорядился отправить Бабеля и Пастернака в Париж. Оформление паспортов, которое длилось обычно месяцами, было совершено за два часа. Это время в ожидании паспорта мы с Бабелем просидели в скверике перед зданием МИДа на Кузнецком мосту.

Возвратившись из Парижа, Бабель рассказывал, что всю дорогу туда Пастернак мучил его жалобами: «Я болен, я не хотел ехать, я не верю, что вопросы мира и культуры можно решать на конгрессах... Не хочу ехать, я болен, я не могу!» В Германии каким-то корреспондентам он сказал, что «Россию может спасти только бог».

— Я замучился с ним,— говорил Бабель,— а когда приехали в Париж, собрались втроем: я, Эренбург и Пастернак — в кафе, чтобы сочинить Борису Леонидовичу хоть какую-нибудь речь, потому что он был вял и беспрестанно твердил: «Я болен, я не хотел ехать». Мы с Эренбургом что-то для него написали и уговорили его выступить. В зале было полно народу, на верхних ярусах толпилась молодежь. Официальная, подготовленная в Москве речь Всеволода Иванова была в основном о том, как хорошо живут писатели в Советском Союзе, как много они зарабатывают, какие имеют квартиры, дачи и т. п. Это произвело на французов очень плохое впечатление. Именно об этом нельзя было им говорить. Мне было так жалко беднягу Иванова... А когда вышел Пастернак, растерянно и по-детски оглядел всех и неожиданно сказал: «Поэзия... ее ищут повсюду... а находят в траве...» — раздались такие аплодисменты, такая буря восторга и такие крики, что я сразу понял: все в порядке, он может больше ничего не говорить.



А. М. Горький, Андре Мальро, И. Э. Бабель, М. Е. Кольцов. Тессели, Крым. 1936 г.

О своей речи Бабель мне не рассказывал, но впоследствии от И. Г. Эренбурга я узнала, что Бабель произнес ее на чистейшем французском языке, употребляя много остроумных выражений, и что аплодировали ему бешено и кричали, особенно молодежь.

Бабель написал матери и сестре из Парижа 27 июня:

«Конгресс закончился, собственно, вчера. Моя речь, вернее импровизация (сказанная к тому же в ужасных условиях, чуть ли не в час ночи), имела у французов успех. Короткое время положено мне для Парижа, буду рыскать, как волк, в поисках материала — хочу привести в систему мои знания о ville lumiere и м. б. опубликовать их» [1].

Однажды я попросила Эренбурга, уезжавшего во Францию, узнать, не сохранилась ли стенограмма речи Бабеля на конгрессе. Он говорил об этом с Мальро, одним из организаторов конгресса, но оказалось, что все материалы погибли во время оккупации Парижа немцами.

В апреле 1936 года Бабель ездил к Алексею Максимовичу Горькому в Тессели вместе с Андре Мальро. его братом Ролланом и Михаилом Кольцовым. Возвратившись, он рассказал мне, что Мальро

[1] Эта публикация Бабеля о Париже появилась в журнале «Пионер» (1937, № 3) под названием «Город-светоч».

обратился к Горькому с предложением о создании «Энциклопедии XX столетия», которая имела бы такое же значение для духовного развития человечества, как «Энциклопедия XVIII столетия», основателем и главным редактором которой был Дени Дидро. Такая энциклопедия должна была, по плану Мальро, стать основным литературным, историческим и философским оружием в борьбе за гуманизм против фашизма. Предполагалось, что в составлении такого грандиозного труда примут участие ученые и писатели почти всех стран мира и что энциклопедия будет издана одновременно на четырех языках — русском, французском, английском и испанском. А. М. Горький, по словам Бабеля, одобрил идею создания такой энциклопедии и в качестве редактора от Советского Союза предложил Н. И. Бухарина. На это Мальро ответил, что не знает другой личности с кругозором подобной широты.

Однако полное взаимопонимание между Горьким и Мальро обнаружилось только в том, что энциклопедию надо создавать. По всем остальным вопросам, которые задавал Мальро Горькому и которые касались свободы искусства и личности, а также оценки произведений таких писателей, как Достоевский и Джойс, Горький и Мальро оказались почти на противоположных позициях.

Переводчиками Мальро в этих беседах были Михаил Кольцов и Бабель. Бабель жаловался мне, что эта миссия была трудной, приходилось быть и переводчиком и дипломатом в одно и то же время.

— Горькому не легко дались эти беседы,— говорил Бабель,— а Мальро, уезжая из Тессели, был мрачен: ответы Горького не удовлетворили его...

В этот второй свой приезд в СССР Андре Мальро несколько раз бывал у нас дома. Бабель любил подшутить над ним и называл его по-русски то Андрюшкой, то Андрюхой, а то подвинет к нему какое-нибудь блюдо, уговаривая: «Лопай, Андрюшка!» Тот же, не понимая по-русски, только улыбался и продолжал говорить. Как человек нервный и очень темпераментный, он говорил всегда быстро и взволнованно. Его интересовало все: и отношение у нас к поэту Пастернаку, и критика музыки Шостаковича, и обсуждение на писательских собраниях вопросов о формализме и реализме.

Как-то у нас дома я задала Мальро банальный вопрос: как понравилась ему Москва? В то время в Москве недавно открыли первую линию метро и всем иностранцам непременно ее показывали. Мальро ответил на мой вопрос кратко: «Un peu trop de metro» (многовато метро).

Позднее Бабель рассказывал мне, что во время испанских событий Мальро был командиром эскадрильи самолетов в Интернациональной бригаде; кроме того, он летал в Нью-Йорк, где пламенными речами перед американцами собрал миллион долларов в пользу борющейся Испании.

Летом 1935 года Бабель отправился в поездку по Киевщине для сбора материалов в журнал «СССР на стройке». Готовился специальный тематический номер по свекле. У меня как раз предстоял отпуск.



И. Э. Бабель и А. Н. Пирожкова
во время поездки по Киевщине. 1935 год.

Мы приехали в Киев, остановились в гостинице «Континенталь». Бабель встретился там с П. П. Постышевым, который выделил ему для поездки две машины и сопровождающих. Бабель сказал мне, что Постышев на Украине пользуется большой популярностью, что он — добрый человек, любит детей и делает для них много хорошего.

Мы направились в те колхозы, где выращивали свеклу. С нами из Москвы ехал фотограф Г. Петрусов, главное действующее лицо, так как журнал «СССР на стройке» обычно состоял из одних фотоснимков с пояснительным текстом; Бабель должен был участвовать в общей композиции номера и написать к фотоснимкам «слова».

Останавливались мы в колхозах. Бабель с Петрусовым и представителями ЦК Украины заходили в колхозные правления и вели там обстоятельные беседы о том, что, где и как снимать.

Однажды нас привезли на ночлег в какой-то колхоз, который был так богат, что имел в сосновом лесу собственный санаторий. Лес был саженный рядами на белом песке — в нем утопали ноги. Бабель рассказал мне, что этот колхоз имел очень мало пахотной земли, и его председатель придумал выращивать на этой земле только семена овощей и злаков; теперь колхоз поставляет семена всей области, а взамен получает хлеб и все, что ему нужно. Мы переночевали в этом пустом санатории, пустом потому, что он летом служил для отдыха детей, а зимой там отдыхали взрослые; но дети уже пошли в школу, а взрослые еще не управились с уборкой.

Утром мы пошли завтракать в колхозную столовую. Село состояло из белых хат, утопающих в зелени садов, огороженных плетнями. Возле каждого дома — широкая скамья. Встретили женщину в украинском наряде, очень чистом. Она бежала домой с поля покормить ребенка. Бабель с нею немного поговорил, пока нам было по пути, и она рассказала, что работать в колхозе много легче и веселее, чем раньше, когда хозяйство было свое.

Столовая была расположена в центре колхозного двора, сплошь забитого гусями, утками и курами.

На завтрак нам дали по тарелке жирного супа с гусятиной и картошкой, затем жареного гуся, тоже с картошкой, и потом арбуз. На обед и ужин было то же самое, так что на следующий день мы больше уже не могли смотреть даже на живых гусей.

На следующий день утром, прихватив с собой чай и ложечку для заварки, которую Бабель всегда возил с собой, он отправился на кухню, и, после переговоров с поварихой, мы наконец получили крепкий чай и набросились на него с жадностью.

Мы оставались в этом колхозе три дня. Бабель изучал хозяйство, на этот раз не имеющее отношения к свекле. Присутствовали мы также на празднике открытия в колхозе школы-десятилетки. Праздник происходил в большом зале школы на втором этаже. Был накрыт длинный стол, приглашены все учителя, приехали гости из Киева. Произносились речи, где говорилось о том, что в школе преподают большей частью свои, выучившиеся в Киеве или Москве и воз-

вратившиеся в село юноши и девушки. Их заставляли показаться; они вставали и смущались.

На другое утро, покинув этот колхоз, мы проезжали полями, где шла уборка свеклы; она была навалена всюду целыми горами. Уборка и обрезка ее от ботвы производились вручную. Женщины острыми ножами ловко отсекали ботву и корешки.

Обратный путь в Киев пролегал роскошным лесом. Остановились в одном бывшем помещичьем имении на берегу прелестной реки Рось, текущей по крупным валунам. Поместье было превращено в санаторий для железнодорожников; нам показали дом, парк и сиреневую горку, большой холм, сплошь усаженный кустами сирени, с тропинками и скамьями между кустов...

В Киеве Бабель встречался со старыми своими друзьями — Шмидтом, Туровским и Якиром. В сентябре этого года там проводились военные маневры, и Якир пригласил на них Бабеля. Маневры продолжались несколько дней. Бабель возвращался усталый и говорил, что было «внушительно и интересно». Особенное впечатление произвели на него маневры танков и воздушный десант с огромным числом участвующих в нем парашютистов. И еще запомнился мне один рассказ Бабеля, как на маневрах провинился чем-то командир полка Зюка. Якир вызвал его и отчитал, а тот обиделся.

— Товарищ начарм,— сказал он,— поищите себе другого комполка за триста рублей в месяц,— откозырял и ушел.

Якир и всеобщий любимец веселый Зюка были большими друзьями.

После маневров мы были приглашены к командиру танковой дивизии Дмитрию Аркадьевичу Шмидту, в его лагерь на Днепре. Нас угощали там пахнущей дымом костра пшенной солдатской кашей. Ели из солдатских котелков, из солдатских кружек пили чай.

В Киеве, проходя со мной по бульвару Шевченко, Бабель показал мне дом, где была квартира Макотинских, служившая ему пристанищем в 1929—1930 годах.

О Михаиле Яковлевиче Макотинском он рассказывал: при белых в Одессе были расклеены объявления, что за голову большевика Макотинского будет выплачено 50 тысяч золотых рублей. Чтобы не попасть в тюрьму, он симулировал сумасшествие, и врачебная экспертиза Одесской психиатрической больницы не могла разгадать обмана.

— Когда его сняли с работы,— говорил Бабель,— он нанялся дворником на ту улицу, где было его учреждение. Его бывшие сотрудники шли на работу, а он, их бывший начальник, в дворницком переднике подметал тротуар.

В ноябре 1932 года, когда Бабель был за границей, Макотинского арестовали, и больше они не встретились. Его жена, Эстер Григорьевна, после ареста и дочери в 1938 году стала жить у нас. Приглашая ее, Бабель сказал:

— Мне будет спокойнее, если она будет жить у нас.

Из Киева мы отправились поездом в Одессу. Вещи оставили в камере хранения и поехали в Аркадию искать жилье. Сняли две

комнаты, расположенные в разных уровнях с двумя выходами. Участок был очень большой, совершенно голый, без деревьев и кустарника; его ограничивал деревянный забор по самому краю обрыва к морю, и узкая деревянная лесенка со множеством ступеней вела прямо на пляж. Завтраком кормила нас хозяйка, муж которой был рыбаком, а обедать мы ходили в город, обычно в гостиницу «Красная», а иногда в «Лондонскую».

В Одессе в то лето шли съемки нескольких кинокартин. В гостинице «Красная» на Пушкинской улице разместилось много московских актеров и несколько режиссеров. В гостинице «Лондонская» на нижнем этаже в узкой комнате рядом с главным входом жил Юрий Карлович Олеша.

После завтрака Бабель обычно работал, расхаживая по комнате или по обширному участку вдоль моря. Как-то я спросила его, о чем он все время думает?

— Хочу сказать обо всем этом,— и он обвел рукой вокруг,— минимальным количеством слов, да ничего не выходит; иногда же сочиняю в уме целые истории...

На столе в комнате лежали разложенные Бабелем бумажки, и он время от времени что-то на них записывал. Но, даже проходя мимо стола, я на них не смотрела, так строг был бабелевский запрет.

Иногда Бабель отправлялся с хозяином-рыбаком в море ловить бычков. Происходило это так рано, что я и не просыпалась, когда Бабель уходил из дому, а будил он меня завтракать, когда они уже возвращались. В те дни на завтрак бывали жаренные на постном масле бычки. Обедать мы уходили в город, когда слегка спадала жара. Тогда еще можно было получить в Одессе такие местные великолепные и любимые Бабелем блюда, как баклажанная икра со льда, баклажаны по-гречески и фаршированные перцы и помидоры.

После обеда мы гуляли вдвоем с Бабелем или большой компанией, или заходили за Олешей и отправлялись на Приморский бульвар. Иногда мы забирались в очень отдаленные уголки города, и Бабель показывал мне дома, где жили его знакомые или родственники и где он бывал.

В Одессе в 1935 году Бабель водил меня на кинофабрику посмотреть его фильм «Беня Крик», снятый режиссером В. Вильнером. Картину эту он считал неудавшейся.

Бабель любил Одессу и хотел там со временем поселиться. Он и писатель Л. И. Славин взяли рядом по участку земли где-то за 16-й станцией. К осени 1935 года на участке Бабеля был проведен только водопровод; дом так и не был построен. Место было голое, на крутом берегу моря. Спуск к воде вел по тропинке в глинистом грунте. Аромат в тех местах какой-то особенный; кругом — море и степь.

Бабель часто бывал у А. М. Горького, и тогда, когда жил в Молоденове, и когда приходилось ездить туда из Москвы. Но он каждый раз незаметно исчезал, если в доме собиралось большое общество и приезжали «высокие» гости. Один раз из-за этого он вернулся в

Москву очень рано, я была дома и открыла на звонок дверь. Передо мной стоял Бабель с двумя горшками цветущих цинерарий в руках:

— Мяса не привез, цветы привез,— объявил он.

Возвращаясь от Горького, из Горок, Бабель иногда передавал мне слышанные от Алексея Максимовича его воспоминания о прошлом, рассказанные за обеденным или чайным столом.

Старый быт дореволюционного Нижнего и Нижегородского Поволжья владел памятью Горького, и она была неистощима. То вспоминал он об одном купце, который предложил красивой губернаторше раздеться перед ним донага за сто тысяч. «И ведь разделась, каналья!» — восклицал Горький. То рассказывал, что в Нижнем была акушерка по фамилии Нехочет. «Так на вывеске и было написано: «Нехочет». Ну, что ты с ней поделаешь — не хочет, и все тут»,— смеялся Горький. Вспоминал также об одном селе, где жители изготовляли только казацкие нагайки; и там же, в этом селении, услышал он «крамольную» песню и приводил ее слова с особыми ударениями, более обычного налегая на «о»:

Как на улице новой
Стоит столик дубовой,
Стоит столик дубовой,
Сидит писарь молодой.
Пишет писарь полсела
В государевы дела,
Государевы дела —
Они правы завсегда...

Все это рассказывалось в узком кругу лиц, близких или же просто приятных Горькому, когда он неизменно бывал веселее.

В другой раз, приехав из Горок, Бабель с возмущением рассказал:

— Когда ужинали, вдруг вошел Ягода, сел за стол, осмотрел его и произнес: «Зачем вы эту русскую дрянь пьете? Принести сюда французские вина!» Я взглянул на Горького, тот только забарабанил по столу пальцами и ничего не сказал.

Весной 1934 года совершенно неожиданно заболел и умер сын Горького Максим. По этому поводу Бабель, незадолго перед тем похоронивший своего друга Эдуарда Багрицкого, писал 18 мая своей матери и сестре:

«Главные прогулки по-прежнему на кладбище или в крематорий. Вчера хоронили Максима Пешкова. Чудовищная смерть. Он чувствовал себя неважно, несмотря на это, выкупался в Москве-реке, молниеносное воспаление легких. Старик еле двигался на кладбище, нельзя было смотреть, так разрывалось сердце. С Максимом мы очень подружились в Италии, сделали вместе на автомобиле много тысяч километров, провели много вечеров за бутылкой Кианти...»

Иногда Бабель по нескольку дней жил в доме Алексея Максимовича в Горках. Это бывало тогда, когда он выполнял по поручению Горького какую-нибудь работу. В такие дни общение Бабеля с ним было наиболее тесным, и разговоры касались главным образом

литературы. Мне запомнилось одно признание Горького, переданное мне Бабелем:

— Сегодня старик вдруг разговорился со мной и сказал: «Написал, старый дурак, одну по настоящему стоящую вещь — «Рассказ о безответной любви», а никто и не заметил».

Об этом периоде 18 июня Бабель писал своим близким:

«Живу на прежнем месте — у А. М. Как говорят в Одессе — тысяча и одна ночь. Воспоминаний хватит на всю жизнь. Продолжаю подыскивать укромное место под Москвой. Кое-что намечалось; в течение ближайшей недели на чем-нибудь остановлюсь. По поручению А. М. занимался все время редакционной работой и забросил сценарий».

В этом письме речь идет о сценарии по поэме Багрицкого «Дума про Опанаса», который Бабель тогда начал писать.

Как-то, возвратившись от Горького, Бабель рассказал:

— Случайно задержался и остался наедине с Ягодой. Чтобы прервать наступившее тягостное молчание, я спросил его: «Генрих Григорьевич, скажите, как надо себя вести, если попадешь к вам в лапы?» Тот живо ответил: «Все отрицать, какие бы обвинения мы ни предъявляли, говорить «нет», только «нет», все отрицать — тогда мы бессильны». Позже, когда уже при Ежове шли массовые аресты, вспоминая эти слова Ягоды, Бабель говорил:

— При Ягоде по сравнению с теперешним, наверное, было еще гуманное время.

Зиму и весну 1936 года Горький провел в Крыму на своей даче в Тессели. Возвратившись оттуда в середине мая, он, как известно, заболел гриппом, который быстро перешел в воспаление легких. Положение стало угрожающим.

Еще 17 июня Бабель писал своей матери:

«Здоровье Горького по-прежнему неудовлетворительно, но он борется как лев — мы все время переходим от отчаяния к надежде. В последние дни доктора обнадеживают больше, чем раньше. Сегодня прилетает André Gide. Поеду его встречать!»

Как и многие друзья Горького, Бабель в эти дни испытывал мучительную тревогу и часто звонил на Малую Никитскую, надеясь узнать что-либо утешительное. Надежды — увы! — не оправдались, и 18 июня наступил конец.

На другой день Бабель написал об этом матери:

«...Великое горе по всей стране, а у меня особенно. Этот человек был для меня совестью, судьей, примером. Двадцать лет ничем не омраченной дружбы и любви связывают меня с ним. Теперь чтить его память — это значит жить и работать. И то и другое делать хорошо. Тело А. М. выставлено в Колонном зале, неисчислимые толпы текут мимо гроба...»

Мне не раз приходилось слышать, что Бабель будто бы встречался у Горького со Сталиным, или же что он с Горьким ездил к Сталину в Кремль. Мне Бабель никогда об этом не говорил. А вот придумать беседу со Сталиным и весело рассказать о ней какому-нибудь доверчивому человеку — это Бабель мог. Так, видимо, роди-

лись легенды о том, как Сталин, беседуя с Бабелем, предложил написать о себе роман, а Бабель будто бы сказал: «Подумаю, Иосиф Виссарионович», или о том, как Горький в присутствии Сталина якобы заставил Бабеля, только что вернувшегося из Франции, рассказать о ней, как Бабель остроумно и весело рассказывал, а Сталин с безразличным выражением лица слушал и потом что-то произнес невпопад...

Сосед Бабеля по московской квартире Бруно Алоизович Штайнер, холостяк, отличавшийся необыкновенной аккуратностью, был предметом многих насмешек и выдумок Бабеля. Одна из них была придумана в ответ на мой вопрос, почему Штайнер не женат?

— В юности он,— рассказывал мне Бабель — очень любил одну девушку. Родители держали ее в такой строгости, что никогда не оставляли наедине с молодым Штайнером. Но однажды, когда прошел уже год или два, как они были знакомы, случилось так, что молодые люди все же остались наедине. И, понимаете, когда Штайнер ее раздел, то оказалось, что у нее одна грудь нормальная, а другая — недоразвитая. При своем немецком педантизме Штайнер не мог вынести такой асимметрии и убежал. Больше с этой девушкой он никогда не встречался. А так как он ее любил, то и не мог жениться ни на ком.

Педантизм Штайнера, его умение вести хозяйство и все, что надо, в доме исправлять и чинить — все это служило темой для веселых рассказов Бабеля. Меня он тоже не щадил. Узнав, что мой отец рано осиротел и был взят в дом священника, где воспитывался от 13 до 17 лет, он тотчас же переделал моего отца в попа и всем рассказывал, что женился на поповской дочке, что поп приезжает к нему в гости и они пьют из самовара чай. Паустовский долгое время был убежден, что это — правда. Однако мой отец умер в 1923 году, то есть задолго до того, как я познакомилась с Бабелем, и никогда не имел никакого отношения к церкви. Но Бабеля это не остановило. Ему нравилась сама ситуация — еврей и поп. А когда он меня с кем-нибудь знакомил, то любил представлять так: «Познакомьтесь, это — девушка, на которой я хотел бы жениться, но она не хочет», хотя я давно уже была его женой.

Бабель часто говорил, что он — «самый веселый человек из членов Рабиса». Веселью он придавал большое значение. Поздравляя кого-нибудь с Новым годом, он мог написать: «Желаю вам веселья, как можно больше веселья, важнее ничего нет на свете...»

Жизнь наша в Москве протекала размеренно. Я рано утром уходила на работу, когда Бабель еще спал. Вставая же, он пил крепкий чай, который сам заваривал, сложно над ним колдуя... В доме был культ чая. «Первач» — первый стакан заваренного чая Бабель редко кому уступал. Обо мне не шла речь: я была к чаю равнодушна и оценила его много позже. Но если приходил уж очень дорогой гость, Бабель мог уступить ему первый стакан со словами: «Обратите внимание: отдаю вам первач». Завтракал Бабель часов в двенадцать дня, а обедал — часов в пять-шесть вечера. К завтраку и

обеду очень часто приглашались люди, с которыми Бабель хотел повидаться, но мне приходилось присутствовать при этом редко, только в выходные дни. Обычно я возвращалась с работы поздно,— в Метропроекте, где я тогда работала, засиживались, как правило, часов до восьми-девяти.

Из Метропроекта я часто звонила домой, чтобы узнать, все ли благополучно, особенно после рождения дочери. Я спрашивала: «Ну, как дома дела?», на что Бабель мог ответить:

— Дома все хорошо, только ребенок ел один раз.

— Как так?!

— Один раз... с утра до вечера...

Или о нашей домашней работнице Шуре:

— Дома ничего особенного, Шура на кухне со своей подругой играет в футбол... Грудями перебрасываются.

Иногда Бабель сам звонил мне на работу, но подошедшему к телефону говорил, что «звонят из Кремля».

— Антонина Николаевна, вам звонят из Кремля,— передавали мне почти шепотом. Настораживалась вся комната. А Бабель весело спрашивал:

— Что, перепугались?

Бабель не имел обыкновения говорить мне: «Останьтесь дома» или «Не уходите». Обычно он выражался иначе:

— Вы куда-нибудь собирались пойти вечером?

— Да.

— Жаль,— сказал он однажды.— Видите ли, я заметил, что вы нравитесь только хорошим людям, и я по вас, как по лакмусовой бумажке, проверяю людей. Мне очень важно было проверить, хороший ли человек Самуил Яковлевич Маршак. Он сегодня придет, и я думал вас с ним познакомить.

Это была чистейшей воды хитрость, но я, конечно, осталась дома. Помню, что Маршак в тот вечер не пришел, и проверить, хороший ли он человек, Бабелю не удалось.

Иногда он говорил:

— Жалко, что вы уходите, а я думал, что мы с вами устроим развернутый чай...

«Развернутым» у Бабеля назывался чай с большим разнообразием сладостей, особенно восточных. Против такого предложения я никогда не могла устоять. Бабель сам заваривал чай, и мы садились за стол.

— Настоящего чаепития теперь не получается,— говорил Бабель.— Раньше пили чай из самовара и без полотенца за стол не садились. Полотенце — чтобы пот вытирать. К концу первого самовара вытирали пот со лба, а когда на столе второй самовар, то снимали рубаху. Сначала вытирали пот на шее и на груди, а когда пот выступал на животе, вот тогда считалось, что человек *напился* чаю. Так и говорили: «Пить чай до бисера на животе».

Пил Бабель чай и с ломтиками антоновского яблока, любил также к чаю изюм.

Часто бывал он в народных судах, где слушал разные дела, изу-

чая судебную обстановку. Летом 1934 года он повадился ходить в женскую юридическую консультацию на Солянке, где юрисконсультом работала Е. М. Сперанская. Она рассказывала, что Бабель приходил, садился в угол и часами слушал жалобы женщин на своих соседей и мужей.

Я запомнила приблизительное содержание одного из рассказов Бабеля по материалам судебной хроники, который он мне прочел. Это рассказ о суде над старым евреем-спекулянтом. Судья и судебные заседатели были из рабочих, без всякого юридического образования, не искушенные в судопроизводстве. Еврей же был очень красноречив. В этом рассказе еврей-спекулянт произносил такую пламенную речь в защиту Советской власти и о вреде для нее спекуляции, что судьи, словно загипнотизированные, вынесли ему оправдательный приговор.

Однажды с какими-то знакомыми Бабеля, журналистами из Стокгольма, приехал в СССР молодой швед Скуглер Тидстрем. Его нельзя было бы назвать даже блондином, до того он был беловолос: высокий, с розовым лицом и изжелта-белыми, как седина, волосами. Журналисты сказали Бабелю, что Скуглер приехал как турист, но, придерживаясь коммунистических взглядов, хотел бы остаться в Советском Союзе. Бабель почему-то оставил его жить у нас и сбросил на мое попечение.

Молодой человек целыми днями сидел в комнате, читал и что-то записывал в толстые, в черной клеенке, тетради. Однажды я спросила его, что он пишет? Оказалось, что он по-русски конспектирует труды Ленина. Русский язык он учил еще в Стокгольме, а говорить по-русски научился уже в СССР.

Бабель рассказал мне, что Скуглер происходит из богатой семьи; его старший брат — крупный фабрикант. Но Скуглер увлекся марксизмом и отказался от унаследованного богатства; он ненавидит своего брата-эксплуататора, приехал к нам изучать труды Ленина и хочет жить и работать в СССР.

— Прямо не знаю, что с ним делать,— сказал Бабель.

Он несколько раз продлевал шведу визу, упрашивая об этом кого-то из влиятельных своих друзей.

Вскоре Скуглер, познакомившись с какой-то очень невзрачной девушкой, со щербинками на лице и черной челкой, влюбился в нее. Мы с Бабелем видели как-то их вместе на ипподроме. Затем эта девушка изменила Скуглеру, и он сошел с ума. Помешательство было буйным, его забрали в психиатрическую лечебницу. Бабель нанял женщину, которая готовила Скуглеру еду и носила в больницу. Сам Бабель тоже часто навещал его. Как-то раз приходит он из больницы и говорит:

— Врачи считают, что Скуглер неизлечим. Придется вызывать брата.

Брат приехал вместе с санитаром. Санитар был одет так, что мы сначала приняли его за брата-фабриканта. Скуглера надо было забрать из лечебницы, привезти на вокзал и посадить в международ-

ный вагон. Опасен был путь пешком от машины до вагона. Бабель предложил мне пройти со Скуглером этот путь. Санитар должен был ждать его в купе, а брат находился в другом купе этого же вагона и до времени ему не показывался. Я волновалась ужасно: не шутка вести под руку буйного сумасшедшего.

Скуглер вышел из машины, я взяла его под руку, он был весел, рад встрече, спрашивал меня о моей работе. Так, болтая, мы потихоньку дошли до вагона и вошли в купе.

Я и Бабель попрощались с ним, просили писать; все сошло благополучно. А позже Бабель узнал и рассказал мне:

— Когда поезд тронулся и брат вошел к Скуглеру в купе, тот на него набросился, буйствовал так, что разбил окно, пришлось его связать и так довезти до Стокгольма. Там его поместили в психиатрическую лечебницу.

А примерно через месяц Бабель стал получать от Скуглера письма, в которых он писал о своей жизни в лечебнице, о распорядке дня, о том, какие кинокартины он смотрел. Подписывался он всегда так: «Ваш голубчик Скуглер». Дело в том, что когда он жил у нас, Бабель за обедом часто говорил: «Голубчик Скуглер, передайте соль» — или еще что-нибудь в этом же роде.

Через несколько месяцев Скуглер совершенно вылечился и его отпустили домой. Он тут же записался в Интернациональную бригаду и уехал воевать в Испанию. Спустя, может быть, месяц после этого Бабель вошел ко мне в комнату с письмом и газетной вырезкой:

— Скуглер,— сказал он,— погиб в Испании как герой. Франкисты окружили дом, где было человек сто республиканцев, и Скуглер, один, гранатами расчистил им путь к бегству из этого дома, а сам погиб. Так написано в этой испанской газете...

Вениамин Наумович Рыскинд, веселый рассказчик и любимец Бабеля, впервые явился к нему в 1935 году летом и принес свой рассказ «Полк», написанный на еврейском языке. Впоследствии Бабель перевел этот рассказ на русский язык, артист О. Н. Абдулов читал его со сцены и по радио.

После первого визита Рыскинда Бабель сказал мне:

— Прошу обратить внимание на этого молодого человека еврейской наружности. Пишет он очень талантливо, из него будет толк.

Рыскинд то приезжал в Москву, то исчезал куда-то, а когда приезжал, всегда появлялся в нашем доме, и Бабель охотно встречался с ним.

Рыскинд написал детскую пьесу об одном мальчике-скрипаче, живущем в Польше вблизи от нашей границы. Благодаря дружбе с польским пограничником мальчик слушал советские песни, а затем играл их польским ребятам. Об этом узнал польский пристав, и мальчик погиб. Сначала пьеса называлась «Берчик», потом была переименована в «Случай на границе». Театры в Харькове и Одессе подготовили постановку этой пьесы, но показать ее помешала вспыхнувшая война.

Рыскинд писал и рассказы и песни, хорошо пел и сам иногда сочинял музыку. Сюжеты его рассказов и песен всегда были очень трогательными, человечными, с налетом печали, которая никак не устраивала редакторов наших журналов, где безраздельно господствовали бодрость и энтузиазм.

Рыскиндом было задумано много киносценариев, но довести их до конца ему не удавалось.

Однажды Рыскинд нашел случай поздравить меня оригинальным способом. Я получила правительственную награду как раз в тот год, когда награждали писателей. Ордена получили, кажется, все известные писатели, кроме Бабеля, Олеши и Пастернака. В день, когда я из газеты узнала о своем награждении, вдруг открылась дверь в мою комнату и появилась сначала рука с кругом колбасы, а потом Рыскинд.

— Орденоносной жене неорденоносного мужа,— произнес он и вручил мне колбасу.

Мы тут же втроем организовали чай с колбасой необыкновенного вкуса — такую, помнилось мне, я ела только в раннем детстве. Оказалось, что брат Рыскинда, колбасник, собственноручно приготовил эту колбасу.

Проделки Рыскинда были разнообразны.

В один из его приездов зимой Бабель, смеясь, рассказал мне, что Рыскинд зашел в еврейский театр; актеры репетировали в шубах и жаловались на холод; тогда он позвонил в райжилотдел и от имени заведующего Метеорологическим бюро чиновным голосом сказал: «На Москву надвигается циклон и будет значительное понижение температуры. Необходимо как следует топить в учреждениях и особенно в театрах». На следующий день печи в театре пылали...

Приезжая в Москву, Рыскинд останавливался в гостинице и очень смешно рассказывал, как его номером пользуются друзья.

Жизнь Рыскинда была беспорядочной, и Бабелю очень хотелось приучить его к организованности и к ежедневному труду.

— Подозреваю, Вениамин Наумович,— сказал как-то Бабель,— что вы ведете в Москве беспутный образ жизни, тогда как должны работать. Я поручился за вас в редакции, что ваш рассказ будет сдан к сроку. Поэтому сегодня я ночую у вас в номере и проверю, спите ли вы по ночам.

— Исаак Эммануилович,— рассказал мне потом Рыскинд,— действительно пришел, и мы ровно в двенадцать часов легли спать. Надо сказать, что я страшно беспокоился, как бы кто-нибудь из моих беспутных друзей-гуляк не вздумал притащиться ко мне среди ночи или позвонить по телефону. Беспокоился и не спал. И вдруг, во втором часу ночи,— звонок. Бабель проснулся и произнес: «Начинается». А я, готовый убить приятеля, который позорит меня перед Бабелем, подбежал к телефону, снял трубку и услышал, как незнакомый мне женский голос спрашивает... Бабеля. Я, торжествуя, позвал: «Исаак Эммануилович — вас!» Он был смущен, надел очки и взял трубку. Слышу — говорит: «Где он — не знаю, но что он в данный момент не слушает Девятую симфонию Бетховена — за это я

могу поручиться». Затем, положив трубку, сказал: «Жена разыскивает своего мужа, кинорежиссера, с которым я днем работал. Должно быть, Антонина Николаевна дала ей ваш телефон...»

Этот бездомный, нищий, с вечной игрой воображения человек был интересен и близок Бабелю.

Однажды Рыскинд рассказал мне эпизод, свидетельствующий о том, как он сам ценил такую же игру воображения у других.

Когда ему наконец дали в Киеве комнату в новом доме, он решил устроить новоселье, хотя мебели у него не было никакой. Он купил несколько бутылок водки, колбасы и буханку хлеба, разложил все это на газете, на полу, посредине комнаты, и пригласил друзей.

— Гости приходили,— рассказывал Рыскинд,— складывали шубы и шапки в угол комнаты и усаживались на пол вокруг газеты. Гостей было много, и сторож дома решил, что новоселье справляет не какой-то бедняк, недавно въехавший сюда с одним чемоданчиком, а получивший квартиру в этом же подъезде секретарь горкома. И вдруг входит актер Бучма. И происходит чудо. Он снимает роскошную шубу и вешает ее на вешалку (шуба, конечно, падает на пол); на вешалку сверху кладет шапку, потом подходит к стене, вынимает расческу, причесывается, как бы смотрясь в зеркало, поправляет костюм и галстук, поворачивается (создается впечатление, что у стены большое трюмо). Потом делает вид, что открывает дверь и проходит из передней в гостиную. Начинает осматривать картины, развешанные на стенах (стены голые), подходит ближе, удаляется, подходит к окну, отдергивает шторы, смотрит на улицу, затем задергивает их; они тяжелые, на кольцах. Поворачивается, подходит к столику, берет книгу, листает, затем идет к камину, греет руки, снимает с каминной полочки статуэтку и держит бережно, как очень дорогую вещь. Так Бучма, великий актер, создал у всех присутствующих иллюзию богато обставленной квартиры...

Бабель очень любил Соломона Михайловича Михоэлса и дружил с ним. О смерти его первой жены говорил:

— Не может забыть ее, открывает шкаф, целует ее платья.

Но прошло несколько лет, Михоэлс встретился с Анастасией Павловной Потоцкой и женился на ней. Мы с Бабелем бывали у них дома на Тверском бульваре, у Никитских ворот. Приходили вечером, Михоэлс зажигал свечи; у него были старинные подсвечники, и он любил сидеть при свечах. Комната была с альковом, заставленная тяжелой старинной мебелью. Мне она казалась мрачной. Иногда Михоэлс приходил к нам и пел еврейские народные песни. Встречались мы и в ресторанчике почти напротив его дома,— иногда он приглашал нас туда на блины. Бывали мы с ним и Анастасией Павловной и в доме Горького, в Горках, уже после смерти Алексея Максимовича, гостили там по два-три дня в майские и ноябрьские праздники. Веселые рассказы Михоэлса перемежались с остроумными новеллами Бабеля. У Михоэлса был дар перевоплощения, он мог изобразить любого человека, и хотя внешне был некрасив, его необыкновенная одаренность позволяла это не замечать.

Бабель научил меня любить еврейский театр, директором и главным актером которого был Михоэлс. Он говорил:

— Играют с темпераментом у нас только в двух театрах — в еврейском и цыганском.

Он любил игру Михоэлса в «Путешествии Вениамина III», а пьесу «Тевье-молочник» мы с ним смотрели несколько раз, и я очень хорошо помню Михоэлса в обоих этих спектаклях; помню и какой он был замечательный король Лир.

Бабель часто заходил за мной к концу рабочего дня в Метропроект, и обычно не один, а с кем-нибудь, просматривал нашу стенную газету, а потом смешно комментировал текст. Однажды Бабель зашел за мной вместе с Соломоном Михайловичем, а в стенной газете как раз была помещена статья под заголовком: «Равняйтесь по Пирожковой». Не помню уж, за что меня тогда хвалили. Я кончила работу, и мы втроем отправились куда-то обедать. Я и не знала, что Бабель и Михоэлс успели прочесть в газете статью. И двое моих спутников всю дорогу веселились, повторяя на все лады фразу: «Равняйтесь по Пирожковой». Перебивая друг друга, с разными интонациями, они то и дело вставляли в свои речи эти слова.

Летом 1936 года мы с Бабелем уговорились, что он уедет в Одессу, а потом — в Ялту для работы с Сергеем Михайловичем Эйзенштейном над картиной «Бежин луг» и я в свой отпуск приеду туда.

Работа Бабеля с Эйзенштейном над картиной «Бежин луг» началась еще зимой 1935—1936 гг. Сергей Михайлович приходил к нам с утра и уходил после обеда. Работали они в комнате Бабеля, и когда я однажды после ухода Эйзенштейна хотела войти в комнату, Бабель меня не пустил:

— Одну минуточку,— сказал он,— я должен уничтожить следы творческого вдохновения Сергея Михайловича...

Несколько минут спустя я увидела в комнате Бабеля горящую в печке бумагу, а на столе — газеты с оборванными краями...

— Что это значит? — спросила я.

— Видите ли, когда Сергей Михайлович работает, он все время рисует фантастические и не совсем приличные рисунки. Уничтожать их жалко — так это талантливо, но непристойное их содержание — увы! — не для ваших глаз. Вот и сжигаю...

Потом я уже знала, что сразу после ухода Эйзенштейна входить в комнату Бабеля нельзя...

Я выехала из Москвы в начале октября, в дождливый, холодный, совсем уже осенний день: Бабель встретил меня в Севастополе, и мы поехали в Ялту в открытой легковой машине по дороге с бесчисленным количеством поворотов. Бабель не предупредил, когда откроется перед нами море. Он хотел увидеть, какое впечатление произведет на меня панорама, открывающаяся неожиданно из Байдарских ворот. От восторга у меня перехватило дыхание. А Бабель, очень довольный моим изумлением, сказал:

— Я нарочно не предупредил вас, когда появится море, и шофера просил не говорить, чтобы впечатление было как можно сильнее.

Смотрите,— вот там внизу — Форос и Тессели, где была дача Горького, а вот здесь когда-то находился знаменитый на всю Россию и даже за ее пределами фарфоровый завод...

Сверкающее море, солнце, зелень и белая извивающаяся лента дороги — все это казалось невероятным после дождливой и холодной осени в Москве.

В первый же день по приезде, когда мы пошли в ресторан обедать, Бабель мне сказал:

— Пожалуйста, не заказывайте дорогих блюд. Мы обедаем вместе с Сергеем Михайловичем, а он, знаете ли, скуповат.

То была очередная выдумка Бабеля. У входа в ресторан мы встретились с Эйзенштейном и вместе вошли в зал. Тотчас какие-то туристы-французы вскочили с мест и стали скандировать: «Vive Эйзенштейн! Vive Бабель!» Оба были смущены.

Эйзенштейн, как одинокий в то время человек, завтракал то у нас, то у оператора снимающейся кинокартины Эдуарда Казимировича Тиссэ и его жены — Марианны Аркадьевны. За завтраком у нас Сергей Михайлович говорил: «А какие бублики я вчера ел у Марианны Аркадьевны!» И я с утра бежала в бубличную, чтобы купить к завтраку горячих бубликов. В следующий раз он объявлял: «Роскошные помидоры были вчера на завтрак у Тиссэ!» И я вставала чуть свет, чтобы купить на базаре самых лучших помидоров. Так продолжалось до тех пор, пока мы не разговорились однажды с Марианной Аркадьевной и не выяснили, что Сергей Михайлович точно так же ведет себя за завтраком у них. Раскрыв эти проделки Эйзенштейна, мы с Марианной Аркадьевной уже больше не старались превзойти друг друга.

После завтрака Бабель и Эйзенштейн работали над сценарием. Бабель писал к этой картине диалоги, но участвовал и в создании сцен. Обычно я, чтобы не мешать, отправлялась гулять или выходила на балкон и читала. Часто они спорили и даже ссорились. После одной из таких довольно бурных сцен я, когда Эйзенштейн ушел, спросила Бабеля, о чем они спорили.

— Сергей Михайлович то и дело выходит за рамки действительности. Приходится водворять его на место,— сказал Бабель и объяснил мне, что была придумана сцена: старуха, мать кулака, сидит в избе; в руках у нее большой подсолнух, она вынимает из него семечки, а вместо них вставляет спички, серными головками вверх; кулаки поручили эту работу старухе,— подсолнух должен быть подброшен возле бочек с горючим на МТС, а затем один из кулаков бросит на подсолнух зажженную спичку или папиросу; серные спичечные головки воспламенятся, загорится горючее, а затем и вся МТС.

— И вот старуха сидит в избе,— продолжает Бабель,— вынимает из подсолнуха семечки, втыкает вместо них головки спичек, а сама посматривает на иконы. Она понимает, что дело, которое она делает, совсем не божеское, и побаивается кары всевышнего. Эйзенштейн, увлеченный фантазией, говорит: «Вдруг потолок избы раскрывается, разверзаются небеса и бог Саваоф появляется в обла-

ках... Старуха падает». Эйзенштейну так хотелось снять эту сцену,— сказал Бабель,— у него и раненый Степок бродит по пшеничному полю с нимбом вокруг головы. Сергей Михайлович сам мне не раз говорил, что больше всего его пленяет то, *чего нет* на самом деле,— *«чегонетность»*. Так сильна его склонность к сказочному, нереальному. Но нереальность у нас не реальна,— закончил он.

Днем в хорошую погоду производились съемки «Бежина луга». Была выбрана площадка, построено здание для сельскохозяйственных машин, возле него поставлены черные смоленые бочки с горючим. Кругом была разбросана солома, валялось какое-то железо. Здание МТС имело надстройку-голубятню. У Эйзенштейна было режиссерское место и рупор. Мы с Бабелем иногда сидели вдали и наблюдали. Помню, что участвовало в съемках много статистов, набранных из местных жителей.

Вечерами мы ходили в кинозал на просмотр заснятых днем кадров. Они были необыкновенно хороши. На фоне черного клубящегося дыма горящей МТС — взлетающие белые голуби, белые лошади, белая рубаха Аржанова, играющего роль начполита МТС. Эйзенштейну хотелось этот фильм сделать в черно-белой гамме, как цветовое противопоставление светлого, счастливого и темного, мрачного. Он искал белых голубей, белых козочек, белых лошадей.

— Когда мы смотрели с вами пожар МТС,— сказал мне Бабель,— во время съемок нельзя было даже предположить, что получатся такие великолепные кадры,— вот что значит мастерство!..

Еще до поездки в Ялту, весной 1935 года, Эйзенштейн, Бабель и я ходили на спектакль китайского театра Мэй Ланьфаня. В антракте Сергей Михайлович решил пойти за кулисы.

— Возьмите с собой Антонину Николаевну, ей это будет интересно,— сказал Бабель.

И мы пошли.

Актеры были в отдельных маленьких комнатках — актерских уборных, босые, в длинных одеяниях — театральных и простых темных. Двери всех комнаток были открыты, актеры прохаживались или сидели. Сергей Михайлович, а за ним и я со всеми здоровались, а они низко кланялись. С самим Мэй Ланьфанем Сергей Михайлович заговорил, как я поняла, по-китайски, и говорил довольно долго. Мэй Ланьфань улыбался и кланялся.

Я была потрясена. До сих пор я знала только, что Эйзенштейн владеет почти всеми европейскими языками. Возвратившись, я сказала Бабелю:

— Сергей Михайлович говорил с Мэй Ланьфанем по-китайски, и очень хорошо.

— Он так же хорошо говорит по-японски,— ответил Бабель, рассмеявшись.

Оказалось, что Эйзенштейн говорил с Мэй Ланьфанем по-английски, но с такими китайскими интонациями, что неискушенному человеку было трудно это понять. Бабель же отлично знал, как блестяще Сергей Михайлович мог, говоря на одном языке, производить впечатление, что говорит на другом.

Однажды мы с Бабелем пришли к Эйзенштейну на Потылиху, где он жил.

В этот наш визит Сергей Михайлович показал нам разные сувениры, привезенные им из Мексики, и в том числе настоящих блох, одетых в свадебные наряды. На невесте — белое платье, фата и флер-д-оранж, на женихе — черный костюм и белая манишка с бабочкой. Все это хранилось в коробочке чуть поменьше спичечной. Рассмотреть это можно было только при помощи увеличительного стекла.

— Это, конечно, не то что подковать блоху, но все же! Приоритет остается за нами,— пошутил Бабель.

В тот вечер Сергей Михайлович рассказывал много интересного о Мексике и о Чаплине, с которым был хорошо знаком. Запомнилось, как Чаплин на съемках не щадил себя и если в картине он должен был упасть или броситься в воду, то десятки раз проделывал это, отрабатывая каждое движение.

— Так же беспощаден он,— говорил Эйзенштейн,— и к другим актерам.

Сергея Михайловича Эйзенштейна, которого Бабель в письмах ко мне именовал «Эйзен», он очень уважал, считал его гениальным человеком во всех отношениях и называл себя его «смертельным поклонником». Эйзенштейн платил Бабелю тем же: он высоко расценивал его литературное мастерство и дар рассказчика; очень хвалил пьесу «Закат», считал, что ее можно сравнить по социальному значению с романом Золя «Деньги», так как в ней на частном материале семьи даны капиталистические отношения, и очень ругал театр (МХАТ II), который, по мнению Эйзенштейна, плохо поставил пьесу и не донес до зрителя каждое слово, как того требовал необычайно скупой текст.

Еще в Ялте мы с Бабелем однажды, прогуливаясь, увидели, как жена везет мужа-калеку в коляске. Ноги его были укрыты пледом, лицо бледно. Бабель сказал:

— Посмотрите, как это трогательно. Вы были бы на это способны?

И я подумала тогда: «Неужели он задумывается о такой участи для себя?»

Из Ялты мы выехали в Одессу уже в ноябре на теплоходе. На море был очень сильный, чуть ли не двенадцатибалльный шторм. Всю дорогу Бабель чувствовал себя ужасно, лежал в каюте совершенно зеленый, сосал лимон. На меня же шторм не действовал, я пошла ужинать в ресторан и оказалась там в единственном числе. Когда я рассказала Бабелю, что в ресторане, кроме меня, никого не было, он заметил:

— Уникум, чисто сибирская выносливость!

В Одессе мы поселились в пустой двухкомнатной квартире недалеко от Гоголевской улицы и Приморского бульвара. Завтрак мы себе готовили сами, а обедать ходили в какой-то дом, где можно было столоваться частным образом.

По утрам я уходила из дома и кружила по одесским улицам, а Бабель работал. После обеда и по вечерам он гулял вместе со мной.

На Гоголевской улице была булочная, где мы брали хлеб, и рядом — бубличная, где всегда можно было купить горячие, осыпанные маком бублики; Бабель очень любил их и обычно ел тут же, в магазине, или на улице.

Однажды мы зашли в бубличную. Одновременно с нами вошел покупатель, мужчина средних лет, огляделся с недоумением по сторонам и спросил продавщицу:

— Гражданка, а хлеб здесь думает быть?

Бабель шепнул мне:

— Это — Одесса.

В другой раз мы прошли мимо молодых ребят как раз в тот момент, когда один из них, сняв пиджак, говорил другому:

— Жора, подержи макинтош, я должен показать ему мой характер.

Тут же завязалась драка. Бабель до того приучил меня прислушиваться к одесской речи, что я и сама начала сообщать ему интересные фразы, а он их записывал. Например, идут по двору нашего дома школьники, и один говорит:

— Ох, мать устроит мне той компот!

Бабель каждый раз очень веселился.

Бывали дни, когда мы отправлялись в далекие путешествия и заходили к рыбакам и старожилам, знакомым Бабеля с давних пор. Один старик — виноградарь и философ — развел чуть ли не 200 сортов виноградных лоз и был известен далеко за пределами своего города; другой был внучатым племянником самого Дерибаса, основателя Одессы, женатым на первой жене Ивана Бунина, красавице Анне Цакни.

Беседы с рыбаками велись самые профессиональные: о ловле бычков, кефали, барабульки, о копчении рыбы, о штормах, о всяких приключениях на море.

В Одессе Бабель вспоминал свое детство.

— Моя бабушка,— рассказывал он,— была абсолютно уверена в том, что я прославлю наш род, и поэтому отличала меня от моей сестры. Если, бывало, сестра скажет: «Почему ему можно, а мне нельзя?» — бабушка по-украински ей отвечала: «Ровня коня до свиня», то есть сравнила коня со свиньей.

Как-то раз Бабель начал неудержимо смеяться, а затем сквозь смех мне объяснил, что вспомнил, как однажды стащил из дому котлеты и угостил мальчишек во дворе; бабушка, увидев это, выбежала во двор и погналась за мальчишками; ей удалось поймать одного из них, и она начала пальцами выковыривать котлету у него изо рта.

Рассказ этот мог быть и чистейшей выдумкой. К тому времени я уже отлично знала, что ради острой или смешной ситуации, которая придет Бабелю в голову, он не пощадит ни меня, ни родственников, ни друзей.

Очень часто в Одессе он вспоминал свою мать.

— У моей матери,— говорил он,— был дар комической актрисы.

Когда она, бывало, изобразит кого-либо из наших соседей или знакомых, покажет, как они говорят или ходят,— сходство получалось у нее поразительное. Она это делала не только хорошо, но талантливо. Да! В другое время и при других обстоятельствах она могла бы стать актрисой...

К своим двум теткам (сестрам матери), жившим в Одессе, Бабель ходил редко и всегда один; мало общался он и со своей единственной двоюродной сестрой Адой. Более близкие отношения у него были только с московской тетей Катей, тоже родной сестрой матери. Эта тетя Катя, бывало, приходила к людям, которым Бабель имел неосторожность подарить что-нибудь из мебели, и говорила:

— Вы извините, мой племянник — сумасшедший, этот шкаф — наша фамильная вещь, поэтому, пожалуйста, верните ее мне.

Так ей удалось собрать кое-что из раздаренной им семейной обстановки.

Однажды в Одессе Бабеля пригласили выступить где-то с чтением своих рассказов. Пришел он оттуда и высыпал на стол из карманов кучу записок, из которых одна была особенно в одесском стиле и поэтому запомнилась: «Товарищ Бабель, люди пачками таскают «Тихий Дон», а у нас один только «Беня Крик»?!»

Нарушив обычное правило не говорить с Бабелем о его литературных делах, в Одессе я как-то спросила, автобиографичны ли его рассказы?

— Нет,— ответил он.

Оказалось, что даже такие рассказы, как «Пробуждение» и «В подвале», которые кажутся отражением детства, на самом деле не являются автобиографическими. Может быть, лишь некоторые детали, но не весь сюжет. На мой вопрос, почему же он пишет рассказы от своего имени, Бабель ответил:

— Так рассказы получаются короче: не надо описывать, кто такой рассказчик, какая у него внешность, какая у него история, как он одет...

О рассказе «Мой первый гонорар» Бабель сообщил мне, что этот сюжет был ему подсказан еще в Петрограде журналистом П. И. Старицыным. Рассказ Старицына заключался в том, что однажды, раздевшись у проститутки и взглянув на себя в зеркало, он увидел, что похож «на вздыбленную розовую свинью»; ему стало противно, и он быстро оделся, сказал женщине, что он — мальчик у армян, и ушел. Спустя какое-то время, сидя в вагоне трамвая, он встретился глазами с этой самой проституткой, стоявшей на остановке. Увидев его, она крикнула: «Привет, сестричка!» Вот и все.

На улице Обуха, недалеко от нашего дома, находился дом политэмигрантов. Из этого дома к нам часто приходили гости разных национальностей. Все они были коммунистами, преследовавшимися в собственных странах. Собирались обычно на нижнем этаже, на кухне. Возвращаясь с работы, я заставала там целое общество, говорящее на разных языках. Бабель или Штайнер варили кофе, из холодильника доставалась какая-нибудь еда, и шла нескончаемая

беседа. В один из таких вечеров на кухне появился китайский поэт Эми Сяо, небольшого роста, стройный, с приятными чертами лица.

Будучи коммунистом, он бежал из чанкайшистского Китая и жил временно в Советском Союзе, в доме политэмигрантов. Он стал к нам приходить. Читал свои стихи по-китайски, так как Бабелю хотелось услышать их звучание, читал их и в переводе на русский язык- Эми Сяо очень хорошо говорил по-русски. Он с нетерпением ждал возможности возвратиться на родину, но Коммунистическая партия Китая берегла его как своего поэта и не разрешала до времени приезжать.

Этот человек вдохновенно мечтал о коммунистическом будущем Китая. Однажды за обедом Бабель спросил его:

— Скажите, Сяо, каков идеал женщины для китайского мужчины?

Эми Сяо ответил:

— Женщина должна быть так изящна и так слаба, что должна падать от дуновения ветра.

Я запомнила это очень хорошо.

Летом 1937 года Эми Сяо уехал отдыхать на Черноморское побережье. Возвратившись осенью, он пришел к нам с полной девушкой по имени Ева и представил ее как свою жену. У нее было прелестное лицо с глазами синего цвета и стриженная под мальчика головка на довольно грузном теле. Когда они ушли, Бабель сказал:

— Идеалы одно, жизнь — другое.

Вскоре после этого Эми Сяо пригласил нас на обед по-китайски, который он приготовил сам. Мы впервые были в доме политэмигрантов, где Эми Сяо занимал одну из комнат. Теперь с ним жила и Ева. Немецкая еврейка, она бежала из Германии в Стокгольм к своему брату, известному в Швеции музыканту. В Советский Союз она приехала уже из Швеции, как туристка; познакомилась на Кавказе с Эми Сяо и вышла за него замуж.

Обед по-китайски состоял из супа с трепангами и редиской, рыбы и жареной курицы с рисом. И рыба и курица были мелко нарезаны и заправлены какими-то китайскими специями. Нам были предложены для еды палочки, но ни у нас с Бабелем, ни даже у Евы ничего не получалось, и мы перешли на вилки. Только Эми управлялся с палочками великолепно. На десерт Ева приготовила сладкую сметану с вином и ванилью, в которую перед самой едой всыпались понемногу кукурузные хлопья. Это блюдо было европейским.

К зиме Эми Сяо получил квартиру в доме писателей в Лаврушинском переулке. Мы с Бабелем были приглашены на новоселье. Ужин был также из китайских блюд, приготовленных Эми, но нас поразил только чай. Подали маленькие чашечки и внесли наглухо закрытый большой чайник, а когда открыли пробку, затыкавшую носик чайника, и стали разливать чай, по комнате распространился непередаваемый аромат. Нельзя было понять, на что похож этот удивительный и сильный запах. Чай пили без сахара, как это принято в Китае.

Зимой 1938-го или в начале 1939 года Эми Сяо с семьей (у него уже был сын) уехал в Китай, сначала в коммунистическую его

часть, а затем в Пекин. Там у них родилось еще два сына. Ева стала отличным фотокорреспондентом какой-то пекинской газеты и раза два приезжала ненадолго в Советский Союз.

Двухлетняя дочь Валентина Петровича Катаева, вбежав утром к отцу в комнату и увидев, что за окнами все побелело от первого снега, в изумлении спросила:

— Папа, что это?! Именины!

Бабель, узнав об этом, пришел в восторг. Он очень любил детей, а жизнь его сложилась так, что ни одного из своих троих детей ему не пришлось вырастить.

Летом 1937 года, когда нашей дочери Лиде было пять месяцев, Бабель снял дачу в Белопесоцкой, под Каширой.

Белопесоцкая расположена на берегу Оки. Купаться и греться на берегу реки, на чистейшем белом песке, было одним из самых больших удовольствий Бабеля.

Вдвоем с ним мы часто ходили гулять в лес, но, едва только мы в него углублялись хоть немного, он начинал беспокоиться и говорил:

— Все! Мы заблудились, и теперь нам отсюда не выбраться.

Привыкший к степным местам, он явно побаивался леса и, как мне казалось, не очень хорошо себя в нем чувствовал. С большим удивлением и даже почтительностью относился он к тому, что, куда бы мы ни зашли, я всегда находила дорогу и была в лесу как дома.

— Вы колдунья? — спрашивал он.— Вам птицы подсказывают дорогу?

А дело было в том, что я выросла в сибирской тайге...

Перелистывая как-то на даче только что вышедшую и очень толстую книгу одного из известных наших писателей, Бабель сказал:

— Так я мог бы написать тысячу страниц.— А потом, подумав: — Нет, не мог бы, умер бы со скуки. Единственно, о чем я мог бы писать сколько угодно, это о болтовне глупой женщины...

Лида начала ходить в 10 месяцев и к году уже отлично бегала. Она еще не говорила, но преуморительно гримасничала и, видимо понимая, что окружающих это смешит, становилась все более изобретательной.

— Нам теперь хорошо,— сказал как-то по этому поводу Бабель,— придут гости, занимать их не надо. Мы выпустим Лиду, она будет гостей забавлять...

А иногда, смеясь, говорил:

— Подрастет, одевать не буду. Будет ходить в опорках, чтобы никто замуж не взял, чтобы при отце осталась...

Лион Фейхтвангер приехал в Москву и пришел к Бабелю в гости. Это был светло-рыжий человек, небольшого роста, очень аккуратный, в костюме, который казался чуть маловатым для него.

Разговор шел на немецком языке, которым Бабель владел свободно. Я же, знавшая неплохо немецкий язык, читавшая немецкие книги и даже изучавшая в то время, по настоянию Бабеля, немецкую

литературу с преподавательницей, понимала Фейхтвангера очень плохо, никак не могла связать отдельные знакомые слова. Мне было очень досадно, так как Бабель, когда писал кому-нибудь по-немецки письмо, спрашивал у меня, как надо написать то или другое слово. А вот в разговорном языке у меня не было никакой практики, и я не могла ловить речь на слух. Бабель сказал Фейхтвангеру: «Антонина Николаевна изучает немецкий язык в вашу честь»,— на что Фейхтвангер ответил, что раз так, то он пришлет мне из Германии в подарок свои книги. И он прислал несколько томов в темно-синих переплетах, изданных, если не ошибаюсь, в Гамбурге. Но из этих книг я успела прочитать только «Успех»: Бабель отдал их жене художника Лисицкого, Софье Христиановне; не мог удержаться, так как она была немка. А ее вскоре выслали из Москвы в 24 часа...

После ухода Фейхтвангера, я спросила Бабеля, что особенно интересного сообщил наш гость?

— Он говорил о своих впечатлениях от Советского Союза и о Сталине. Сказал мне много горькой правды.

Но распространяться Бабель не стал.

В начале 1936 года Штайнер уезжал по делам в Вену и на время своего отсутствия предложил своим знакомым венграм, супругам Шинко, остро нуждавшимся в жилье, поселиться в его квартире. Он согласовал это с Бабелем, и было решено, что они займут кабинет на нижнем этаже.

Когда мы поближе познакомились, Бабель рассказал мне их историю. Эрвин Шинко — политэмигрант со времени разгрома Венгерской коммуны, участником которой он был. Эмигрантом он жил во Франции, Австрии, Германии, там написал роман под названием «Оптимисты» и пытался его издать. С этой же целью он приехал в СССР, имея рекомендательное письмо Ромена Роллана, и был гостем организации культурных связей с заграницей в течение полугода. Этот срок благодаря Горькому был продлен еще на полгода. А потом Эрвин Шинко попал в тяжелое положение, так как роман «Оптимисты» никто не соглашался издать. Его жена Ирма Яковлевна — врач-рентгенолог, устроилась работать в один из московских институтов.

Бабель откуда-то знал историю их женитьбы и рассказал мне. В годы первой мировой войны Эрвин и Ирма были в Венгрии революционерами-подпольщиками, задумавшими издавать журнал в духе Циммервальдской программы. Для этого должны были послужить деньги из приданого Ирмы, дочери богатых родителей. Но отец Ирмы не хотел отдавать дочь замуж за бедного студента, каким был Эрвин. Тогда один из членов организации, инженер Дьюла Хевеши, решился сыграть роль жениха. В то время он был уже известным в Венгрии изобретателем, руководителем научно-исследовательской лаборатории крупного электролампового завода. Мнимый жених Дьюла Хевеши был представлен отцу невесты, и тот вполне одобрил кандидатуру такого положительного человека.

Через какое-то время сыграли свадьбу, и молодые отправились в свадебное путешествие; на ближайшей от Будапешта маленькой станции «фальшивый жених» сошел с поезда, а Эрвин Шинко занял его место в купе.

Бабель очень уважал Ирму Яковлевну, а про Эрвина говорил:

— Разыгрывает из себя непонятого гения и не хочет устроиться на работу, живет за счет жены.

Роман Эрвина «Оптимисты» Бабель находил скучным, но все же старался помочь пристроить его в какое-нибудь издательство или инсценировать для кино; но из этого ничего не вышло.

В самом начале 1937 года супруги Шинко уехали во Францию, а затем переехали в Югославию, где Эрвин стал преподавать в университете в городе Нови-Сад.

В том же 1937 году Штайнеру, уехавшему временно по делам в Австрию, не разрешили возвратиться в Советский Союз. Таким образом мы остались одни в квартире на Николо-Воробинском. Оставили за собой три комнаты на втором этаже, в двух же комнатах внизу появились новые жильцы.

Рассказу Бабеля о романтической истории Эрвина и Ирмы Шинко я сначала верила, а потом начала сомневаться и решила, что это очередной придуманный им сюжет. Каково же было мое удивление, когда в 1966 году, будучи в Будапеште, я познакомилась с «фальшивым женихом» Ирмы Яковлевны, Дьюлой Хевеши. Он сам повторил мне рассказ о женитьбе Эрвина Шинко. Из этого примера можно сделать вывод, что рассказы Бабеля не всегда были чистейшей выдумкой.

В 1968 году от одного югославского преподавателя университета я узнала, что Эрвин Шинко умер в Загребе от кровоизлияния в мозг. Ирма Яковлевна выполнила завещание своего мужа: богатую библиотеку Шинко подарила философскому факультету Новисадского университета, где он читал лекции и был заведующим кафедрой; его рукописи передала Академии наук в Загребе, членом которой был Эрвин Шинко. Из всех сбережений, какие у них были, она создала «фонд Эрвина Шинко» для поощрения студентов-отличников кафедры венгерского языка и литературы. После этого она отравилась.

Бабель, который так не хотел жить ни в писательском доме, на Лаврушинском, ни в Переделкине, только из-за ребенка решился взять там дачу. Матери и сестре 16 апреля 1938 года он об этом писал:

«Я борюсь с желанием поехать в Одессу и делами, которые задерживают меня в Москве. Через несколько дней перееду на собственную в некотором роде дачу — раньше не хотел селиться в так наз. писательском поселке, но когда узнал, что дачи очень удалены друг от друга и с собратьями встречаться не придется — решил переехать. Поселок этот в 20 км от Москвы и называется Переделкино, стоит в лесу (в котором, кстати сказать, лежит еще компактный снег)... Вот вам и наша весна. Солнце — редкий гость, пора бы ему расположиться по-домашнему».

Дача была еще недостроенной, когда мы впервые туда переехали. Мне было поручено присмотреть за достройкой и теми небольшими изменениями проекта, которые Бабелю захотелось сделать. По заказу Бабеля была поставлена возле дома голубятня. На даче он выбрал себе для работы самую маленькую комнату.

Мебели у нас не было никакой. Но случилось так, что вскоре Бабелю позвонила Екатерина Павловна Пешкова и сообщила, что ликвидируется комитет Красного Креста и распродается мебель. Мы поехали туда и выбрали два одинаковых стола, не письменных, а более простых, но все же со средними выдвижными ящиками и точеными круглыми ножками. Указав на один из них, Екатерина Павловна сказала: «За этим столом я проработала здесь двадцать пять лет». Были выбраны также диван с резной деревянной спинкой черного цвета, небольшое кресло с кожаным сиденьем и еще кое-что.

Довольные, мы отправились домой вместе с Екатериной Павловной, которую отвезли на Машков переулок (теперь улица Чаплыгина), где она жила.

С этого времени началось мое личное знакомство с Екатериной Павловной.

Стол Екатерины Павловны и диван Бабель оставил в своей комнате на Николо-Воробинском. В дачной же его комнате почти вся мебель была новой — из некрашеного дерева, заказанная им на месте столяру. Там стояли: топчан с матрацем — довольно жесткая постель, это любил Бабель; у окна большой, простой, во всю ширину комнаты стол для работы; низкие книжные полки и купленное в Красном Кресте кресло с кожаным сиденьем. На полу небольшой текинский ковер.

С 1936 года в Москве проходили процессы над так называемыми «врагами народа», и каждую ночь арестовывали друзей и знакомых. Двери нашего дома не закрывались в то страшное время. К Бабелю приходили жены товарищей и жены незнакомых ему арестованных, их матери и отцы. Просили его похлопотать за своих близких и плакали. Бабель одевался и, согнувшись, шел куда-то, где еще оставались его бывшие соратники по фронту, уцелевшие на каких-то ответственных постах. Он шел к ним просить или узнавать. Возвращался мрачнее тучи, но пытался найти слова утешения для просящих. Страдал он ужасно... а я тогда зримо представляла себе сердце Бабеля. Мне казалось оно большим, израненным, кровоточащим. И хотелось взять его в ладони и поцеловать. Со мной Бабель старался не говорить обо всем этом, не хотел, очевидно, меня огорчать.

А я спрашивала:

— Почему на процессах все они каются и себя позорят? Ведь ничего подобного раньше никогда не было. Если это — политические противники, то почему они не воспользуются судебной трибуной, чтобы заявить о своих взглядах и принципах, сказать об этом на весь мир?

— Я этого и сам не понимаю,— отвечал он.— Это все — умные,

смелые люди. Неужели причиной их поведения является партийное воспитание, желание спасти партию в целом?..

Когда арестовали Якова Лившица, руководившего тогда Наркоматом путей сообщения, Бабель не выдержал и с горечью сказал:

— И меня хотят уверить, что Лившиц хотел реставрации капитализма в нашей стране! Не было в царской России более бедственного положения, чем положение еврея-чернорабочего. Именно таким был Яков Лившиц, и во время революции его надо было удерживать силой, чтобы он не рубил буржуев направо и налево, без всякого суда. Такова была его ненависть к ним. А сейчас меня хотят уверить, что он хотел реставрации капитализма. Чудовищно!

В январе 1939 года был снят со своего поста Ежов. В доме этого человека Бабель иногда бывал, будучи давно знаком с его женой, Евгенией Соломоновной. Бабеля приглашали к Ежовым особенно в те дни, когда там собирались гости. Туда же приглашали и Михоэлса, и Утесова, и некоторых других гостей из мира искусства, людей, с которыми было интересно провести вечер, потому что они были остроумны и умели повеселить.

«На Бабеля» можно было пригласить кого угодно, никто прийти бы не отказался. У Бабеля же был свой, чисто профессиональный интерес к Ежову. Через этого человека он, видимо, пытался понять явления, происходящие на самом верху...

Зимой 1938 года Е. С. Ежова отравилась. Причиной ее самоубийства Бабель считал арест близкого ей человека, постоянно бывавшего у них в доме; но это было каплей, переполнившей чашу...

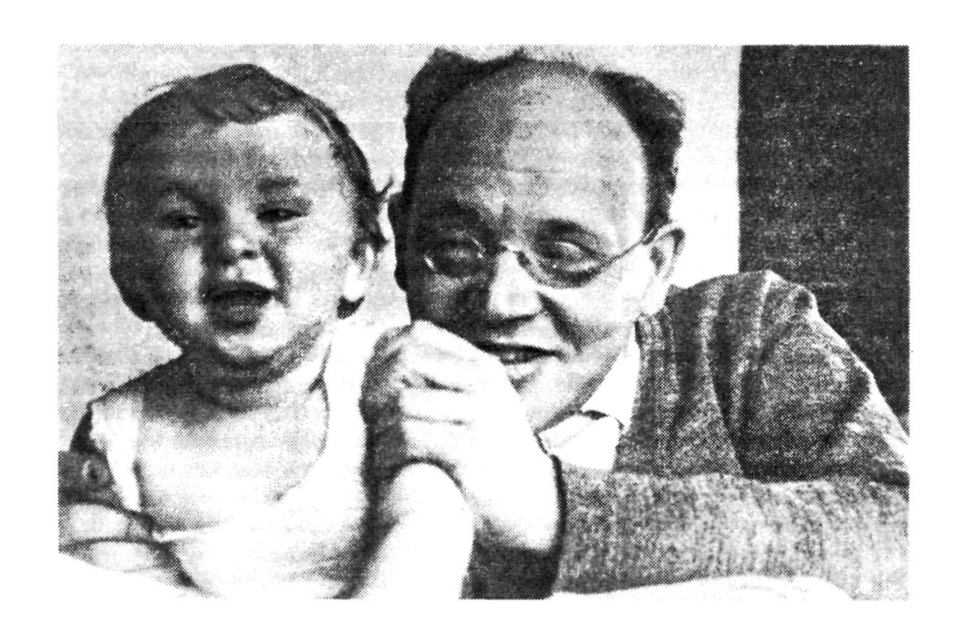
— Сталину эта смерть непонятна,— сказал мне Бабель.— Обладая железными нервами, он не может понять, что у людей они могут сдать...

В последние годы желание писать владело Бабелем неотступно.

— Встаю каждое утро,— говорил он,— с желанием работать и работать и, когда мне что-нибудь мешает, злюсь.

А мешало многое. Прежде всего — графоманы. По своей доброте Бабель не мог говорить людям неприятные для них истины и тянул с ответом, заикался, а в конце концов в утешение говорил: «В вас есть искра божья», или: «Талант проглядывает, хотя вещь и сырая», или что-нибудь в этом же роде. Обнадеженный таким образом графоман переделывал свое произведение и приходил опять. Ему все говорили, что пишет он плохо, что нужнс это занятие бросить, а вот Бабель подавал надежду...

Телефонные звонки не прекращались. Работать дома становилось невозможно. И тогда Бабель, замученный, начинал скрываться. По телефону он говорил только женским голосом. Женский голос Бабеля по телефону был бесподобен. Мне тоже приходилось его слышать, когда я звонила домой. А когда начала говорить наша дочь Лида, он заставлял ее брать трубку и отвечать: «Папы нет дома». Но так как фантазия Лиды не могла удовлетвориться одной этой фразой, она прибавляла что-нибудь от себя, вроде: «Он ушел гулять в новых калошах».



И. Э. Бабель с дочерью Лидой. Москва, 1937 год.

Но случалось и так, что, скрываясь от графоманов, Бабель убегал из дому, захватив чемоданчик с необходимыми рукописями. Он не упускал случая снять на месяц освобождающуюся где-нибудь комнату или номер в гостинице. Причиной, хотя и очень редкой, для бегства из дому был приезд моих родственников. Тогда он всем с удовольствием говорил:

— Белокурые цыгане заполонили мой дом, и я сбежал.

Мешала ему работать и материальная необеспеченность. Но только в последние два года моей совместной жизни с Бабелем я начала это понимать. Вначале он тщательно скрывал от меня недостаток денег, и даже моей матери, когда она у нас гостила, говорил:

— Мы должны встречать ее с улыбкой. Ни о каких наших домашних затруднениях мы не должны говорить ей. Она много работает и устает.

Деньги Бабелю нужны были не только для содержания московского нашего дома, но и для помощи дочери и матери, находившимся за границей. Кроме того, у Бабеля чрезвычайно легко можно было занять деньги, когда они у него были, чем постоянно пользовались его друзья и просто знакомые. Долгов же Бабелю никто не отдавал. Из-за этой постоянной потребности в деньгах Бабель вынужден был брать литературную работу для заработка.

Такой работой были заказы для кино. Иногда Бабель писал к кинокартине слова для действующих лиц при готовом сценарии, но чаще всего переделывал и сценарий или писал его с кем-нибудь из режиссеров заново...

Бабель заново переводил рассказы Шолом-Алейхема, считая, что они очень плохо переведены на русский язык. Переводил он из Шолом-Алейхема и то, что никем не переводилось ранее, и однажды прочел мне один из таких рассказов. Два украинца-казака варили кашу в степи у костра. Шел мимо по дороге оборванный, голодный еврей. Захотели они повеселиться и позвали его к своему костру отведать каши. Еврей согласился, и ему дали ложку. Но как только он, зачерпнув кашу, поднес ложку ко рту, один из казаков ударил его своей ложкой по голове и сказал другому: «Твой еврей объедает моего, так он съест всю кашу, и моему еврею ничего не достанется». Другой тоже стукнул еврея ложкой по голове и сказал: «Это твой еврей не дает моему поесть». И так они его били, причем каждый из них делал вид, что заботится о своем еврее, а бьет чужого...

Работа Бабеля по переводу рассказов Шолом-Алейхема была, как он выражался, «для души». «Для души» писались и новые рассказы, и повесть «Коля Топуз».

— Я пишу повесть,— говорил он,— где главным героем будет бывший одесский налетчик типа Бени Крика, его зовут Коля Топуз. Повесть пока что тоже так называется. Я хочу показать в ней, как такой человек приспосабливается к советской действительности. Коля Топуз работает в колхозе в период коллективизации, а затем в Донбассе на угольной шахте. Но так как у него психология налетчика, он все время выскакивает за пределы нормальной жизни. Создается много веселых ситуаций...

Бабель писал много, много написал, и только арест помешал появлению его новых произведений...

В апреле 1939 года он уехал в Ленинград. Через несколько дней я получила телеграмму от И. А. Груздева: «У Бабеля сильнейший приступ астмы. Срочно приезжайте. Груздев».

У меня возникло сомнение — не розыгрыш ли этот приступ астмы? Я помнила, как Бабель в 1935 году, когда мы были в Одессе и мой отпуск кончился, захотел оставить меня еще на неделю и раздобыл больничный бюллетень. В кафе гостиницы «Красная» в кругу друзей долго обсуждался вопрос — какую болезнь мне придумать. Перечислялись всякие болезни, пока, наконец, кто-то не предложил — воспаление среднего уха, что вызвало веселый смех всей компании и было принято. Этот бюллетень я тогда показала начальству в оправдание своего опоздания, но в бухгалтерию его не сдавала.

Так и теперь, сомневаясь в болезни Бабеля, я все же показала телеграмму начальнику Метропроекта, и он тут же отпустил меня на несколько дней.

В Ленинграде на вокзале меня встретил веселый и вполне здоровый Бабель вместе с моей подругой Марией Всеволодовной Тыжновой (Макой). При отъезде Бабеля из Москвы я поручила ему передать Маке письмо. Это поручение превратилось в их прочное знакомство. Бабель не только подружился с Макой, но и по особой причине зачастил к ним в дом. Дело в том, что мать Маки была урожденная Лермонтова, отец ее был двоюродным братом Михаила Юрьевича Лермонтова.

В старинном доме на углу Мастерской улицы и канала Грибоедова, где сохранилась еще большая комната с лепными амурами на потолке, зеркальными простенками с позолоченным обрамлением и гипсовой маской Петра Первого на стене, жили, помимо моей подруги Маки, ее бабушка, тетка с семьей и холостяк дядя Владимир Владимирович Лермонтов.

Из разговоров с Владимиром Владимировичем Бабель узнал, что в доме их хранится архив дяди поэта Лермонтова, и, конечно, захотел его посмотреть. А потом стал часто приходить, чтобы читать бумаги из этого архива. Помню, он рассказывал мне, что дядя Лермонтова был женат два раза и в своем дневнике записал: «Первая жена — от бога, вторая — от людей, третья — от дьявола», что после смерти очень любимой им первой жены он остановил часы, которые с тех пор не заводились ни при его жизни, ни после его смерти, что очень интересно было читать расходные книги Лермонтовых, где было записано, сколько заготовлено на зиму возов дров, сена, мяса, свечей и что почем. Среди прочих расходов Бабель нашел запись: «1 рубль жидам на свадьбу». Эта запись очень его развеселила, и он потом часто ее вспоминал. Этот архив хранится теперь в Пушкинском доме.

В Ленинграде Бабель закончил работу над киносценарием «Старая площадь, 4», над которым работал еще в Москве вместе со сценаристом В. М. Крепсом.

Мы пробыли в Ленинграде несколько дней, были в гостях у И. А. Груздева, жена которого оказалась, как и я, сибирячкой и угощала нас домашними пельменями. Проводили время у Маки, много гуляли по городу, ездили в Петергоф и посещали Эрмитаж. Ходили туда три дня подряд после завтрака до обеда. Никогда после этого я не осматривала Эрмитаж обстоятельнее, чем с Бабелем в том году. В эти дни (20 апреля) Бабель писал своей матери:

«Уф! Гора свалилась с плеч... Только что закончил работу — сочинил в 20 дней сценарий. Теперь, пожалуй, примусь за «честную» жизнь... В Москву уеду 22-го вечером. В Эрмитаже был уже — завтра поеду в Петергоф. Окончание моих трудов совпало с первым днем весны — сияет солнце... Пойду погулять после трудов праведных...»

И 22 апреля: «Второй день гуляю — к тому же весна... Вчера обедал у Зощенко, потом до 5 часов утра сидел у своего горьковского — времен 1918 года — редактора и на рассвете шел по Каменноостровскому — через Троицкий мост, мимо Зимнего дворца — по затихшему и удивительному городу. Сегодня ночью уезжаю».

Перед отъездом в Переделкино в начале мая 1939 года Бабель сказал мне, что будет жить теперь там постоянно и только в исключительных случаях приезжать в Москву:

— Мне надо к осени закончить книгу новых рассказов. Она так и будет называться «Новые рассказы». Вот тогда мы разбогатеем.

Условились, что в конце мая, когда установится теплая погода, переедем на дачу все.



Дача И. Э. Бабеля в Переделкино, где он жил в 1939 году.

Работа над сценарием «Мои университеты» подходила к концу, съемки уже начались.

— Не надо было делать и этого, да не могу, чувствую себя обязанным перед Горьким,— говорил Бабель.

В какой-то мере он принимал участие во всех картинах по произведениям Горького — кинофильмах: «Детство», «В людях» и, наконец, «Мои университеты». Он говорил:

— Другие мысли меня сейчас занимают, но Екатерина Павловна меня просила проследить за ними, чтобы не было безвкусицы и отсебятины.

Бабель уехал в Переделкино; прощаясь он сказал весело:

— Теперь не скоро вернусь в этот дом.

Он попросил меня 15 мая привезти к нему Марка Донского, кинорежиссера картины «Мои университеты», и его ассистентов. Они должны были заехать за мной в Метропроект в конце рабочего дня.

Дома в Москве в то время, кроме меня, оставалась Эстер Григорьевна Макотинская, возившаяся с маленькой Лидой, и домашняя работница Шура.

15 мая 1939 года в 5 часов утра меня разбудил стук в дверь моей комнаты. Когда я ее открыла, вошли двое в военной форме, сказав, что они должны осмотреть чердак, так как разыскивают какого-то человека.

Оказалось, что пришедших было четверо, двое полезли на чердак, а двое остались. Один из них заявил, что им нужен Бабель, ко-

торый может сказать, где этот человек, и что я должна поехать с ними на дачу в Переделкино. Я оделась, и мы поехали. Шофер отлично знал дорогу и ни о чем меня не спрашивал. Поехали со мной двое.

Приехав на дачу, я разбудила сторожа и вошла через кухню, они за мной. Перед дверью комнаты Бабеля я остановилась в нерешительности; жестом один из них приказал мне стучать. Я постучала и услышала голос Бабеля:

— Кто?

— Я.

Тогда он оделся и открыл дверь. Оттолкнув меня от двери, двое сразу же подошли к Бабелю:

— Руки вверх! — скомандовали они, потом ощупали его карманы и прошлись руками по всему телу — нет ли оружия.

Бабель молчал. Нас заставили выйти в другую, мою комнату; там мы сели рядом и сидели, держа друг друга за руки. Говорить мы не могли.

Когда кончился обыск в комнате Бабеля, они сложили все его рукописи в папки, заставили нас одеться и пойти к машине. Бабель сказал мне:

— Не дали закончить...— И я поняла, что речь идет о книге «Новые рассказы». И потом тихо: — Сообщите Андрею.— Он имел в виду Андре Мальро.

В машине мы разместились так: на заднем сиденье — мы с Бабелем, а рядом с ним — один из них. Другой сел вместе с шофером.

— Ужаснее всего, что мать не будет получать моих писем,— проговорил Бабель и надолго замолчал.

Я не могла произнести ни слова. Сопровождающего он спросил по дороге:

— Что, спать приходится мало? — и даже засмеялся.

Уже когда подъезжали к Москве, я сказала Бабелю:

— Буду вас ждать, буду считать, что вы уехали в Одессу... Только не будет писем...

Он ответил:

— Я вас очень прошу, чтобы девочка не была жалкой.

— Но я не знаю, как сложится моя судьба...

И тогда сидевший рядом с Бабелем сказал:

— К вам у нас никаких претензий нет.

Мы доехали до Лубянки и въехали в ворота. Машина остановилась перед закрытой массивной дверью, охранявшейся двумя часовыми.

Бабель крепко меня поцеловал, проговорил:

— Когда-то увидимся...— и, выйдя из машины, не оглянувшись, вошел в эту дверь.

Я окаменела и не могла даже плакать. Почему-то подумала — дадут ли ему там стакан горячего чая, без чего он никогда не мог начать день?

Меня отвезли домой на Николо-Воробинский, где все еще продолжался обыск. Ездивший в Переделкино подошел к телефону и кому-то сообщил, что отвез Бабеля. Очевидно, был задан вопрос: — Острил? — Пытался,— последовал ответ.

Я попросила у них разрешения уехать, чтобы не опоздать на работу. Мне разрешили: я переоделась и ушла. Эстер Григорьевна Макотинская, которая ночевала у нас, успела мне шепнуть, что кое-что из одежды Бабеля сумела перенести в мой шкаф, чтобы сохранить для него на случай необходимости. Обыск все еще продолжался. Еще до моего ухода один из сотрудников НКВД куда-то звонил и согласовывал вопрос — сколько комнат мне оставить — одну или две. Потом, обратившись к другому, сказал:

— Есть распоряжение оставить две комнаты.— По тем временам это было даже удивительно: из трех комнат нашей московской квартиры мне с маленькой дочкой оставили две изолированные комнаты. Но тогда я даже не обратила на это внимания. Кроме того, мне сообщили номер телефона 1-го отдела НКВД, куда я могла бы обратиться в случае необходимости.

Опечатали комнату Бабеля, забрали рукописи, дневники, письма, листы с дарственными надписями, выдранные при обыске из подаренных Бабелю книг...

Теперь, вспоминая телефонные переговоры, перебирая в памяти подробности обыска и ареста, я прихожу к убеждению, что Бабель уже тогда, *заранее*, был осужден.

Я работала в Метропроекте целый день, собрав все силы, ездила договариваться с проектной организацией Дворца Советов, просила передать нам сталь марки ДС для конструкций станции «Павелецкая», которую я тогда проектировала.

Марк Донской с товарищами, которых в тот день я должна была привезти к Бабелю на дачу, ко мне в Метропроект не заехали, как было условлено; очевидно уже знали, что Бабель арестован.

Когда рабочий день закончился, я добралась домой и только тогда разрыдалась. Случившееся было ужасно, хотя я не предвидела плохого конца. Я знала, что Бабель ни в чем не может быть виноват, и надеялась, что это ошибка, что *там* разберутся. Но многоопытная Эстер Григорьевна, у которой к тому времени были арестованы и муж, и дочь, не старалась меня утешить.

Позже я узнала: почти одновременно с Бабелем арестовали Мейерхольда и Кольцова.

Чувство беспомощности было всего ужаснее: знать, что самому близкому человеку плохо, и ничем ему не помочь! Мне хотелось немедленно бежать на Лубянку и сказать то, чего *они* не знают о Бабеле, но знаю я. От этого шага меня уберегла все та же Эстер Григорьевна. Хорошо, что у меня была работа. Хорошо, что была у меня Лида. Возвращаясь домой, я брала ее на руки, прижимала к себе и шагала с ней часами из угла в угол. Эстер Григорьевна уходила домой: надо зарабатывать переводами деньги на посылки заключенным. А я оставалась одна.

Некоторое время спустя я написала обо всем своей матери в

Томск и просила ее приехать. Когда она приехала и взяла на себя заботу о девочке, я стала работать как одержимая и еще поступила на курсы шоферов-любителей только затем, чтобы не иметь ни минуты свободного времени.

Никаких свиданий с арестованным не разрешалось, только один раз в месяц можно было передавать для него 75 рублей. Во дворе здания на Кузнецком мосту имелось небольшое окошечко, куда в очередь передавали эти деньги, называя фамилию арестованного. Никаких расписок не давалось. Длинные очереди растягивались от этого окошка по всему двору до ворот и даже выходили за ворота. Я всегда была так удручена, что никого не замечала в отдельности. Публика в очереди интеллигентная, в основном женщины, но были и мужчины.

Месяца через два после ареста Бабеля меня начали одолевать судебные исполнители. У Бабеля были договоры с некоторыми издательствами, и по этим договорам получены авансы. Вот эти-то авансы издательства в судебном порядке решили получить с меня. Ко мне один за другим являлись судебные исполнители и переписывали не только мебель в оставшихся двух комнатах, но и мои платья в шкафу. Я не знала, что делать, и решила обратиться за советом к нашему с Бабелем «очень хорошему приятелю» Льву Романовичу Шейнину, работавшему тогда в прокуратуре.

Когда он меня увидел, то страшно смутился, даже побледнел. А сколько вечеров до самого рассвета провел он в нашем доме, какие комплименты расточал и мне, и нашему дому! Придя в себя, Шейнин попросил меня пройти в соседнюю комнату и подождать. Через несколько минут он вошел, но не один, а с другим человеком в форме. Очевидно, решил для безопасности разговаривать со мной при свидетеле. Шейнин выслушал меня, успокоился, как мне казалось, от того, что мой приход не означал просьбы хлопотать за Бабеля. Совет позвонить в 1-й отдел НКВД дал мне не Шейнин, а человек, пришедший с ним. И когда я поднялась, чтобы уйти, Шейнин вдруг спросил меня: «А за что арестовали Бабеля?» Я сказала: «Не знаю»,— и ушла.

Дома, воспользовавшись в первый раз телефоном, оставленным сотрудником НКВД во время обыска, я позвонила в 1-й отдел и рассказала о судебных исполнителях, переписывающих вещи. Мне ответили:

— Не беспокойтесь, больше они не придут.

И действительно, с тех пор никто из них не приходил.

Пришлось мне звонить в НКВД и еще один раз. Дело в том, что однажды мне позвонили из Одинцовского отделения милиции и сообщили, что из опечатанной дачи в Переделкине украдены ковры. Один из них лежал на полу в моей комнате, другой, поменьше — на полу в комнате Бабеля. Украл их приехавший с Украины родной брат нашего сторожа. Его поймали тогда, когда он уже продал эти ковры, и отобрали у него 2 тысячи рублей. Эти деньги сотрудник из милиции Одинцова просил меня получить. Я позвонила в 1-й отдел, и там мне сказали:

— Поезжайте и получите.

Я собралась поехать туда не сразу, прошел, быть может, целый месяц. И когда я приехала в Одинцово, оказалось, что за это время бухгалтер украл эти деньги, был судим и получил 5 лет тюрьмы.

Перед праздником 7 Ноября к нам на Николо-Воробинский пришел молодой сотрудник НКВД и попросил для Бабеля брюки, носки и носовые платки. (Не помню, звонил ли он по телефону, прежде чем зайти.)

Какое счастье, что Эстер Григорьевне во время обыска удалось перенести брюки Бабеля из его комнаты в мою. Носки и носовые платки имелись в моем шкафу. Я надушила носовые платки своими духами и все эти вещи передала пришедшему. Мне так хотелось послать Бабелю привет из дома! Хотя бы знакомый запах.

Раздумывая с мамой о визите сотрудника, мы пришли к выводу, что это — хороший признак, какое-то облегчение, как нам казалось.

Деньги для Бабеля у меня принимали начиная с июня до ноября, а потом сказали, что Бабель переведен в Бутырскую тюрьму и деньги нужно отнести туда. Там у меня взяли деньги в ноябре и декабре 1939 года, а в январе 1940 года сообщили, что Бабель осужден Военным Трибуналом.

Знакомый адвокат устроил мне встречу с прокурором из Военного Трибунала, худым, аскетичного вида генералом. Он, посмотрев бумаги, сказал, что Бабель осужден на 10 лет без права переписки и с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

От кого-то, еще до свидания с этим генералом, я слышала, что формулировка «10 лет без права переписки» означает расстрел и предназначена для родственников.

Я спросила об этом генерала, сказав ему, что «не упаду тут же в обморок, если он скажет мне правду». И генерал ответил: «К Бабелю это не относится».

После визита к прокурору Военного Трибунала я ходила в приемную НКВД за официальным ответом. Помнится, это был второй этаж небольшого, быть может, двух- или трехэтажного и весьма невзрачного здания, которое стояло на месте теперешнего «Детского мира» на площади Дзержинского.

Помню мрачную приемную, из которой вела дверь в угловую комнату с картотекой. За столом сидел молодой и курносый, очень несимпатичный человек и давал ответ на вопрос, предварительно порывшись в картотеке. После официального ответа, уже известного мне, он сказал:

— Тяжелое наказание... Вам надо устраивать свою жизнь...

Рассердившись, я ответила:

— Я работаю, как еще я должна устраивать свою жизнь?

И даже такой явный намек не убедил меня тогда в том, что Бабель расстрелян.

Все лето 1939 года я с маленькой Лидой оставалась в Москве, вывезти ее за город не могла: я не брала отпуск, ждала изо дня в

день каких-нибудь известий о Бабеле. В Москве то и дело возникали слухи: кто-то сидел с Бабелем в одной камере, кто-то передавал, что дело Бабеля не стоит выеденного яйца... Я пыталась встретиться с этими людьми, но каждый раз это не удавалось. Оказывалось, не сами они сидели с Бабелем, а какие-то их знакомые, которые либо уехали из Москвы, либо боятся со мной повидаться. А однажды летом ко мне пришла дочь Есенина и Зинаиды Райх, Татьяна. Она слышала, что Мейерхольд и Бабель находятся вместе где-то, ей кто-то передал, и не знаю ли я чего-нибудь. Я ничего не знала. Как понравилась мне эта милая, юная девушка, такая белокурая и с такими чудными голубыми глазами! И не только своей внешностью, но этой готовностью поехать куда угодно, хоть на край света,— лишь бы узнать хоть что-нибудь о Всеволоде Эмильевиче, своем отчиме, и как-нибудь ему помочь. Такая же готовность поехать за Бабелем на край света была и у меня. Но, поговорив о том, какие ходят слухи, как мы обе гоняемся за ними, а они рассыпаются в прах, мы расстались. И больше я никогда не видела эту девушку, но знала о ее нелегкой судьбе, о сыне, которого она, кажется, назвала Сережей.

У членов семьи осужденных было еще одно право — каждый год один раз подавать заявление в приемную НКВД на Кузнецком мосту, 24, справляясь о судьбе заключенного, а потом в назначенное время приходить за ответом. Такие заявления опускались в ящик, висевший на этом здании, а за ответом приходили к окошку уже внутри помещения. И в ответ на мои заявления в 1940 и в 1941 году весной ответ был одинаковый — «Жив, содержится в лагере».

В конце лета 1940 года к нам приехали за конфискованными вещами.

В это время дома была я и мой брат Олег, гостивший у меня; мама с Лидой жили на даче, снятой мной в это лето поблизости от станции Кубинка по Белорусской железной дороге. Приехавший сотрудник НКВД открыл дверь опечатанной комнаты Бабеля, а сам перешел в столовую и начал составлять опись, попросив меня перечислять вещи.

Я удивилась, когда услышала, что брат вызвался помогать, то есть снимать шторы, свертывать ковер, перетаскивать костюмы и белье.

Сотрудник НКВД остался этим доволен и даже очень удивлен тем, что мы так спокойно относимся к такому событию. Спокойно, а потом и просто весело. Дело в том, что когда я вышла в свою комнату, то увидела, что Олег не только отрезал половину ковра, ту, что была на тахте и частично на стене, оставив им лишь ту, которая лежала на полу, но и подменил шторы. В моей комнате висели шторы из обыкновенной плотной ткани с нанесенным на нее рисунком, а в комнате Бабеля шторы были из прекрасной материи на подкладке и с фланелью внутри. Увидев эту замену, я рассмеялась, смех было трудно скрыть, отчего сотрудник НКВД и удивлялся нашему веселью. Из столовой взяли очень красивый

буфет черного дерева с вырезанными в нем фигурками. Буфет старинный, Бабель сам купил его у кого-то. Кроме того, из столовой были взяты еще какие-то мелкие вещи и картины. Оставили обеденный стол, стулья и диван. Мне было жалко отдавать тахту Бабеля, которую он сам заказывал, и я попросила забрать диван из столовой и оставить тахту, на что сотрудник охотно согласился. Когда опись вещей была закончена, пришли рабочие и погрузили все в машину.

Комната Бабеля снова была заперта на ключ и долго оставалась пустой. Только весной 1941 года в ней поселился следователь НКВД с женой.

Обстановка в Метропроекте для меня после ареста Бабеля не изменилась. Большинство из ближайших ко мне сотрудников ничего не знали, а кто и знал, со мной об этом не говорили.

Осенью 1939 года меня вызвали в партийный комитет Метропроекта и предложили работать агитатором в домах-общежитиях Метростроя. И когда я сообщила, что у меня арестован муж, секретарь парткома спокойно сказал:

— К вам это отношения не имеет.

Сам ли он так решил или получил какие-нибудь указания на мой счет от органов, так и осталось для меня тайной.

Во всяком случае, я не чувствовала к себе какого-нибудь недоверия и, как и все остальные, вела разную общественную работу в Метропроекте. Я оставалась руководителем группы, занимавшейся проектированием станции «Павелецкая-радиальная» со всеми примыкающими к ней сооружениями.

Металлические конструкции станции «Павелецкая-радиальная» изготовлялись в Днепропетровске. Мне приходилось и раньше ездить туда в командировки, но в 1941 году в начале июня такая моя поездка приобрела особое значение. Конструкции были срочно нужны, а их изготовление завод задерживал.

На заводе оказалась сложная обстановка потому, что одновременно со мной туда прибыл еще один командированный, требовавший срочного изготовления конструкций для мостов где-то на Севере. Убеждая меня уступить ему право первенства, он говорил: «Если не будут срочно построены мосты, у нас заключенные в лагерях останутся без питания». Какой болью в сердце отозвались для меня эти слова! Я ведь тогда не знала, где находится Бабель, быть может, в этих самых лагерях. Молодой человек, заботившийся о заключенных, стал мне сразу симпатичен, и мы мирно договорились с заводом — кому и в какие сроки будут изготовлены конструкции, чередуя эти сроки между собой. Он уступал мне, я ему. В Москву я возвратилась 14 июня, а 20-го выехала в командировку в Абхазию, где началось строительство железной дороги от Сочи до Сухуми с восемью тоннелями на ее пути. К тому времени в Новом Афоне уже имелась проектная группа Метропроекта, но ее требовалось усилить. Сначала я отказывалась ехать из-за того, что надо было снимать дачу и вывозить дочку с мамой за город. Начальство, заинтересованное в моей поездке, посоветовало

взять девочку и маму с собой, и я согласилась. Задание заключалось в привязке порталов тоннелей к местности, решении на месте вопросов борьбы с оползнями, отвода воды и других. Предполагалось, что с этой работой проектная группа справится за один-полтора месяца.

С собой мы взяли только летние вещи.

Когда поезд подходил к станции Лазаревская, мы узнали, что началась война. Прямо на платформе состоялся митинг. Возвращаясь с митинга в вагон, четырехлетняя Лида весело сказала: «Ну вот, война кончилась». Многие пассажиры, доехав до Сочи, возвратились в Москву. Мы же на автобусе поехали в Новый Афон. Приехали ночью в кромешной тьме; огней зажигать было нельзя, немцы бомбили наши города.

Проектная группа занимала для работы один большой номер в гостинице. В этой же гостинице жили все наши сотрудники.

Управление строительством тоннелей находилось в Гудаутах, управление строительством железной дороги — в Сухуми.

Вместе с нами в Новом Афоне была размещена транспортная контора нашего строительства с автобазой.

Очень скоро после нашего приезда Новый Афон опустел. Старые курортники разъехались, новые не прибывали. Санатории закрылись, на пляжах никого.

Мы с утра работали, часто выезжали на строительство тоннелей для осуществления авторского надзора и иногда в Гудауты или Сухуми на различные совещания. Я поначалу занималась тоннелями 11 и 12 на Мюссерском перевале между Гаграми и Гудаутами, иногда приходилось ночевать в Гаграх в пустой гостинице Гагрипш. Пробиралась в номер со свечкой в полнейшей темноте. Заснуть было невозможно, мешали воспоминания о моем приезде в Гагры с Бабелем в 1933 году. Трудно представить себе Гагры с роскошной растительностью, в цвету совершенно безлюдными. В Новом Афоне, кроме местного населения, все же были строители тоннелей 13 и 14, сотрудники нашей проектной группы и транспортной конторы, шныряли туда и обратно полуторки, изредка появлялись легковые машины начальства.

Проектной работы оказалось гораздо больше, чем первоначально предполагалось, так как из-за плохих карт местности ни один из порталов тоннелей, запроектированных в Москве, в натуре не попадал в нужное место. Все чертежи порталов тоннелей пришлось проектировать и рассчитывать заново.

Тоннели 15 и 16 в Эшерах частично попали в оползневую зону. Припортальные участки этих тоннелей значительно усложнились и потребовали коренного изменения.

Тоннель 14 в Новом Афоне одним концом выходил на территорию дачи Сталина, которой раньше не было. Пришлось изменить его трассу, отказаться от выемки, ввести галереи и траншеи как продолжение самого тоннеля, чтобы как можно меньше нарушить территорию участка, засаженного молодыми лимонными деревьями.

Когда выяснилось, что месячная командировка в Новый Афон переходит в необходимость работать там длительное время и в то же время наша проектная организация из Москвы эвакуируется в Куйбышев, мы получили распоряжение главного инженера Метростроя Абрама Григорьевича Танкилевича оставаться на месте. Но ни у кого из нас не было теплых вещей, и Метропроект организовал для нас посылку из Москвы. Так как у меня в Москве не оставалось родственников, я переслала ключи от квартиры своей приятельнице Валентине Ароновне Мильман с просьбой собрать наши теплые вещи и передать их в Метропроект. Так же поступили и другие сотрудники нашей группы.

Валентина Ароновна, работавшая тогда секретарем Эренбурга, получив ключи от нашей квартиры, догадалась забрать и большой ковер на полу в моей комнате и отвезти его Эренбургу, чтобы утеплить пол комнаты, где он работал. Ему же она отвезла кофеварку, привезенную Бабелем в 1935 году из Парижа.

Мне было приятно, что ковер и кофеварка послужили Эренбургу, а кроме того, эти вещи, в отличие от украденных соседями, вернулись в дом после нашего приезда.

Первый год войны мы прожили на Кавказе почти спокойно. Но война затягивалась, и некоторые сотрудники нашей группы стали нервничать, стремиться уехать в Москву. Немцы к тому времени перерезали железную дорогу, соединяющую Сочи с Москвой. Уезжать нашим сотрудникам пришлось через Красноводск. Добирались до Москвы за 40 дней. Уехал и руководитель нашей группы Б. В. Грейц с женой. Я осталась во главе проектной группы. Мне с мамой и маленькой Лидой опасно было трогаться в такой дальний путь.

Когда строительство тоннелей прекратилось из-за отсутствия цемента, который мы получали из Новороссийска, был дан приказ законсервировать тоннели. На это требовался лес. Пришлось организовать лесоразработки вблизи от Пицунды.

Немцы подходили к Туапсе. Мы начали срочно строить железную дорогу в обход тоннелей. А пока вооружение из Ирана к Туапсе шло по извилистой шоссейной дороге, разбитой до предела. Во время дождей дорога портилась, колонны машин останавливались.

Немцы начали бомбить Тбилиси и Сухуми. Бомбы сбрасывали не особенно тяжелые, но и они приводили к жертвам. Одна бомба упала вблизи от здания управления строительством железной дороги; известка с потолка посыпалась на голову начальнику управления А. Т. Цатурову. Женщине-инженеру Ростомян, выбежавшей в сквер возле здания, оторвало кисть руки. Были убитые и среди населения Сухуми на других улицах. Управление строительством железной дороги переехало из Сухуми в Новый Афон.

Самолеты немцев начали летать и над Новым Афоном. По тревоге мы прятались в канавах, прорытых еще монахами для отвода воды со склона маслиновой рощи. Наши зенитки стреляли по самолетам, и пустые гильзы падали на нас.

Возможно, немцы узнали, что части морской пехоты расположились на отдых в пустых санаториях Нового Афона, а может быть, закрытые от морозов белыми колпаками молодые лимонные деревья принимали за палатки воинских частей. Во всяком случае, оставаться в гостинице мы побоялись и сняли для работы комнату в частном доме в поселке Псырцха и сами переехали в дома этого поселка.

Связь с Москвой прервалась, и мы перестали получать зарплату из Метропроекта. Пришлось работать по договорам с заказчиком или с другими организациями Абхазии. Нашей группе были заказаны проекты бомбоубежищ: маленького во дворе обкома и большого в городе.

Обстановка становилась все тревожнее. Немцы подошли к Туапсе на расстояние в 8 километров, но, кроме того, нависли над нами в горах. Войска наши отступали. Иногда на полу моей комнаты ночевало по нескольку солдат.

Однажды утром мой хозяин Арут Моргосович Янукян показал мне на дом абхазца, напротив нашего дома. Деревянная пятиконечная звезда, украшавшая фронтон дома, была за ночь снята, остался только след нового дерева под ней. Арут мне сказал:

— Ждет немцев... Ничего не бойся, я уведу всех в лес, в горы. Знаю такие места, что ни один немец туда не доберется. Там и отсидимся, пока наши снова не придут.

И все-таки я однажды пошла к начальнику управления Александру Тиграновичу Цатурову посоветоваться: как быть?

Кроме мамы и Лиды, на моей ответственности были еще оставшиеся в Новом Афоне сотрудники группы, тоже с семьями.

Цатуров мне тогда сказал, показывая на свой стол:

— У меня под сукном лежит приказ за подписью Кагановича — в случае опасности эвакуироваться в Иран. Ведь транспорт в нашем распоряжении.

Скоро немцев в горах разгромили отряды добровольцев из местного населения под командованием военных. А когда наши строители закончили железную дорогу в обход тоннелей и первые поезда с военным снаряжением пошли по ней, немцев отогнали и от Туапсе.

Радость военных по поводу постройки этой железной дороги была велика. Митинг закончился объятиями и поцелуями, подбрасыванием строителей в воздух.

Дорога, конечно, была аховая. Овраги пересекались на шпальных клетках, оползневые участки требовали ежедневной и бесконечной подсыпки гравия под шпалы, который тут же сползал в море. Этот сизифов труд выполняли рабочие бригады из штрафников, которых не посылали на фронт: не доверяли им.

Обстановка в Новом Афоне и настроение людей улучшилось, военные сводки стали обнадеживающими.

Живя у Арута, я часто думала, что если Бабеля освободят и не разрешат ему жить в Москве, то будет очень хорошо поселиться

ему здесь, в этом саду с виноградной беседкой и с роскошным видом на море.

Наступил 1944 год. Пора было возвращаться в Москву. Лиде исполнилось 7 лет, нужно было подумать о ее образовании. В Новом Афоне Лида вела жизнь вполне деревенской девочки. По утрам с кукурузника (высокая башня с лесенкой) доставала кукурузные початки, ручной мельницей молола в крупу зерна кукурузы, кормила кур и цыплят. Цыплята настолько к ней привыкли, что смирно сидели у нее на голове, плечах и руках, и она в таком виде расхаживала с ними по двору. По вечерам пастух кричал не хозяйке Оле, а Лиде: «Лида, забирай свою корову». И Лида хватала веревку с гвоздя, бежала за ворота, наматывала веревку на рога коровы и вела ее по тропинке через сад в хлев. На море Лида чувствовала себя так же, как любой армянский или абхазский мальчишка. Ныряла и плавала великолепно. Уплывала в море так далеко, что ее совершенно не было видно, и пропадала там часами. Это стоило бы мне много нервов, если бы я всегда была свидетелем этих заплывов. Чаще всего я об этом узнавала потом.

В Москву мы возвратились в феврале 1944 года. Ехали через Сталинград, и пока поезд там стоял, мы с Лидой вышли на площадь. Зрелище полностью разбитого города было ужасающим. В некоторых местах высились только отдельные стены бывших кирпичных домов с проемами окон, все вокруг — сплошной битый кирпич. На вокзальной площади круглая раковина фонтана с полууцелевшими скульптурами детей вокруг. И по всей дороге в Москву видны были следы страшного разрушения. А так как мы в Новом Афоне почти не испытали ужасов войны, эти картины по дороге в Москву явились для меня единственным впечатлением от войны и до сих пор стоят перед глазами. Отдельные разрушения в Москве были уже подчищены и не особенно заметны.

Несмотря на то что моя квартира была забронирована ГКО, она была разорена. «Нижние» соседи, военком и заместитель начальника отделения милиции нашего района, распространили слух, что я, как жена репрессированного, перешла к немцам и в Москву не вернусь. Поэтому в домоуправлении одну из моих комнат отдали печнику, а в другой селились домоуправы. Их было несколько, сменявших друг друга за время войны, и каждый считал нужным поселиться в одной из моих комнат. Все вещи были разворованы.

Еще в конце 1943 года в Москву с фронта приехал дальний родственник Бабеля Михаил Львович Порецкий. Он зашел в наше домоуправление, объяснил им, что я в командировке и скоро возвращаюсь, добился освобождения одной комнаты. Когда очередной домоуправ выехал из комнаты, Порецкий повесил замок и ключ передал начальнику конструкторского отдела Метропроекта Роберту Августовичу Шейнфайну, встречавшему нас на вокзале. Но в комнате нельзя было оставаться ночевать из-за холода. Маму с Лидой пришлось пристроить к соседям из второй половины дома, а самой уйти ночевать к приятельнице.

У тетки Бабеля в Овчинниковском переулке М. Л. Порецкий оставил для меня немецкую железную печку, и когда я на саночках привезла эту печку домой и мы ее чем-то затопили, в комнате стало возможно жить. Кроме мебели, из вещей наших ничего не сохранилось. Не было никакой посуды, ничего из постельного белья, ни одеял, ни подушек. В шкафу, к великому моему счастью, валялись фотографии и из них часть фотографий Бабеля.

Но самое главное — в доме не осталось ни одной книги.

Полностью теперь уж разоренный наш дом для своего хотя бы самого необходимого восстановления требовал много денег.

Я снова начала работать в Метропроекте, получив для проектирования станцию «Киевская» со всеми относящимися к ней сооружениями и примыкающими перегонами кольцевой линии.

По вечерам я старалась заработать дополнительно, берясь за любую проектную работу. Такой работы сразу после войны предлагалось много, был период восстановления разрушенного.

Прежде всего у одной дамы мне удалось купить неплохую библиотеку, где были однотомники основных классиков русской литературы. Если в букинистических магазинах мне попадались те книги, которые были у нас с Бабелем, то я их всегда покупала.

Чтобы получить вторую мою комнату, пришлось судиться. Все права были на моей стороне. Квартира была забронирована постановлением ГКО, квартирную плату аккуратно вносил Метропроект. Печник Челноков, занявший мою комнату, также аккуратно платил за свою комнату, из которой домоуправление сделало красный уголок. Тем не менее народный суд мне в иске отказал. Судья Матросов сказал так: «У меня рука не поднимается отдать вторую комнату такой маленькой семье, когда у нас генералы валяются в коридорах». И был он мне невероятно симпатичен за эти слова. Но в то же время я не могла согласиться с тем, чтобы жить втроем в одной комнате. Конечно, городской суд отменил первое решение народного суда и вторую комнату мне возвратили. Челноков благополучно вернулся в свою старую комнату, и мы с ним остались друзьями.

Летом 1944 года я с великим страхом подала обычное заявление в НКВД с просьбой сообщить мне о судьбе Бабеля. Со страхом вот почему. От знакомых я узнала, что обычный ответ на такие заявления гласил: «умер в 1941 г.», «умер в 1942 г.»... Какова же была моя радость, когда я получила ответ: «Жив, здоров, содержится в лагерях». Так было и в 1945 и в 1946 годах. А на запрос в 1947 году мне сообщили: «Жив, здоров, содержится в лагерях. Будет освобожден в 1948 году». Нашей радости не было границ. Мы с мамой решили, что Бабеля освободят раньше, чем истечет срок приговора.

Решили за этот год отремонтировать квартиру, перебить мягкую мебель и летом 1947 года занимались всем этим, готовясь встретить Бабеля. А летом 1948 года мне снова ответили кратко:

«Жив, содержится в лагерях», и я решила, что начался еще больший произвол и что, наверно, срок еще увеличили. Повсюду тогда ходили слухи об увеличении сроков и всяком произволе в лагерях.

После 1948 года я заявлений в НКВД не подавала. Так наступил 1952 год, а Бабеля все не было. Однажды в августе 1952 года мама позвонила мне на работу и сказала, чтобы я немедленно пришла домой. Я схватила такси, надеясь застать Бабеля дома. Но оказалось, к нам приходил человек (совершенный зек, как его описывал впоследствии Солженицын) и рассказал, что вышел из лагеря, расположенного на Колыме, что арестован он был во время войны за сотрудничество с немцами, осужден на 8 лет, отбыл этот срок. Рассказал, что сам он из Бреста и фамилия его Завадский. После какого-то очередного перемещения из одного лагеря в другой он, по его словам, оказался вместе с Бабелем. Письмо от Бабеля он не привез, так как Бабель, когда он уходил из лагеря, был, якобы, в больнице. Завадский в сапоге привез письмо одной женщине от мужа, которой тот пишет и о Бабеле. Он назвал маме имя этой женщины — Мария Абрамовна — и написал ее телефон. Подождать меня Завадский не мог, спешил на вокзал. Вид его, как рассказала мне мама, был изможденный, цвет лица серый, в сапогах и в плаще, каком-то устаревшем и старом.

Я в тот же день позвонила Марии Абрамовне, и она пригласила меня зайти. Шла я к ней с опаской, боялась, что за мной следят. Так мне казалось, и может быть, поэтому совершенно сейчас не помню, где она жила. Кажется, в одном из переулков между Арбатом и улицей Герцена. Помню, что дом старинный, с высокими массивными дверями и высокими потолками. Дверь отворила женщина с очень красивым лицом. Черные волосы, гладко зачесанные на прямой пробор, с тяжелым узлом сзади. Классически правильные черты лица. Высокая, немного полноватая женщина. Она рассказала, что ее муж (смутно помню, что назвала она его Гришей, а фамилии не помню) был послом или посланником нашим в Америке. Она и две маленькие дочери находились с ним. Вдруг, году, наверное, в 1937 или 38-м его отозвали в Москву и поселили в роскошной квартире-номере в «Метрополе». Так всегда бывало с работниками посольств; пока им не предоставят квартиру, они живут в номерах «Метрополя». Туда-то и пришли ночью за мужем через несколько дней после возвращения из Америки. Ее арестовали тоже, но в одно ли время с мужем или позднее — не помню. Девочек сначала куда-то увезли, в какой-то детдом, а потом отдали ее родителям. Ей каким-то образом удалось освободиться через год или два. Такое у меня сложилось впечатление. Было удивительно, как ей удалось освободиться, но тогда у меня никакие подозрения не шевельнулись.

Мария Абрамовна рассказала мне, как пришел Завадский — очень боялся, снял сапог и вытащил письмо. Потом она достала это письмо, став на стул, из подвешенного высоко в углу комнаты шкафчика и прочла его мне. Я спросила ее — узнает ли она почерк мужа; она сказала — «и да, и нет. Как будто его почерк, но на-

11 Заказ 4211

писано письмо дрожащей рукой». Я запомнила из этого письма: «Как будет огорчен Бабель, выйдя из больницы, что он потерял оказию послать весточку домой»,— это дословно, и далее, что он работает счетоводом, сидит в конторке, у них тепло, много пишет. О том, что он в больнице,— как ни о чем особенном, выйдет непременно. Поражало слово «оказия» — это бабелевское слово, в письмах он часто его употреблял. Я расплакалась, и Мария Абрамовна тоже. Так мы поплакали вместе, а сделать все равно ничего не могли.

Больше ни я ей, ни она мне не звонила. Все это случилось в августе 1952 года. Я была уверена, что Бабель жив и находится в лагере на Колыме. Непонятно было только, как человек такого обаяния, как Бабель, не мог из лагеря послать о себе весть. Но объясняла я это, во-первых, строгостью режима лагерей и, во-вторых, нашим отсутствием в Москве в течение почти трех лет.

На всякий случай мы решили послать запрос в Магаданскую область. Кто-то из знакомых узнал адрес, по которому следовало написать. И вот Лида Бабель написала в почтовый ящик № АВ 261, в ведении которого были все лагеря Магадана и Магаданской области, просьбу сообщить,— не у них ли содержится И. Э. Бабель.

В ответ получили уведомление: «На Ваше заявление сообщаем, что Бабель Исаак Эммануилович 1894 по адресу: город Магадан, Магаданской области, п/я 261 не значится».

Однажды мне сказали, что писатель К. рассказывал писателю Евгению Рыссу о том, как умер Бабель где-то в лагере под городом Канском Красноярской области. Я попыталась разыскать Евгения Рысса, но он жил в Ленинграде, и мне это не удалось. А в году 1955-м, уже после реабилитации Бабеля, мне вдруг позвонил сам К. и спросил, не хотела ли бы я узнать подробности о смерти Бабеля, и предложил с ним встретиться. Эта встреча произошла на Тверском бульваре напротив дома Герцена. И К. мне рассказал, что его отец был начальником лагеря под Канском. Там была пошивочная мастерская, где работали заключенные. Бабелю сшили там плащ из брезента темно-зеленого цвета, и он в нем ходил. Этот плащ, говорил К., и сейчас хранится у его матери, живущей где-то в Сибири, и если я хочу, он может этот плащ мне привезти. У Бабеля в этом лагере была своя маленькая комнатка; работать его не заставляли, он много писал.

— А я присылал ему бумагу,— рассказывал К.— Сам я тогда работал в газете во Владивостоке. Отец мой очень хорошо относился к Бабелю. Он написал мне, что ему нужна бумага. Вот я и присылал бумагу. Однажды Бабель пошел погулять во двор лагеря в этом своем плаще и долго не возвращался. Все обеспокоились и вышли его искать. Во дворе стояло одинокое дерево, а возле него скамья. Бабеля нашли сидящим на этой скамье, прислонившимся к дереву. Он был мертв.

Итак, лагерь под городом Канском и пошивочная мастерская.

Я не настояла на том, чтобы плащ мне привез К., не потому,

что я тогда сразу же не поверила ему, а потому, что мне страшно было иметь его в доме и хранить.

Наверное, через год или два после свидания с К. я на майские праздники поехала с приятельницей отдохнуть в дом композиторов под Рузу. Гуляя, мы зашли в дом творчества писателей и там встретили Евгения Рысса. Когда нас познакомили, я спросила его, рассказывал ли ему К. о смерти Бабеля, и попросила его повторить мне этот рассказ.

К. рассказал Рыссу, что его отец был начальником тюрьмы в городе Канске, где содержался Бабель. Квартира начальника тюрьмы находилась рядом с камерой Бабеля и имела общий с ней балкон. И Бабель по этому балкону часто приходил к родителям, и мать кормила его пирогами. Именно у них в доме на черном клеенчатом диване Бабель однажды умер от разрыва сердца. Тоже говорилось, что Бабель много писал, что К. присылал ему бумагу. Добавлено было, что все написанное Бабелем, после его смерти, забрал в Москву какой-то сотрудник Центрального НКВД.

Примерно за год до ареста Бабеля в нашем доме появился Я. Е. Эльсберг. Когда я застала этого нового знакомого Бабеля, возвратясь с работы, я ничуть не удивилась. Так бывало и прежде, тем более что Эльсберг работал у Каменева в издательстве «Academia». Эльсберг меня удивлял и даже смешил своей готовностью на всякие услуги. Стоило мне сказать при нем, что нужно в квартире сделать какой-то ремонт, как моментально он приводил маляров. Стоило заикнуться, что неисправен какой-нибудь штепсель, как на другой же день приходил электромонтер, и т. д. А однажды Бабель сказал мне, что на премьеру оперы «Иван Сусанин» в Большой театр меня будет сопровождать Эльсберг. Билеты были в ложу, и я с удивлением обнаружила, что Эльсберг оперу почти не слушал. Не дожидаясь окончания первого акта, он куда-то исчез, а через некоторое время возвратился с пакетом апельсинов, чтобы меня угощать. В течение второго акта Эльсберг уходил, как оказалось, заказывать машину для отъезда, а не дожидаясь конца третьего акта, ушел из ложи и принес наши пальто.

После окончания премьеры нас ждала шикарная машина черного цвета, на которой Эльсберг отвез меня домой.

Дома я со смехом рассказала Бабелю, как ухаживал за мной Эльсберг в театре, и Бабель очень смеялся.

Я знаю, что Бабеля предупреждали о том, что Эльсберг к нему приставлен, но не знаю, как он к этому относился. Знаю только, что Эльсберг продолжал к нам приходить до самого ареста Бабеля, а после наносил визиты мне регулярно один раз в месяц. Придет, одетый как жених, принесет Лиде детские книжки, выпьет стакан чаю и уйдет. Он не вел со мной никаких провокационных разговоров, не задавал мне никаких вопросов. Эти визиты Эльсберга я называла «визитами вежливости». Каждый раз после его ухода мне хотелось недоуменно пожать плечами.

К концу 1939 года визиты Эльсберга прекратились.

Когда началась реабилитация репрессированных людей, выяснилась роль Эльсберга и был поднят вопрос о привлечении его к ответственности. Чтобы проверить причастность Эльсберга к арестам писателей, создали комиссию, которой разрешили просмотреть дела арестованных. Конечно, с членов этой комиссии была взята подписка о неразглашении увиденного в делах. Тем не менее кое-какие сведения просочились.

Эльсберга тогда исключили из членов Союза писателей и хотели привлечь к уголовной ответственности, но этого не допустили. Однажды, какое-то время спустя после разоблачения Эльсберга, я встретила его в Институте мировой литературы, случайно с ним столкнулась. У него был такой жалкий вид, что я ответила ему на поклон, но не остановилась. Жалкая у него судьба и страшная была жизнь!

О возможности реабилитации заключенных я узнала одной из первых.

Главного инженера Мосметростроя Абрама Григорьевича Танкилевича судили по какому-то выдуманному делу вместе с сотрудниками Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. Его не взяли, находился только под домашним арестом и должен был являться на заседания народного суда. Суд длился долго, так как обвиняемых было много. И вот однажды во время перерыва в судебном заседании Танкилевич случайно подслушал разговор адвокатов между собой, из которого узнал, что создана комиссия под председательством Генерального прокурора СССР Руденко по реабилитации людей, осужденных в годы культа личности Сталина. Это было в январе 1954 года. Танкилевич сейчас же позвонил мне и рассказал о подслушанном разговоре адвокатов. Я ничего не знала о такой комиссии и абсолютно не знала, как нужно к ней обращаться, но сейчас же написала заявление такого содержания:

«Мой муж, писатель И. Э. Бабель, был арестован 15 мая 1939 года и осужден сроком на 10 лет без права переписки.

По справкам, получаемым мною ежегодно в справочном бюро МВД СССР, он жив и содержится в лагерях.

Учитывая талантливость И. Э. Бабеля как писателя, а также то обстоятельство, что с момента его ареста прошло уже 15 лет, прошу Вас пересмотреть дело И. Э. Бабеля для возможности облегчения его дальнейшей участи.

А. Пирожкова
25.I.54 г.

В последующем в заявлениях, адресованных Руденко, люди прямо просили о реабилитации. Мне же тогда это слово было незнакомо.

К нашему удивлению, через 10 дней пришел ответ от Генерального прокурора, в котором сообщалось:

«Ваша жалоба от 5 февраля 1954 г., адресованная Генеральному прокурору СССР по делу Бабеля И. Э., поступила в Главную военную прокуратуру и проверяется.

О результатах Вам будет сообщено».

А через две недели, то есть 19 февраля 1954 г.— снова письмо из Прокуратуры СССР:

«Сообщаю, что Ваша жалоба Прокуратурой СССР проверяется. Результаты проверки будут сообщены дополнительно».

Первое письмо было подписано Военным прокурором Главной военной прокуратуры, а второе — прокурором отдела по спецделам.

Но прошло еще несколько месяцев, когда уже летом, быть может в июне, мне позвонил незнакомый человек, назвался следователем Долженко и пригласил зайти к нему. Отделение прокуратуры, где принимал меня Долженко, помещалось на улице Кирова, недалеко от Кировских ворот.

Это был довольно симпатичный, средних лет человек. Перелистывая какую-то папку, он задавал мне вопросы сначала обо мне, где работаю, какую должность занимаю, какая у меня семья. Узнав, что я работаю главным конструктором в Метрогипротрансе, он сказал:

— Это удивительно при ваших биографических данных.

Вопросы, относящиеся к Бабелю, касались его знакомства с Андре Мальро и с Ежовыми. Я спросила Долженко:

— Вы дело Бабеля видели?

Он ответил:

— Вот оно, передо мной.

— И какое у вас впечатление?

— Дело шито белыми нитками...

И тут я чуть не потеряла сознание. В глазах у меня потемнело, и я чудом не упала со стула, схватившись за край стола. Долженко даже испугался, вскочил, подбежал ко мне, дал стакан с водой. Но я скоро пришла в себя.

Тогда он спросил меня, кто мог бы дать хороший отзыв о Бабеле из его знакомых. Я назвала Екатерину Павловну Пешкову, Эренбурга и Катаева.

Подумать только — «дело шито белыми нитками», а нужны отзывы трех человек, чтобы реабилитировать невиновного!

Потом Долженко мне сказал, что так как сейчас лето и люди, с которыми он хочет поговорить, могут быть в отъезде или на даче, он не обещает мне скоро закончить дело.

Я спросила о судьбе Бабеля, и Долженко сказал, что он занимается только реабилитацией, а на этот вопрос мне ответят в другом месте, когда он закончит рассмотрение дела.

От Долженко я пошла сразу же к Екатерине Павловне Пешковой, которая жила на улице Чаплыгина, то есть очень близко от Кировских ворот, где я была. Никогда прежде я не приходила к ней без звонка, и Екатерина Павловна очень удивилась моему приходу. Но вид у меня был такой, что она сразу же меня обняла, привела в столовую и, посадив на диван, села рядом. Я не сразу могла говорить. Потом я рассказала ей о моем разговоре с Долженко и предупредила о возможном его визите. В тот же день

вечером я позвонила Эренбургу и узнала,— он на даче, а машина туда пойдет через день утром. Когда я приехала на дачу, оказалось, что Долженко уже у них был. Любовь Михайловна рассказала, как заставила его гулять в саду более двух часов (Эренбург был занят).

— Если бы знала, что дело касается Бабеля, пустила бы его к Илье Григорьевичу немедленно.

Эренбург мне рассказал о разговоре с Долженко, которому он сказал, что с Андре Мальро Бабеля познакомил в Париже сам, а знакомство с Ежовым объяснил профессиональным любопытством писателя к людям всякого ранга, в той же мере к Ежову, как, например, к наездникам ипподрома.

Я спросила Эренбурга, какое у него впечатление о судьбе Бабеля. Он ответил:

— О деле — хорошее, о судьбе — плохое.

И я расплакалась, как ни старалась сдержаться. Эренбург тотчас же стал уверять меня, что Долженко ему ничего определенного не сказал, просто у него такое впечатление. Схватил меня за руку и потащил показывать свой цветник, где были цветы необыкновенные, нам незнакомые, семена которых он привозил из-за границы.

Предупреждать Катаева о визите следователя я не стала, но знаю, что разговор между ними состоялся.

С Екатериной Павловной Долженко встретился на другой же день после моего к нему визита. Она рассказала ему, как Горький и она любили Бабеля, считали его умнейшим человеком и талантливым писателем.

Долженко повторил ей свое удивление по поводу моего «высокого служебного положения» при таких неблагоприятных биографических данных.

Уже зимой, в декабре, мне позвонил Долженко и сказал, что дело Бабеля окончено и что я могу получить справку о реабилитации в военной коллегии Верховного суда СССР на улице Воровского.

Там мне выдали справку такого содержания:

«Дело по обвинению Бабеля Исаака Эммануиловича пересмотрено Военной Коллегией Верховного Суда СССР 18 декабря 1954 года.

Приговор Военной Коллегии от 26 января 1940 года в отношении Бабеля И. Э. по вновь открывшимся обстоятельствам отменен и дело о нем за отсутствием состава преступления прекращено».

Я прочла эту справку и спросила о судьбе Бабеля.

И человек, который выдал мне справку, взял ручку и на полях лежавшей на столе газеты написал: «Умер 17 марта 1941 года от паралича сердца» — и дал мне это прочесть. А потом оторвал от газеты эту запись и порвал ее, сказав, что в загсе своего района я получу свидетельство о смерти.

Я вышла от него почти спокойной. Я не верила этому! Если бы было написано: «Умер в 1952, в 1953 г. и т. д.», я бы поверила, но

в августе 1952 года приходил из заключения Завадский, привез письмо, в котором было написано: «Как будет огорчен Бабель, выйдя из больницы, что он потерял оказию послать весточку домой». Я верила в то, что до августа 1952 года Бабель был жив и содержался в лагере на Средней Колыме, как говорил Завадский. Я решила, что арестованных была такая масса, что в НКВД не могут теперь разобраться, кто где находится, и кинулась хлопотать о поисках Бабеля.

Я написала письмо председателю военной коллегии Верховного суда СССР Чепцову, за чьей подписью была выдана мне справка о реабилитации Бабеля, и одновременно председателю Комитета государственной безопасности Серову.

Я писала:

«23-го декабря 1954 года мне вручили в приемной Верховного Суда Союза ССР справку за № 4Н-011441/54 о прекращении производством за отсутствием состава преступления дела моего мужа писателя Бабеля Исаака Эммануиловича.

Одновременно мне сообщили, что 17 марта 1941 года муж мой — Бабель И. Э. умер от паралича сердца.

Считаю, что это сообщение не соответствует действительности, так как наша семья до 1948 года получала официальные устные ответы на наши заявления в справочном бюро МГБ — Кузнецкий мост, 24, что Бабель «жив и содержится в лагерях». Такая последовательность ответов из года в год, свидетельствующая, что Бабель жив, полностью исключает достоверность сделанного мне 23 декабря с. г. сообщения о смерти Бабеля И. Э. в 1941 году.

Кроме того, летом 1952 года меня разыскал освобожденный из лагеря Средней Колымы человек и сообщил мне, что Бабель жив и здоров.

Таким образом, для меня совершенно несомненно, что до лета 1952 года Бабель был жив и сообщение о его смерти в 1941 году является ошибочным.

Прошу Вас принять все зависящие от Вас меры к розыску Бабеля Исаака Эммануиловича и, указав мне место его пребывания, разрешить мне выехать за ним».

Не получив ответа на мои заявления, я написала письмо писателю Фадееву:

«Уважаемый Александр Александрович!

Обращаюсь к Вам по совету Ильи Григорьевича Эренбурга, от которого Вы, вероятно, уже знаете о полной реабилитации моего мужа И. Э. Бабеля.

Одновременно со справкой о реабилитации я получила устное сообщение о смерти Бабеля в 1941 году. Это сообщение является ошибочным, так как я достоверно знаю, что Бабель был жив еще летом 1952 года.

В августе 1952 года меня нашел в Москве освобожденный из лагеря Средней Колымы человек, который три года (с 1950 по 1952) находился вместе с И. Э. Бабелем и сообщил мне о нем факты, не вызывающие никакого сомнения в их достоверности.

Поэтому я чрезвычайно встревожена создавшимся положением, в силу которого военная коллегия Верховного суда, оправдавшая Бабеля, не разыскивает его, считая погибшим.

Я подала заявление с опровержением факта смерти Бабеля в 1941 году в МГБ, но боюсь, что проверка моего заявления будет затяжной и формальной. Поэтому было бы необходимо добиться распоряжения об индивидуальном и срочном розыске Бабеля от кого-нибудь из членов правительства, например от Ворошилова, который, безусловно, знает и помнит Бабеля.

Мне самой трудно было бы добиться приема у Ворошилова, и поэтому я хочу узнать у Вас, могли ли бы Вы или Союз советских писателей помочь мне в этом.

Прошу Вас сообщить мне о возможности Вашего участия в судьбе Бабеля».

После получения моего письма Фадеев однажды позвонил мне домой; меня дома не было, и он сказал Лиде, что хотел бы поговорить со мной, но сейчас он уезжает в санаторий в Барвиху, а когда вернется оттуда, позвонит мне.

Но звонка Фадеева я не дождалась и написала письмо Ворошилову.

Через какое-то время мне позвонили из приемной Ворошилова:

— Климент Ефремович просит передать вам, чтобы вы поверили в смерть Бабеля. Если бы он был жив, он давно был бы дома.

И только после этого, все еще сомневаясь, я пошла в районное отделение загса за свидетельством о смерти Бабеля.

Более страшный документ трудно себе представить!

«Место смерти — Z, причина смерти — Z».

Документ подтверждал смерть Бабеля 17 марта 1941 года в возрасте 47 лет.

Можно ли было верить этой дате? Если приговор был подписан 26 января 1940 года и означал расстрел, то приведение приговора в исполнение не могло быть отложено более чем на год.

Я не верила этой дате и оказалась права. В 1984 году Политиздат выпустил отрывной календарь, где на странице 13 июля написано: «Девяностолетие со дня рождения писателя И. Э. Бабеля (1894—1940)». Когда мы позвонили в Политиздат и спросили, почему они указали год смерти Бабеля 1940, когда справка загса дает год 1941, нам спокойно ответили:

— Мы получили этот год из официальных источников...

Зачем понадобилось отодвинуть дату смерти Бабеля более чем на год? Кому понадобилось столько лет вводить меня в заблуждение справками о том, что он «жив и содержится в лагерях»? Кто подослал ко мне Завадского, а потом и заставил писателя К. распространять ложные слухи о естественной смерти Бабеля, о более или менее сносном его существовании в лагере или тюрьме?

И только когда в 1960 году в Советский Союз впервые приехала родная сестра Бабеля, жившая постоянно в Брюсселе, и спросила меня: «Как умер мой брат?», я поняла, как чудовищно, немыслимо

сказать ей: «Он расстрелян». И я повторила ей одну из версий, придуманных К., о смерти в лагере на скамье возле дерева.

Верить в смерть Бабеля не хотелось, но мои хлопоты о розыске его с тех пор прекратились.

Я попыталась разыскать рукописи. На мое заявление в МГБ меня вызвали в какое-то полуподвальное помещение, и сотрудник органов в чине майора сказал:

— Да, в описи вещей, изъятых у Бабеля, числится пять папок с рукописями, но я сам лично их искал и не нашел.

Тут же майор дал мне какую-то бумагу в финансовый отдел Госбанка для получения денег за конфискованные вещи.

Ни вещи, ни деньги за них не имели для меня никакого значения, но рукописи...

И тогда, впервые, год спустя после реабилитации Бабеля, я обратилась в Союз писателей, к А. Суркову. Я просила его хлопотать от имени союза о розыске рукописей Бабеля.

Председателю Комитета государственной безопасности генералу армии Серову было направлено письмо:

«В 1939 году органами безопасности был арестован, а затем осужден известный советский писатель тов. Бабель Исаак Эммануилович.

В 1954 году И. Э. Бабель посмертно реабилитирован Верховным судом СССР.

При аресте у писателя были изъяты рукописи, личный архив, переписка, фотографии и т. п., представляющие значительную литературную ценность.

Среди изъятых рукописей, в частности, находились в пяти папках: сборник «Новые рассказы», повесть «Коля Топуз», переводы рассказов Шолом-Алейхема, дневники и т. п.

Попытка вдовы писателя — Пирожковой А. Н. получить из архивов упомянутые рукописи оказалась безуспешной.

Прошу Вас дать указание о производстве тщательных розысков для обнаружения изъятых материалов писателя И. Э. Бабеля.

Секретарь правления Союза писателей СССР

(А. Сурков)».

На это письмо очень быстро пришел ответ, что рукописи не найдены. Ответ — того же содержания, что был дан и мне, а быстрота, с которой он был получен, говорит о том, что никаких тщательных розысков и не производилось.

Я стала подозревать, что рукописи Бабеля были сожжены, и органам безопасности это хорошо известно. Однако есть случаи, когда ответ об изъятых бумагах гласит: «Рукописи сожжены. Акт о сожжении № такой-то». Так, например, ответили Борису Ефимову на запрос о рукописях его брата Михаила Кольцова.

Когда в Союзе писателей была создана комиссия по литературному наследию И. Э. Бабеля, то мне стали передавать и присылать кое-что из рукописных ранних произведений Бабеля, а также первые издания его книг.

Фотографические и машинописные копии публикаций из журна-

лов и газет я получила из Ленинской и Исторической библиотек. Часть из них я нашла сама, большее же число их мне передали те молодые люди, которые сейчас же после реабилитации Бабеля начали работать над диссертациями по его произведениям. Первым таким молодым человеком был Израиль Абрамович Смирин, затем Сергей Николаевич Поварцов, Янина Салайчик из Польши и другие.

Военный дневник Бабеля 1920 года, наброски планов рассказов, записную книжку, автографы начатых рассказов «У бабушки», «Три часа дня», «Их было девять» мне из Киева переслала Татьяна Осиповна Стах, получив их у М. Я. Овруцкой, где Бабель останавливался иногда, бывая в Киеве.

Рукописные автографы рассказов «Мой первый гонорар» и «Колывушка» до сих пор находятся в Ленинграде, теперь у сына Ольги Ильиничны Бродской, которой Бабель их подарил.

Весь гонорар за первое произведение «Избранного» Бабеля 1957 года я потратила на переводы многочисленных зарубежных статей, появившихся после издания однотомника «The Collected Stories» в 1955 году в Нью-Йорке. Он вышел на два года раньше нашего и получил много откликов как в Америке, так и в Европе.

Переводчиком этого сборника был Вальтер Морисон, лучший из переводчиков Бабеля на английский язык, о чем свидетельствует, например, статья Августа Вильсона в английской газете «Обсервер» от 27 января 1957 года. В ней Вильсон пишет: «Господин Вальтер Морисон сделал блестящий перевод этого замечательного сборника рассказов. О его качестве говорит хотя бы тот факт, что те фразы, которые в 1929 году были непонятной чепухой, теперь обрели ясный и понятный смысл».

Так мало-помалу образовался небольшой архив Бабеля, над которым все годы работало много людей из разных стран мира.

Однажды, уже в году 1970-м, ко мне пришла молоденькая сотрудница ЦГАЛИ, куда я решила дать кое-что из рукописей Бабеля. Она мне рассказала, что рукописи писателей все же находятся, иногда поступают от частных лиц, а иногда и из архивов КГБ. Быть может, когда-нибудь найдутся и рукописи Бабеля.

Я сказала:

— Если бы мне разрешили искать их в архивах КГБ, то я потратила бы на это остаток своей жизни.

— И я тоже! — с жаром воскликнула она.

И было так трогательно слышать это от совсем молоденькой девушки из ЦГАЛИ.

Но надежды на то, что рукописи уцелели, теперь уж нет...

«В ТРУДАХ...»

Из писем И. Э. Бабеля разных лет

Значительную часть литературного наследия И. Бабеля составляет его переписка. Наиболее полно она будет представлена в выходящем в этом году в издательстве «Художественная литература» двухтомнике избранных произведений писателя. Несколько до сих пор не публиковавшихся писем, которые предлагаются читателям «Воспоминаний о Бабеле», дополняют портрет писателя и некоторые обстоятельства его жизни.

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ КАВАЛЕРИСТ»

11 сентября 1920 г.

Уважаемый т. Зданевич!

Беспрерывные бои последнего месяца выбили нас из колеи. Живем в тяжкой обстановке — бесконечные переходы, наступления, отходы. От того, что называется культурной жизнью,— отрезаны совершенно. Ни одной газеты за последний месяц не видали, что делается на белом свете — не знаем. Живем, как в лесу. Да оно, собственно, так и есть, по лесам и мыкаемся.

Доходят ли мои корреспонденции — неизвестно. При таких условиях руки опускаются. Среди бойцов, живущих в полном неведении того, что происходит,— самые нелепые слухи. Вред от этого неисчислимый. Необходимо принять срочные меры к тому, чтобы самая многочисленная наша 6-ая дивизия снабжалась нашей и иногородними газетами.

Лично для меня умоляю вас сделать следующее: отдайте распоряжение по экспедиции: 1) прислать мне комплект газеты минимум за 3 недели, прибавьте к ним все иногородние, какие есть, 2) присылать мне ежедневно не менее 5 экземпляров нашей газеты — по следующему адресу: Штаб 6 дивизии, Военному корреспонденту К. Лютову. Сделать это совершенно необходимо для того, чтобы хоть кое-как меня ориентировать.

Как дела в редакции? Работа моя не могла протекать хоть сколько-нибудь правильно. Мы измучены вконец. За неделю бывало не урвешь получаса, чтобы написать несколько слов.

Надеюсь, что теперь можно будет внести в дело больше порядка.

Напишите мне о ваших предположениях, планах и требованиях, свяжите меня таким образом с внешним миром.

С товарищеским приветом

К. Лютов[1]

---

[1] К. Лютов — псевдоним И. Э. Бабеля.

В. П. ПОЛОНСКОМУ

13 марта 1927 г., Киев

Дорогой Вячеслав Павлович.

Вот уже несколько лет ветер семейных катастроф швыряет меня по всей России. Недели две с половиной тому назад меня вызвали телеграммой в Киев. Я похоронил здесь близкого мне человека и прожил грустные дни. Работа моя разладилась, конечно, теперь я снова пытаюсь войти в рабочую колею. Мне очень хочется, душевно хочется послать Вам как можно скорее материал, для того чтобы услышать о нем Ваше мнение. Вы один из немногих истинных наших критиков, один из немногих людей, для которого хочется работать самоотверженно, изо всех сил.

Материал постараюсь подготовить в ближайшее время и привезу его к Вам в Москву.

Любящий Вас

И. Бабель

Ф. А. БАБЕЛЬ [1]

2 апреля 1928 г., Париж

...Пьеса все-таки идет в Москве. Теперь уже все знают, что я сделал mon possible [2], но театр не смог донести до зрителя тонкости, заключающейся в этой грубой по внешности пьесе. И если она кое-как держится в репертуаре, то, конечно, благодаря тому, что в этом «сочинении» есть от меня, а не от театра. Это можно сказать без всякого хвастовства. Теперь — московские новости. Вслед за Полонским из «Нового мира» вышиблен Ольшевец, и можешь себе представить — за что? За пьянство. Он учинил в пьяном виде какой-то дебош в общественном месте, и течение его карьеры прервалось. Очень жалко. Я всегда любил эту разновидность людей — а йид, а шикер... [3] Но самое, как говорится, пикантное впереди. На место Ольшевца назначен... Ингулов. Я получил от него очень трогательное письмо — что вот, мол, мы начинали вместе, что я первый в вас поверил, и теперь судьба, после нескольких лет перерыва, снова сводит нас на тех же ролях, и это мы и на этот раз покажем миру... и прочее, и прочее... Действительно, в этом возвращении «ветра на круги своя» — есть что-то символическое и мне лично очень приятное...

И.

А. Г. СЛОНИМ [4]

8 февраля 1931 г., Молодёново

Милая «Анюта». Ладыгин был рожден своим отцом штабс-капитаном для того, чтобы начать с подпоручика и кончить подпол-

---

[1] Ф. А. Бабель — мать И. Э. Бабеля.

[2] все возможное *(фр.)*.

[3] еврей, пьяница *(идиш)*.

[4] А. Г. Слоним — приятельница И. Э. Бабеля и многие годы его квартирная хозяйка.

ковником,— изменившиеся обстоятельства сделали его зоотехником. Офицерская эта душа все данные ему поручения переложила на Вас, за что и получила от меня жестокий разнос. Это не мешает мне испытывать к Вам глубокую благодарность за присылку музейных экспонатов. Последний мой приезд в Молодёново грустен — я хвораю от переутомления, простудился вдобавок и, объезжая лошадей, отморозил себе нос. Жрать было нечего. Теперь полегчало. Присланные Вами письма заключают в себе мало веселого — старушка снова больна, сестра дежурит при ней дни и ночи, она измучена, в отчаянии и прочее. Одна только дщерь не доставляет пока никаких огорчений. Я твердо решил сделать для освежения мозгов небольшой Ausflug [1], недели на две, куда-нибудь на юг. В Москву приеду числа 12-го и заявлюсь немедленно.

Отсюда мораль — если заводить себе родственников — так из мужиков, и если выбирать себе профессию — так плотницко-малярную.

Ваш И. Б.

P. S. Английская газета будет привезена аккуратнейшим образом. Привет Вашим соседям по квартире.

Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ [2]

5 мая 1933 г., Сорренто

...Вчера провели весь день с Алексеем Максимовичем Горьким в Неаполе. Он показывал нам музеи — античную скульптуру (до сих пор опомниться не могу), картины Тициана, Рафаэля, Веласкеса. Вместе обедали и ужинали. Старик выпил, и здорово. Когда мы вошли вечером в ресторан (расположенный высоко над Неаполем, вид города оттуда волшебен), где его знают уже 30 лет, все встали со своих мест, официанты кинулись целовать ему руки и сейчас же послали за старинными певцами неаполитанских песен. Они прискакали — семидесятилетние, все помнящие А. М.— и пели надтреснутыми своими голосами так — что я, верно, во всю мою жизнь этого не забуду. А. М. плакал безутешно — пил и, когда у него отбирали бокал,— говорил: в последний раз в жизни... Незабываемый для меня день. Стараюсь изо всех сил ускорить приезд Жени и Наташи. Надеюсь, что они приедут недели через полторы. Мне не советуют посылать пьесу, надо бы, конечно, везти самому, я еще не решил, как поступить. Горькие уезжают девятого — есть советский пароход, идущий из Лондона в Одессу, им, конечно, выгодно поехать на нем. В доме остаюсь я да Маршак — великолепный наш детский поэт, надеюсь, он подружится с Наташей. У Маршака тоже есть в Брюсселе сестра; очень возможно, что мы поедем в Брюссель вместе.

А. М. взял у меня для альманаха три новых рассказа. Один из них мне действительно удался, только бы цензура пропустила. А. М. обещал прислать из Москвы гонорар валютой...

И.

[1] экскурсия *(нем.)*.
[2] М. Э. Шапошникова — сестра И. Э. Бабеля.

М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

18 февраля 1934 г., Москва

Похоронили сегодня Багрицкого, старинного моего земляка, друга, замечательного поэта, за развитием которого я следил и помогал, чем мог. Организм его был ослаблен и не выдержал воспаления легких.

Получил от Жени телеграмму, что у них все благополучно. Завтра едет к ним один француз, передаю привет.

Драматургический мой зуд продолжается — подыскиваю какое-нибудь новое Молодёново, чтобы можно было работать, а то в Москве, если не одно дело выскакивает, то другое. Написанная уже пьеса будет поставлена одновременно в двух театрах — у Вахтангова и в Еврейском, под режиссерством Михоэлса. Что касается гонорара, то постараюсь, чтобы Женя еще в марте получила его.

Я здесь поневоле веду «светский» образ жизни — потоком идут люди, и так как много из них интересных, и жизнь в Москве вообще чрезвычайно интересна, то времени для себя остается мало, вот и собираюсь в келью.

Очень устал за эти три дня бдения — пережил я с Багрицким весь церемониал, хочу отдохнуть.

До завтра, милые мои.

И.

Е. Д. ЗОЗУЛЕ [1]

14 октября 1938 г., Переделкино

Зозулечка.

Пишу в состоянии крайнего бешенства. Только что прискакал из города гонец с пакетом от судебного исполнителя (а я уже и думать забыл о его существовании!..),— пакет этот заключает в себе извещение о том, что если мною немедленно не будет внесено три тысячи рублей Жургазобъединению, то завтра, 15-го, в 4 часа дня имущество мое будет вывезено с квартиры. Чудовищную эту бумажку надо понять так: после того, как суду было послано официальное уведомление о прекращении дела,— Ликвидком (или другое неизвестное мне учреждение) снова потребовал от судебного исполнителя описи и продажи моего имущества. Если раньше, упрекая в глубине души издательство в некотором отсутствии лиричности, я молчал, потому что на стороне его была обыкновеннейшая правда, то нынешний образ действий является классически выраженным проявлением злостной, преднамеренной травли и неслыханного в истории советских литературных нравов издевательства.

Вы мой друг и «заложник» в «Огоньке». Поэтому я прошу Вас принять на себя (на очень короткое время) посреднические функции и передать издательству или Ликвидкому (не знаю, кто теперь этим ведает) следующее: если в течение ближайших часов я не получу извещения о прекращении иска, то я вынужден буду

---

[1] Е. Д. Зозуля — советский писатель.

искать защиты от преследований в партийном, общественном и судебном порядке. Я немедленно обращусь в Отдел печати ЦК и в Президиум Союза писателей с просьбой вмешаться в это поистине возмутительное дело.

Извините, Зозулечка, за это неприятное поручение. Я не решился бы затруднить Вас, если бы оно не представляло общественный интерес.

Меня вызывают телеграммой на совещание в Гослитиздате по поводу тематического плана, буду в Москве сегодня вечером.

Ваш И. Б.

Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

10 мая 1939 г., Переделкино

...К вашему сведению — сообщаю, что второй день идет снег... Вот вам и десятое мая... Это, пожалуй, и брюссельскому климату завидно станет... Я уже обосновался за городом и чувствую себя превосходно — надоело только печи топить. Завтра — поеду на день — в Москву. Думаю, не найду ли письма от Мери — как она съездила? Жаль, что мама не могла совершить с ней эту прогулку... Отправил Наташе несколько книг — внучку обеспечил, теперь надо подумать о бабушке, постараюсь достать завтра новой беллетристики... У меня ничего нет — в трудах; заканчиваю последнюю работу кинематографическую (это будет фильм о Горьком) и скоро приступаю к окончательной отделке заветного труда — рассчитываю сдать его к осени. Пишите почаще, потому что длинных книг читать нет времени — и ваши послания — самое лучшее для меня чтение. Как Гриша, как Борис — часто ли вы с ним видитесь?..

И.

«МИР, ВИДИМЫЙ ЧЕРЕЗ ЧЕЛОВЕКА»

К творческой биографии И. Бабеля

Он был одним из самых зорких советских писателей, остро чувствовавших трагические изломы времени. Обладая широкими и многообразными связями (и, следовательно, информацией), стремясь понять диалектику развития нового общества, Бабель запечатлел на страницах своих книг наиболее сложные, требующие неоднозначных подходов, фазы в биографии страны — революцию, гражданскую войну, коллективизацию. Его талант заключал в себе непреходящее гуманистическое содержание, необходимое советской культуре вообще и в первое послереволюционное десятилетие особенно. В сочетании с безукоризненной техникой письма это обеспечило Бабелю видное место в отечественной литературе.

Прежде всего и главным образом он — автор «Конармии». Литературные баталии вокруг книги мастерски написанных рассказов имели принципиальное значение для молодого советского искусства. Большинство современников единодушно признало талант писателя. «Восходящей звездой нашей литературы» назвала Бабеля газета «Правда» в октябре 1924 года.

«Конармия» по праву — в числе первых и лучших книг о гражданской войне, выдающийся литературный памятник эпохе с ее революционным максимализмом, жестокостью, героикой, верой в грядущее обновление человечества. Бабель показал и подлинных защитников революции, и тех, кто олицетворял анархические начала. Наконец пришло время сказать, что он был среди русских литераторов, которые, несмотря на массовую эйфорию, с большой художественной силой развенчали наивный миф о «сладкой революции». В этом смысле Бабель такой же ярчайший выразитель переходного периода, как Вс. Иванов, Б. Пильняк, Л. Сейфуллина, М. Шолохов.

Но С. Буденный остался недоволен «Конармией» и публично оскорбил автора в печати. Оценка командарма явилась концентрированным выражением негативного отношения к книге Бабеля, характерного для ряда штабных офицеров Первой Конной. Не случайно редактор «Красной нови» А. Воронский писал, что ему пришлось выслушать жестокие упреки «от некоторых виднейших военных работников в Красной Армии. Правда, другая часть присутствовавших при этих спорах отзывалась о рассказах Бабеля совсем иначе».

Разумеется, дело читателя — присоединиться к той или иной позиции в полемике, далеко выходящей за рамки собственно литературной проблематики. Дело же историка советской литературы состоит в том, чтобы по достоинству оценить художественное произведение, учитывая и степень его популярности за рубежом. Игнорировать этот фактор — значит быть

по крайней мере опрометчивым. Поэтому приведу всего лишь один пример «в пользу» Бабеля. В середине шестидесятых годов Илья Эренбург обратился к авторитетным зарубежным писателям с просьбой высказать свое отношение к Бабелю. Пришло немало лестных откликов, и среди прочих особенно примечательным оказалось письмо Марии Майеровой о «Конармии», хорошо известной читателям в Чехословакии. «Это было начало эмоциональной связи между рождающейся Красной Армией и чешскими коммунистами...» [1] Как говаривали в старину, такие слова дорогого стоят...

Тема человеческого достоинства, противопоставленного душному мирку наживы, роднит «Одесские рассказы» с отдельными сюжетами о босяках молодого Горького. Налетчики Бабеля, эти «аристократы Молдаванки», одетые в рыжие пиджаки и малиновые жилеты,— странные налетчики. Они грабят только богатых и стреляют только в воздух, «потому что если не стрелять в воздух, то можно убить человека». Как удалось сочетать разоблачение бандитов с их ироническим, почти любовным расцвечиванием, навсегда останется секретом бабелевского мастерства.

Таков в общих чертах портрет молодого писателя, от которого, как писал Горькому Константин Федин в июле 1924 года, «все в восторге».

«Заветный труд»

Для начинающего писателя в блестящем литературном дебюте всегда кроется серьезная опасность: трудно продолжать на той же высокой ноте, с которой начал, даже если ты очень талантлив.

Именно в таком положении оказался Бабель после успеха «Одесских рассказов» и «Конармии». Понимая необходимость писать как-то иначе, нежели раньше, стремясь расширить тематический и жанровый диапазон, писатель, по собственным словам, «исчез из литературы». В письме к А. М. Горькому от 25 июня 1925 года есть интересное признание: «В начале нынешнего года — после полуторагодовой работы — я усомнился в моих писаниях. Я нашел в них вычуры и цветистость». Даже мастерски написанная в 1926 году пьеса «Закат» не принимается Бабелем во внимание. Очевидно, драматическая история семейства Менделя Крика расценивается им не более как продолжение «одесской» темы.

Эти годы (1925 — 1929) в творческом развитии писателя можно считать периодом переоценки уже апробированных эстетических ценностей. Вопрос о дальнейших художественных поисках встает перед автором «Конармии» как никогда остро, в работе наступает перелом. Появляется желание писать «плавно, длинно и спокойно». Результатом эксперимента стала неоконченная повесть «Еврейка», читая которую нельзя узнать Бабеля. Об изменениях, происходящих в художественном сознании писателя, говорят, к сожалению, только его письма, так как, кроме повести, нет никаких материалов, позволяющих судить о характере этих изменений. «Вот главная перемена в многострадальной жизни, дорогой мой редактор,— жажда писать длинно!» — сообщал Бабель В. Полонскому весной 1929 года. Попытки, однако, не увенчались успехом. Сам Бабель объяснил позднее ситуацию так: «Почему я мало печатал в последние годы? Все старался

---

[1] Архив А. Н. Пирожковой.

переломить себя, научиться писать длинно. Затея была гордая, но неправильная». Если продолжить мысль, то напрашивается следующий вывод: Бабель окончательно осознает главное в своей писательской манере, а именно — что его художническая индивидуальность наилучшим образом проявляется в жанре новеллы, короткого очерка, миниатюры.

Но тоска по большому эпическому полотну никогда не покидала писателя. «Вы знаете, что я не написал романов,— говорил Бабель Георгию Маркову.— Но скажу вам откровенно: самое мое большое желание в жизни — это написать роман. И я не раз начинал это делать. К сожалению, не выходит. Получается кратко. Значит, таков мой психический склад, таков строй души».

Можно понять это желание «написать роман» и вообще «писать длинно». Оно продиктовано не только писательским самолюбием, но в первую очередь осознанием того бесспорного факта, что в советской прозе все сильнее дает себя знать тенденция эпического отображения действительности («Жизнь Клима Самгина», «Тихий Дон», «Хождение по мукам»).

Бабель переживал эти изменения, может быть, особенно мучительно именно в силу своего яркого таланта. Успех «Конармии» не только не вскружил ему голову, но заставил задуматься о невозможности эксплуатировать далее старую тему и уже выработанную интонацию. Правда, «хвосты» (как он сам говорил) в виде рассказов «Аргамак» и «Поцелуй» продолжали «тянуться», но они были именно «хвостами», и ничем больше.

Уход «в люди» совершается вторично. В 1930 году Бабель вспоминал: «После семилетнего перерыва в течение шести месяцев печатались мои вещи. Потом я перестал писать потому, что все то, что было написано мною раньше, мне разонравилось. Я не могу больше писать так, как раньше, ни одной строчки. И мне жаль, что С. М. Буденный не догадался обратиться ко мне в свое время за союзом против моей «Конармии», ибо «Конармия» мне не нравится.

За все эти годы я проделал большой путь — от Архангельска до Батуми. Я многого в жизни не уважаю, но советскую литературу уважаю превыше всего.

У меня в то время была квартира, было тысячи две гонорара в месяц, был почет, я имел возможность заказывать себе «красную мебель». Почему мне понадобилось уйти от всего этого, бросить проверенный метод, знание того, с чего нужно начать в художественном произведении, чем нужно кончить, где нужно вставить иностранное слово, то есть была еще готовая рента лет на десять? Отказ от всего этого я рассматриваю как свою величайшую заслугу и следствие правильного отношения к советской литературе».

Писатель решил на некоторое время «исчезнуть» из литературы. Внешне это выразилось в сознательном отстранении от литературной среды. Летом 1926 года Бабель живет под Киевом и пишет «Закат», осенью направляется в Воронежскую губернию на Хреновской конный завод. Первые месяцы 1927 года проводит (по семейным обстоятельствам) в Киеве. «Бабель в Киеве ведет таинственный образ жизни»,— сообщал А. Воронский Горькому в марте 1927 года. Бабелевские письма к друзьям проливают свет на подробности его личной жизни в Киеве, а корреспонденция местной вечерней газеты дает представление о собственно литературных настроениях в тот период.

«Всем написанным мной до сих пор,— сказал И. Бабель нашему сотруднику,— я недоволен. Все оно написано слишком витиевато. Я стремлюсь перейти на новые рельсы — иначе пишу, проще.

Мне приходится привыкать к новым методам; для этого я много и интенсивно работаю. Работу эту над собой я веду уже в течение полутора лет».

В настоящее время писатель работает над рядом новых произведений, тему и содержание которых он не считает возможным ранее сообщить».

«Окружение своей работы «тайной» позволяет мне интенсивно работать. «Закат», который я окончательно завершил в Киеве, был мною в первой своей редакции зачитан только редактору «Красной нови» А. К. Воронскому и нескольким артистам МХАТа».

Обостренное чувство требовательности к себе дополнялось у Бабеля постоянными сомнениями в своем писательском таланте, правильности избранного в литературе пути. Часто самокритические оценки выражались в свойственной ему иронической манере. Но весной 1927 года в голосе Бабеля звучат неподдельно грустные ноты.

«Фактически обстоятельства для работы у меня благоприятные — сытость, отдельная тихая комната,— читаем в письме к Т. Кашириной (Ивановой) от 17 марта.— Но где взять мысли, отлетевшие от меня в Детском Селе? Кто мне их вернет? Дух мой грустен. Его надо лечить».

И через неделю — в еще более мрачном тоне: «Я пытаюсь работать и вижу, что я так ослабел, снизился, сделался жалок и слаб, что спастись трудно».

Между тем наступала пора выполнять обещания, данные ранее редакторам. Помня об анонсе бабелевских рассказов для «Нового мира» на 1927 год, В. Полонский в июне обращается к Бабелю с дружеским напоминанием.

«Дорогой Исаак Эммануилович!

Куда же Вы исчезли? Я ждал Вас — и напрасно. 〈...〉 Независимо от хотенья Вас повидать «просто так», я хочу «допытаться», зря я Вам поверил, что у меня будут в нынешнем году Ваши вещи, или не зря. Что их у меня не будет ни в апреле, ни в мае, ни в июне — это я уже и теперь знаю. Но будут ли в этом году вообще? 〈...〉 Признаюсь — мне не хотелось бы видеть Вас в числе тех моих литературных друзей, которые в самое трудное для меня и журнала время — мне коварно изменили. 〈...〉

Руку жму крепко.

Ваш искренно *Вяч. Полонский*».

Получив письмо, Бабель тотчас отправляет Полонскому рукопись «Заката» с сопроводительной запиской, столь для него характерной.

«Дорогой Вячеслав Павлович,

Посылаю пьесу. Если не лень — прочитайте странное это произведение. А послезавтра будем держать совет — что с ним делать. До решения его судьбы прошу «сочинение» сие держать в сугубом секрете.

22.VI.27 Любящий Вас *И. Бабель*».

В июле Бабель уезжает во Францию. Пребывание за границей — время мучительных поисков, сомнений. Читая письма Бабеля из Франции к родным и друзьям, поражаешься бесконечным жалобам их автора на трудности в работе, на медленные темпы, на отсутствие «профессионализма».

В письмах нет точного указания, что именно Бабель пишет, ясно только одно — работа идет сразу в нескольких направлениях. Можно предположить, что это повесть «Еврейка», так и оставшаяся незавершенной. Л. Лившиц вспоминает старый замысел Бабеля — роман о ЧК как возможное произведение заграничного периода. В письме к Т. Кашириной от 27 декабря 1927 года Бабель сообщает: «...У меня затеяна большая работа, связанная с Парижем»,— а спустя несколько месяцев он изучает в Национальной библиотеке архив Французской революции.

Однако основная работа в Париже — «душевная». Так обычно называл Бабель свою работу над рассказами. Все силы он отдает книге новелл «История моей голубятни», над которой работал с середины 20-х годов до последних дней и назвал однажды «заветным трудом». Вот примечательное признание в письме к давней знакомой А. Слоним: «Я по-прежнему много работаю, яростно, уединенно, с далеким прицелом — и если второй мой выход на ярмарку сует окончится жалкими пустяками, то утешение у меня все же останется — утешение одержимости» (7 сентября 1928 года). «Вторая книга», «сизифов труд», «проклятая книга» — эти выражения, встречающиеся в письмах Бабеля из Франции, относятся, без сомнения, к «Истории моей голубятни». «Рассказы, которые я Вам буду посылать, являются частью большего целого. Я работаю над ними вперебивку, по душевному влечению»,— писал он В. Полонскому.

Что же должна представлять из себя по замыслу автора «История моей голубятни»? Бабель задумал серию новелл полуавтобиографического характера, где повествование о детстве мальчика, проведенном в любимой Одессе, ведется от первого лица.

О чем бы ни писал Бабель, мысль его постоянно возвращается к Одессе. Тоска по «нашему Марселю» звучит в его конармейских новеллах и дневнике 1920 года. Образ родного города встает пред ним, когда он пишет о Горьком и Багрицком, о молодых писателях-одесситах. Одесса становится местом действия многих его рассказов, часть которых объединена общим заглавием — «Одесские». В примечании к первой новелле цикла «История моей голубятни» (1925) сообщалось, что она является началом автобиографической повести. За ней последовали «Первая любовь», «В подвале» и ряд других.

Было бы ошибкой считать «Историю моей голубятни» автобиографической книгой в точном смысле этого слова. Скорее всего, она является свободной вариацией на определенную тему, когда те или иные жизненные реалии щедро обрамляются прихотливой фантазией писателя. Сам Бабель предостерегает от ложного восприятия новелл, входящих в книгу, и когда в журнале «Молодая гвардия» появилось «Пробуждение», писал родным: «Я там дебютировал после нескольких лет молчания маленьким отрывком из книги, которая будет объединена общим заглавием «История моей голубятни». Сюжеты все из детской поры, но приврано, конечно, многое и переменено — когда книжка будет окончена, тогда станет ясно, для чего мне все это нужно».

Никто не может утверждать с полной уверенностью, закончил Бабель «Голубятню», или «заветному труду» суждено было остаться не осуществленным до конца замыслом. Ясно лишь одно. В творческих планах писателя книга о детстве занимала едва ли не центральное место.

Еще раз о «продолжительном» молчании и «удивительной» речи

Первым, кто заговорил о молчании писателя, был А. Воронский. Не обращая внимания на «Закат», он писал в 1928 году о Бабеле: «...Его скупость грозит превратиться в порок: молчать нужно тоже умеренно». Такого рода предостережения, по-видимому, не оказывали никакого воздействия на темпы работы Бабеля. Напротив, с годами «скупость» возводится чуть ли не в систему. «Верный своей системе — я буду откладывать печатание как можно дальше»,— предупреждает он Е. Зозулю в феврале 1928 года, а в одном из писем к другу детства И. Лившицу объясняет, в чем смысл избранной им системы: «Мне надо несколько лет молчать, для того чтобы потом разразиться».

Еще осенью 1927 года Бабель предполагал, что это произойдет в следующем году. «Я уверен, что смогу напечатать много вещей в 1928 году...» Однако в печати появился только один новый рассказ «Старательная женщина» (альманах «Перевал», 1928, кн. 6) и пьеса «Закат» («Новый мир», 1928, № 2).

«Я считаю сущими пустяками (и скорее хорошими, чем дурными) то, что я не участвую в литературе. Чем дольше мое молчание будет продолжаться, тем лучше смогу я обдумать свою работу...» — писал Бабель в сентябре 1928 года Кашириной.

Возвратившись из Франции, Бабель не спешит печататься, и в течение двух лет его имя не появляется на страницах литературных журналов. В этот период, начиная с весны 1929 года, он почти постоянно живет в «глубинке» — разъезжает по стране, участвует в коллективизации. Украина, Воронежская область, Днепрострой, Подмосковье — такова в самых общих чертах география его путешествий по «Руси советской».

Молчание Бабеля или то, что он называл исчезновением из литературы, как-то особенно бросалось в глаза, хотя некоторые его современники выступали в печати немногим чаще. Двухлетний перерыв — ситуация довольно обычная в писательской биографии, и в большинстве случаев она не требует комментариев со стороны самого писателя. Однако в 1930 году Бабель вынужден был объясниться.

Поводом послужила фальшивка польского буржуазного еженедельника «Литературные ведомости» (1930, № 21), на страницах которого некто А. Дан опубликовал «интервью» с Бабелем, выдержанное в грубом антисоветском духе. Читатели СССР узнали об этом из заметки Бруно Ясенского «Наши на Ривьере», напечатанной в «Литературной газете» (10 июля 1930 года). Цитируя слова Бабеля, якобы сказанные Дану, Ясенский в заключение высказывал предположение, что материал польской газеты сфабрикован, но тогда Бабелю необходимо выступить с опровержением.

13 июля на заседании секретариата ФОСП писатель заявил: «Судя по статье Ясенского, «интервью» Дана написано под явным влиянием моего рассказа «Гедали». Молодой человек из польской газеты лишь udноnовил тему, облек ее в форму интервью. Особенно удивительно, что это «интервью» появилось через два года после моего приезда из-за границы. В свое время мои рассказы о прежней работе в Чека подняли за границей

страшный скандал, и я был более или менее бойкотируемым человеком. Конечно, в то время такая информация не могла бы появиться.

Все же «Литературная газета» поступила неправильно, не показав предварительно статью мне. Мне кажется, что здесь идет речь о человеке безукоризненной репутации, и по отношению к такому человеку «Литературная газета» поступила несколько поспешно. Правда, найти меня трудно. Но если бы статья была своевременно мне показана, все дело выглядело бы, конечно, иначе. Ясно было бы, что речь идет только о фальшивке.

Статья производит неприятное впечатление. Как могло случиться, чтобы на человека, который с декабря 1917 года работал в Чека, против которого за все эти годы не поднялся и не мог подняться ни один голос, как могло случиться, чтобы на такого человека был вылит такой ушат грязи? Я думаю, что в значительной мере можно это объяснить тем, что я, напечатав в 1925 — 1926 годах книгу,— исчез из литературы».

В тот же день в редакцию «Литературной газеты» было отправлено письмо.

«Только что приехал из деревни и прочитал в № 28 «Литературной газеты» сообщение об интервью, якобы данном мною «на пляже французской Ривьеры» буржуазному польскому журналисту Александру Дану.

В этом интервью, в выражениях совершенно идиотических, я всячески поношу Красную Армию, власть Советов и плачусь на слабость моего здоровья, причем в этой слабости обвиняю все ту же Советскую власть.

Так вот,— никогда я на Ривьере не был, никакого Александра Дана в глаза не видел, нигде, никогда, никому ни одного слова из приписываемой мне галиматьи и гадости не говорил и говорить, конечно, не мог.

Вот и все.

Но какова должна быть гнусность всех этих Данов, готовность к шантажу и провокации белых газет для того, чтобы напечатать такую чудовищную, бессмысленную, лживую от первой до последней буквы фальшивку?..
Москва, 13.7.30

И. Бабель».

Так система работы Бабеля неожиданно стала поводом для непристойной политической инсинуации.

Следует помнить: товарищи по «цеху» проявили такт и внимание к профессиональным трудностям и тем сложным задачам, которые поставил перед собой Бабель. Вот что писала «Литературная газета», подводя итоги нашумевшей истории: «Молчание Бабеля в последние годы — отражение не кризиса, а творческой перестройки, и этот поворот в его творчестве заслуживает с нашей стороны большого внимания, заставляет нас с интересом ждать появления новой книги».

«Великая Криница»

Бабеля отнюдь нельзя назвать холодным наблюдателем жизни, как иногда пытаются делать некоторые критики на Западе. Автор «Конармии», подобно многим писателям своего времени, был увлечен пафосом «реконструктив-

ного» периода, стремился художнически осмыслить социалистическую новь во всех ее проявлениях, откликнуться на сложнейшие социально-экономические преобразования, происходящие в Советской стране. Наибольший интерес представляла для него коллективизация деревни. «Это самое большое движение нашей революции, кроме гражданской войны»,— говорил Бабель в 1937 году.

Ломка привычного хозяйственного уклада в деревне оставила неизгладимый след в душе писателя. Он задумывает книгу рассказов под названием «Великая Криница», в течение нескольких лет собирает для нее материал. «Последние два года я живу в деревне, в колхозах, стараюсь смотреть на жизнь изнутри. Я не говорил этого раньше потому, что считал, что надо сначала написать книгу, сказав это через книгу. Может быть, в наше время так поступать нельзя.

Недавно я почувствовал, что мне опять хорошо писать. Я давно уже понял, что приближается «смерть» попутнической литературы. Она производит жалчайшее впечатление, представляя собой чудовищный диссонанс с темпами нашей большевистской эпохи.

Прошли тягчайшие для меня годы. Я искал новый язык, новый образ, соответствующий ведущей роли советской литературы. Я действовал как один из немногих ее фанатиков. Медвежьи углы подсказали мне новый ритм...»

Одним из таких медвежьих углов было село Великая Старица на Киевщине, где Бабель жил весной 1930 года.

«Уважаемые товарищи,— писал он 2 сентября того же года устроителям выставки «Писатель и колхоз».— Я уезжаю сегодня на маневры Ленинградского военного округа, поэтому лишен возможности зайти к вам. Я принимал участие в кампании по коллективизации Бориспольского района Киевского округа — пробыл там с февраля по апрель с. г. По возвращении с маневров снова еду в эти же места. Я занят теперь приведением в порядок записей, которые я вел в селе,— записи эти надо углубить и продолжить. Я не рассчитываю опубликовать их раньше, чем через несколько месяцев.

С тов. приветом
И. Бабель».

Всю вторую половину 30-го года Бабель проводит большей частью в Ростове-на-Дону и в подмосковном селе Молоденово, тщательно готовясь к публикации рассказов в будущем году. В декабре редакция «Нового мира» получила одно из многочисленных его заверений в том, что работа для журнала «вчерне» закончена, но автору необходима «последняя отсрочка», чтобы «придать ей годный для напечатания вид». Указывается и срок сдачи рукописи — апрель 1931 года.

Ранней весной 1931 года Бабель вновь отправляется на Украину, однако двухмесячная поездка оказалась по каким-то причинам неудачной, о чем он сообщил Полонскому в апреле, обещая прислать материал «еще в нынешнем месяце, во всяком случае не позже начала мая». Но ни в апреле, ни в мае, ни в течение всего лета Полонский не получил от Бабеля ни единой строки (см. дневник В. П. Полонского, с. 195).

Тем не менее в конце 1931 года Бабель печатает в столичных журналах три новых рассказа: два из книги «История моей голубятни» («Пробужде-

ние», «В подвале») и один деревенский рассказ — «Гапа Гужва». В подзаголовке значилось: «Первая глава из книги «Великая Криница» [1].

«Единственное, что достигнуто,— это чувство профессионализма...»

Он не напечатал других рассказов из «Великой Криницы» (например, «Адриана Маринца», анонсированного «Новым миром» на 1932 год), но работу над книгой не прекращал.

На встрече с коллективом молодежного журнала «Смена» сказал: «Я рад закрепить нашу дружбу... Сегодняшняя наша встреча предварительная. Я сейчас работаю над новыми рассказами о колхозной деревне и через месяц буду читать их у вас». О желании писать про «людей во время коллективизации» Бабель говорил и на своем творческом вечере в Союзе писателей спустя пять лет, в 1937 году. «Я более или менее близкое участие принимал в коллективизации 1929 — 1930 гг. Я несколько лет пытаюсь это описать. Как будто теперь это у меня получается».

Сказанное лишний раз подтверждает верность Бабеля излюбленной системе откладывания: рассказы готовы, но печатать их он не торопится. Написанное должно «отлежаться», при этом автора ничуть не смущало, если разрыв между временем написания произведения и сроком публикации измерялся подчас годами.

Учитывая свой прежний опыт, Бабель сознательно не дает в печать свои злободневные, остродраматические новеллы о деревне. Это хорошо понимал дружески расположенный к нему В. Полонский: «Почему он не печатает? Причина ясна: вещи им действительно написаны. Он замечательный писатель, и то, что он не спешит, не заражен славой,— говорит о том, что он верит: его вещи не устаревают, и он не пострадает, если напечатает их позже... Он не может работать на обычном материале, ему нужен особенный, острый, пряный, смертельный. Ведь вся «Конармия» такова. А все, что у него есть теперь,— это, вероятно, про Чека. Он в Конармию пошел, чтобы собрать этот материал...»

Размышления критика над судьбой Бабеля следует воспринимать в историко-литературном контексте начала 30-х годов. Именно тогда рапповцы выдвинули оскорбительную альтернативу по отношению к писателям-интеллигентам: «не попутчик, а союзник или враг». Печатая Бабеля в своем журнале, Полонский как бы давал ответ всем тем, кто склонен был подвергать сомнению репутацию писателя.

В конце 1931 года редакция «Нового мира» объявила, что в будущем году читатели смогут прочесть новые рассказы Бабеля «Иван-да-Марья», «У Троицы», «Медь», «Весна», «Адриан Маринец». Ни один из них в «Новом мире» так и не появился. «Иван-да-Марья» был опубликован в

---

[1] Первоначально Бабель хотел дать своей книге подлинное название украинского села — Великая Старица. Однако опыт «Конармии», где писатель сохранил настоящие имена участников событий (что не раз приводило к недоразумениям), не прошел даром. Отсылая Полонскому в октябре 1931 года выправленную рукопись «Гапы Гужвы», Бабель писал: «Пришлось изменить название села — для избежания сверхкомплектного поношения». Так появилось новое название — «Великая Криница».

журнале «30 дней» (1932, № 4), что касается остальных рассказов, то судьба их неизвестна. В том же журнале появились «Конец богадельни» (№ 1), «Дорога» (№ 3), «Гюи де Мопассан» (№ 6).

В январе 1932 года он писал родным: «Вообще, то, что печатается, есть ничтожная доля сделанного, а основная работа проводится теперь. С похвалами рано, посмотрим, что будет дальше. Единственное, что достигнуто,— это чувство профессионализма и упрямства и жажда работы, которых раньше не было. Внешне же это проявляется пока недостаточно, случайно, скомканно, не в том порядке, как надо. Впрочем, до всего дойдет очередь».

В 30-е годы Бабель много и напряженно работает, постоянно находится в разъездах, стремится лично увидеть грандиозную стройку первого в мире социалистического государства.

«Писанье — это сейчас не сиденье за столом,— читаем в одном из писем к родным,— а езда, участие в живой жизни, подвижность, изучение материалов, связь с каким-нибудь предприятием или учреждением, и иногда с отчаянием констатируешь, что не поспеваешь всюду, куда надо».

Значительное место в биографии писателя занимают и заграничные поездки. В 1932 — 1933 годах Бабель совершает большое путешествие по странам Западной Европы — живет во Франции, Бельгии, гостит у Горького в Сорренто, посещает Германию и Польшу. В отделе рукописей Института мировой литературы имени А. М. Горького сохранилась стенограмма доклада Бабеля на вечере, устроенном редакциями «Литературной газеты» и «Вечерней Москвы» по возвращении писателя на родину в сентябре 1933 года. Особый интерес представляют его итальянские впечатления, характеристика социально-политической жизни страны, втянутой Муссолини в преступный процесс фашизации.

«Я разговаривал с туристами, которые приезжают в Италию, которые не были в ней 10 — 12 лет. Внешнее перерождение — громадное. Железные дороги — самые лучшие в Европе. Нищенства меньше, улицы чистые, обсажены деревьями. Они делают опыты по электрификации железных дорог. Там есть и наши инженеры. Их опытам можно поучиться. По альпийскому участку поезда уже ходят со скоростью 100 километров в час. Там очень тяжелый профиль. Своими достижениями они хвастаются на каждом шагу. Вообще в мире нет сейчас другого правительства, которое бы хвасталось так, как итальянское. Муссолини изображен у них во всех видах. Во время сбора урожая — косит, жнет.

Археологические работы ведутся у них лучше, чем раньше, особенно в Помпее. Новые раскопки ведутся по научным методам, причем все вещи, которые находятся, остаются в тех же домах. Вообще все производит необыкновенно странное впечатление. Человек как будто бы все время находится под наркозом. Этот наркоз ежедневно с большим умением впрыскивается Муссолини.

Коммунисты у них загнаны в подполье. Встреча с ними чрезвычайно затруднена. Все разговоры там в чрезвычайно безобидной итальянской обстановке сводятся к одному — к Муссолини. Один разговор с социал-демократами никогда не забуду. Основной вопрос там — здоровье Муссолини. Один социал-демократ с сокрушением говорит, что брат Муссолини (после смерти которого оказалось, что он был мошенником) умер от апоплексического удара, и вот теперь боятся, что Муссолини тоже этим

кончит. Этот человек наполняет собою политическую и общественную жизнь целиком. Выставки построены если не по его рисункам, то он, во всяком случае, одобрил эти рисунки. Одному журналисту, который пытался попенять на Муссолини, что у него нет программы фашистской партии, он ответил: «Программа партии устанавливается мною ежедневно, после прочтения утренних телеграмм, и остается в силе до изучения вечерних». Так итальянцы узнают расписание своей жизни на этот день. Причем этот человек в буржуазных и мелкобуржуазных кругах и у ручных своих противников пользуется несомненным уважением. Беспрерывно идут разговоры об искусстве управления, причем он дает бесконечные интервью на эту тему. Для нас звучит страшным анахронизмом беспрерывное его сопоставление народа с женщиной. Он говорит: «Вожди должны быть мужчинами, а толпа остается женщиной, впечатлительной, падкой на красивые зрелища». Из этих интервью следует, что в Италии остался один мужчина — Муссолини, да еще Бальбо — кандидат в мужчины. Не говоря о бесконечных фотографиях Муссолини, о показе его в кино, там беспрерывно впрыскивается какой-то возбудительный препарат. В Италии страшно развит спорт, чествование национальных героев. И результаты за эти 10 лет достигнуты большие. Никто не может себе представить празднеств в честь Корнеро, когда он получил в Америке первенство по боксу. Париж наводнен итальянскими чемпионами. Сейчас у них лучшие футболисты, они хороши в теннисе. Если взять итальянскую газету на восьми страницах, то четыре в ней посвящены спорту, причем все эти спортивные демонстрации устраиваются с необыкновенным блеском. На новом стадионе во Флоренции в день объявления войны устроен парад. ⟨...⟩ 60 тысяч детей и юношей дефилировали под солнцем. Все это зрелище в смысле красоты незабываемое. Незабываемы все собрания в Венеции. Мне пришлось слышать на них речи Муссолини. Он сначала делает позу, подготавливается. Он актер старой школы дипломатии. Он говорит: «Рим — это центр мира, пьяцца Венеца — центр Рима. Ваши подошвы попирают самую священную землю, которую только знает мир».

Рассказывают, что ⟨...⟩ в кабинете (а кабинет у него словно дом, и когда входит человек, его не видно, причем надо 10 минут идти до него) у него на столе только книжка Макиавелли. У себя в кабинете он отпускает шуточки, принимает журналистов и начинает излюбленную теорию о толпе и гении. Вся эта совокупность внешнего успеха создала в мелкой буржуазии характер какого-то психоза. У итальянцев, мелких лавочников, которые стоят на пороге своих лавчонок и ждут покупателей, которых нет, все построено на фикции. Они с некоторым недоумением спрашивают: неужели все это правда происходит? Ему (народу.— *С. П.*) ежедневно в газетах говорится, что он — первая в мире нация, он не верит. 10-12 лет тому назад они действительно погибали. Слово «революция» Муссолини совершенно необходимо. Не нужно никакой статистики о том, что население приведено к такому состоянию, что уже дальше идти некуда. Старые улицы Неаполя кишат карликовым племенем, зобатым, тучным, низким. Теперь это все подчищено. Эти люди с удивлением смотрят на парады, причем все, что происходит, как-то убеждает их, что все в порядке.

⟨...⟩ Я раз случайно разговорился с одним итальянским аристократом. Аристократия в Италии восстановлена против Муссолини, так как им

был издан приказ, по которому большие земли остаются у владельца только в том случае, если он их сам обрабатывает. И вот такие люди уверены, что Муссолини своим способом, по секрету от всех, проводит «коммунистическую политику», так как единственное место, куда он ходит, это советское посольство. Первым из всех он завел департамент по советским делам. Он единственный из всех европейцев знает советские дела. И вот они верят, что без тех трудностей, через которые мы должны проходить, без резких толчков он гладко ведет страну к своеобразному коммунизму. Опровержений не нужно искать. Они на улицах. Итальянские улицы производят трагическое впечатление. $^{1}/_{3}$ нации одета в формы. Маршируют все. Это все гремит в трубы, впереди всадники. Во всем этом участвует солнце.

Нынешнее поколение в Италии отдано на растерзание католицизму. В Неаполе у социал-демократа, человека безбожного, очень радикального, все дети находятся в монастырях, иезуитских школах, так как там обучение бесплатное.

Что такое иезуиты — это видно только в Риме. Это необыкновенно мощная и большой гибкости организация и до сих пор. Муссолини с большим искусством пользуется услугами католицизма. Достаточно пойти на фашистскую выставку в Риме. Не пойти туда невозможно потому, что итальянцы дают всем туристам, посетившим выставку, 70 процентов скидки на железнодорожный билет. Весь фашизм, все судороги его — все в этой выставке. ⟨...⟩

И вот постепенно вы идете из одного зала в другой и начинаете задыхаться. Все надписи там истерически кратки. Кончаете вы залом, где совершенно темно. В этом зале звучит тихая музыка. Музыкальными голосами отвечают презенты. (У фашистов есть такой обычай, что если товарищ убит или вообще отсутствует, то за него отвечают презенты.) Для нас все это совершенно непостижимо, истерично».

В Париже, где Бабель уже жил ранее, его поразила тяжелая участь русской эмиграции.

«Положение наших русских эмигрантов ужасное. У этих людей в последние годы обнаружена трагедия отцов и детей. Мне рассказывали об эмигрантах, которые хорошо устроились. У них подросли дети, и теперь эти дети предъявляют счета отцу: почему мы здесь? Почему мы говорим по-русски? Были даже самоубийства на этой почве. Многие из подрастающего поколения русской эмиграции переезжают в Австралию и другие места. Это самое трагичное у русской эмиграции, не говоря уже о литературе.

Я высоко уважаю Бунина. Он приехал в Париж за деньгами и с великим трудом добыл тысячу франков (80 рублей). Но теперь ему лучше материально потому, что немецкие богатые евреи играют в бридж и дают ему процент с каждой ставки.

Ремизова ночью выбросили из квартиры, потому что он долго не платил квартирной платы. Он схватил рукописи, жена — вещи, и они ночью скитались по городу.

Появился новый писатель Сирин. Это сын Набокова. Когда его читаешь, то чувствуешь в его словах только мускулы и нервы, кожи нет. Он пишет ни о чем, действие происходит нигде. Он показателен для

эмиграции. Это единственное литературное ощущение, которое я получил от эмигрантской литературы.

⟨...⟩ Шаляпин кончает страшно. Это возмездие. Я был во Флоренции на его спектакле, и в первый раз во Флоренции не было сбора. Во Флоренции его антрепренером был случайно один человек из Одессы. Он рассказывал, как он, этот одессит, потерял деньги благодаря Шаляпину и как он его провожал на вокзал. Я познакомился с сыном Шаляпина, который рассказывает страшные вещи.

Гениален он по-прежнему. Только нажимать стал. Принимает пищу только в русских ресторанах. Это единственное вещественное доказательство родины. Он получил орден Почетного легиона. Какой-то журналист пишет воспоминания о нем. Фильм «Дон Кихот», в котором он поет, не имеет успеха».

Выступление хорошо показывает, как нелепы и безосновательны слухи, распространяемые обывателями о Бабеле во время первой заграничной поездки 1927—1928 года.

Путешествуя по Европе, он чувствует себя прежде всего советским гражданином, советским литератором. А вернувшись домой, вновь начнет колесить по стране, радуясь успехам социалистического строительства, и напишет матери из шахтерской Горловки так: «Очень правильно сделал, что побывал в Донбассе, край этот знать необходимо. Иногда приходишь в отчаяние — как осилить художественно неизмеримую, курьерскую, небывалую эту страну, которая называется СССР. Дух бодрости и успеха у нас теперь сильнее, чем за все 16 лет революции».

Прыжок ди Грассо

На обороте одной из своих фотографий Бабель написал: «В борьбе с этим человеком проходит моя жизнь». Трудно написать лучший эпиграф к биографии такого писателя, каким был Бабель.

Будущим исследователям еще предстоит объяснить эволюцию мифа о «молчании» Бабеля и отношение самого Бабеля к нему. И тогда обнаружатся некоторые удивительные противоречия.

В 1935 году в журнале «Театр и драматургия» печатается новая бабелевская пьеса «Мария», сразу же обратившая на себя внимание критики. Тем не менее уже через год пьеса забыта и старая тема вновь звучит на страницах печати. Вспоминаются давние невыполненные обещания. «Еще в 1930 году Бабель заключил с Гослитиздатом договор на сборник новых рассказов,— сердито писал И. Лежнев.— С тех пор договор переписывался, «освежался», многократно отсрочивался, но книга автором не представлена и по сей день. Творческая пауза у Бабеля несколько затянулась... Можно уж справлять десятилетний юбилей плодотворного молчания».

«У него большие литературные промежутки»,— констатирует В. Шкловский.

Вместо того чтобы хоть как-то протестовать против критических гипербол, Бабель всячески утверждает себя в роли упорного молчальника,— достаточно перечитать его речь на Первом съезде советских писателей. В многочисленных публичных выступлениях перед профессиональ-

ными литераторами Бабель, касаясь этой темы, обычно отделывался шутками. Но однажды ему пришлось дать... письменное объяснение своему непосредственному читателю. Это произошло в редакции «Крестьянской газеты». Девушка из бюро пропусков, узнав, что перед ней известный писатель, спросила, почему он не пишет. «Где ваши новые книги?» — вопрос звучал прямо и требовал ответа. Смущенный такой неожиданной атакой, Бабель пообещал в скором времени выпустить книгу новых рассказов. «Не ограничиваясь устным обещанием,— писала «Литературная газета»,— он прислал ей следующее письмо:

«Дорогая тов. Новикова!

Слово свое я сдержу. И проверять не придется. Для честного литератора нет проверки строже и мучительнее, чем его совесть и живущее в нем чувство прекрасного.

В нас не затихает ни на минуту жажда творчества. И, по правде говоря, я часто сознательно подавлял ее в себе, потому что не чувствовал себя подготовленным к тому, чтобы писать художественно. Теперь сердце мое говорит: подготовительный период этот кончается. Пожалуйста, когда прочтете мои рассказы, скажите Ваше мнение о них».

Сохранилось заявление Бабеля (июль 1938 года) в секретариат ССП о переиздании в «Советском писателе» однотомника прозы, «заново пересмотренного и дополненного новыми рассказами». Книга была включена в тематический план издательства на 1939 год; в рубриках «название» и «тема» значилось: «Рассказы, связанные героями нашего времени». Можно предположить, что в однотомник вошли бы рассказы о коллективизации и Кабардино-Балкарии, в частности о Бетале Калмыкове, с которым писателя связывали узы крепкой дружбы. К сожалению, это издание не было осуществлено.

Лучшим из того, что Бабель напечатал в последние годы, является новелла «Ди Грассо» (1937), интонационно и тематически примыкающая к циклу «История моей голубятни». Фантастический — под занавес — прыжок заезжего итальянского трагика в сицилианской народной драме должен, по мысли автора, символизировать великую силу искусства, утверждающего правду. Печальный лиризм Бабеля, овеянный тончайшим юмором, выразился в этом маленьком шедевре с удивительно эмоциональной силой.

В обстановке сталинского террора, трагически расколовшего советское общество на жертв и палачей, в атмосфере беспрецедентного для всех времен и народов геноцида, когда каждый мог легко стать «лагерной пылью», Бабель неизбежно оказался persona non grata. Лучше других это понимал сам Бабель, «великий мастер» жанра молчания. Но значит ли, что, уклоняясь от писательского угодничества, он изменил призванию? Конечно, нет. Работа, которую Бабель называл «душевной» (в отличие от выполняемой по заказу, для денег), никогда не прекращалась и по стандартам эпохи выглядела едва ли не криминальной. Если верен старый афоризм Бюффона «стиль — это человек», то применительно к Бабелю он означает, что создатель «Конармии», «Одесских рассказов», «Заката» не мог отказаться от своей человеческой самости ради какой бы то ни было конъюнктуры. Измена стилю — измена себе. И наоборот, предать

себя — значит научиться писать «плавно, длинно и спокойно». Спокойно? К счастью, это невозможно.

Изредка он еще печатает «хвосты» из «Конармии» вроде рассказа «Аргамак»; между тем продолжение этой нашумевшей книги, вызвавшей ожесточенные споры, свидетельствовало о строптивом характере ее автора. Бабель как бы совершенно сознательно подчеркивал, что и теперь от «Конармии» не отрекается. Жестокий реализм конармейских сюжетов отнюдь не перечеркивал героического начала в изображении буденновцев. Сегодня на эту тему пишутся специальные исследования, а в то время требовалось вмешательство Горького, чтобы доказать очевидное.

В тридцатые годы, когда Жданов по указанию Сталина принялся энергично разрабатывать «теорию советской литературы», неудобная бабелевская «Конармия» хотя и неоднократно переиздавалась, однако с точки зрения казенных идеологических установок естественно должна была попасть на периферию современной литературной карты. С Бабелем все было непросто. Беря актуальные темы, он шокировал современников способом их художественной разработки. Органический сплав иронии и еврейского лукавства, патетики и грубейшего натурализма, тончайшее соединение эротики с пронзительным, иногда почти библейским лиризмом,— все эти особенности бабелевского дарования в той или иной мере проявились в цикле рассказов «История моей голубятни», в исчезнувшем романе о чекистах, в его удивительной деревенской прозе. Очень точно написал В. Полонский, прослушав один рассказ из «Великой Криницы»: «Читал рассказ о деревне. Просто, коротко, сжато,— сильно. Деревня его так же, как и Конармия,— кровь, слезы, сперма. Его постоянный материал».

То был мир, приемлемый в единственно возможном для него ракурсе, «мир, видимый через человека». Из всей номенклатуры тем Бабеля более всего привлекали темы запретные, что также явно раздражало. «Рукописи не горят». Да, только при одном условии: если они не арестованы вместе с автором. В случае изъятия, как правило, следовало аутодафе, о чем можно узнать, знакомясь с делами репрессированных литераторов или их близких. Акт о сожжении в следственной практике той поры — вещь обычная. Лишь учитывая этот внелитературный факт, возможно объективное исследование эволюции Бабеля в тридцатые годы. А ведь категоричность иных диагнозов на Западе (да и у нас) прямо-таки ошеломляющая. Странно читать, например, о «беспомощности Бабеля перед действительностью» или о том, что он якобы «исчерпал» подходящий материал, «выработал» гражданскую войну и старую Одессу, то есть попросту исписался. Не лучше ли воздать должное мужеству большого мастера, ценой жизни отстоявшего свою творческую независимость и чувство достоинства в ситуации не метафорического, а вполне реального «крушения гуманизма».

Сергей Поварцов

СОДЕРЖАНИЕ

Ф. Искандер. Могучее веселье Бабеля 5
Лев Славин. Фермент долговечности 7
Константин Паустовский. Рассказы о Бабеле 11
Илья Эренбург. Бабель был поэтом... 45
С. Гехт. У стены Страстного монастыря в летний день 1924 года 54
Валентина Ходасевич. Каким я его видела 63
О. Савич. Два устных рассказа Бабеля 73
Ф. Левин. Первое впечатление 76
Г. Мунблит. Из воспоминаний 79
Сергей Бондарин. Прикосновение к человеку 93
В. Финк. Я многим ему обязан 101
М. Макотинский. Умение слушать 105
Т. Иванова. Работать «по правилам искусства» 108
Лев Никулин. Исаак Бабель 132
А. Нюренберг. Встречи с Бабелем 143
Кирилл Левин. Из давних встреч 147
Т. Стах. Каким я помню Бабеля 151
Михаил Зорин. Чистый лист бумаги 157
Владимир Канторович. Бабель рассказывает о Бетале Калмыкове 167
Леонид Утесов. Мы родились по соседству 179
Виктор Шкловский. Человек со спокойным голосом 184
Г. Марков. Урок мастера 190
В. П. Полонский. Из дневника 1931 года 195
Л. Боровой. Подарок 200
М. Н. Берков. Мы были знакомы с детства 203
Савва Голованивский. Великий одессит 208
Татьяна Тэсс. Встречи с Бабелем 217
А. Н. Пирожкова. Годы, прошедшие рядом (1932—1939) 237
«В трудах...» Из писем И. Э. Бабеля разных лет 315
С. Поварцов. «Мир, видимый через человека». К творческой биографии И. Бабеля 320

Воспоминания о Бабеле: Сборник/Сост.: А. Н. Пи-
В774 рожкова, Н. Н. Юргенева.— М.: Кн. палата, 1989.—
336 с.— (Попул. б-ка).
ISBN 5-7000-0109-8

В основе книги — сборник воспоминаний о И. Бабеле, вышедший в 1972 году в издательстве «Советский писатель» незначительным тиражом, а ныне переработанный и дополненный рядом новых материалов. Живые свидетельства современников позволяют полнее представить личность замечательного советского писателя, почувствовать его человеческое своеобразие, сложность и яркость его художественного мира.

В $\frac{4702010201\text{-}049}{008(01)\text{-}89}$ Без объявл. **ББК 83.3Р7**

Литературно-художественное издание
Популярная библиотека

Дневники. Мемуары. Свидетельства
ВОСПОМИНАНИЯ О БАБЕЛЕ

Составители:
Пирожкова Антонина Николаевна,
Юргенева Нина Николаевна

Зав. редакцией Н. В. Ганиковская
Редактор В. Л. Сагалова
Художественный редактор О. В. Романова
Технический редактор Н. И. Аврутис
Корректор О. В. Добромыслова

ИБ 46
Сдано в набор 03.10.88. Подписано в печать 06.04.89. А04758.
Формат 60×90/16. Бумага кн.-журн. д/офс. печ. 60 г.
Гарнитура Тип Таймс. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 21,0. Усл. кр.-отт. 21,88. Уч.-изд. л. 23,98.
Тираж 100 000 экз. Изд. № 119. Заказ № 4211.
Цена 3 р. 60 к.

Издательство «Книжная палата».
103009 Москва, ул. Неждановой, 8/10.
Ордена Ленина типография «Красный пролетарий»,
103473 Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

3 р. 60 к.





